

В. Осеева 4

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1986



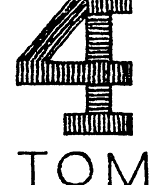



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ









ТОМ



ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ДИНКА ПРОЩАЕТСЯ С ДЕТСТВОМ

ПОВЕСТЬ



Р2
О-72

Оформление А. Ганнушкина

Рисунки А. Ермолаева

О $\frac{4803010102-363}{М101(03)86}$ Подп. изд.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Глава 1

ВОЛГА, ВОЛЖЕНЬКА...

Киев встретил Арсеньевых холодным осенним дождем. Мокрые улицы казались пустынными и неприветливыми. Динка помнила, с каким восторгом мама говорила о цветущих каштанах... Но теперь они стояли почерневшие от дождей, ветер сбивал с них последние листья, под кучами мокрых листьев валялись гладенькие, коричневые, словно полированные каштаны... Динка присаживалась на корточки, пробовала каштаны на вкус, разгрызая твердую корку, но жесткая молочно-белая сердцевина их была горькой и несъедобной...

И всё же эти «каштанчики» некоторое время утешали девочку, она набивала ими свои карманы, таскала их до-

мой и, играя в них, как в камешки, задумчиво говорила Мышке:

— Здесь все такое хорошее, а я никак не могу привыкнуть... Люди улыбаются, а спросишь что-нибудь и не понимаешь, что они такое говорят... У меня еще ни с кем ни одного разговора не вышло,— шепотом добавила она.

Сестры говорили шепотом, чтоб не обидеть маму, ведь Украина была маминой родиной и мама так мечтала о Киеве.

— Я тоже никак не могу привыкнуть,— соглашалась Мышка.— Но ты молчи...

— Да я молчу... Мне надо скорей Днепр посмотреть... Мне бы увидеть большую воду, такую же, как у Волги...

— Днепр тоже большой,— тихо говорила Мышка.

— Ох, нет, нет, нет...

Динка садилась на пол и, натянув на коленки платье, крепко зажмуривала глаза. В ушах ее с тихим шумом плескалась желтенькая водичка...

— Волга, Волженька, голубочка моя родная, зачем же мы от тебя уехали?..

Динка вспоминала пароход, который вез ее мимо утеса... Уехали, уехали...

— Днепр тоже очень красивый... Мама нам покажет его...— утешала сестру Мышка.

— Все равно я никогда не обживусь в этом Киеве... Я здесь как чужая хожу...— хныкала Динка.

Марина читала детям «Кобзаря» на украинском языке, объясняла отдельные слова.

— Вот я покажу вам мой Днепр! — с гордостью обещала она, а перед глазами девочек во всю ширь вставала Волга.

И Динка, тоскуя, говорила:

— Мы уже десять дней как приехали, почему же мама не побежала сразу к своему Днепру? Если бы мы вернулись назад, я бы сейчас же помчалась на берег и каталась бы по песку; я бросилась бы в воду, обняла ее обеими руками. И пускай бы я захлебнулась этой водичкой... Бей меня, топи меня, Волга, Волженька, голубушка моя, родненькая...

Динка бросалась ничком на пол, Мышка крепко обнимала ее, и, обнявшись, они вместе плакали...

От сестры Динка шла к Леньке, Леня, на которого в первые дни приезда свалилось много самых разнообразных и неожиданных дел, хмуро смотрел на ее расстроенное лицо:

— Ты что это изревелась вся?

— Да-а... Изревелась, изревелась... А ты не изревелся, ты уже забыл нашу Волгу, ходишь тут как ни в чем не бывало! — с упреком говорила Динка.

— Как это я Волгу могу забыть? — удивлялся мальчик.

Динка умоляюще складывала руки.

— Лень, давай скажем маме, что мы не можем жить без Волги? Мы с Мышкой скажем, и ты... Может быть, мама тебя послушает... Давай, Лень!

— Да ты что, с ума сошла? Мать бьется как рыба об лед, кое-как сюда нас всех перетащила, да тут еще пропасть делов на нее навалилось, а они, смотри-ка, с какими фокусами к ней! Вези их назад! И как только не совестно такое выдумать!

— Ну и пускай мне будет совестно, я все равно буду реветь, реветь и от чахотки умру, вот тогда и оставайся в своем Киеве! — угрожала Динка.

Леньке становилось жаль ее. Он звал Мышку и убеждал обеих девочек отложить свою тоску по Волге до той поры, когда он, Леня, окончит гимназию, найдет какую-никакую прибыльную работенку и, заплатив самолично за билеты, на самом курьерском поезде доставит их в любое место на Волге...

— Куда захочете, туда и поедем! Хоть в Казань, хоть на курган Стеньки Разина!

Как-то в осенний солнечный день, когда Алина с Леней пошли покупать учебники, Марина неожиданно отложила все свои дела и поехала с младшими детьми на Днепр. По дороге она очень волновалась и говорила:

— Вот сейчас, сейчас вы увидите его... мой Днепр!

И они увидели его... Сначала с Владимирской Горки, а потом у самого берега.

Динка с радостью отметила, что на берегу Днепра ноги так же проваливаются в песок, как и на Волге, только волжский песочек, показалось ей, был немного желтее... Марина близко-близко подошла к воде, сняла шляпку и тихо сказала:

— Ох, Днепро!

Динка жадным и ревнивым взглядом окинула волнистую гладь реки, зачерпнула ладонью воду. Вода была чистая, с легкой голубизной...

— Ох, Днепро...— громко повторила вслед за матерью Динка, но голос у нее был пустой и сердце молчало... В смущении она пошла вдоль берега, останавливаясь и убеждая себя, что это — река ее мамы, река Тараса Шевченко, которого она так любит... Но сердце ее молчало, и под равнодушным взглядом осенний, разбавленный дождями, захолодавший на ветру мамин Днепр не пробуждал в ней никаких чувств. Динке стало чего-то жаль... Она оглянулась на мать. Марина все так же неподвижно стояла на берегу и смотрела куда-то на дальний берег. Лицо ее порозовело, ветер трепал длинные распустившиеся косы...

Хто це, хто це на тим боци
Чеше довги косы...—

вспомнилось вдруг Динке.

И снова, как в раннем детстве, когда мама читала эти стихи, Динка ясно увидела, как волны Днепра расступились и на берег вышла русалка... Тихими звенящими струйками сбегала с ее темных волос хрустальная вода... Взгляд Динки вдруг ожил, глаза ее словно прозрели... Издалека неторопливо, перекатываясь с волны на волну и расплескивая на гребне серебряные брызги, в желтой рамке берегов, на Динку шел невиданный до этой минуты сказочный красавец Днепр! Динка уловила шумливую музыку в глубине днепровской воды и, взволнованная, подозвала Мышку.

— Смотри, это перламутровая река...

Мышка кивнула головой.

— Мама плачет,— сказала она.

— У этой реки полным-полно рыб, они все время плещутся, и потому волны у ней такие серебряно-чешуйчатые...

— С этого берега наш папа увез нашу маму...— тихо вздохнула Мышка.

— С этого самого берега? Вот с этого? — радостно взволновалась Динка.

Сестре не хотелось разочаровывать ее.

— Мама привела нас сюда...— уклончиво сказала она.

— С этого самого берега! — в восторге повторила Динка, оглядываясь вокруг. Ей казалось, что она уже ясно различает на песке следы отца... Вот здесь он спрыгнул с коня...

Динка никогда не слышала, чтоб папа скакал на коне, но если сказано «увез», то как же иначе? Вот здесь он спрыгнул с коня и взял маму на руки... Конечно, это было здесь, и Днепр видел, как обрадовалась мама...

Сердце Динки растопилось от умиления. Она зачерпнула пригоршню воды и торжественно протянула сестре:

— Выпей и умойся!

Мышка покорно выпила и умылась.

Динка тоже выпила и умылась.

— Теперь мы породнились! — весело сказала она и, подкинув вверх свою матросскую шапку, звонко крикнула:

— Здравствуй, Днепр!

Громкий, счастливый смех Марины с готовностью откликнулся на голос дочки. Сестры возвращались домой примирившиеся с Днепром, но любовь к Волге оставалась незыблемой и огромной, как сама эта река, и каждый раз, когда Динку постигало горе, она жаловалась ей, как жалуются родному, близкому человеку, называя ее голубонькой, Волженькой...

Глава 2

НА НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Марина просто сбилась с ног. Нужно было устроить детей в гимназию, первым долгом старших девочек. Алина нервничала и упрекала мать, что теперь она уже никогда не догонит своих

одноклассниц и не будет первой ученицей; Мышка молчала, но ей тоже было страшно отстать от своего класса.

— Бросьте вы ныть, на самом деле! Побегали бы сами по гимназиям! Загоняли мать совсем! — возмущался Леня.

— А ты не вмешивайся! Тебе не надо в гимназию, и молчи! — огрызалась Алина.

Мальчик замолкал. Гимназия была его мечтой, но такой далекой и недосягаемой, что о ней даже страшно было думать. Лене нужен был репетитор, с которым он мог бы учиться и учиться. Об этом они часто говорили с Мариной.

— Да вы не думайте обо мне сейчас. Нам бы их вон скорей к месту пристроить! — кивал на сестер Леня.

— Всех надо устроить, и самой мне на службу поступить скорей,— озабоченно говорила Марина, с беспокойством заглядывая в свою сумочку.— Эти проклятые деньги как вода...

— А вы каждый день считайте, чтоб лишку не тратить,— волновался Леня.

— Нет уж! Лучше не пересчитывать... Все равно — что осталось, то осталось, больше не сделаешь. Надо бы на квартиру скорей переехать,— задумчиво оглядывая грязные обои дешевой гостиницы, где на первое время остановились Арсеньевы, говорила Марина.

— А я про что говорю! Вон сколько наклеек у меня! — Леня вытаскивал из кармана кучу смятых бумажек. Это были объявления о сдаче внаем квартир.

— Ах, боже мой! Где ты их берешь? — ужасалась Марина.— Нельзя же так делать?! Люди вешали, а ты сдираешь. Да еще дворник какой-нибудь поймает...

— Не в дворнике дело... А вот пойдемте, поглядите, да и переедем отсюда. Тут вон, я посчитал, сколько один день стоит! И обед дорогой. А Мышка с Алиной поковыряют, поковыряют да и встанут ни с чем... Вы тоже за неделю истаяли совсем,— хмуро говорит Леня.

— Конечно, я целый день бегаю по делам. Некогда и квартиру посмотреть... Только ведь мебель наша тоже не скоро придет, что мы будем делать в пустой квартире?

— Хоть и в пустой, пересидим как-нибудь. Никич мебель следом выслал, может, ждать-то каких два-три дня.

Леню беспокоила еще Макака. Ей было строго-настрого запрещено уходить куда-нибудь из гостиницы и гулять по незнакомым улицам. Тем более, что рядом был шумный вокзал...

Скучая, Динка лазила по всей гостинице, заводила разговор с коридорным — пожилым плутоватым человеком в сером фартуке.

— Скажите, пожалуйста, у вас есть тут такое место, где всякие баржи стоят... Ну, пристань, что ли. И какой-нибудь «Букет», а может, он тут иначе называется... Там грузчики едят... Есть у вас такое место?

Коридорный пожимал плечами.

— Есть, почему нет... Это всё больше на Подоле да на базарах тоже... Самая босота собирается...

— Какая босота? — с трепещущим сердцем спрашивала Динка.

— Ну, босяки, иначе сказать. Шмыгают промеж людей — где что украсть, где выпросить. Ох и вредный народ!

Перед глазами Динки вставал волжский берег, залитый утренним солнцем; он неудержимо манил ее к себе, как широкая, доброжелательная улыбка на усыпанном веснушками лице...

Издалека, перебирая, как струны, бегущие волны, разливалась волжская песня, ее перебивал длинный гудок парохода, мальчишки, опережая друг друга, бежали к берегу, и на бревнах сидели грузчики, закусывающие воблой.

И с затаенной надеждой снова вернуться в эти родные края и в это избранное ею общество Динка лихорадочно выспрашивала:

— Эти люди ходят босиком?

— Кто босиком, а кто в обувке. Ну, а зачем она вам, тая босота? — удивлялся коридорный.

Динка глубоко вздыхала:

— Так... перевидаться...

— И с кем?! — сморщив лоб и даже подскакивая от неожиданности, пугался коридорный.

В глазах Динки потухал интерес.

— С кем, с кем...— безнадежно говорила она и, махнув рукой, удалялась в свой номер.

Коридорный смотрел ей вслед.

«И что вона за дивчина?» — думал он, потирая двумя пальцами лоб.

Один раз Леня спросил:

— Ты что, Макака, этому дураку в фартуке наговорила?

— Ничего не наговорила.

Леня недоверчиво сдвинул брови:

— А что же это он меня спросил: не малохольная ли у вас барышня?

— Не знаю. Это, может, про Алину...

— Ну-ну! Со мной не хитри! Про Алину этого никто не скажет!

— А ты тоже в Киеве какой-то вредный стал! Никуда меня не пускаешь и с собой не берешь! А мне тут одни эти обои в клетку так надоели, что я скоро начну в них плевать — вот и все!

Леня пугался.

— Погоди плевать, скоро мы съедем отсюда! Ты что распустилась как, я за тебя прямо огнем горю! Хорошо, матерь не знает!

Но Марина все знала и видела. Она понимала, что переезд и неустроенная жизнь, четыре стены грязного номера и запрещение выходить со двора раздражали девочку и выбили ее из обычной колеи.

— Диночка,— один раз сказала она,— мне кажется, ты стала какой-то неприятной девочкой.

— Я? — испугалась Динка.

— Ну да! Ты знаешь, есть такие противные дети, которые не обращают внимания, что взрослым трудно, а всё что-то требуют для себя, лезут во всякие дела, угрожают, выкрикивают что-то... Ты бы сама последила за собой, Дина!

— Я послежу, мама! — согласилась притихшая Динка.

На ее счастье, Лёне наконец повезло, и он нашел на Владимирской улице чистенькую, уютную и недорогую квартирку.

Неподалеку был Николаевский сквер, в котором, как мечтал Ленька, будет безопасно гулять его Макака, с обручем или с мячиком, как все приличные дети, которых он видел, проходя мимо.

Переезжать решили немедленно. Динка ожила, захлопотала. Нагрузившись картонками и мелкими вещами, она гордо прошла мимо коридорного и, высвободив одну руку, многозначительно постучала пальцем по лбу...

Владимирская улица с непрерывно позванивающим трамваем, спускающимся с горы, ей очень понравилась, а во дворе новой квартиры Динка заметила мальчика. Он был в форме реального училища и стоял у ворот без шапки. Ветер шевелил у него надо лбом темный хохолок. Он с интересом смотрел на приезжих, и смешливые губы его растягивались в улыбку. Динке это не понравилось.

«Надо сказать Леньке, чтобы отлупил его»,— подумала она.

В этой квартире было пять маленьких, уютных комнатушек с белыми, только что оштукатуренными стенами. Алина оживленно и весело говорила:

— Вот это для Динки с Мышкой, вот эта — маме, вот эта — мне, а вот эта — столовая, здесь может на диване спать Леня...

— Лёне надо отдельную комнату, ведь он будет заниматься! Вот эту угловую светлую комнату дадим Лёне... Вот здесь поставим стол, два стула... кровать...— распределяла Марина и вдруг, оглянувшись на пустые стены, всплеснула руками: — Вот так въехали! Ни стола, ни стула!

Динка взвизгнула от удовольствия, и все неудержимо расхохотались. Это был первый веселый смех на новом месте.

— Ничего, переживем! Сейчас все печки затопим! Здесь одна старуха прямо во дворе дрова продает. Я сейчас сбегаю! — кричал Леня.

— Вот как удобно! Дрова прямо во дворе!

— На дворе трава, на траве дрова...— начала скороговоркой Динка.

Вечер был веселый, уютный. Леня добросовестно натопил все печи, девочки сварили на плите горячую картошку, вскипятили чай. Марина расстелила прямо на полу скатерть.

— Как дома! Как дома! — радовались девочки, обещая храбро пережить время, пока придет мебель.

К счастью, мебель пришла на другой же день.

Леня с прилипшими ко лбу волосами метался по вокзалу, вместе с грузчиками таскал вещи, отстранив Марину, торговался и расплачивался и вечером, когда вся мебель была уже на местах, торжественно заявил:

— Началась новая жизня!

— Ах ты, моя «жизня»! — расхохоталась Марина и, растрепав пыльные светлые волосы Лени, крепко поцеловала его в переносье, где сурово сходились кончики его темных бровей.— Ну, если б не Леня,— сказала она, обращаясь к детям,— мне бы не преодолеть этот день! За это мы первым долгом устроим комнату Лёне.

— Лёне! Лёне! — подхватили сестры.

Веселая суматоха с расстановкой мебели и распаковкой ящиков с посудой затянулась до поздней ночи. Зато каждая знакомая вещь встречалась с неистовой радостью.

— Мама, кофейник! И чашка! Те, что у нас на даче были!

Динка лезла ко всем со своим железным лошадиным гребнем, но никто не сердился, только Ленька укоряюще шептал:

— Ну чего зря страмишь меня перед людьми?

Поздно ночью, когда все, усталые и счастливые, укладывались наконец в свои собственные кровати, Динка вдруг весело крикнула:

— Мама! Вот посмотришь, теперь начнется полоса везения!

— Я тоже так думаю,— поддержала ее Мышка.— В новой квартире новая судьба!

— Мне бы только скорей в гимназию...— вздохнула Алина.

Марина тоже откликнулась тихим вздохом, но по другому поводу... И, словно поймав ее тревожные мысли, Леня успокаивающе сказал:

— Теперь как-нибудь проживем! Это не в гостинице, завтра мы с Алиной сходим на базар, наварим чего-нибудь и сыты будем! Не зря поговорка есть: дома и стены кормят...

— Спи уж,— сонно улыбнулась Марина и, закрывая глаза, подумала: «Боже, какое счастье для меня этот мальчик... Что бы я делала без него?»

Глава 3

ПОЛОСА ВЕЗЕНИЯ

Леня смотрел на свою комнату, как на чудо. Никогда в жизни он не мог представить себе, что у него будет своя, отдельная комната... Правда, она была невелика, в ней помещались только кровать, стол и два стула. Один стул предназначался будущему репетитору. Леня то задвигал его под стол, то ставил ближе к окну и, засыпая, с волнением представлял себе чью-то неясную фигуру в студенческой тужурке, сидящую на этом стуле...

Для уюта Марина повесила на окно занавеску и, остановившись на пороге, сказала:

— Ну, комната готова! Теперь дело только за репетитором!

И в тот же вечер она написала несколько объявлений.

— Хорошо бы какой-нибудь симпатичный студент пришел!

Леня старательно расклеил объявления и начал ждать.

В передней ему то и дело слышались звонки, но симпатичный студент почему-то не шел. С поступлением девочек в гимназию тоже не ладилось. Верноподданнические чувства начальницы женской гимназии не позволяли ей принять в число своих учениц дочерей опасного революционера; по той же причине одна из частных фирм отказала Марине в приеме на службу... Набегавшись за день, промокшая и усталая,

Марина только к вечеру добиралась домой. К ее приходу девочки вместе с Леней затапливали печи, готовили ужин. Вся семья собиралась у жаркого огонька, и Марина, никогда не позволявшая себе унывать, подбадривала детей.

— Время изменится, все переменится...— весело запевала она и, обрывая себя, говорила: — Все может перемениться в один день: и в гимназию вас примут, и служба мне найдется, и симпатичный студент к Лёне придет!

Марина оказалась права. Все три события последовали одно за другим. Сначала девочек приняли в частную гимназию: Алина попала в шестой класс, Мышка — в четвертый, Динку после небольшой проверки взяли во второй класс.

В доме все пришло в движение. Алина с красными щеками носилась из комнаты в кухню, примеряла на себя и на сестер старые формы, шумно радовалась, что форма в этой гимназии коричневая и, значит, не надо шить новую. Мышка, все время теряя то иголку, то нитки, помогала матери пришивать воротнички и нарукавники, Леня раздувал утюг и обертывал бумагой новые учебники... Одна Динка хмуро стояла у окна и, глядя на бегущие по стеклу дождевые ручейки, тяжело вздыхала.

— Ты чего дуешься? — пробегая мимо, спросил ее Леня.— Не рада, что ли?

— Совсем не рада... Не лежит у меня сердце к учению.— Динка сморщила нос и пожала плечами.— Вот не лежит и не лежит...

— Ну и дурочка! — ласково обругал ее Ленька и, поманив пальцем в соседнюю комнату, строго сказал: — Ты этот свой разговор при себе оставь, поняла? Чтоб ни один человек от тебя таких слов не слышал! Потому как стыдно это! Люди за счастье считают ученье, а она какого-то Петрушку из себя корчит!

— Какого Петрушку? — вспыхнула Динка, но Лёня не стал объяснять.

— Ладно, Макака! Ты меня поняла, и ладно! А сейчас иди примерь форму. Может, тоже какой воротник мать приладит, чтоб не хуже людей была!

И вот настал день, когда перед тремя сестрами как последнее препятствие встала тяжелая парадная дверь женской гимназии. Они пришли раньше всех. За толстыми расписными стеклами не спеша маячила внушительная фигура швейцара с золотыми позументами.

— Там какой-то генерал ходит,— приглядываясь, сказала Динка.

— Это не генерал, а швейцар,— шепотом поправила ее Алина и, покраснев от натуги, снова налегла на дверь; Мышка попробовала помочь ей.

— А ну пустите! — нетерпеливо сказала Динка.— Я ее сейчас головой прободаю!

И, оттолкнув сестер, как бычок, уперлась головой в дверь, которую в этот момент широко распахнул швейцар. Три девочки пулей влетели в переднюю.

— Ну и гимназия у вас, даже дверь не открывается! — сердито бросила швейцару Динка, на ходу снимая свое пальто.

Алина сделала строгие глаза, а Мышка тихонько хихикнула.

«Мы не просто вошли, а влетели»,— рассказывая потом дома, смеялась она.

Передняя быстро заполнилась ученицами. Младшие, обгоняя старших, со смехом и шумом бежали наверх...

Девочки разделись. У подножия широкой, устланной ковром лестницы Алина последний раз оглядела сестер, поправила им воротнички.

— Ну, пойдемте... Каждая в свой класс...

Около второго класса толпились девочки. Динка быстрым взглядом охватила тонкие и толстенькие коричневые фигурки в черных фартуках, прыгающие по плечам коски с пышными бантами, по-детски одутловатые щеки... Девочки эти пришли с начала года, они уже обвыклись, перезнакомились между собой и с любопытством смотрели теперь на новенькую. Динка взялась за ручку двери и, помедлив на пороге, неожиданно для себя сморщила нос, оскалила зубы и с коротким рычанием шагнула в класс. Классная дама, с высоко поднятыми плечами

и неподвижно сидящей на шее головой с желтыми буклями, указала Динке ее парту.

— Вот, девочки, ваша новая подруга, Надежда Арсеньева!

— Никаких Надежд...— хлопая крышкой парты, проворчала Динка, и, когда классная дама вышла, она громко заявила: — Зовите меня, пожалуйста, просто Динка, я терпеть не могу никаких Надежд! И не сердите меня, потому что я нервная! — Она снова изобразила оскаленную собачью морду и, увидев вокруг испуганных, удивленных и неудержимо хихикающих девочек, с удовлетворением села на свое место.

В классе поднялся шум. Сбившись в кучку, девочки шептались, прерывая шепот громким смехом и испуганно затыкая себе рты. С Динкой никто не хотел садиться; соседка ее поспешно выгребла из парты свои тетрадки и ушла к подругам... По коридорам прокатился гулкий звонок, но шум в классе не утихал!

— Мадмуазель! Мадмуазель! — хлопая в ладоши, кричала классная дама.

Динка сидела тихохонько, подобрав под себя ноги и вперив глаза в черную доску.

Когда классная дама решительно приказала ее соседке вернуться и дрожащая беленькая девочка присела на краешек парты, Динке стало жаль ее, и она шепотом сказала:

— Не бойся. Я пошутила...

Соседка неуверенно кивнула головой и, пересиливая испуг, спросила:

— А давно это у тебя?

— После пожара... Дурешка! — сердито обругала ее Динка.

Девочка снова отодвинулась на край парты и замолчала. Румяная, пухленькая учительница, которую звали Любовь Ивановна, понравилась Динке; лицо у учительницы было круглое, уютное, но голова так же торчала между плеч, как и у классной дамы. Динка заметила, что у обеих в белых стоячих воротниках были воткнуты какие-то палочки. Учительница проверяла заданные на дом стихи. Динка подняла руку.

— Я тоже знаю эти стихи,— сказала она, выйдя к доске, и с чувством прочитала:

Поздняя осень, грачи улетели...

Динка читала хорошо, и, по мере того как она читала, испуг девочек понемногу прошел, и на большой переменке, окруженная со всех сторон новыми подружками, Динка уже, бурно фантазируя, описывала грандиозный пожар на одном из волжских пароходов, после которого она, Динка, начала вот так по-собачьи скалиться... Подружки удивлялись, сочувствовали.

— А мы так испугались! — говорили они.— Так испугались!

— Не бойтесь! — великодушно успокаивала их Динка.— У меня бывает очень редко... И не всегда одно и то же... Бывает просто чиханье или икотка...

Заинтересованность девочек дошла до высшей точки; особенно прилипла к Динке одна тоненькая вертлявая девочка по прозвищу «Муха». У Мухи были маленькие цепкие ручки, гудливый голосок; разговаривая с подругами, она лезла им прямо в лицо и перелетала от одной парты к другой. И только у доски Муха стояла тихенькая, молча перебирая своими цепкими лапками передник и опустив вниз гладкую, прилизанную головку... Муха первая оценила по достоинству новую подругу.

— А что с тобой еще делается? А что с тобой еще после пожара было? — цепляясь за Динкин передник, жадно выспрашивала Муха.

В конце концов Динке это надоело, и, оскалившись еще раз, к общему удовольствию девочек, она сердито пригрозила:

— Отойди, а то я тебе такой пожар устрою, что своих не узнаешь!

Но напугать Муху было трудно, и с этого дня она стала ходить за Динкой по пятам, с восторгом поддерживая всякие выдумки, которые вызывали дружный хохот в классе.

— У меня уже есть подружка! — в первый же день похвалилась дома Динка.— До сих пор я всегда дружила с мальчиками, а теперь буду дружить с девочками!

Сестры пришли из гимназии веселые. Алина радовалась, что, занимаясь дома, она почти не отстала от своего класса; Мышке понравились ее новые подруги, и все учителя тоже показались ей очень хорошими... А кроме того, она скромно сообщила, что по русскому ее сегодня уже вызывали. Мышка обвела всех сияющим взглядом:

— Сколько, по-вашему?

И, не дождавшись ответа, растопырила пять пальцев.

— Вот!

Алина растерянно смотрела на ее пальцы.

— Ого! Так сразу? Да ты и меня опередила! Смотри же держись за эту отметку, ни в коем случае не снижай! Ради папы мы должны быть первыми ученицами. Все трое! Слышите, дети? — Алина все еще в торжественных случаях звала сестер «детьми».

— Конечно, я буду изо всех сил стараться! — нерешительно согласилась Мышка.

— И Леня тоже будет стараться! — выскочила Динка.

Мальчик покраснел, неловко одернул курточку:

— Ну, я еще не учусь... Мне пятерки получать негде...

— Конечно, о Лёне еще рано говорить,— холодно согласилась Алина.

Младшие сестры, задетые ее равнодушным тоном, хотели ей горячо возразить, но в это время в передней раздался звонок, и Динка бросилась открывать дверь.

— Это симпатичный студент! — кричала она, вбегая в столовую.— Это какой-то Гулливер по объявлению!

Вслед за Динкой, наклонив голову, чтоб не стукнуться о притолоку двери, в комнату шагнул высокий, худой юноша в студенческой тужурке.

— Да, я по объявлению,— спокойно сказал он, глядя сверху вниз на застывших от неожиданности сестер.

Алина и Мышка молчали. Леня тоже молчал; уши его горели, серые глаза напряженно и восторженно смотрели на

своего будущего репетитора. Одна Динка, вцепившись в рукав студента, тащила его на середину комнаты, громко крича:

— Что же вы все молчите? Ведь это тот самый симпатичный студент! Мама! Мама! Иди скорей сюда!

На шум вышла Марина. Увидев мать, Мышка опомнилась и, краснея, предложила гостю сесть.

— Мы вас так ждали, что даже растерялись,— прошептала она.

Студент быстрым взглядом окинул ее легкую фигурку в гимназической форме, такие же легкие, разлетающиеся вокруг головы волосы и смущенное розовое лицо с острым носиком.

— Не беспокойтесь,— улыбнулся он.— Я привык ничему не удивляться!

Алина пожала плечами и, бросив на мать вопросительный взгляд, вышла.

Марина засмеялась:

— Все произошло как на сцене... Мы действительно очень ждали вас... Давайте скорей познакомимся и сразу почувствуем себя проще! Прежде всего, вот мой сын Леня, ваш будущий ученик...

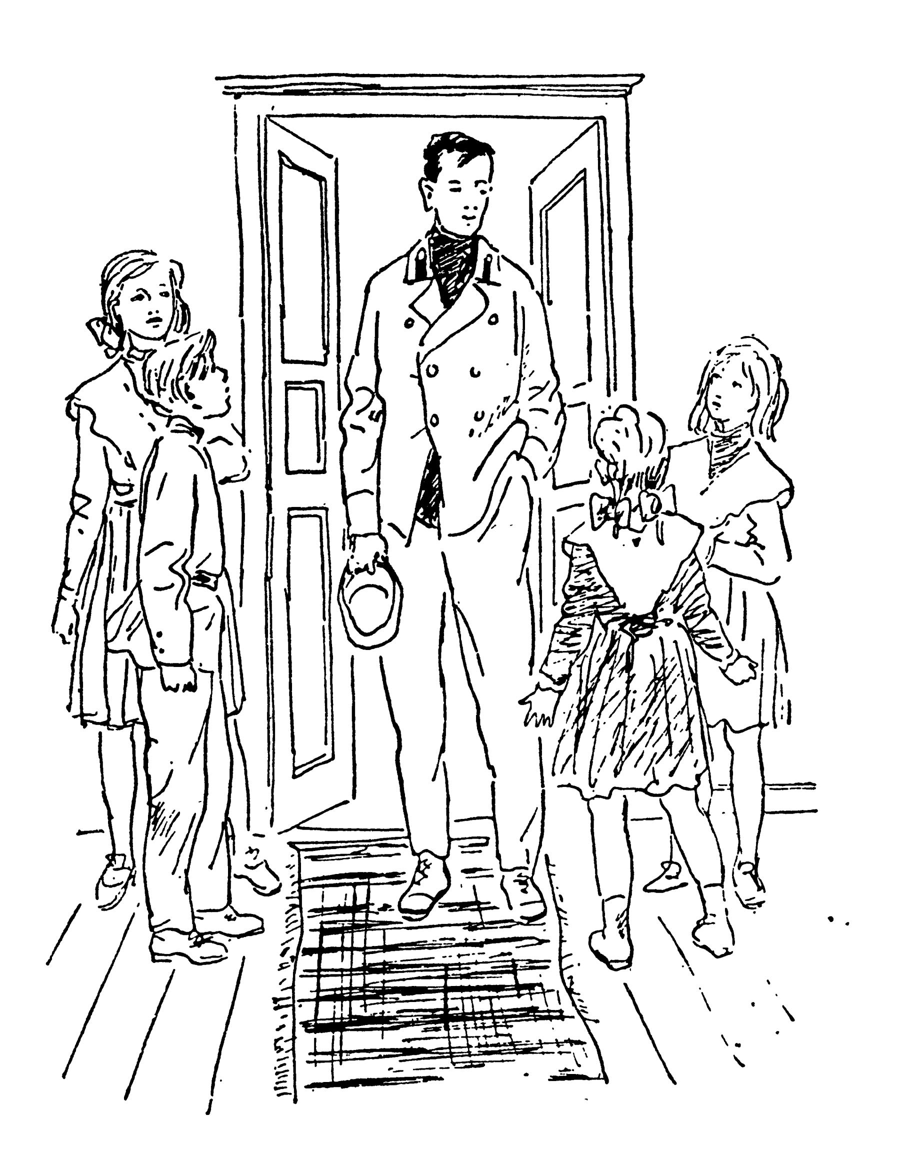
Марина обняла мальчика за плечи. Леня казался таким маленьким и потерянным перед высоким студентом.

— Меня зовут Вася. Отчество не требуется. Фамилия моя Бровкин,— отрекомендовался студент, крепко пожимая руку Марине и тут же дружески предупреждая: — Об условиях поговорим потом.

У него была манера крепко и больно, одним рывком жать руку и говорить короткими, точными фразами, прекращая всякий, по его мнению, лишний разговор. Марина, не ожидавшая такого сухого, официального тона, слегка смутилась.

— Я должна поговорить с вами...— начала она, бросив взгляд на Мышку

Девочка поспешно увела Леню и Динку в соседнюю комнату. Все трое остановились у двери, невольно прислушиваясь.



Марина говорила недолго, раза два ее прерывал густой бас... Леня стоял бледный и, кусая ногти, беззвучно шептал:

— Не согласится... Уйдет...

Но студент не ушел. Из-за двери еще раз донесся его густой голос:

— Я всё понял. Мы начнем сегодня же. Позовите моего ученика...

Дверь открылась.

— Леня, покажи Васе свою комнату,— сказала Марина.

Леня опрометью бросился вперед. Студент, остановившись на пороге, дружески обнял его за плечи.

— Все будет хорошо! — ободряюще сказал он.

От этих слов Леня ожил, расцвел, засуетился... и замер от восторга, когда Вася сел на стул, именно на тот стул, на котором так часто представлял его себе Леня... Вася сел, положил на стол широкую ладонь, огляделся... Но в это время дверь тихонько скрипнула, и в нее боком протиснулась Динка. Лицо у нее было очень серьезное, вокруг головы повязана широкая черная лента, из-под которой во все стороны торчали непослушные вихры.

Не обращая внимания на тревожные знаки Лени и на строгий вопросительный взгляд репетитора, она вскарабкалась на подоконник и, задернув за собой занавеску, скромно уселась там, сложив на коленях руки.

— Что это за явление? — недовольно спросил студент.

Леня подбежал к девочке и взволнованным шепотом начал умолять ее уйти:

— Макака... Я же тебя прошу... Он может рассердиться...

Репетитор нетерпеливо постукивал по столу пальцами, потом встал, широким шагом подошел к окну, отодвинул занавеску, за которой скрывалась Динка, и строго спросил:

— Ты зачем здесь?

— Я с Леней... Мы вместе...— пробормотала Динка.

— Это ни к чему. Ты нам мешаешь,— сказал репетитор.

Легко, как перышко, он перенес ее к порогу, открыл дверь:

— Ступай!

Леня ожидал, что Динка заупрямится, будет добиваться... Но за дверью было тихо. Репетитор вернулся к столу.

— Исчадие ада,— как бы мимоходом сказал он, придвигая к себе аккуратную горку тетрадей.

Леня не понял, но переспрашивать не решился.

«Это что-нибудь из закона божия»,— подумал он, вытаскивая из ящика стола новенький учебник Ветхого завета. Но репетитор не обратил на него внимания. Задумавшись, он сидел, поглаживая ладонью гладкую поверхность стола. Репетитор решал первую трудную задачу: с чего начать?

Леня, присев на кончик стула и вытянув шею, напряженно ждал. Неожиданно, словно приняв какое-то решение, студент круто повернулся к своему ученику.

— Да! В наших судьбах с тобой есть много похожего... Ну, об этом мы еще поговорим, а сейчас я проверю твой багаж... Стой! Не вздумай выдвигать из-под кровати свой чемоданчик! — громко расхохотался репетитор, видя, что Леня испуганно и нерешительно смотрит на дверь.— Вот этот багаж — в твоей голове... Ну, знания, которые ты там накопил за свои годы...

Смех студента, неожиданный и громкий, совершенно успокоил мальчика. Ленька вдруг освободился от какой-то тяжести и напряжения, сдавливающего его словно обручем... Закинув голову, он тоже разразился счастливым мальчишеским смехом и, утирая рукавом нос, сказал:

— А я думал, обыск! В моей башке все сразу вверх тормашками перевернулось! Вот, думаю, куда заехали, и опять обыск! Вскочил было бежать предупредить своих!

— Подожди,— живо перебил его репетитор.— Что-то напел ты несуразное... Почему это у вас могли быть обыски?

— Ого! — усмехнулся Ленька.— Мы птицы стреляные!

Но, боясь сделать какую-нибудь промашку, он откашлялся и, поспешно придвинув к репетитору один из учебников, раскрыл заложенную бумажкой страницу:

— Вот тут я читаю...

Потом, выбрав одну из тетрадок в линейку, положил ее перед репетитором.

— А вот как пишу... Это мне Алина поправляла... Вон красным карандашом все крест-накрест перечеркнула.— Он перевернул страницу: — А это Мышка... Она осторожненько поправляет... Только одни ошибки... и то, чтоб не обидеть...

Вася наклонился. Внизу страницы, исписанной Ленькиными каракулями, стояла отметка «четыре» и подпись: «Мышка».

Он перевернул страницу и посмотрел на другую, резко перечеркнутую красным карандашом. Там стояла отметка «два» и подпись: «Алина».

— Интересно,— усмехнулся студент.— Сразу видно два характера...

Он вспомнил застывших у дверей девочек и живо спросил:

— Кто же из этих девочек Алина, а кто Мышка?

— Да их сразу видно! Которая постарше, глаза такие голубые,— это Алина, а тоненькая, беленькая,— это Мышка!

Репетитор прищурил глаза, снова припоминая безмолвную сцену у дверей, и вдруг с готовностью кивнул головой:

— Да, да... Они разные, это верно... Родные сестры?

— А как же, все трое родные. А это их мать, что потом пришла,— заторопился Леня.

— Погоди... А этот лохматый шарик, что сначала встретил меня в передней, а потом эдакой смиренницей уселся на окошке? Чья это такая?

— Да это Макака! — засмеялся Ленька.— Для нее закон не писан!

— Ну-ну! — покачал головой Вася.— Трудная у тебя компания! А эта девчонка действительно макака! Ей бы только по деревьям лазить!

— Она может! Она что хочешь может! Ничего не боится! — с гордостью сказал Ленька.

— Оно и видно! Балованная... Я б ее драл с утра до вечера! — неожиданно сказал студент.

Леня махнул рукой.

— Не стали бы! — уверенно сказал он и добавил со сча-

стливой многообещающей улыбкой: — Вот узнаете нашу семью, тогда будете иначе думать. А я их всех люблю!

— И эту, голубоглазую? — подозрительно спросил студент.

— И ее...— немного помедлив, сказал Леня.

— Не думаю,— уверенно заявил студент.— Уж очень она барышня...

— Что вы! — испугался Леня.— У нас слово «барышня» вроде ругательного... И к Алине оно никак не подходит. Алина у нас умная, на одних пятерках учится, она не лентяйка какая-нибудь...

— Да?.. Ну, давай оставим это пока и займемся тобой... Сейчас я погляжу, что ты знаешь, а потом составлю тебе расписание уроков, и мы будем метить прямо в пятый класс! Не весной, так осенью! — потирая свои большие ладони, с неожиданной энергией сказал репетитор. Ученик пришелся ему по душе.

Полоса везения в семье Арсеньевых завершилась еще одним, третьим событием: Марина поступила на службу.

— Вот теперь если бы хоть какую-нибудь весточку получить о папе,— тоскуя, говорила она детям.— Тогда все было бы хорошо.

Со времени приезда в Киев Марина ничего не знала о муже и очень волновалась.

Глава 4

ГУЛЛИВЕР СРЕДИ ЛИЛИПУТОВ

Приход репетитора был знаменательным событием в семье. Событие это каждый переживал по-своему. Леня ходил торжественный, подтянутый, с рассеянной улыбкой смотрел на свою комнату, на стол... Он еще никак не мог поверить, что тот самый репетитор, которого звали таким обычным именем «Вася», придет и завтра и послезавтра... Придет для того, чтобы сделать из него, Леньки, образованного человека, гимназиста...

Алина, поглядывая на Леньку, усмехалась.

— Он совсем обалдел, мама! — шептала она матери и тут же решительно добавляла: — Я буду помогать ему изо всех сил, его необходимо скорее обтесать, ведь все думают, что он наш брат!

Мышка просто радовалась, заглядывая Лёне в глаза и, забываясь, по нескольку раз в день спрашивала одно и то же:

— Леня, он еще ничего не задавал тебе? Может, нужно какую-нибудь тетрадку? Возьми у меня! И ручку мою возьми, там такое перо, что совсем не делает клякс.

Динка, необычайно любившая всякие события, не могла простить Васе, что он так бесцеремонно выпроводил ее из Лёниной комнаты; она уже не встречала его веселым криком: «Идет студент!», а сухо сообщала:

— Леня, идет твой длинный Гулливер!

Динка понимала, как важно для Лени появление репетитора, но, видя общую радость, пыталась использовать ее и для себя.

— Ну давайте хоть угостимся, раз этот Вася пришел! Леня, дай мне денежек, я сбегаю за тянучками!

— Да откуда у меня деньги? — расстраивался мальчик.

Динка была сластена и по любому случаю мучила его такими просьбами.

— Жалко, жалко... К тебе репетитор пришел, а ты три копейки для меня жалеешь! А как на утесе были, так я без всякого репетитора сколько сахару там сгрызла,— обидчиво бубнила Динка.

— Да ведь мамины это деньги, на хозяйство дадены, поняла? Мы с Алиной каждый день все расходы записываем, как же я могу тебе чужие деньги давать? И так уж то тянучку впишу, то конфету «Гоголь»... Погоди выучусь немного, тогда сам начну зарабатывать...

— Ага! Буду я еще ждать! Я к маме пристану! — пугала Динка.

— Нет, матерю ты не беспокой, у ней и так полна голова забот! Нá вот тебе на две тянучки, и отстань... Ничего на свете знать не хочешь — дай ей, подай, и кончено!

Сдвинув темные брови, мальчик растерянно рылся в своем хозяйственном кошельке... И Динке становилось жаль его.

— Не надо,— говорила она, махнув рукой.— Я уже расхотела. Я за этого Гулливера ни одной тянучки не хочу... С чего это мне радоваться, если он меня выгнал...

Время шло, и постепенно все в доме привыкли к аккуратному появлению долговязой Васиной фигуры, к его размеренным шагам и спокойному густому голосу. Однажды он попросил Марину вместо платы за урок кормить его обедом. К тому времени в кухне у Арсеньевых уже появилась веселая черноглазая украинка Маруся и взяла в свои руки все хозяйство. Вася называл Марусю профессором украинской мовы, так как она терпеливо обучала Динку украинскому языку, по-своему разъясняя ей значение непонятных слов.

— Мне было бы очень удобно обедать у вас, иначе придется терять время на столовую, а время нам с Леонидом дороже всего! — сказал Вася.

Марина согласилась, предупредив детей:

— Вася будет у нас обедать, поэтому я вас очень прошу: не поднимайте за столом шума. У нас принято так: если чего-нибудь мало, все начинают отказываться и громогласно предлагать друг другу.

— Ну, это ты скажи Мышке и Лёне. Они постоянно перекладывают какие-то куски из тарелки в тарелку; конечно, чужому человеку это покажется неприлично! — заявила Алина.

— Да я только иногда, если что-нибудь вкусное, Динке...— оправдывалась Мышка.

— Ты Динке, а Леня Макаке,— расхохоталась Алина.— Вот и получается очень милая картинка!

— Одним словом, смотрите, чтобы, глядя на вас, этот самый Вася тоже не начал перекладывать со своей тарелки в Динкину! — засмеялась и Марина.

— А мне что? Кладите хоть все! Я если набегаюсь, то целого вола съем! — веселилась Динка.

В первое время, когда Васина фигура начала возвышаться в конце стола, за обедом царила такая тишина, что Динка боялась есть, чтоб не «чавкать», и, получив вкусную кость, убегала с ней на кухню.

— Та чого ты бигаешь с тою кисткою? — удивлялась Маруся.— Чи кто ее отнимае у тебя?

— Да я хочу всласть погрызть, а там репетитор...

— А хиба репетитор кисткы не грызе? — риготала Маруся.

Стесненная тишина, царившая за столом, длилась недолго. Вася держал себя очень просто, ел с аппетитом здорового человека, иногда немногословно что-нибудь рассказывал. История его жизни, которую уже знал Леня, вызвала сочувствие и споры. Вася был сыном чернорабочего. Отец его, надорвавшись на работе, умер, а мать поступила прачкой в семью инженера. Когда Вася подрос, хозяева помогли матери устроить его в гимназию на казенный счет. Вася был первым учеником; он обожал мать и мечтал, окончив гимназию, поступить на любое место, лишь бы уйти от своих благодетелей. Но мать умерла раньше, чем Вася кончил гимназию,— мальчик был только в пятом классе. Умирая, мать оставила Васю на своих хозяев.

— Конечно, я ни на что не мог пожаловаться, это были вполне интеллигентные люди. И все же я ушел, я ненавидел всякое благодеяние, я не мог есть за их столом...— сказал Вася.

— Но как же они отпустили вас? — с горечью спросил Леня.

— Какое там отпустили! Они и уговаривали меня, и просили именем матери, и высылали мне по почте деньги...— Вася махнул рукой.— Одним словом, я им наделал много хлопот и все-таки не вернулся. Набрал уроков, голодал, ходил в рваных ботинках, но зато знал, что никому не обязан...

Леня покачал головой:

— Как же так можно?.. Ведь они хорошие люди.

— Да, неплохие. Очень неплохие, они и мать мою не обижали — последнее время она у них почти не работала,— летом

брали нас с ней в имение... Хорошие люди, но я всегда видел в них «благодетелей», и это унижало меня.

История Васи взволновала Арсеньевых, и, когда Вася ушел, они продолжали бурно обсуждать ее.

— Ну и бессовестный! Просто неблагодарный! — возмущалась Алина.

— Ах, нет, нет! Так нельзя судить, мы же многого не знаем! — защищая Васю, говорила Мышка.

— Конечно. Но если эти люди обещали умирающей матери поставить ее сына на ноги, то я могу себе представить, как они себя чувствовали, когда он ушел... Ушел на голодную жизнь, совсем еще мальчиком... в шестом классе,— вздохнула Марина, исподволь с тревогой наблюдавшая за Леней.

Леня долго молчал, потом, словно про себя, мрачно сказал:

— Не прижился он... Чужим себя чувствовал, а каждый день чужой хлеб есть не будешь. Вот и ушел.

— А ты прижился! Ты уже никуда не уйдешь! — встрепенулась вдруг Динка и с тревогой взглянула на мать.

— У меня четверо детей,— задумчиво сказала Марина.— Разве бросил бы меня мой сын с тремя девчонками? — Она покачала головой и ответила себе сама: — Нет, никогда!

— Никогда! — серьезно подтвердил Леня.

— Так он же не чужой, он наш! А этот Гулливер вообще чужеватый ко всем людям, у него и лицо такое жесткое, как камень! Он сам никого не любит! — кричала Динка.

Леня вдруг хитро улыбнулся:

— А вот походит к нам и оттает маленько. Захолодал он со смерти матери, а обогреется и человеком станет в лучшем виде. А я уже привык к нему, мне он самый лучший...

* * *

Устав от занятий и целого дня беготни по урокам, Вася усаживался в кресло около пианино и, вытянув свои длинные ноги, отдыхал, невольно проникаясь теплом окружающей обстановки. За окнами сеялся мелкий дождь; прохожие, низко

наклонив головы, спешили домой; по опустевшим вечерним улицам носился сердитый ветер, а в уютной маленькой столовой ярко горела печка. Марина любила живой огонь, и потому дверцы печки были всегда открыты, и там красными, синими и розовыми огоньками вспыхивали догорающие поленья. Не зажигая огня, Марина присаживалась к пианино и начинала что-нибудь тихонько наигрывать по памяти. Собирались девочки, залезали с ногами на кушетку, Леня придвигал свой стул поближе к Васиному креслу.

— Вася! — капризно говорила Динка, переступая через вытянутые на середину комнаты Васины ноги.— Уберите ваши большие ноги, мы боимся таких больших ног! Задвиньте их куда-нибудь под стол!

— Дина! — строго останавливала сестру Алина.

А Мышка, боясь, что Вася обидится, поспешно смягчала ее слова:

— Ничего, ничего, Вася... Это же просто такие башмаки...

— А вы тоже боитесь? — спрашивал Вася, подбирая ноги.

— Нет, что вы... Я их обхожу, здесь же много места...

Ко всем членам семьи Арсеньевых Вася относился строго и придирчиво, одна только Мышка неизменно вызывала в нем тихое умиление. Часто, сидя в своем кресле, Вася, забывшись, смотрел на разлетающийся венчик тоненьких волос вокруг Мышкиной головы, на мелкие веснушки, рассыпанные на курносом и удивительно светлом лице девочки...

— Когда я смотрю на нее, мои глаза отдыхают, и вся усталость, вся накипь дня смывается с моей души, как черная копоть,— с восторгом говорил Вася своему ученику и тут же, взъерошив свои густые волосы, привычно удивлялся: — И как это в одной семье, у одной матери могут быть такие разные дети? Динка и Мышка! Как их сравнить?

— А я их и не сравниваю... Я для Мышки в огонь и в воду полезу, а без Макаки я и одного дня не проживу! — горячо говорил Леня.

Вася искренне хохотал:

— Смотри, смотри, это твоя Макака может за один час всю твою жизнь вверх тормашками перевернуть!

— Это она может! Она еще не то может! — с гордостью согласился Леня и, улыбаясь, просто добавил: — Вот за то и люблю!

У Васи с Леней почти с первого дня установились крепкие, дружеские отношения. Леня уже не стеснялся больше своего репетитора, но относился к нему с горячей благодарностью и уважением. Так постепенно Вася Гулливер входил в семью Арсеньевых, пристально разглядывая каждого из членов ее, и, не скрывая своих симпатий, к каждому относился по-разному. Это отношение часто заставляло его изменять своему твердому правилу не вмешиваться в чужие дела.

Глава 5

ГОРЕСТНАЯ ВЕСТЬ

На улицах кучками собирались люди. Студенты стояли без шапок, на ходу читали газету, окаймленную траурной рамкой. Умер Лев Николаевич Толстой... Вася, держа в руке шапку и газету, остановился у двери арсеньевской квартиры.

«Знают или не знают?» — подумал он, пряча в карман газету. В последние дни девочки то и дело бегали за бюллетенями, волновались и чуть не плакали.

«Нервные такие девчонки... Если еще не знают о смерти Льва Николаевича, то, может, мне удастся осторожно подготовить...» — решил Вася.

Входная дверь была не заперта, внутренняя лестница вела на второй этаж, дверь в коридор тоже оказалась открытой. Шагая через три ступеньки, Вася дошел до верхней площадки, остановился, прислушался... До него донесся чей-то жалобный голос, повторяющий нараспев одни и те же слова, прерываемые протяжным громким плачем.

«Динка воет! — сообразил Вася.— Сейчас она расстроит Алину, Мышку... Главное, Мышку... Девочка и так слабенькая... Ах ты, исчадие ада...» — с раздражением подумал Вася, шагая по коридору.

Навстречу попалась Маруся.

— Идите скорей, Васю, бо так порасстраивалысь наши...— махнув рукой, сказала она.

Вася сердитым рывком открыл дверь и остановился на пороге. Согнувшись, как старушка, и раскачиваясь из стороны в сторону, Динка сидела на полу около кушетки и, вытирая кулаками слезы, громко причитала:

— Ой, Волженька, Волженька... Голубонька моя, Волженька, зачем же мы сюда заехали?

Около стола стояла Алина. Лицо у нее было серое, как после бессонной ночи, но глаза сухие, строгие. Она поддерживала стакан, из которого, цокая зубами о края, пила Мышка. Около девочек, бледный и растерянный, стоял Леня. Вася бросился к Мышке, взял из рук Алины стакан воды и, срывая на ней свое раздражение, сурово сказал:

— Что вы здесь развели? Ведь вы же старшая! Стыдно! Выпейте, Мышка! Выпейте, голубчик! И возьмите себя в руки, нельзя же так...— ласково обратился он к расстроенной Мышке.

— Вася... Он так мучился... Так болел... Столько книг написал... и... умер...— послушно глотая воду, жалобно говорила Мышка.

— Ой, Волженька, Волженька... Он и «Ваньку Жукова» написал... и «Бог правду видит...» — подвывала Динка.

— «Ваньку Жукова» не он написал... это Чехов... ты никогда ничего не знаешь,— упрекнула сестру Алина.

— Ну, выпейте еще... Выпейте еще глоточек, Мышенька...— несвойственно ласково упрашивал Вася, заглядывая в серые глаза девочки.

Динка на одну минутку перестала причитать и, подняв голову, с живостью спросила:

— А Чехов? Чехов жив?

— Чехов уже давно умер...— не глядя на нее, ответила Алина.

— Как? Значит, и «Ваньку Жукова»...— Динка схватилась за голову: — Ой, Волженька, Волженька... Сердце у меня разрывается... Все писатели умерли...

— Леня! — в бешенстве крикнул Вася.— Выведи сию минуту отсюда эту плакальщицу! Марш отсюда, безобразница эдакая! — топнул ногой Вася.

Но Леня неожиданно вырос перед ним и, сцепив над переносьем свои черные брови, хмуро сказал:

— А что ж она, хуже других, что ли? Ей тоже жалко...— и, обняв подружку за плечи, молча увел ее в свою комнату.

По коридору застучали каблучки Марины; Вася с облегчением поставил стакан.

— Мама! Мамочка!

Откуда-то из-под руки Лени вывернулась Динка, и все три девочки бросились к матери:

— Умер... Умер...

Марина обняла всех троих, прижалась щекой к их пушистым головам и с глубоким чувством сказала:

— Ну, что ж делать... Он уже был старенький... Он уже не страдает...

Вася молча наблюдал эту сцену, и против его воли какие-то смешанные чувства печали, нежности и глубокого уважения к этой семье охватывали его душу.

— Лев Николаевич оставил нам бессмертную память... Мы будем читать его книги... Все плачут сейчас... Вся Россия... Что же делать, что делать... Люди умирают... А вспомните, сколько погибло революционеров, сколько честных, бесстрашных людей... Сколько гибнет их сейчас в тюрьмах и ссылках...

Марина говорила, и проникновенный голос ее оказывал на девочек тихое, успокаивающее действие.

И когда Мышка, оторвавшись от матери, грустно спросила: «Мамочка, а почему писем от Кати так долго нет?» — Вася на цыпочках прошел в комнату Лени и, схватившись за голову, шепотом сказал:

— Честное слово, Леонид, не удивляйся, если в один прекрасный день я сяду рядом с этой твоей Макакой и начну причитать: «Ой, Волженька, Волженька...»

Но Леня не расположен был шутить.

— С ними каждый человеком станет,— мрачно заявил он.

Глава 6

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА И НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

С первым снегом Киев сразу похорошел, принарядился. Чистый, стройный, отороченный белым пухом, он, как лебедь, не спеша заплывал в Динкино сердце и неожиданно радовал ее то цветными огоньками на катке, то сказочным Владимирским собором, где отовсюду смотрели на Динку живые глаза святых, а на хорах трогательно и складно звучали молодые голоса.

— Как хорошо там поют, мама! Если бы я была верующая, я все время стояла бы на коленях! — говорила дома Динка.

Неровные, гористые улицы Киева, заснеженные каштаны и стройные тополи, застывший на зиму Днепр — все начинало нравиться Динке... Даже гимназия.

В гимназию она бегала теперь охотно и, потряхивая ранцем на спине, далеко обгоняла сестер. Еще бы! В гимназию Динка являлась, как артист на гастроли. Уже в раздевалке она бойко здоровалась со швейцаром и, прыгая по ступенькам лестницы, торопилась в свой класс. А там уже ждала ее излюбленная публика — смешливые девчонки, которые по любому поводу заливались смехом. Иногда с порога класса Динка просто показывала им палец, и они начинали хохотать; только еще завидев Динку, они уже прижимали к губам ладошки и хихикали в ожидании ее веселых штучек. А Динка была изобретательна. Иногда она входила в класс совсем как учительница Любовь Ивановна и, точно как она, мерно помахивая рукой, говорила:

— Слушайте, дети, слушайте! Земля — это круглый шар, и этот шар все время вертится...

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! — заливались подружки.— Арсеньева! Динка! Покажи батюшку!

Динка прятала под фартук руки и, выпятив живот, ходила по классу, визгливо восклицая:

— Де-ти мои! Господь бог наградил Давида божественной силой, и слабый Давид победил Голиафа!

Девчонки визжали от удовольствия, а на уроках, когда к доске вызывали Арсеньеву, с ними не было сладу.

— Тише! Тише! — надрываясь, кричала Любовь Ивановна, а Динка, стоя у доски, корчила смешные рожи.— В чем дело, наконец?

Любовь Ивановна с возмущением оборачивалась и встречала удивленный, невинный взгляд Динки.

— Они не дают мне отвечать урок,— скромно жаловалась та.

Знаний, которыми так щедро наделила ее Алина, еще хватало, поэтому Динка не утруждала себя домашними уроками, разве только по русскому, когда задавали что-нибудь писать. По чтению Динка была первой ученицей, память тоже не подводила ее, и Марина, просматривая дневник младшей дочки, с удовлетворением говорила:

— Ну, кажется, наша Динка взялась за ум...

— Конечно. А что же мне, дурочкой быть? — скромно отвечала Динка, продолжая беззаботно развлекаться и развлекать других.

В ее классе было много богатеньких девочек, их провожали в гимназию гувернантки.

— Фрейлейн, застегните мне панталончики, я не могу сама! — дразнила их Динка, к общему удовольствию остальных.

Муха, вцепившись лапками в Динкино плечо и щекоча ей ухо, шептала что-то, соблазняя на новые проделки.

— Отстань! Не шепчи! Ну тебя! — отталкивала ее Динка.

По-настоящему девочку звали Нюрой, Муха — это было прозвище, данное ей в классе. Подруги не любили Муху, но жалели. У Мухи был очень злой отец. Говорили, что он сильно бьет ее за малейшую провинность. Говорили еще, что семья Мухи богатая, но скупая, поэтому Муха приносила на завтрак один только хлеб, и девочки делились с ней своими завтраками. Динка тоже жалела Муху, но дружить с ней ей было скучно.

Из гимназии Динка торопилась домой, наспех обедала и, захватив свои коньки, бежала на бульвар кататься. Однажды мальчишки, чтобы подразнить, отняли у нее ключ от «снегурок».

Динка с криком бросилась на обидчиков. Большой губастый, красноносый мальчишка толкнул ее в снег.

— Ага! — закричала, поднимаясь, Динка.— Ты так? Ну ладно!

Динка сорвала с ноги ботинок с коньком и замахнулась на мальчишку. Тот бросился на нее с кулаками. Динка, размахивая ботинком, забежала за скамейку и вдруг увидела стоящего в стороне мальчика с их двора. Он с любопытством смотрел на нее, сдвинув на затылок форменную фуражку; ветер шевелил на его лбу темный хохолок.

— Эй, ты, Хохолок! — крикнула ему Динка.— Иди сюда сейчас же! Защищай меня!

Мальчик как будто только и ждал приглашения; мгновенно скинув на снег свою чистенькую шинельку, он наскочил на Динкиного обидчика и обратил его в бегство.

Но освобожденная Динка не оценила услуги и всю дорогу домой ругала его, как могла:

— Ты что стоял? Стоял и смотрел, да? Как слепой! Ты, наверное, не мальчишка, а девчонка! А еще с нашего двора! Меня бьют, а он смотрит! Выпустил свой хохолок и стоит любуется, как девчонку бьют!

— Да я же не знал! Ты сначала сама его била...— В разговоре мальчик слегка заикался.

— «Била, била»!.. А вокруг скамейки кто бегал?.. Он же старше меня, ему, наверно, уже двадцать лет, этому дураку!..

— Ну да! Хватила! — засмеялся мальчик.— В двадцать лет по буль-вару на-а коньках не катаются!

— А где же катаются?

— Нигде! Какое ему катание в двадцать лет! Ну, разве что на к-катке, в воскресенье, когда музыка и-грает!

— А где же это? — живо заинтересовалась Динка.— Ты там катался?

— Конечно. Все гимназисты там катаются. Особенно в воскресенье. Хорошо! Каток блестит, музыка играет!

— Я пойду! Я с Леней пойду! — захлопала в ладоши Динка.

— А твой б-рат и ката-ться не уме-ет, я его ни р-азу с коньками не ви-дел!

— Ну и что же! Ну и что же! Просто у него нет коньков! А я скажу маме, мама ему купит, и он будет кататься лучше всех! — обиженно затараторила Динка и побежала домой.

Но дома ее ждали другие новости, заставившие сразу забыть и каток и новое знакомство.

Глава 7

ДОРОГИЕ ПИСЬМА

На крыльцо выбежала Мышка:

— Где ты ходишь? Иди скорей! Мама получила письма!

— Какие письма? От Лины? — всполошилась Динка.

— От Лины, от дяди Леки...

— А от Кати?

— Катя написала дяде Леке... У ней родился мальчик!

— Мальчик! — подпрыгнула Динка.— Хорошенький?

— Наверно, только он еще совсем грудной... Идем скорей!

Девочки вбежали в комнату. Динка ревниво оглядела отложенные на столе листки.

— Мамочка! Вы уже всё прочли?

— Тише! Мама читает,— остановила ее Алина.

После многих низких поклонов Лина писала, что они с Малайкой каждый день всех вспоминают и беспокоятся.

— «...Так бы и полетела я к вам,— писала Лина,— а уж об Никиче и говорить без слез не могу, совсем затосковал старик — одна ему отрада ваши письма... Живет он у нас на покое, смотрю за ним, как за родным отцом, но все его к вам тянет... Вот, говорит, съезжу, посмотрю на них еще разок, а тогда и помереть можно... Как ни скучает, а ты, андел мой, милушка, не зови его, стариков с места на место таскать не положено, а уж Никич наш и без того плох, все ночи кашлем мается...»

— Ох, мамочка...— умоляюще прошептала Динка.— Возьми его скорей!

— Пошлем телеграмму, да, мамочка? — взволновалась Мышка.

— Конечно, пошлем, это же папин друг! — поддержала сестер Алина.

— Надо бы взять Никича,— несмело отозвался Леня.— Я бы здесь поухаживал за ним...

— Возьмем-то возьмем, об этом и речи нет, но, может быть, лучше подождать весны? Как бы он не простудился дорогой...— озабоченно сказала Марина.

Но Алина деловито предложила:

— Надо его самого спросить, когда ему лучше приехать!

— А пока давайте писать ему каждый день! — самоотверженно сказала Мышка — она терпеть не могла писать письма и никому не писала.

— Мышка, может, не соберется, а я буду! — пообещала Динка.

— Да хоть бы вы по очереди писали, а то такие лентяйки, не можете лишний раз послать старику привет,— расстроилась Марина.

В письме дяди Леки было сообщено, что у Кати родился мальчик, что сама Катя здорова, но мальчик часто простужается. О себе дядя Лека писал, что никак не может добиться от своего графа перевода в одно из черниговских имений, что граф купил землю в Крыму и хочет отправить его туда наблюдать за постройкой винного завода.

«...Ну, это мы еще посмотрим,— писал дядя Лека.— Теперь, родные мои, несколько слов о том, что вас больше всего интересует. Некоторые из наших знакомых выехали в Финляндию, в том числе и Скворцов...»

— Папа...— прошептала Мышка.

Марина сияющими глазами посмотрела на детей.

— Бог знает, что я уже передумала...

— Скворцов — это папа? Он уже Скворцов? — шепотом допытывалась Динка.

— Ну да... Тише ты! Не повторяй зря,— остановила ее Алина.— Мама, читай...

— Что еще про папу? — нетерпеливо заглядывая в письмо, торопили девочки.

— Да... Значит, он был председателем... В первый раз мы не вместе... Интересно, как прошел съезд... Но тут об этом ничего нет... Ах, вот еще что-то о папе...

«Скворцов передал мне через Кулешу деньги для вас. Забыл сказать, что Скворцов работает инженером путей сообщения... И еще у меня есть приятная весточка для вас — виделся я тут кое с кем из товарищей, все очень тепло расспрашивали о вашей жизни, о здоровье детей... И еще один человек, который подарил вам свою книжку «Моя новая мама», особенно интересовался, как ведет себя Динка...»

— Я? — встревожилась Динка.— Это про меня?

— Ну конечно... Вот читай...— показывая ей письмо, подтвердила Марина.

— Ай-ай-ай! Вот видишь! Там, наверное, всё знают! — пугнула сестру Мышка, с трудом удерживая смех.

— А что же знают? Что знают? — не на шутку встревожилась Динка.— Я хорошая девочка... Я ничего такого не делаю...

— Но что-то дошло до них, уж там напрасно говорить никто не будет! — серьезно подбавила Алина.

— Да нет,— робко улыбнулась Динка.— Они просто ошиблись... Им про кого-нибудь другого сказали, а они подумали про меня... Правда, Леня?

— Да уж не знаю — правда ли, нет ли,— откашливаясь в кулак, пробормотал Ленька.—Вот мама напишет, как и что...

— Конечно! Ты напиши, мама, Динка хорошая девочка, даже голоса ее в доме не слышно... Ох, я делаюсь больной! — с огорчением сказала Динка.

Всем сделалось ее жаль.

— Ну, так это все выяснится! Правда всегда всплывет наверх, ты не беспокойся! — успокоила сестренку Алина.

— Нет, пусть мама сама напишет, а то, может быть, ниче-

го и не всплывет, а я буду плохая! — закапризничала Динка.

— Я напишу, напишу! Давайте дочитаем письмо! Вот тут еще несколько строчек Лёне... Вот:

«...Ты, Леонид, там единственный мужчина, поэтому на тебя, вероятно, самые большие шишки валятся, но ты помни, что главное твое дело — учиться, все остальное суета сует!.. Пиши мне, если что нужно, я ведь для тебя такой же дядя Лека, как и для девочек...»

Леня с гордостью выслушал эти строчки и смущенно сказал:

— Какие тут шишки? И мужчин у нас не один, а двое... Я да Вася!

— Подумаешь! — фыркнула Алина.— Ты одних лет со мной... И не воображай, пожалуйста... Он да Вася! Какие мужчины нашлись!

— Ну, не спорьте, не спорьте! Вечно вы из-за всякой ерунды цепляетесь друг к другу! Пишите лучше письма! Я тоже сейчас напишу Никичу, что мы всегда будем ему рады, пусть едет когда хочет!

Девочки уселись писать письма. Динка звала дедушку Никича и просила его перед отъездом сходить на берег Волги, низко-низко поклониться и сказать, что одна девочка, Динка,— может, вспомнит Волга — вихрастая такая, на утесе часто сидела, будет помнить ее... по гроб жизни...

Динка громко засопела и, заслюнив свой конверт, поспешно выбралась из-за стола.

Глава 8

СМЕХ И СЛЕЗЫ

Над головой Динки сгущались черные тучи.. Уже не раз классная дама вызывала в учительскую Алину и жаловалась ей, что во время уроков девочка смешит подруг, а на переменках устраивает целые представления, копируя учителей и даже начальницу.

Алина чуть не плакала. Она училась на пятерки, и ее поведение, так же как и отметки и поведение Мышки, служили примером для других учениц.

— Мама, делай что-нибудь с Динкой, она же позорит нашу семью! — в отчаянии жаловалась матери Алина.

Но Марина так закружилась со своими делами, с уроками стенографии, которую она теперь изучала, надеясь получить более выгодное место, что когда поздно вечером наконец добиралась домой, то глаза у нее закрывались от усталости.

— Оставьте вы мать в покое, сами как-нибудь разберемся! — с досадой говорил Леня.

Алина обрушивалась с упреками на Леню:

— Вот видишь, ты занялся своим ученьем, торопишься подготовиться к экзаменам, а что вытворяет твоя Макака, тебе и дела нет, да? А мне стыдно смотреть в глаза ее учительнице!

Леня требовал ответа от Динки:

— Нет, ты мне скажи правду: что ты там делаешь, за что на тебя все жалуются?

— Да почем я знаю? — невинно удивлялась Динка.— Просто, когда меня вызывают, девочки смеются...

— Так не ты смеешься, а они?

— Конечно, они.

— Ну вот! — с возмущением говорил Леня.— Собрали полный класс дурочек и жалуются!

— Нет, почему дурочек? Просто им смешно, они и смеются!

— Ну, а я про что говорю? Какому это умному человеку в классе смешно? Ясно, только дураку! Насажали дур, а при чем тут ты?

Динка скромно пожимала плечами. Но однажды в субботу, просматривая Динкин дневник, Марина увидела тройку.

— Тройка по русскому? Устный русский? У тебя же всегда было пять... И вообще, что там случилось с тобой, Диночка? Алина говорит, что на тебя жаловалась учительница...

Субботний вечер, единственный за всю неделю, был отдыхом для Марины; в этот день она приходила пораньше,

и дети старались ничем не огорчать ее. Динка обвела взглядом хмурые лица сестер, увидела возмущенное лицо Лени и, чувствуя глубокое раскаяние, тихо сказала:

— Не волнуйся, мамочка! Я попрошу прощенья у учительницы...

Марина сразу насторожилась:

— Попросишь прощенья? Значит, ты виновата?

— Нет, конечно... Но если уж она ко мне придралась...

— Ни за что не поверю, чтобы человек просил прощенья, если он не виноват... Ты знаешь, Дина, сегодня мой единственный свободный вечер, я хотела поиграть вам, да еще мне надо перевести две странички по стенографии, поэтому не старайся выкручиваться, а говори: что, по-твоему, надо сделать, чтоб на тебя не жаловались?

Динка вспомнила все свои ужимки и гримасы, которыми она развлекала класс, и скромно поджала губы.

— Надо стать серьезной.

— Я думаю, давно пора, ведь тебе скоро десять лет...

Динка была рада переменить тему.

— Мне в апреле, мамочка... целых десять лет! Правда, как быстро идет время! День за днем, день за днем...

— Дина, не хитри... И не притворяйся дурочкой. Если ты и в классе притворяешься такой дурочкой, так не мудрено, что все подруги над тобой смеются!

— Вот в том-то и дело, что там без нее этих дур полный класс насажали!..— вмешался Леня.

— Ну, это утешенье ты оставь для себя,— перебила его Алина.

— А когда артист выступает, так тоже все смеются,— вскинулась задетая за живое Динка.— Если в цирке, например...

— А! Вот в чем дело! Так класс — это не цирк, а ты даже не клоун, ты Петрушка,— резко сказала Марина и, глядя в упор на девочку, добавила с презрительной, уничтожающей улыбкой: — У вас там, кажется, много богатеньких барышень, и ты, дочь революционера, папина дочь, кривляешься перед ними, как Петрушка!

— Мама, не надо так...— вскочила Мышка.

Динка, взревев, бросилась к Лёне. Ленька, готовый защищать ее от целого света, только перед одним человеком не смел поднять свой голос.

Прижимая к себе Динкину голову, он гладил ее, в смятенье повторяя:

— Молчи, молчи... Мама правду сказала... Мать зря не скажет...— и, давая волю накипевшему в нем раздражению против смешливых Динкиных подруг, грозно пообещал: — А с этими барышнями, что до смеха сильно охочи, я живо расправлюсь! Они у меня больше не посмеются, мозглявки эдакие!

В этот вечер Динка долго не могла заснуть; она лежала и плакала, плакала, не зная еще, что человеку не так-то просто рассчитываться за сделанные им ошибки...

Глава 9

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Два дня Динка ходила строгая, притихшая, а девочкам, которые приставали к ней с расспросами, неизменно отвечала:

— Я не буду больше вас смешить, я вам не Петрушка! Смейтесь сами над чем хотите!

Девочки недоумевающе переглядывались. Но на третий день в гимназии случилось происшествие, заставившее их новыми глазами взглянуть на свою подружку.

Перед большой переменой к Динке подошла Муха и, пряча что-то в своем маленьком кулачке, шепнула:

— Я принесла двойные булавки... Пойдем в зал, там старшие прогуливаются...

Муха хихикнула и оглядела класс своими быстрыми глазками. Несколько девочек, собравшись в уголке, разложили на партах свои завтраки.

— Пойдем,— морща носик и прижимаясь гладко причесанной головкой к Динкиному плечу, снова зашептала Муха.

— Куда? — не поняла Динка.

— Да в зал... Там старшие ходят... Сколем юбки булавками, а потом по звонку они — трык... в разные стороны... Ха-ха-ха! — зажимая ладошкой рот, захихикала Муха.

Динка схватила ее за руку:

— Ты с ума сошла?! Не смей этого делать! Они порвут платья!

— Да не кричи! — испугалась Муха.— Я ведь только для смеха сказала.

— Нет! Ты не для смеха, ты булавки принесла! Дай сюда булавки!

— На-на! Подумаешь — испугалась! Я ведь только предложила. Не хочешь — не надо!

Муха бросила на парту булавки и убежала. Динка развернула свой завтрак. Через несколько минут, когда по коридорам прокатился школьный звонок, в класс примчалась Муха. Запыхавшись от быстрого бега, она подняла крышку парты и спрятала под ней свое красное, беззвучно хихикающее личико... Динка, почуяв недоброе, выбежала из класса.

В опустевшем зале, где только что парами, тесно обнявшись, гуляли старшие школьницы, Динка увидела Алину. Она стояла в группе других учениц и о чем-то говорила с классной дамой. Неподалеку от нее несколько девочек, возмущаясь и охая, утешали одну из подруг, которая, сидя на полу и горько плача, держала в руках рваный подол своего коричневого платья... Другая девочка тоже рассматривала разорванную в двух местах юбку, и щеки ее горели от обиды и возмущения.

В глубине зала показалась маленькая фигурка начальницы гимназии. Она шла, покачивая седыми буклями и взволнованно перебирая четки.

Завидев ее, девочки мгновенно смолкли, и в наступившей тишине было слышно только легкое шуршание синего шелкового платья начальницы. Классная дама поспешила к ней навстречу. В это время Алина нечаянно оглянулась и встретила испуганный взгляд прижавшейся к стене Динки... Одну секунду сестры глядели друг другу в глаза, потом Динка повернулась и бросилась в свой класс. Урок еще не начинался, девочки

беспорядочно толпились около парт. Динка, расталкивая всех, кто попадался ей на пути, и словно ослепшая от бешенства, кричала:

— Где Муха? Где Муха?

Завидев нырнувшую под парту гладенькую головку Мухи, Динка с яростью шлепнула ее ладонью по спине... Удар пришелся на острую, торчащую из-под платья лопатку, и Муха, жалобно пискнув, присела на пол.

— Ты дрянь, дрянь! Они порвали платья! Я говорила тебе!..— топая ногами, кричала Динка.

— Тише! Тише! Учительница идет! — бросаясь к ней, предупредили девочки.

Динка, тяжело дыша, села на свое место. В ушах ее слышался плач девочки с разорванным подолом, перед глазами стояло побледневшее лицо Алины, а в ладони все еще сохранилось ощущение острой торчащей лопатки Мухи.

Учительница взволнованно рассказывала о происшедшем случае, уговаривая виноватых сознаться... Муха бросала на Динку испуганные, умоляющие взгляды. Динка молчала. Девочки тоже молчали. Дознанья с классной дамой, а потом и с начальницей не дали никаких результатов. Виноватых не было... И все же какая-то тоненькая ниточка подозрения привела во второй класс и остановилась возле парт, где сидели Муха и Динка.

Классная дама вручила обеим девочкам гимназические повестки о вызове родителей. Динка с глубоким вздохом положила повестку в свой ранец.

«И зачем это вызывают мою маму?» — тревожно подумала она.

Муха с помертвевшим от страха личиком вцепилась в ее рукав.

— Отец меня убьет, если узнает... Он убьет меня...— в отчаянье зашептала она, но Динка, не взглянув на нее, вышла.

В раздевалке тревожно шептались девочки:

— Ой-ой... Ее отец такой страшный... Один раз осенью он так избил Муху, что она неделю не ходила в класс. Ой, девочки! Что же теперь будет? Ведь это она, конечно, она...

Всю дорогу домой Динка бежала, ей все время чудился взгляд старшей сестры, когда она увидела ее, Динку, в зале. По этому взгляду было ясно, что виновницей всего случившегося Алина считает Динку...

А если это так, то сейчас она уже рассказала об этом дома и сама лежит с компрессом на голове. А мама... Неужели мама поверит, что ее дочка могла сделать такую гадость?

Динка вспомнила свои недавние слезы и сухое, холодное лицо матери. Сердце у нее больно сжалось. Она спешила домой, рассчитывая еще до прихода матери убедить в своей невиновности Алину.

Но это ей не удалось. Алина лежала с сильной головной болью, Динка бросилась к ней, но Вася молча взял ее за руку, молча сунул ей коньки и вывел на крыльцо.

— Ты видишь, что творится? Чего же ты добиваешься? Иди на свой бульвар и катайся там до одури, пока я тебя не позову!

— Подожди, Вася... Я хотела только рассказать...

— Никому твои рассказы сейчас не нужны. Иди! — закрывая дверь, сказал Вася.

— Вася! Вася! — Динка яростно застучала кулаками.— Возьми хоть коньки! Ведь уже все растаяло! Вася, возьми коньки! — Динка бросила под дверью коньки и ушла.

А вечером она стояла перед матерью и твердо повторяла:

— Мама, это не я! По чести, по совести — не я! Это Муха, я ей не позволяла! Пусть все девочки скажут!

— Хорошо, Дина! Я верю тебе,— сказала мать.— Мне было противно думать, что моя дочь способна на такую дурацкую выходку!

Глава 10

ТАЕТ СНЕГ

Девочки сидели притихшие, опустив руки под парты и не сводя глаз с гимназического начальства. За классным столом главное место занимала маленькая фигурка в синем платье

с седыми буклями. Перебирая тонкими сухими пальцами четки и величественно кивая головой, начальница, страдающая старческой забывчивостью, слушала классную даму, подробно излагающую ей вчерашнее происшествие.

Неподалеку от начальницы, отодвинув свой стул к окну и опираясь на его спинку, стояла Марина, а позади всех, на краешке стула, мостился огромный человек с синей жилистой шеей, выпиравшей из крахмального воротничка, и с такими же синевато-бурыми руками, покрытыми жесткой растительностью. Это был грозный родитель Мухи, которого девочки прозвали Фуражом, не имея никакого представления о том, что означает это слово. Им было известно только, что у Фуража есть на Сенном базаре собственный дом и лавка, где продается фураж. Каждую субботу отец Мухи являлся в гимназию, чтобы получить в собственные руки дневник своей дочери. Из страха перед родителями или благодаря своим способностям Муха училась на пятерки, но если в дневнике оказывалась хоть одна четверка, шея Фуража наливалась кровью и, крепко взяв дочь за руку, он вел ее к выходу, грозно повторяя:

— Дай только до дома дойти, мерзавка эдакая!..

Помертвевшая Муха с обреченным писком тащилась за ним, а девочки, столпившись на парадном крыльце, сочувственно смотрели ей вслед...

Но Динка видела этого человека впервые. Туго натянутый коричневый костюм, в который было втиснуто его большое, мускулистое тело, при каждом движении трещал по всем швам. Динке почему-то вспомнилась рослая мохноногая лошадь, ей даже показалось, что где-то близко запахло лошадиным потом... Динка повернулась, и взгляд ее упал на Муху.

Они стояли у доски рядом, как две обвиняемые и отрицающие свою вину девочки, Муха и Динка... Синее личико Мухи напоминало сморщенный кулачок, губы ее вытянулись, носик заострился. Динка скользнула взглядом по худенькой фигурке с острыми торчащими лопатками, и ладонь ее снова загорелась он неприятного ощущения.

Динка не волновалась. Все девочки могли подтвердить, что она не виновата. Динке даже хотелось, чтобы при всех мама

сама убедилась, что Алина напрасно подозревала сестру и напрасно наговаривала на нее.

Когда начальница при помощи классной дамы окончательно припомнила вчерашнее происшествие и когда оно снова встало перед ней во всей своей неприглядности, она величественно поднялась со стула и, призывая имя божие, обратилась к девочкам с длинными призывами сознаться и облегчить свою совесть.

Но так как обе девочки молчали, то родитель Мухи, подобострастно кланяясь, попросил разрешения «пугнуть» дочку.

— Она меня знает,— сказал он с тяжелым кивком в сторону дочери.— Я все силы кладу на ее, не жалею денег на одежу, на книжки, и сласти ей покупаю, когда заслужит, но за баловство, я извиняюсь за выражение, шкуру сдеру! Так что, Нюрка, говори начистоту — ты или не ты барышням платья сколола?

Динка с ужасом смотрела на волосатые руки, с застывшим сердцем слушала незнакомые грубые слова. Но когда рядом, забившись в истерическом плаче, Муха тоненько закричала, словно моля о помощи: «Это не я! Не я! Папа, это не я!..» — сердце Динки перевернулось. Между взрослыми тоже прошел какой-то короткий разговор, и Динке показалось, что о чем-то говорила мама... Багрового от гнева родителя посадили на место, и вслед за ним выступила классная дама:

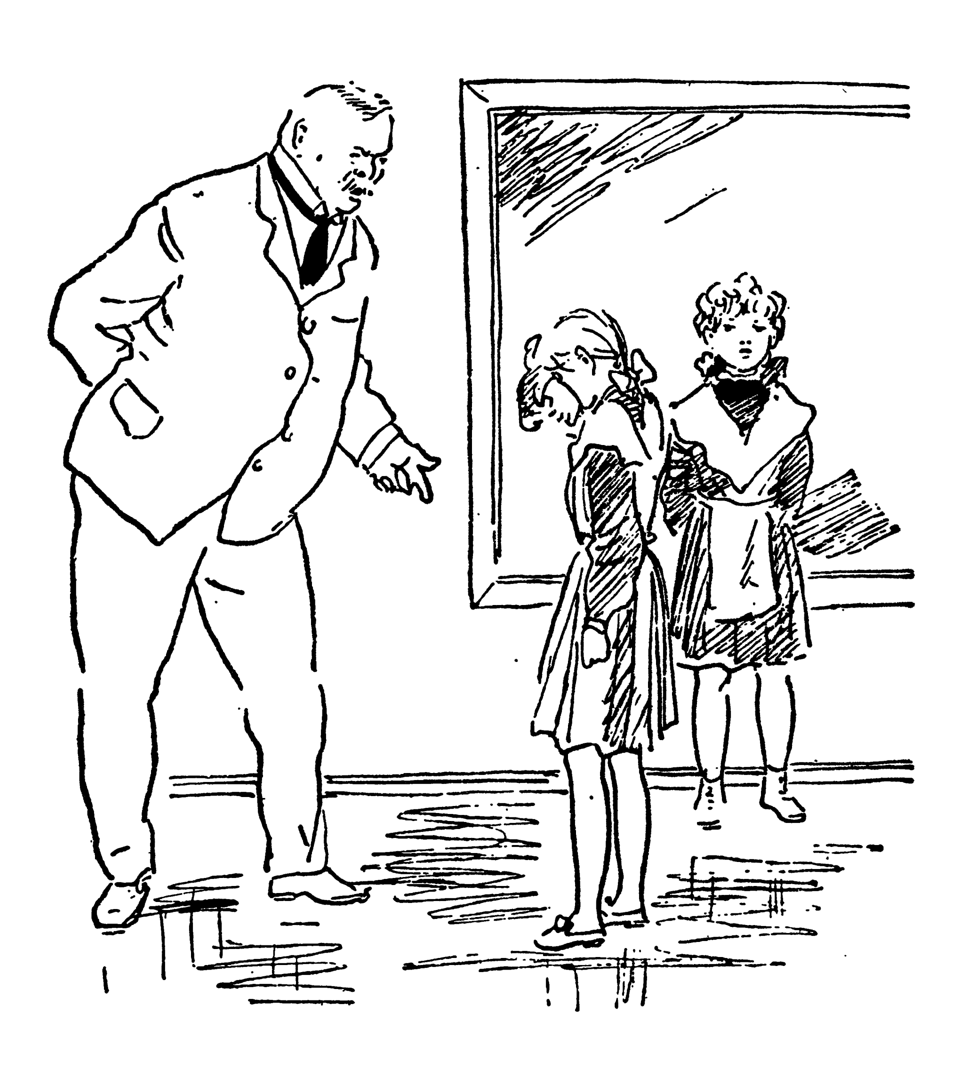
— Нюра, мы попросим твоего папу, чтобы он не наказывал тебя слишком строго, а потому, если это сделала ты...

Но Муха замахала ручками и в отчаянье шарахнулась к Динке:

— Это не я! Не я! Я не скалывала! Это не я!..

— Это я! — неожиданно громко сказала Динка, выступая вперед и пряча за своей спиной Муху.— Это сделала я! Нюра тут ни при чем! — добавила она с упавшим сердцем, боясь взглянуть на мать.

Наступила мгновенная тишина. Потом кто-то в классе тихонько охнул, коричневые фигурки за партами зашевелились, и, словно по команде, маленькие руки поднялись вверх.



— Неправда... Неправда... Мы знаем кто...— загудел класс.

Динка бросилась к передним партам, взмахнула рукой.

— Молчите! Это я! Я одна! — словно внушая подругам эту мысль, она снова повторила: — Вы все знаете, что это я.

Девочки, растерянно переглядываясь, смолкли, руки неуверенно опустились. Фураж встал со своего места и, низко поклонившись Динке, взял за руку Муху:

— Ну, вот и спасибо вам, барышня, что вы сознались. Все-таки совесть в вас заговорила...

Динка не слушала и не понимала его слов, вся его фигура и волосатая ручища, которой он теперь покровительственно гладил по голове дочь, вызвали в ней мутное, поднимающееся со дна души отвращение...

— Мама, меня тошнит! — испуганно крикнула она, почти теряя сознание.

Динка уже не помнила, как мама, обняв ее за плечи, поспешно свела с лестницы, как, набросив ей пальто, вывела на улицу и усадила на извозчика.

Динка очнулась только тогда, когда перед глазами ее поплыли знакомые картины: улицы, улицы, дома и люди, веселые, улыбающиеся люди, те, кто во всех ее скитаниях были всегда ее главными утешителями и друзьями. Чужие, но такие дорогие ей люди! Чистый, вольный ветер обдувал Динкино лицо; ветер, словно играя, гнул ей навстречу еще черные, но по-весеннему живые ветви деревьев... И к Динке вернулась жизнь. Ее тревожила только мама... Всю дорогу они обе молчали. Динкина голова упиралась в мамино плечо. Мама молчала... Динка повернула к ней лицо и пошевелила губами, она хотела что-то сказать, но мама опередила ее:

— Не надо. Я все поняла, я все знаю, Диночка.

И, помолчав, добавила:

— Хочешь, поедем на Крещатик? Или на Батыеву гору. Там сейчас тает снег и бегут большие ручьи...

Глава 11

ВЕЛИКОЕ РЕШЕНИЕ

История с Мухой оставила в Динкином дневнике тройку по поведению.

— За что же, мама, если Динка не виновата? — возмущалась Алина.

— Но ведь Динка взяла на себя вину другой девочки, значит, она должна понести за нее и наказание.

Последние события, судилище в классе, Муха и ее отец — все это оставило в душе Динки глубокий след. На другой день, когда она пришла в класс, девочки встретили ее шумной радостью, они как будто заново узнали и еще больше полюбили свою подругу.

— Здравствуй, Диночка!.. Здравствуй, здравствуй!..— ласково приветствовали они ее.

Одна Муха сиротливо стояла в сторонке, пряча под фартук руки... Динка сама подошла к ней:

— Здравствуй, Муха!

Муха смутилась, покраснела.

— А ты не сердишься на меня? — тихо спросила она.

— Нет, что ты! Это уже все прошло! Только знаешь что, Муха... Не надо больше так делать.

История с Мухой постепенно забывалась, но на Динку сыпались новые удары... Невнимательное поведение в классе, запущенные уроки теперь давали себя чувствовать. Первым ударом была двойка по географии. Боясь огорчить мать, Динка тщательно затерла ее ногтем... Но эта двойка была не последней. Настал день, когда еще более тяжелый удар обрушился на Динкину голову.

На уроке арифметики Динка молча и безнадежно стояла у доски. В голове ее возникали самые неожиданные и нелепые вопросы, связанные с условием задачи, которую нужно было решить. Какой-то купец продал ситец, потом купил шерсть, потом опять что-то продал... В руках у Динки крошился мел, она неожиданно оборачивалась к доске и писала первый вопрос: почем аршин ситцу? Но девочки испуганно и отрицательно

трясли головами и показывали что-то на пальцах. Тогда, окончательно запутавшись, Динка записала сразу второй вопрос: почем фураж шерсти?

По классу, словно электрическая искра, пробежал смех, учительница обернулась. Динка начисто вытерла доску, положила на место мел и, опустив руки, встретила строгий, укоризненный взгляд учительницы.

— Жаль, Арсеньева, жаль...— медленно сказала учительница, не отводя от нее пристального взгляда. Может быть, она вспоминала, с какой симпатией относилась к этой девочке, когда та живо и весело пересказывала в классе прочитанную страничку, дополняя ее своими собственными неожиданными подробностями? Может быть, именно сейчас, глядя на убитое, бледное лицо девочки, учительнице действительно стало ее жаль?

Динка любила и уважала свою учительницу. Любовь Ивановна не раз хвалила Динку за прочитанные стихи и громкое чтение. А теперь под суровым взглядом учительницы Динка чувствовала себя хуже всех девочек, глупее всех, ничтожнее всех не только в своем классе, но и на целом свете...

А учительница долго, убийственно долго смотрела на нее... И в классе стояла такая же гнетущая тишина, как в застывшем сердце Динки. Молчание наполняло ее душу тревогой, в ушах начинался звон...

Наконец учительница медленно покачала головой и раскрыла классный журнал.

— Садитесь, госпожа Арсеньева,— преувеличенно вежливо сказала она.— Я ставлю вам двойку.

Динка села на свое место. В переменку ее окружили девочки, они что-то говорили ей, советовали, повторяя:

— Это была очень простая задача... Почему ты не решила ее? Мы же тебе подсказывали! Почему ты не поняла?

Но Динке не хотелось ни слушать, ни отвечать. Она смотрела на свой ранец. Там лежала тяжелая, как булыжник, двойка. Динка представляла себе, как медленно, едва передвигая ноги, она потащит ее домой, как вечером, когда усталая

мама сядет за стол, она вывалит ей на колени эту двойку-булыжник... Нет, нет! Динка вскочила и, раздвинув девочек, подняла руку:

— Слушайте! Слушайте!

Она еще и сама не знала, что скажет сгрудившимся вокруг подругам, но знала уже, что в сердце ее созрело какое-то великое решение и что теперь она не отступит от него ни на шаг.

— Слушайте! Слушайте! Это была моя последняя двойка!.. Последняя в моей жизни!

Девочки испуганно смотрели на ее изменившееся лицо, на закушенные губы, и никто не говорил ни слова.

* * *

Вечером Динка стояла под дверью Лёниной комнаты и ждала, когда Вася кончит урок.

— Вася! — торопливо сказала она, едва длинный Вася, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку, внезапно появился на пороге.— Вася! Не говори мне ничего, я сама буду говорить с тобой,— взволнованно предупредила Динка.— Мне надо, чтобы ты со мной позанимался по арифметике, я не умею решать задачи с купцами.

Она стояла перед ним, как крохотный лилипут перед Гулливером. И Гулливер понял, что в душе ее созрело великое решение. Он широко распахнул дверь Лёниной комнаты и взял у нее из рук задачник.

— Садись,— сказал он и кивнул удивленному Лёне: — Оставь нас одних!

Это стало повторяться каждый день до тех пор, пока взъерошенная и счастливая Динка не принесла домой пятерку.

Она так бежала, размахивая своим ранцем, так запыхалась, как будто, сражаясь за эту пятерку, билась с сильнейшим из своих врагов, изнемогая от битвы и теряя свои коричневые перышки...

А может быть, это действительно было так. Ведь Динка отстаивала свое первое великое решение.

Глава 12

ХОХОЛОК

Приближалась весна. Первая весна в Киеве. По крутой Владимирской улице, весело позванивая, поднимался трамвай, а навстречу ему, между рельсами и тротуаром, подпрыгивая и пенясь, мчался задорный ручей. Динка бегала от дерева к дереву и, приглядываясь к веткам, на которых уже набухали почки, в восторге окликала идущих мимо:

— Смотрите — почки! Почечки!

Ложась спать, она высовывала голову в форточку и чутко прислушивалась к таинственным ночным шорохам... Ей казалось, что весна обязательно приходит ночью тихими-тихими шагами, чтобы утром сделать людям неожиданный сюрприз первым крохотным жучком с зеленой спинкой, распустившейся веткой сирени, новой песенкой залетевшего под карниз скворца...

После уроков Динка бежала в Николаевский сквер. Там от разворошенных черных грядок пахло свежей, оттаявшей землей, почки на деревьях были ярче и зеленее. Динке казалось, что сюда, в этот сквер, где обычно бегают и играют дети, весна придет прежде всего... Среди этой оживающей природы Динке все время попадалась на глаза массивная фигура царя, возвышающаяся на пьедестале памятника.

«Ну при чем он тут? — сердито думала Динка.— Уж довольно, что в гимназии на каждом шагу — и в учительской и в зале... Портрет царя, портрет царя... А сколько людей посадил он в тюрьму, на каторгу сослал...»

Однажды, закинув голову и заложив за спину руки, Динка близко подошла к памятнику и, вглядываясь в застывшее лицо с выпуклыми глазами, с ненавистью подумала:

«Стойт... А там, в Сибири, мерзнет крохотный мальчик... А где мой папа?..»

Динка, забывшись, шагнула вперед:

— Где мой папа?

Но кто-то сбоку быстро схватил ее за руку и увлек в соседнюю аллею.

— Ты что там кричишь? Ид-ем скорей отсюда! — взволнованно сказал мальчик в форме реального училища с книгами под мышкой.

Динка узнала своего соседа Андрея Коринского и сердито спросила:

— А ты что? Трус?

— Нет,— ответил мальчик и показал на идущего по главной аллее полицейского.— Что ты скажешь, если сейчас он подойдет к нам? Зачем ты на памятник кричала?

— А я знаю, что я скажу! — выпятив нижнюю губу, храбрится Динка.

— Значит, ты хочешь, чтобы твою мать арестовали, да? — шепчет Хохолок.— Скажи, что ты грозила мне, а я стоял за памятником...

Но полицейский спокойно идет своей дорогой. Когда звон его шпор затихает, губы мальчика расползаются в смешливую улыбку, темные глаза щурятся.

— Ты вообще какая-то смешная... Ходишь по дорожкам и все приглядываешься к чему-то... Я давно слежу за тобой!

— Я приглядываюсь к весне, а вот к чему ты тут приглядываешься? Думаешь, я полицейского испугалась? Фью! — хвастливо присвистнула Динка.— Да я их видела-перевидела в своей жизни целыми кучами!.. Ты в каком классе? — вдруг спрашивает она, взглянув на пряжку пояса, туго стягивающего складную фигуру мальчика.

— Я в четвертом. А ты?

— Я во втором, а перейду в третий. Со всеми пятерками!

— Ого! Со всеми пятерками! А я почему-то думал, что ты двоечница.

— Ну да! Я уже целый месяц как отцепилась от двоек!

Мальчик покачал головой.

— Двойки как репей,— задумчиво сказал он.— Прицепятся к человеку, и куда он, туда и они! У меня есть одна такая, по русскому письменному... А уже скоро экзамены. Надо исправиться!

— Исправляйся,— сказала Динка.— Я уже исправилась!

Около выхода из сквера стояла девочка с корзинкой мохнатых фиолетовых цветов. Внутри каждого цветка желтела пушистая сердцевинка с дрожащими усиками.

Динка ахнула и вцепилась в рукав своего товарища:

— Цветы! Цветы! Это настоящие! Живые! О, купи мне! Пожалуйста, купи!

Андрей смущенно порылся в карманах, глаза его часто замигали.

— У ме-ня н-нет де-нег,— заикаясь, сказал он.— Но я нарву тебе таких цветов! Я знаю, где они растут! В Пуще-Водице, около пруда! Их там целые тысячи! Там вся поляна фиолетовая от них! — внезапно загораясь, добавил Андрей.

— Так пойдем туда сейчас! — в восторге подпрыгнула Динка.

— Да нет,— улыбнулся Хохолок.— Туда надо ехать. Это же Пуща-Водица, она под Киевом! Туда надо ехать с утра!

— С утра? Так поедем завтра!

— Но завтра ведь будний день, тебе надо в гимназию, а мне в реальное!

— Чепуха! Я не пойду в гимназию. А ты тоже согнись вот так с утра, как будто у тебя живот болит, а потом мы уедем!

Динка схватилась обеими руками за живот и придала своему лицу такое выражение, как будто у нее внезапно начались колики. Андрей расхохотался, а потом серьезно сказал:

— Нет, притворяться я не буду. Я не люблю вранья! Мой отец никогда не врет, и я никогда не вру.

— Но ведь каждый человек хоть иногда врет, тогда и ты можешь,— попробовала схитрить Динка, но, видя, что брови мальчика нахмурились, замолчала. Потом снова с жаркой мольбой стиснула на груди руки: — Хохолок!.. Знаешь что, Хохолок! Тогда просто скажи своему отцу и своей матери и даже в реальном, что зацвели самые первые мохнатенькие фиолетовые цветы!

— Эти цветы называются «сон»,— растроганно сказал Андрейка.— И мы поедем за ними завтра же! Только я никому ничего не скажу, там ведь взрослые люди, они этого не понимают. Мы поедем, и всё! — решительно добавил он.

— Конечно. Поедем, и всё! Что нам? Сядем да поедем! Где ты скажешь, там мы и вылезем. Может быть, на пруду, а может, на той самой полянке...

Динка шла и болтала. Счастливая его обещанием, она сразу стала такая кроткая и послушная, что Хохолок с удивлением поглядывал на нее сбоку и думал:

«Нескучная девчонка... То такая, то сякая... Поеду уж... Повезу ее...»

И, морща лоб, он заранее придумывал, как оправдает свой пропуск в училище, ведь еще ни разу в жизни без уважительной причины он не пропустил ни одного дня...

Отец Андрея был рабочим в Арсенале. Этот суровый, замкнутый человек редко находил для сына ласковые слова, но зато строго взыскивал с него за малейшую провинность.

— Ты для меня только тогда сын, когда я вижу в тебе честного человека, рабочего.

Андрейка боялся отца, уважал его, но больше любил мать, слабую, болезненную женщину, баловавшую сына потихоньку от отца. У Андрея не было ни сестер, ни братьев, поэтому чужая девочка, так смешно и ласково называвшая его Хохолком, интересовала и располагала его к себе.

«Поеду уж... Будь что будет!» — думал он, слушая ее счастливую болтовню.

Глава 13

В ГОСТИ К ЦВЕТАМ

Утром дул прохладный ветерок. Динка выскочила из дома в одном форменном платьице. За воротами она вытащила из ранца свежий белый передник и, тщательно расправив на плечах крылышки, появилась перед Андрейкой.

— Зачем ты белый передник надела? — удивился мальчик, торопясь к остановке трамвая.

— Ничего. Пускай...— неопределенно махнув рукой, ответила Динка и, пригладив растрепавшиеся волосы, улыбнулась: — Ведь мы же в гости едем...

Чисто вымытое лицо ее лоснилось и блестело, как будто она яростно терла его мочалкой, и даже глаза казались промытыми горячей водой с мылом — такие чистые, синие, счастливые глаза были у Динки, что Андрей не хотел даже думать, что́ его ожидает за эту самовольную поездку.

В трамвае, пока проезжали по городским улицам, оба чувствовали себя неспокойно. На остановках все время вскакивали учащиеся, и гимназистки удивленно поглядывали на маленькую ученицу в пышном белом фартуке. Куда это она так разоделась? Экзаменов у нее нет, отпускать на лето малышей еще рано... Андрей тоже с опаской поглядывал на дверь. Усевшись с Динкой около окна, он шепотом сообщал ей название улиц, по которым они проезжали. А когда трамвай выбрался за город и покатил по лесной дороге, Динка забыла все свои страхи и прильнула к окну.

— Смотри, смотри,— говорила она, боясь показывать пальцем,— вот уже лес! А вот и солнечные зайчики! Вон прыгают по земле, под елкой! Сейчас солнышко поднимется, и станет совсем тепло! Вот уже поднимается! Посмотри, какое горячее стекло стало. Потрогай!

Хохолок потрогал стекло, оно было совсем не горячее. Динке хотелось тепла, нос у нее покраснел и щеки покрылись мурашками. Забеспокоившись, она шепотом попросила:

— Дай мне носовой платочек.

Андрейка ощупал карманы.

— Где-то мать клала...— сказал он.

— Надо самому о себе заботиться. Как вот я теперь буду? — заворчала было Динка, но чистый, сложенный вчетверо платок неожиданно нашелся.

— Бери насовсем,— великодушно сказал Андрейка.

Но Динка вытерла нос и сунула ему платок обратно.

— Потом опять дашь, если надо будет,— рассеянно сказала она, снова прилипая к окошку.

Весеннее солнце понемногу начинало согревать землю. Дорога сворачивала то вправо, то влево. В глубине распушившегося зелеными почками леса празднично белели нарядные березки с молодыми, только что вылупившимися листочками, кое-где виднелись редкие, заколоченные на зиму дачи.

— Скучают...— с сочувствием говорила Динка.— А скоро, скоро сюда уже приедут люди, залают собаки, замяукают кошки... И начнется хорошая-хорошая жизнь! С собаками, с кошками, с птичками и в самом лесу! — весело говорила Динка.

Солнце поднялось выше, оконное стекло действительно потеплело, трамвай остановился на конечной остановке.

— Пошли! — бодро сказал Андрейка и, соскочив со ступенек, быстро зашагал лесной просекой.

Динка, уцепившись за карман его курточки и не попадая с ним в ногу, побежала рядом.

— Мы идем прямо туда, к нашей полянке? — озабоченно спросила она.

— Ну конечно! К пруду, к поляне. Тут недалеко!

«А вдруг все цветы кто-нибудь оборвал? Что я ей тогда скажу? Еще заплачет...» — тревожно думал Андрей и, не считаясь с мелкими шажками своей спутницы, почти бежал вперед.

И вдруг Динка вскрикнула:

— Вот она! Вот она!

Из-за деревьев как-то неожиданно вдруг выступила лесная поляна, сплошь покрытая мохнатыми фиолетовыми цветами. Их было так много, что в глазах Динки и небо и земля — все слилось в одно теплое фиолетовое, полыхающее от ветерка пламя... За поляной ярко зеленела покрытая ряской вода, у берегов шелестели сухие прошлогодние камыши с коричневыми набалдашниками.

Динка бросилась к цветам, раскинула руки:

— Здравствуйте, здравствуйте! Мохнатенькие, пушистые! Мы к вам в гости приехали!

Динка присаживалась на корточки, зарывалась лицом в цветы, смеялась и что-то приговаривала. Белый передник ее покрылся зелеными и желтыми полосами, в башмаки набилась сырая земля. Динка сбросила их и в одних чулках бегала по берегу пруда, рвала охапками цветы...

Андрей, присев на пенек, молча, с любопытством наблюдал за своей подружкой. Он был доволен, что цветы оказались на месте и что он ничего не преувеличил, когда обещал ей фиолетовую поляну. Все это было хорошо, если б не тайная тревога, что завтра в училище классный надзиратель потребует у него записку, почему он не был на уроках, что узнает отец... Андрейка вынул перочинный ножичек, выстрогал себе палочку, срезал камыш. Среди фиолетовых головок цветов неутомимо мелькали белые крылышки передника...

Андрей вдруг подумал, что этот день в его жизни совсем не будний, а праздничный и если б ему снова пришлось решать вопрос — ехать или не ехать на эту поляну, он даже не стал бы раздумывать!

Набегавшись, Динка вытащила из своего ранца два ломтя хлеба, намазанного сладким хреном; Андрей взял из дому бутерброды с колбасой... Поделившись поровну, они оставили крошки для птиц, с трудом нашли Динкины башмаки, кое-как напялили их на мокрые чулки и с огромными охапками цветов медленно побрели к остановке трамвая.

Прощаясь с поляной, Динка долго пятилась задом, кланяясь и повторяя:

— Спасибо вам! Спасибо!

* * *

Из Пущи-Водицы Динка вернулась сияющая, с огромной охапкой цветов.

— Берите, берите! — кричала она с порога.— Берите их от меня! Я уже совсем объелась ими! Ох, Мышенька, я, наверное, и сама вся фиолетовая! А в глазах у меня все голубое, желтое, зеленое... И такое теплое, мохнатенькое...

Динка требовала, чтобы все прикладывали цветы к губам, щекам, и спрашивала:

— Вкусные, да? Я чуть не съела там всю поляну!

— Да где же ты была? — беспокоились домашние, с недоумением глядя друг на друга.

Динка, почуяв опасность, поторопилась выкрутиться:

— Нигде я не была. Мне один мальчик дал. Просто он шел с цветами, а я шла без цветов. И он сказал: «Девочка, я вижу по твоим глазам, что ты очень хочешь цветов!» А я сказала: «Да». Ну, он и дал мне эти цветы!

— Сказка про белого бычка,— усмехнулся Вася.

— А может, и правда? — нерешительно предположила Мышка.

— Неправда,— резко сказала Алина.— Правду она скажет только маме.

— Она и мне скажет, и тебе скажет, и Мышке, только не стойте у нее над душой,— тихо сказал Леня, отводя в сторону сестер.— Что вы, не знаете ее разве? Не спрашивайте, и она скажет сама!

— Мама,— говорила, засыпая, Динка,— давай летом снимем дачу в Пуще-Водице! Я ездила туда с нижним мальчиком, он очень хороший мальчик, его зовут Хохолок... И он сказал: «Хочешь, я покажу тебе фиолетовую поляну?» А я сказала: «Да». И мы поехали и привезли цветы... Это цветы «сон», и мне от них хочется спать...

* * *

На другой день, встретив Андрея, Леня сказал:

— Это ничего, что ты свозил мою сестру за цветами, только следующий раз ты так не делай.

— Она очень просила...— смутился Андрей.

— Ну, это она умеет! Она что хочешь выпросит, а ты не поддавайся. А то она как повадится с тобой ездить, так только и будешь кататься!

Глава 14

ПОСЛАНИЕ ВОЛГИ ВИХРАСТОЙ ДЕВОЧКЕ ДИНКЕ

Но Динка и не думала никуда ехать. Еще не отцвела в ее глазах фиолетовая поляна, как новое сказочное чудо произошло в ее жизни. Случилось это так.

Под вечер, когда Алина ушла к подруге, а Мышка сидела в ее комнате и, заткнув пальцами уши, читала Диккенса, почтальон принес письмо; оно было адресовано Динке.

— Ого! — сказала Марина, взвесив на руке конверт.— Вот так письмо! За семью сургучными печатями да в двойном конверте... Это от Никича.

Динка разорвала конверт и вытащила большой лист, исписанный печатными буквами.

Сверху стояло:

ЧИТАЙ САМА.

— Ну, значит, тут какой-то секрет. Иди в свою комнату и читай сама,— сказала Марина.

Динка пошла, села на свою кровать и, положив на колени лист, начала читать.

«Здравствуй, друженька моя Динка!

Пишет тебе твой старый дед Никич.

Получив твой наказ, приоделся я по-праздничному и пошел к матушке Волге...»

Руки Динки задрожали. Слезы часто-часто закапали на лист... Вот что писал дальше Никич:

«...Подошел я к берегу... А она, сердечная, пенится, хлопочет. Только-только ото льда освободилась, гонит последние льдины по течению и шумит на них, сердится... Ну, думаю, вот уж гость не вовремя... Ан нет! Приплеснулась она вдруг близехонько к бережку и навроде золотой рыбки спросила:

— Чего тебе надобно, старче?

Поклонился я тут низко-низко:

— Поклон тебе, матушка Волга, от вихрастой девочки Динки. Помнишь ли ты ее?

Всколыхнулась желтенькая водичка, набежала, как слеза, на песок:

— Я всех мальчиков и девочек помню, а твою вихрастую не раз купала, и на утесе ее видала, и пароходом ей из Казани ее друга Леньку везла... Жива ли, здорова ли Динка?

— Жива и здорова она, матушка Волга, только плачет, по тебе скучает, и водичку твою желтенькую поминает, и во сне на утесе сидит, пароходы твои в плавание провожает... Что велишь передать ей, матушка?

Закудрявились гребни волн белой пеною, словно сама матушка седою головой покачала:

— Пусть не плачет, не горюет вихрастая. Жизнь еще велика, мы свидимся... И приму я ее, и обласкаю, только передай ей завет мой — пусть придет ко мне с чистой совестью, с теплым сердцем, к чужому горю отзывчивым, с трудовыми руками, а не с барскими ручками, чтобы все люди сказали: хорошая девочка Динка, не посрамила она свою матушку Волгу...»

Долго-долго плакала Динка... А в соседней комнате тревожно прислушивались к ее плачу Марина и Ленька.

— Что же пишет ей Никич? Не заставит он плакать зря,— теряясь в догадках, шептала Марина.

Ленька стоял у окна и, стиснув зубы, думал о том, что напрасно увел свою Макаку с утеса, лучше взял бы ее за руку и пошел с ней по белу свету... Ни одной слезинки не уронила б она, всех обидчиков ее убивал бы на месте он, Ленька. Лучше б им и на свет не родиться... А здесь... Не хозяин он здесь, не защитник... Стоит как столб и не смеет вступиться...

Леня круто повернулся к Марине.

— Мать,— глухо сказал он, не замечая, что впервые называет ее этим именем.— Уйми ее... Или я сам пойду!

— Потерпи, Леня, голубчик... Ничего не сделает Никич зря.

— Все равно, мать... Хоть бы и Никичу, а не дам я ее слезами извести!

Марина осторожно открыла дверь Динкиной комнаты. Динка подняла распухшие от слез глаза. На коленях ее лежал

большой лист, исписанный печатными буквами: материнский завет Волги вихрастой девочке Динке...

* * *

Утром Динка вложила послание Волги в конверт и отдала его на хранение в самые верные руки:

— На, мама... Спрячь.

Глава 15

НА ВСЕХ ПЯТЕРКАХ

Приближалось время роспуска младших классов на летние каникулы. Динку нельзя было узнать.

— Это не девочка, это божья коровка,— говорила, закатывая глаза, классная дама.— Я еще никогда в жизни не видела таких быстрых превращений. Такая тихая, строгая, благородная девочка...

На уроке Динка ловила каждое слово учительницы. Когда ее вызывали, она вспыхивала и так торопилась отвечать, что Любовь Ивановна с доброй улыбкой говорила:

— Не спеши, не спеши... Я вижу, что ты выучила урок.

Дома Динка не расставалась с учебниками. Выпросив у матери несколько копеек, она бежала в соседнюю лавчонку и на свой лад готовилась к занятиям. Усевшись на постели, она извлекала из своего ранца все, что приобрела на свои жалкие гроши. Обычно это были две-три конфетки в ярких обертках, тоненькая шоколадка и яблоко. Привязав эти лакомства на длинную нитку на некотором расстоянии одно от другого, она укладывала свои сокровища под подушку, выпустив наружу небольшой кончик нитки... Затем, разложив вокруг себя учебники и тетради, начинала усиленно повторять все, что ее могли спросить. Когда же ей казалось, что энергия ее ослабевает, она осторожно наматывала на палец кончик нитки, тихо повторяя:

— Ловись, рыбка, большая и маленькая...

Рыбка ловилась. Сначала маленькая — в виде конфетки, потом побольше — в виде шоколадки, и так как самое лучшее приберегалось к концу, то напоследок из-под подушки вылезало румяное яблоко...

— Ловись, рыбка, большая и маленькая,— шепотом говорила Динка и каждый раз при появлении «рыбки» удивленно восклицала: — Ой, что это? Кому это?

По строгому приказу матери никто из домашних не вмешивался в занятия Динки, не спрашивал ее ни о чем и не надоедал ей советами.

Только Мышка, пробегая через комнату и делая вид, что ничего не слышит и не видит, давясь от смеха, шепотом рассказывала домашним, что Динка уже вытащила за нитку все конфеты и теперь догрызает яблоко.

— Ох и хитрая бестия! — хохотал Вася.— Дай бог, чтоб за все эти конфеты она хоть как-нибудь перелезла в третий класс!

— Перелезет! — уверенно говорил Леня.

— Не знаю, почему мама поощряет все эти выдумки! Но она хоть занимается или просто сидит ест конфеты? — с раздражением спрашивала Алина.

— Нет, она занимается! Всю тетрадку примерами исписала. И потом, по русскому... У них в классе после каждого диктанта девочки выписывают в отдельную тетрадь свои ошибки. А сейчас Динка вытащила эту тетрадь и раз по двадцать пишет каждое слово,— как всегда стараясь защитить от нападок сестренку, рассказывала Мышка.

А Динка действительно занималась. Заедая «рыбками» страничку за страничкой, решая задачки и примеры, она сидела часами и, когда ее звали обедать, выходила в столовую, настороженно оглядывая лица взрослых. И несмотря на то что все молча утыкались в свои тарелки или заводили какой-нибудь отвлеченный разговор, Динка чувствовала, что над ней смеются, и очень обижалась. Проглотив наскоро свой суп и положив на хлеб котлетку, она, по старой детской привычке, искала утешение на кухне. И хотя на кухне вместо Лины была теперь черноглазая Маруся, которая вместе со всеми любила

посмеяться над чудачествами девочки, Динка все же находила у нее утешение. Когда, усевшись за плитой, Динка горько и протяжно вздыхала, Маруся с сочувствием говорила:

— Не тявкай, не тявкай! Хай воны смеются! С посмиху люди бувают!

Случались и срывы. Выходя на часок погулять, Динка вдруг соблазнялась медленно идущим в горку трамваем, прыгала в него на ходу и, бездумно прокатившись несколько остановок, вдруг вспоминала, что ушла ненадолго, что на кровати у нее разложены учебники и что завтра ее могут вызвать к доске. Гнев на себя, досада охватывали Динку.

«А ну пошла домой, бессовестная! Лентяйка несчастная! Ох, Волженька, голубушка, как мне трудно, как мне трудно...» Так, подгоняя себя и жалуясь, Динка боролась сама с собой, и ни один человек ни в школе, ни дома не мог понять, что сделалось с этой озорной, непоседливой девочкой. Получая свои заслуженные пятерки, она так радовалась и так сияла, садясь за парту, что батюшка, который хорошо помнил недавние шалости Арсеньевой, теперь нередко указывал на нее перстом и, поднимая глаза к потолку, говорил:

— Кого господь хочет наградить, тому прибавляет разума.

Алина, которой Любовь Ивановна нередко хвалила теперь сестру, не доверяла таинственному превращению Динки и, недовольно оглядывая смиренную фигурку, приютившуюся на переменке в уголке зала, подозрительно спрашивала:

— Что это ты какую тихоню из себя разыгрываешь? Как будто учителей боишься.

— Я не как будто, я их по-настоящему боюсь. Я вообще умных людей боюсь, я все не так делаю, не так говорю... Я боюсь показаться дурочкой,— искренне пожаловалась Динка.

— Что это за чепуха такая? — рассердилась Алина.— Ты смотри не переиграй, а то подумают, что ты подлиза!

— Нет, что ты! — испугалась Динка.— Про тебя же так никто не думает. Ты же не подлиза, ты пятерочница, а все пятерочницы очень тихие.

— Ну, Дина... Я маме скажу! — ничего не поняв, пригрозила на всякий случай Алина.

И она действительно пожаловалась матери, но мать только повторила свой наказ не трогать Динку, не вмешиваться в ее дела. Леня решительно поддержал мать:

— У моей Макаки промеж дурью и ума много, не троньте ее сейчас! И как это вы не поймете, что она себя на пятерочницу наладила! По утрам ботинки ваксой чистит, вчерась локтем в чернила влезла, так мы с ней всю промокашку из тетрадок извели. Не троньте ее, она сама себе толк даст!

Все шло хорошо, но Динка не была спокойна. Оставалась последняя тройка по рисованию. Динка совсем не умела рисовать, и когда подавала учителю свой листок, он аккуратно ставил ей «три». Динка считала, что учитель рисования и сам плохо разбирается в этом предмете, так как, заложив руки за спину и лениво двигаясь между партами, он всегда заказывал одно и то же:

— Ну, нарисуйте там бабочку или уточку какую-нибудь!

Такая низкая отметка, как тройка, уже не устраивала Динку, и однажды, встретив во дворе Хохолка, она отдала ему свою тетрадь и попросила нарисовать ей на одном листе большую бабочку, а на другом плывущую утку.

Хохолок нарисовал. На уроке рисования Динка с увлечением «отделывала» свои рисунки, то слегка подчищая резинкой крылышко у плывущей утки, то подрисовывая красивой бабочке тоненькие усики... Так на обоих листах, поданных учителю, появились жирные пятерки. Динка приняла их со спокойной совестью, считая, что все равно нельзя научить рисовать тех, у кого нет никаких способностей к рисованию, так же как нельзя безголосых научить петь, и что сами учителя по этим предметам вряд ли получали пятерки.

Так прошли три последние недели. И вот наконец настал торжественный день... Динка ушла рано. Леня хотел проводить ее, но она коротко сказала:

— Не надо!

Мальчик ждал и волновался, поминутно смотрел на часы. Марина в ожидании этого дня заранее отпросилась со службы.

Время тянулось медленно. И вдруг в коридоре застучали быстрые шажки, и Динка в белом переднике, с белыми бантами в толстых косках, запыхавшись, вбежала в комнату:

— Мама! Где мама?

Марина бросилась навстречу дочке:

— Вот я, вот! Ну как ты, Диночка!

— Мама, я перешла! На всех пятерках! На всех пятерках! — захлебываясь и встряхивая рассыпавшейся по лбу кудрявой челкой, повторяла Динка.

И, глядя на нее, всем казалось, что Динка не перешла, а лихо промчалась в свой третий класс на пятерке бойких лошадей, держа в маленьких, покрасневших от натуги руках крепко натянутые вожжи!

Глава 16

«ОТВОРИТЕ МНЕ ТЕМНИЦУ...»

На следующий день было воскресенье.

Динка проснулась с таким легким, праздничным ощущением, как будто за спиной у нее за ночь выросли крылья, и сейчас прямо с постели они вынесут ее через раскрытое окно на улицу и понесут, понесут по городу все дальше и дальше — в леса, поля и рощи... Вот бы удивились птицы, когда бы среди них появилась летающая девочка. Но крыльев не было, зато были крепкие, быстрые ноги. Динка вскочила и побежала умываться.

— Мама! Что мне надеть? Ведь я уже на каникулах! Дай мне простое платье.

Пока мама искала летнее платье, Леня сообщил Динке по секрету, что ей готовится подарок.

— Только помни, Макака, если мама спросит, чего ты хочешь, так не говори про велосипед, это вещь дорогая, мама все равно не сможет купить, а только огорчится. Поняла?

Динка нехотя кивнула головой. Она уже давно-давно — ей казалось, что прямо с первого дня своего рождения,— мечтала

о велосипеде. Сначала о трехколесном, потом о двухколесном... Видно, уже никакого ей не перепадет до самой старости. Ну, нельзя так нельзя, она и просить не будет. У нее есть другая просьба... Если б мама согласилась, это был бы самый ценный подарок. И никаких денег он не стоит...

— Что же это такое? — встревожился Леня, но Динка только засмеялась.

— Диночка! — крикнула из столовой Марина.— Иди пить чай!

В воскресенье Вася приходил с самого утра.

В столовой собиралась вся семья. Никто никуда не спешил. Это было веселое семейное чаепитие.

— Айдате все сегодня гулять! — говорила Динка, склонив набок голову и щуря веселые синие глаза.— Айдате все вместе!

Но у взрослых всегда есть дела. У каждого свои. Алина собиралась к подруге; Мышка — в библиотеку; Вася и Леня — заниматься...

— А зато мы с тобой сейчас пойдем на Крещатик и купим тебе подарок! — торжественно сказала мама.— Подумай заранее, что ты хочешь: книгу или игрушку? А может, красивый альбом с картинками?

«Велосипед...» — хотела было сказать Динка, но, взглянув на Леню, сдержалась и, смутившись, махнула рукой.

— Мне ничего, ничего этого не надо, мама. Никаких книг, никаких вещей...

Динка вскочила, прижалась щекой к плечу матери, обняла ее за шею:

— Подари мне другое, мама...

За столом стало очень тихо, и все смотрели на Динку: Леня строго и тревожно, Мышка с нежностью и любопытством, Алина просто выжидательно, а Вася, проникшийся к Динке уважением за ее пятерки, с дружеским участием.

— Не бойтесь, не бойтесь! — замахала руками Динка.— Я знаю, что у нас мало денег... Я не прошу велосипеда... Я прошу... Я хочу...

Динка запуталась и замолчала.

— Ну, говори уж... Что за тайна у тебя? — подбодрила ее мать.

— Скоро уже лето...— медленно начала Динка,— будет очень жарко... Пусть Леня острижет меня наголо, чтоб под рукой волосы кололись, ладно?

— Что? Что? Остричь? Чего она просит? — удивленно переспросили за столом.

— И только-то? — усмехнулась мать.

— Нет, подождите... Я хочу, чтобы ты, мама, позволила мне гулять, где я хочу, и чтоб никто меня не ругал... А я буду уходить на солнышко, я обещаю нигде не утонуть, нигде не заблудиться и под трамвай не попасть... Я все, все обещаю, только отпустите меня!

— Это очень серьезный вопрос, Дина,— взволнованно сказала мать.— Это надо обсудить со всех сторон.

Алина неодобрительно молчала, Мышка с тревогой глядела на сестренку.

— Это что же выходит? — сдвинув брови, сказал Леня.— Обрей ее наголо, как мальчонку, и пусти на все четыре стороны?

— Да-да! — обрадовалась Динка.— На все четыре стороны! И каждый день так... Я сама уйду, сама приду! Хорошо, мама? Мамочка?..

— Нет, подожди, Дина... Надо найти какое-то другое решение,— задумчиво сказала Марина.

За столом все замолчали.

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Долгогривую девицу,
Чернобрового коня...—

неожиданно запел Вася, прикрывая газетой смеющееся лицо. Он часто спорил с Мариной относительно неправильного, с его точки зрения, воспитания Динки и теперь с интересом ждал, как она выйдет из затруднительного положения. Для него не было никакого сомнения в том, что Динку одну можно выпускать только во двор.

Долгогривую девицу,
Чернобрового коня...—

нарочно путая слова, насмешливо тянул Вася.

— Не торжествуйте, не торжествуйте, Вася! Вчера все ваши предсказания с треском провалились! Как бы не было так и на этот раз!..— ядовито сказала Марина и обернулась к Динке: — Ты уже большая девочка, и если ты дашь мне слово ограничить свои прогулки теми улицами, которые я тебе укажу, то я соглашусь отпускать тебя... И еще: ты должна быть всегда дома к обеду. Поняла?

— Поняла... И я дам тебе слово, мама. Я уже большая девочка... Но если вдруг я нечаянно зайду немного подальше, ты не будешь на меня сердиться?

— Нет, я не только буду сердиться, я раз и навсегда запрещу тебе всякие прогулки без провожатого, так что помни об этом!

— Ну, и стричь тебя мы не будем,— добавил Леня.— С какой это стати ты станешь гололобой? Я сам буду твои косы заплетать, чтобы росли, как у мамы...

— Долгогривую девицу...— насмешливо тянул Вася, постукивая пальцами по столу.— Эх и драл бы я тебя с утра до вечера за все эти выдумки! — добродушно сказал он, вставая.— Пойдем, Леонид!

Глава 17

ВАСИН ДРУГ

Вася, топая мокрыми ботинками, вбежал в коридор.

— Ох и ливень! Я весь промок до нитки. У вас все дома?

— Старшие дома, а Динки нет,— спокойно ответил Леня.

— Как нет? На дворе черт знает что делается! Надо бежать за ней, а то простудится!

— Не простудится! — засмеялся Леня.— Она сейчас на седьмом небе! Небось сняла свои башмаки и вот шлепает по лужам! И даже не чихнет ни разу!

Как бы в подтверждение его слов на лестницу вбежала Динка... Волосы ее расплелись и висели мокрыми прядями на груди и на спине, с платья текли ручьи; она держала в руках туфли и, шлепая босиком, оставляла на полу целые лужи.

— Я русалка! Я русалка! — дурачилась она.— Лень! Дай мне из кухни большую деревянную ложку, я пущу ее по ручью. Принеси скорей, а то Маруся будет ругаться.

Леня побежал за ложкой, но Вася остановил его:

— Ты с ума сошел! Уложи ее в кровать, она же вся мокрая, простудится!

Но Динка все-таки схватила ложку и убежала.

— Ничего мне не сделается! Сами смотрите не простудитесь! — крикнула она, исчезая за дверью.

И ей действительно ничего не сделалось, зато промокший насквозь Вася серьезно заболел.

На другой день он не пришел на урок, а после обеда явился молодой рабочий, близкий друг Васи, который жил с ним в одной комнате.

— Я Иван,— просто сказал он,— товарищ Василия. Он просил передать на завтра уроки и сказать, что малость приболел, жар у него, всю ночь горел...— Иван застенчиво улыбнулся: — Хозяйка ругается — боится, ну как помрет. Человек он безродный, кому хоронить...

Вечером Леня с Мариной перевезли Васю к себе. Мышка уступила свою комнату. У Васи оказалось воспаление легких. Он лежал в спокойной беленькой комнатке, около него по очереди сменялись все «арсенята», и Васе казалось, что никогда еще в его жизни не было таких теплых счастливых дней.

Васина болезнь ввела в дом Арсеньевых нового знакомого. Иван приходил запросто навестить товарища; держался он непринужденно, и только иногда в разговоре смущенная улыбка выдавала его застенчивость.

Мышка и Динка встречали Ивана радостными возгласами:

— Здравствуйте, здравствуйте! Васе сегодня лучше!

Как-то пригласив Ивана пить чай, Марина узнала от него, что после смерти отца Иван остался с матерью и старшим братом Николаем. Жили они тогда в Петербурге. Николай, как и отец, работал на Путиловском заводе. Похоронив отца, мать уехала с Иваном к своей родне в Киев; Николай не захотел бросить свой завод и остался в Петербурге. В Киеве Иван встретился с Васей.

— Он у нас угол снимал, грамоте меня учил, а потом, как мать умерла, мы с ним поселились вдвоем у хозяйки, там и живем. Летом думаю съездить к брату, может, на Путиловский завод устроюсь. Брат зовет,— степенно, не спеша рассказывал Иван.

Марина жадно расспрашивала про настроение рабочих, вспоминала девятьсот пятый год, свою воскресную школу, спрашивала про рабочие кружки... Много ли собирается народу?

— Да, собирается народ охотно, только ведь сами знаете, слежка за нашим братом... Но все же умудряемся. Вон Василий иногда брошюрку какую почитает... А то один раз Николай на отпуск приехал, много чего интересного порассказал...

Подружились. Марина обещала обязательно побывать в кружке... После разговора с Иваном она ожила и вскоре писала брату письмо:

«Наконец-то я опять вхожу в русло; все время чувствовала себя оторванной от главного дела, но сейчас уже готовлюсь к докладу, подробнее при встрече... Скоро ли ты вырвешься к нам? Динка уже отпущена на каникулы; Алина и Мышка готовятся к экзаменам... Хотя бы все эти волнения были уже позади...»

Обрадовав Марину своим появлением в их семье, Иван был и невольной причиной небольшой размолвки между Мариной и Васей.

Однажды Марина сказала:

— Вася! Почему вы никогда не говорили, что у вас есть такой друг? Сколько времени мы уже знакомы, и вы ни разу не привели к нам Ивана.

Вася не умел кривить душой. Облокотясь на подушку, он сморщил давно не бритое, колючее, как у ежа, лицо и, нахмурившись, сказал:

— Если хотите правду, то вначале ваша семья не производила на меня солидного впечатления.

— Несолидное впечатление? — удивленно переспросила Марина.— Что это значит?

— Ну, как бы вам объяснить? Какая-то интеллигентская расхлябанность, эдакая барская благотворительность по отношению к Леониду...

Марина вспыхнула:

— Барская благотворительность?

— Погодите, погодите! Это же было вначале. Сейчас я уже во всем разобрался... И я сам завидую Леониду. Но вы спрашиваете, и я отвечаю. Для меня идеал — это простая, честная рабочая семья. Я и детей своих воспитывал бы гораздо проще. А ваши девчонки ревучие, нервные...

— Ревучие, нервные...— с горечью повторила Марина.— Что ж делать, Вася... У них было тяжелое детство.

Марина повернулась и хотела уйти, но Вася не дал ей уйти.

— Марина Леонидовна! Простите меня, окаянного... Я ж вас всех люблю! Примите меня в вашу семью хоть какимнибудь сводным братом; я теперь без вашей семьи еще больше сирота, чем был...

— Мы вас уже приняли, Вася, но еще не раз мы поспорим и поругаемся с вами... Надо глубже смотреть на вещи,— грустно сказала Марина.

— Всё! Всё! — кричал Вася.— Я сам себе не прощу, что так думал!..

— Вот что значит поверхностно судить о людях,— каялся потом Вася, рассказывая Лёне об этом разговоре.— И как я мог так думать? Ведь Марина Леонидовна отдала революции все, что имела: и лучшие молодые годы, и любимого мужа, и себя, и своих детей... А я еще смел упрекать ее, что они нервные...— мучился Вася.

Глава 18

ЗОНА

В столовой звенели чашки. Динка села на кровать и прислушалась. Мышка и Алина поспешно допивали чай, они торопились в гимназию. Для них наступили страдные дни перед экзаменами.

«А мне уже не надо в гимназию!» — с торжеством подумала Динка и, вспомнив мамин «подарок», набросила платье и побежала в столовую. Алина и Мышка уже ушли. Леня занимался в своей комнате, Марина убирала со стола.

— Умойся, Диночка, и вымой чашки! Я очень тороплюсь,— сказала она, вешая на спинку стула чайное полотенце.

— Я сейчас... Подожди одну минуту, мамочка! Ты ведь еще не сказала, где мне можно гулять.

— Ой, Динка! Ну что же ты в последнюю минуту? Я могу опоздать на службу!

— Ну, мамочка, у меня весь день пропадет! — взмолилась Динка.— Ты только назови улицы... Ну, что тебе стоит!

— Ну хорошо! Мы уже с тобой говорили... Я разрешаю тебе гулять по Владимирской до сквера и по Кузнечной на бульваре. И всё! Всё! Всё, Дина!

Мать решительно вышла из комнаты, но Динка побежала за ней:

— Мамочка, а по Бибиковскому бульвару... Там же самое интересное, там памятник...

— Ну, Дина,— натягивая пальто и наскоро припудривая перед зеркалом нос, говорила Марина.— Если ты начнешь обходить все памятники...

— Да не все, а только на Бибиковском...

— Ну хорошо... Только не вздумай самовольно расширять зону своих прогулок,— торопливо спускаясь с лестницы, сказала Марина.

— Нет, нет, мамочка, я не вздумаю... А что это такое — зона? — перегнувшись с площадки лестницы, спросила Динка.

— Некогда, некогда... Потом объясню,— махнула рукой Марина.

Дверь хлопнула. Динка, подскакивая на одной ножке, побежала одеваться. Настроение у нее было светлое, праздничное. Еще бы! Наверно, в первый раз в жизни она шла гулять не тайком, не украдкой, а с полного разрешения мамы. Динка присела перед комодом и, переворошив нижний ящик, вытащила платья сестер. Ей хотелось надеть что-нибудь посолиднее и подлиннее. Мышка была выше ростом, но она все еще носила платья до колен, поэтому Динка вырядилась в голубенькое, с оборочками платье Алины. Посмотрев на себя в зеркало, она осталась очень довольна. Платье доходило ей почти до щиколоток, а пышные оборки расширяли его книзу, как колокол... На самом дне ящика Динка обнаружила старенький, расшитый стеклярусом ридикюльчик. Это была одна из тех никому не нужных вещей, которые почему-то никогда не теряются и преданно следуют за хозяевами, куда бы они ни переехали.

— Ого! Ридикюльчик! — обрадовалась Динка и, примерив его на руку, прошлась по комнате.— Я буду ходить всюду медленно, как самая приличная девочка в Киеве!

Выйдя в столовую, Динка увидела, что грязная посуда все еще стоит на столе.

— Ой! Я забыла вымыть... Маруся! — крикнула она в кухню.— Маруся! Мама просила вас убрать со стола и вымыть посуду,— важно сказала Динка и, повесив на руку немного ниже локтя свой ридикюль, медленно прошла мимо остолбеневшей Маруси.

— А то що така за мадама? Куды-то ты вырядилась людям на смех, га? А ну я покличу сюды Леню! Стой, стой! Ось я скажу матери, що ты мени языка показуешь! Задержись, кажу!

Но Динка, размахивая своим ридикюльчиком и держа за резинку красную шляпку, поспешно съехала по перилам и, захлопнув за собой входную дверь, выбежала на улицу.

— Вот так зона! — торжествующе повторила она про себя непонятное, но понравившееся ей слово.— Пошла зона на все четыре стороны!

Глава 19

ДЕРЖИ ВОРА!

Динка гуляла. Она шла по Бибиковскому бульвару медленно и важно. Из-под красной фетровой шляпки, с черной резинкой под самым подбородком, сползали на плечи две толстые, неповоротливые коски с вьющимися концами; слишком длинное платье путалось в коленках, и Динка придерживала его сбоку, как важная дама свой длинный шлейф...

На правой руке ее, поблескивая потускневшим от времени стеклярусом, покачивался на ходу черный ридикюльчик.

Над головой Динки, весело перепархивая с ветки на ветку, неустанно чирикали птицы. Казалось, что провожают ее на прогулку всё одни и те же птицы; а может, они передавали другим: «Пойте, чирикайте, вот идет Динка!»

Весеннее солнце с головы до ног окутывало блаженным теплом. Динка шла и улыбалась. Ей хотелось с кем-нибудь остановиться, поздороваться, сказать людям какие-нибудь хорошие слова... Но она ничего не могла придумать, кроме обычного:

— Скажите, пожалуйста, который час?

Да еще ее смутила Маруся. Во всем, что касалось украинской мовы, Динка слепо доверяла Марусе. Один раз на Динкин вопрос, как надо вежливо обратиться на улице к незнакомой женщине, можно ли назвать ее «мадам», потому что Динка слышала, что именно так говорят в Киеве, Маруся неожиданно возмутилась:

— Шо то за мадама? У нас по-украински нема ниякой мадамы! То одни босяки дают таки прозвища, а самостоятельна людына может даже и обидеться за «мадаму».

— А людына — это женщина? — выпытывала Динка.

— И женщина и мужчина — все равно называется людына.

Учтя эти уроки и желая быть очень вежливой, Динка спрашивала:

— Скажите, пожалуйста, людына, который час?

«Людына», оглядев Динку быстрым и внимательным взгля-

дом, проходила мимо; иногда, пожав плечами, вынимала часы, говорила время и, усмехнувшись, спрашивала:

— Откуда ты приехала?

Сейчас Динка не спрашивала время; ее внимание привлекло какое-то оживление, царившее в самом низу Бибиковского бульвара. Аллея шла вниз, и перед глазами внезапно открылась большая площадь, запруженная народом.

«Базар!» — догадалась Динка и, забыв просьбу матери не расширять зону своих прогулок, взволнованно шагнула в толпу. Теперь, если бы даже Динка и вспомнила предостережение матери и захотела вернуться, это было бы совсем не просто — толпа подхватила ее, как подхватывает широкий, бурный ручей маленькую щепку, и понесла-понесла неизвестно куда по течению... Но Динка не испугалась; ей на каждом шагу представлялись всякие интересные зрелища — тут показывали какие-то картинки, там продавали сибирскую кошку с зелеными глазами, какой-то человек с ящиком закрывал черной материей желающих посмотреть в окошечко, и там эти «желающие» громко хохотали, а человек опять приглашал: кто желающий — плати пять копеек.

У Динки не было пяти копеек, и она с сожалением прошла мимо. Дальше начинались ряды дощатых длинных столов: торговки в серых фартуках продавали горячий борщ; тут же, на рушниках, лежали куски розового сала и хлеб.

Динке не хотелось есть, но она остановилась около стола и с жалостью смотрела, как бедно одетые люди, заплатив деньги, стоя едят из миски свою порцию, а вокруг них собираются нищие и, отталкивая друг друга, ждут, что человек что-то не доест и поделится остатками борща, коркой хлеба...

Динка смотрела на синие, худые лица, на грязную рвань, сквозь которую видно было тело, на длинные, как плети, руки, жадно хватающие подачку...

Прижавшись к краю стола, Динка с мольбой взглядывала на толстую, румяную торговку, перед которой на жаровне стоял целый чугун горячего борща с мясом.

У Динки не было денег... А торговка, заметив ее умоляющий взгляд, холодно сказала:

— Всех не накормишь! А их тут, как собак нерезаных! Идите себе, барышня. Не хочете кушать, так отойдите от стола.

Динка отошла и вдруг увидела мальчика. Присев под столом, он шарил по земле руками, выбирая картофельную шелуху. Мальчику было лет десять... Динка нагнулась, тронула его за плечо. Он сердито стряхнул ее руку и поднял голову... У него были зеленые раскосые глаза, худое скуластое лицо и сбившиеся клочьями, давно не стриженные волосы. Из-под волос оттопыривались большие, бледные уши, на одном из них, около самой мочки, была глубокая ранка, покрытая струпьями и засохшей кровью.

— Мальчик, мальчик...— дрожащим шепотом позвала Динка.— Пойдем к нам, я дам тебе хлеба с горчицей! Пойдем, пойдем... Мы сядем за стол, там хорошая еда... Я очень люблю хлеб с горчицей...

— Какая еще горчица?..

Мальчик секунду подумал и, потянув к себе Динкин ридикюльчик, хрипло спросил:

— Деньги есть?

— Нету... У меня ничего нет. Пойдем к нам домой...

— Дура! — грубо выругался вдруг мальчишка и, скорчив страшную рожу, показал Динке кулак.— Мотай отсюда! Дура! — Он прошипел какое-то ругательство и злым шепотом добавил: — Мотай, говорю! Ишь сытая морда! Горчица!..

Динка в испуге попятилась назад и, не оглядываясь, пошла от стола. Ей было и жалко, и обидно, и особенно потрясло ее то, что мальчишка назвал ее «сытой мордой»...

Динка машинально ощупала свои щеки, провела пальцем по губам. Ей показалось, что красные щеки ее раздались, а губы выпятились вперед, и все это действительно стало похоже на «сытую морду»... Да, наверно, очень похоже, если голодный мальчик так сразу возненавидел ее и показал кулак.

Динка шла несчастная, подавленная, с каждым шагом все больше и больше убеждаясь в том, что у нее не лицо, а ка-

кая-то большая «сытая морда», которая, конечно, противна каждому голодному человеку.

Динка шла не оглядываясь, и вдруг за спиной ее раздался визгливый крик, потом поднялся невообразимый шум, топот ног, все зашевелилось, забегало...

— Держи, держи!..

— Держи вора!..

— Вон он! Вон! Держи! Сало стащил!..

— Ой, держите его, люди добрые!..

Динка увидела разъяренную торговку с поднятым половником, какого-то краснорожего мужика с палкой и еще много бегущих людей с зверскими лицами.

— Бей его, бей!..

— Держи, держи!..

Под ноги Динке вдруг метнулось какое-то тряпье, на один короткий миг мелькнули раскосые глаза, рваное ухо...

Динка широко раскинула руки, бросилась на это дрожащее тряпье, закрыла его собой.

— Это не тот! Не тот! — отчаянно кричала она подбежавшим людям.— Это не тот! Я видела, видела! Это не тот!

Шляпка ее съехала на затылок, ридикюльчик упал, платье с оборками волочилось по пыли.

— Не троньте! Не смейте! Это не тот! Не тот! — обезумев от страха, кричала Динка.

— Я не тот! Не тот! — прячась под ее защиту и поднимая худые руки, ревел мальчишка.

— А ну, отойдите, барышня! Если не он, так его никто и не тронет. А ну говори, где мое сало? Где сало, гадина ты эдакая?

Торговка с силой дернула мальчишку за больное ухо. Он взвыл от боли и, ткнувшись лицом в Динкины ноги, что-то быстро сунул ей под оборки платья.

Динка в смятенье крепко зажала свой подол с куском краденого сала...

— Бьють... А сами не знают, за что бьють...— поднимаясь на ноги и сбрасывая с себя рваный пиджак, захныкал маль-

чишка.— Нате, смотрите, что у меня есть. Я ничего не брал... Не бойтеся, тетя...

Краснорожий мужик быстро ощупал пиджак, поглядел на рваные штаны и сползающую с плеч рубашку мальчика и, сплюнув, отошел в сторону.

— Одни воши, и тыи голодни...— махнув рукой, сказал он толпе.

— Ну вот... Барышня ж казалы...

— И було чого такой гвалт поднимать! — нехотя расходясь, ворчала толпа.

— Спіймали якого-то босяка, тай издеваются над ним!

— Эге! Издеваются! А кто ж мое сало увзял? — заложив руки в бока, зычно кричала торговка.

Динка, онемев от страха, молча сидела на земле, пряча под оборками торговкино сало.

— Вставайте, барышня! Все платьице свое спачкали из-за этого босяка! — сердобольно заметила какая-то женщина, подходя к Динке и помогая ей подняться.

— Нет-нет! Спасибо! Я сама! Я, кажется, ногу ушибла,— держась за свой подол, бормотала Динка.

— Ишь ты! Зашиб барышне ножку, а сам убёг! — заохали женщины.

— Убёг? — оживилась Динка и, прихрамывая, пошла к столам.

Дойдя до торговки, она быстро нагнулась и, вдруг выпрямившись, положила на ее стол вывалянный в пыли кусок сала.

— Вот ваше сало. Вы сами уронили его...

И не в силах сдерживаться от закипевшей в ней злобы, Динка грубо добавила:

— Эх, ты! Сытая морда!

* * *

Динка явилась домой в таком плачевном виде, что Леня, встретив ее на лестнице, с удивлением сказал:

— Ты что же это какую мегеру из себя строишь?

— Какую еще мегеру! Ты сам хороший... мегер! — огрызнулась Динка.

Матери она сказала:

— Я, мама, нечаянно так расширилась, что попала на базар... Но зато наш ридикюльчик наконец потерялся!

Больше Динка ничего не сказала, но всю ночь ее преследовали во сне два видения: вываляннный в пыли кусок сала и мальчик с рваным, кровоточащим ухом...

Глава 20

КАРАЮЩАЯ РУКА

На другой день Динка встала вялая, убитая... Когда мать и сестры ушли, Леня усадил ее за стол и, отодвинув подальше ее любимую горчицу, густо намазал хлеб маслом, положил сверху ломтик колбасы.

— На, съешь... А то ходишь по городу не евши. Гляди, уж серая, как земля, стала.

Динка молча откусила хлеб, положила в рот ломтик колбасы, но жевать не стала.

— Ты что это? — спросил Леня.

Динка покачала головой и, держа во рту колбасу, пошла в кухню. Оттуда послышался крик Маруси:

— Дывысь, яка фуфыра! Колбасу с рота выкидае... Ось я матери скажу. Заелась, чи що?

Динке сразу вспомнились раскосые глаза и злой голос: «Сытая морда...»

Она глубоко вздохнула и, не допив чай, поплелась в свою комнату, но Леня взял ее за руку.

— Макака,— ласково сказал он.— Ты уже совсем забыла меня... Вроде чужой я тебе стал...

— Ты все с Васей... И с мамой теперь дружишь, все ей говоришь...

— Ну, а как же мне, Макака... Ведь она для меня, как родная мать... Что тебе, то и мне... А Вася учит меня... Вот

как уж попаду я в гимназию, тогда опять целые дни вместе будем,— торопливо уверял Леня.

Динка безнадежно махнула рукой.

— Ну, пошли в мою комнату, поговорим... Помнишь, как на утесе, бывало... И поговорим и посмеемся,— заглядывая ей в глаза и пытаясь понять, что с ней, говорил Леня.

Динка молча вошла в комнату, тяжело вскарабкалась на подоконник и, стиснув на коленях руки, сказала:

— Я скоро умру, Лень...

— Тьфу ты! — побледнел Ленька.— Какие страшные слова говоришь... Да я от одних этих слов не то что умру, а прямо на твоих глазах скончаюсь! С чего это тебе в голову такая чушь лезет?

— Это не чушь... У меня уже сердце разорвалось. Вот как у некоторых бывает ухо разорванное и кровь на нем запеклась, так и у меня... Я все равно, Лень, уже не могу жить,— тоскливо протянула Динка, глядя перед собой сухими тусклыми глазами.

— Макака! Да ты хоть мне-то правду скажи... Ты ведь вчера все утро где-то бегала, может, в какую западню попала... Ведь если ты не велишь, я даже матери не скажу! — отчаянно взмолился испуганный мальчик.

— Я, Лень, знаешь что тебя попрошу... Когда ты уж совсем вырастешь, тогда отомсти всем торговкам, у которых сало, и потом...

Динка припомнила, как лавочник из соседней лавки вытолкал в спину старика, который просил у него в долг осьмушку чая... Она загнула пальцы:

— Торговок... Потом лавочников... Ты, Лень, записывай себе, кто кого обижает.

Динка вдруг оживилась и, незаметно для себя, рассказала всю сцену с нищими, которую она видела на базаре, потом рассказала про мальчика с разорванным ухом и про кусок сала, который она прятала в своем подоле.

— Этот мальчик сказал еще, что у меня сытая морда,— неожиданно всхлипнула Динка.— А по-настоящему это у той торговки... сытая... морда...

— У ней! У ней! Это он про нее и сказал! А у тебя какая же морда? Обыкновенное лицо! Ты об этом брось и думать. А этих торговок мы как вырастем, то сразу... каюк! С салом — без сала...— яростно жестикулируя, заверил Ленька.

— И лавочника... И вообще всех подлых людей...— подсказывала Динка.

— Всех, всех! Об этом и говорить нечего! Мы с ними разберемся! А сейчас ты вот что... Как заметишь за кем какую подлость, так и запиши себе, ладно? И не плачь, не надрывай себе сердце, а — р-раз! И запиши! Вот, к примеру, как.

Ленька вырвал из тетрадки лист и, подумав, написал на нем большими буквами:

КАРАЮЩАЯ РУКА.

— Вот,— сказал он, передавая этот лист Динке.— Тут ниже ты и записывай! Вот садись к столу и запиши: «Торговка... Лавочник...» Только список свой ты до времени держи в тайне. Поняла? — подняв вверх палец, торжественно внушал Леня.

Динка быстро-быстро закивала головой.

— А с нищими как, Лень? Вот если будет революция, то как они?

— А какие же нищие? Откуда они возьмутся после? Каждый будет работать. А если которые дети-сироты, так этих рабочие накормят, соберут куда-нибудь в одно место. А как же иначе?

— Конечно. Как же иначе? А помнишь, Лень, как ты мне обещал, что, когда вырастешь, построишь такой большой-большой дом для сирот, помнишь?

— Я все помню. Мне бы только вот выучиться.— Леня кивнул на стол, заваленный книгами.— Человеком стать!

Взяв со стола листок, Динка, уже совершенно успокоенная, сказала:

— У меня даже зажило сердце. Ты не бойся, Лень! Я еще поживу!

— Конечно, поживи,— согласился Ленька.— А кто тебе досадит, того я либо сразу вздую, либо уж после... «карающая рука» сама с ним расправится.

Глава 21

ВРЕМЯ ЦВЕТОВ И БЕЛЫХ ФАРТУКОВ

Весна зеленым кольцом охватила Киев, весна сделала его нарядным, цветущим, но уже скоро-скоро она должна была встретиться с летом и уступить ему дорогу...

А пока это было время изумрудной нежности молодых листьев, опьяняющих запахов земли и распускающихся цветов. Младшие классы давно отгуливали свои летние каникулы, а для старших наступило страдное время экзаменов. К Алине приходили подруги, они вместе готовились, нарезали из бумаги билетики и тащили их, стараясь заранее угадать, кому достанется какой билет... К Мышке тоже забегали подруги, но готовилась она одна. Леня вытаскивал ей на балкон мягкое кресло, и, сидя на солнышке, Мышка спокойно и не спеша повторяла пройденное.

На балкон часто заглядывал Вася, предлагал свою помощь, но Мышка, смущаясь, говорила:

— Все равно я выдержу на четверки, у меня никогда не бывает пятерок!

И Вася, забывая свои строгие требования к другим, начинал уверять, что четверка — эта самая нужная, самая устойчивая отметка и что ей, Мышке, при ее слабом здоровье, ни в коем случае не надо гнаться за пятерками.

— Вы не смотрите на сестер. Алина уже взрослый человек, ей осталось учиться только две зимы... О Динке и говорить нечего — Динка здоровая девчонка, ей не пятерки, а десятки получать надо,— шутил Вася.

В эти тревожные дни Вася Гулливер почти не уходил от Арсеньевых; кроме Мышки, его беспокоил еще и Леня.

Мальчик сильно вытянулся и побледнел за зиму; намеченные на весну экзамены пришлось отложить на осень.

— Он не должен казаться переростком среди своих будущих товарищей, поэтому нам придется заниматься все лето и держать сразу в пятый класс,— объяснял Вася Марине.

Но Марина качала головой:

— Это очень долго ждать... Посмотрите, как он тоскует!

Леня действительно тосковал. По улицам и бульварам, оживленно жестикулируя, шумными кучками шли на экзамены учащиеся. Мелькали гимназические фуражки, надраенные до блеска пряжки реального училища; взмахивая белыми крыльями разглаженных фартуков, взволнованными стайками слетались на углах гимназистки. В городе торжественно и празднично царили вместе весна и экзамены! Дома у Лени с самого утра начиналась суматоха, мелькали те же белые фартуки, туго заплетенные косы, ленты... Один Леня никуда не спешил. Проводив сестер, мальчик долго смотрел им вслед и, волнуясь, ждал их возвращения... Он никому не завидовал, но, чувствуя себя как бы выброшенным из числа своих сверстников, одиноко бродил по дому.

Незадолго перед экзаменами дядя Лека прислал денег и написал сестре:

«...Сыну купи охотничью куртку, есть такая, со всеми атрибутами мужественности, а то, как разбегутся все вокруг на экзамены, он, пожалуй, почувствует себя чиновником без портфеля и сильно затоскует. Я думаю, что в этом случае охотничья куртка будет поддерживать его мужское достоинство в его собственных глазах и в глазах сестер...»

Куртка была куплена. Леня с восторгом облачился в нее, сестры ахали, даже Алина, довольно улыбнувшись, сказала:

— В ней можно пойти в Купеческий сад!

Но Леня решительно снял куртку и отдал матери.

— Приберите,— коротко сказал он.— Не заслужил я еще этой куртки... Ведь сам же дядя Лека рассказывал анекдот, как одна нежная мамаша разодела свою дочку-гимназистку в пух и прах, а один подошел и спрашивает девчонку:

«Скажите, пожалуйста, вы актриса?»

«Нет».

«Тогда, может, художница, известная певица, может, вы Вера Холодная?»

«Да нет, нет!» — Дочка даже взревела от досады.

«Ну, тогда вы просто дурочка! Не может умная девочка подчеркивать этими дорогими тряпками свое ничтожество».

Что? Не помните? Сам дядя Лека рассказывал! Нет уж, мне еще рано наряжаться! — решительно закончил Леня.

Для Васи тоже наступало трудное время зачетов. Чтобы отвлечь своего ученика от печальных мыслей, он брал его с собой в Ботанический сад, и оба они часами молча сидели на разных концах скамейки, занимаясь каждый своим делом.

— Если что тебе непонятно, спроси. Мне это не помешает,— великодушно говорил Вася.

Леня не только упорно занимался, по совету Васи он определил себе два часа в день для чтения и всячески старался исправлять свою речь, засоренную уличными словечками, неправильными ударениями и тем неуловимым оттенком, который Алина называла «неинтеллигентной интонацией». Вася зорко следил за своим учеником, не пропуская ни одной из его погрешностей; на сестер Леня очень обижался, если они забывали указывать ему на ошибки.

— Вот останусь косноязычным, сами же будете стесняться братом называть,— упрекал он девочек.

Охотнее всех откликалась на его просьбу Алина; она поправляла его речь обстоятельно, как учительница. Мышка — робко, боясь обидеть, а Динка, не придавая этому никакого значения, еще и сама норовила перенять у Лени какое-нибудь словечко.

Но время шло; для Лени оно не шло, а летело... Заложив пальцем учебник, он, словно загипнотизированный, смотрел на уходящие вниз причудливые аллеи Ботанического сада, на заросшие густой травой и кустарником овраги, на степенные ветви столетних деревьев, распростершиеся над его головой. Мальчик переводил благодарный взгляд на долговязую фигуру своего репетитора, на его старенькую куртку, заштопанную неумелыми руками девочек, и на тонком лице Лени появлялось упорное, настойчивое выражение. Осенью он выдержит экзамен, он будет первым учеником, возьмет уроки, поможет матери... Вечерами они с Макакой будут ходить гулять, опять вместе. Совсем забросил он девчонку... И никому до нее дела нет, все заняты по горло, а она и рада. Вон в какую катавасию влезла на базаре, привыкла уже ходить одна... А бывало, уцепится за его руку и не отойдет...

Мальчик с глубокой тоской ощущает в своей руке маленькую твердую руку... с беспокойством оглядывается вокруг... «Ведь вот где она сейчас, эта Макака? Город большой, улицы залиты солнцем; движутся, словно плывут в солнечном свете, толпы людей... А Макаке больше ничего и не надо. Ей бы только нырять и плавать в этой людской гуще, как маленькой рыбешке; она ведь не разбирает, кто свой, кто чужой, ей все свои... Не завел бы кто-нибудь куда»,— с тревогой думает Леня.

Щедро цветет сирень. На соседней скамейке, рассыпав на коленях мохнатые ветки, девушки, смеясь, ищут счастья...

— Пять лепестков! Пять лепестков!

Леня с жадностью хватается за учебник; у него свои мысли, свои мечты...

«Учиться надо, учиться... Пустозвоном к людям не пойдешь. Вон мать у Ивана в кружке доклад делала... Вася говорит, тишина стояла, слышно было, как муха пролетит... А что я сейчас? Недоросль! Полный неуч!..»

Подолгу над каждой страницей корпит Леня... А по аллее мимо него, вспархивая белыми крылышками, идут и идут на экзамены гимназистки.

«Настанет ли когда-нибудь и мой час?» — с тоской думает мальчик.

Глава 22

КОЛОКОЛА И ПИРОГИ

Утром Леня отозвал Динку в свою комнату и тихо сказал:

— Слышь, Макака, я тебе помажу хлеб маслом и сахаром присыплю, а колбаску ты не тронь. Пусть будет Мышке и Алине, они на экзамен идут.

Динка надулась.

— Я тоже хочу колбаски,— шепотом сказала она.

— Ну, бери... Только ты ведь любишь и хлеб с горчицей.

— «Любишь, любишь»... Это если в охотку, а поневоле кто ее любит? — заворчала Динка, но, увидев удрученное лицо мальчика, махнула рукой: — Ну ладно! Только принеси сюда

хлеб с горчичкой и погуще сахарком присыпь,— скомандовала она, усаживаясь на свое любимое место на подоконнике.— И молока мне принеси!

— Какого молока? Кто это горчицу молоком запивает?

— Ну, чаю принеси.

— Да чего это я буду чаи по комнатам разносить? — возмутился Леня.— Иди к столу и напейся!

— А там же колбаска!..

— Тьфу ты! С тобой свяжешься, так не рад будешь! Говори сразу, чего тебе еще?

— Мантильку!

— Чего?

— Мантильку... Мантильку...— хохотала Динка, глядя на недоумевающее и расстроенное лицо друга.

— Да ты что? То ридикюль какой-то допотопный вытащила, то теперь какую-то мантильку спрашиваешь? Да с тобой не заметишь, как с ума сойдешь!

— Ха-ха-ха! Да это я так свой плащ называю! Ну, тот, что папа прислал, с клетчатым капюшоном! А ты уж испугался, даже лоб у тебя мокрый стал! Подумаешь, из-за какой-то мантильки! — хохотала Динка.

— Да мало ли каким пугалом ты захочешь вырядиться! — засмеялся и Леня.

Через минуту, облачившись в свой роскошный плащ с шелковым клетчатым капюшоном, Динка вышла на улицу. В своих походах она редко задавала себе вопрос, куда идти. Она шла туда, где синела полоска неба, где виднелся длинный ряд деревьев и пели птицы...

Но в это утро Динка не слышала птиц, над городом плыл колокольный звон... Он разбивался на многие голоса, могучие, мощные. Они долго дрожали в воздухе, а мелкие звенели, рассыпались колокольчиками над самой головой, потом их снова заглушал могучий удар большого колокола, и над городом плыл долгий-долгий, медленно затихающий звук... Динка шла за колокольным звоном. И чем дальше она шла, тем волшебнее становились расцвеченные утренним солнцем сады и сильнее пахла распустившаяся за ночь сирень.

Динка шла с распахнутым настежь сердцем, полным любви ко всему живому, ко всему, что дышит и радуется жизни, ко всему, что растет, цветет и зеленеет...

Однажды Динка увидела перед Владимирским собором богатую свадьбу: невеста, окутанная воздушным облаком фаты, розовела, как цветущая яблоня. Киев с облетающими лепестками сирени, с дымчато-белыми каштанами тоже казался Динке окутанным воздушным облаком фаты.

«Киев заневестился»,— ласково думала Динка, и ей казалось, что сама она в это чудесное утро не шла, а плыла по воздуху вслед за сильным и нежным перезвоном колоколов, как дорогая гостья на чьей-то богатой свадьбе...

Колокольный звон вывел ее на незнакомую старинную улицу, к воротам Киево-Печерской лавры. Здесь Динка оробела и остановилась. Она вспомнила, как Алина, которая ходила в лавру вместе со своим классом, рассказывала, что они спускались в узкие и темные пещеры, что там в затхлом воздухе тоненькими язычками освещали им дорогу церковные свечи, что с каменного потолка и стен сползали капли воды, а в гробах лежали мощи, к которым некоторые девочки прикладывались губами... Алина с ужасом вспоминала, как на низких, выдолбленных из камня потолках от зажженных свечей колебались какие-то причудливые тени, и на каждом повороте у гробов с мощами стояли, как привидения, черные монахи и каждому подносили ко рту глубокие чаши в виде крестов, наполненные «святой» водой...

Алина сказала, что никогда в жизни не пойдет больше в эти пещеры.

Динка вспомнила еще, что потом в этой самой лавре, прямо во дворе, за длинными столами Алину и девочек ее класса кормили постным борщом с рыбой и горячими пирогами. Это последнее воспоминание пришлось Динке по душе. После своего скромного завтрака она давно уже хотела есть и теперь, представив себе горячие пышные пироги, набралась храбрости и вошла в раскрытые настежь ворота. Конечно, если лавра считается божьим домом, так всех верующих кормят бесплатно...



Динка неверующая, но ей тоже хочется есть, с этим уже богу нечего считаться, тем более что зачем богу деньги, что ему — тянучки, что ли, покупать в лавочке? Но все-таки лучше спросить, ведь у Динки нет ни гроша в кармане.

— Скажите, пожалуйста, людына,— вежливо обращается Динка к проходящей женщине в платке,— в лавре всех кормят?

Женщина удивленным взглядом окидывает маленькую фигурку в нарядном плаще.

— Ну, а як же не кормят? Монахи ж сами и стряпают и подают...— Она хочет еще о чем-то поговорить с барышней, но та весело кивает ей головой и прибавляет шагу, женщина недоумевающе смотрит ей вслед.

Перед Динкой широкий мощеный двор лавры. Она расположена в очень красивом, высоком месте над Днепром. Старинная церковь упирается в небо сияющим на солнце золотым крестом, а под горой, на берегу реки, монахи ловят неводом рыбу...

Динка уже шествует за людьми по широкому двору лавры.

Теперь звон колоколов бьет ей прямо в лицо и уши! Глаза с жадным любопытством ощупывают лица богомольных старух, слепых и зрячих, бедных, богатых, крестьянок и барынь, скрывающих лица под темными вуалями, женщин с хилыми, золотушными детьми, нищих и калек, постукивающих по камням обитыми железом костылями...

Динка внимательно оглядывает двор, она боится как-нибудь нечаянно провалиться в пещеры, о которых говорила Алина. Но все люди идут и идут... Никто не проваливается, а неподалеку от церкви под деревянным навесом стоят длинные столы и такие же длинные скамейки. От столов подымается душистый пар, верующие едят горячий постный борщ... Динка сглатывает набежавшую слюну и нерешительно направляется к скамье. Прямо перед ней вдруг возникает длинная фигура монаха; черная ряса его стянута широким поясом, на голове монашеский клобук. Монах, ловко балансируя между верующими, ставит на стол целое блюдо румяных, горячих пирогов... Тихое умиление сходит на душу Динки.

«Вот как здесь угощают! И борщом и пирогами!» — растроганно думает она и с полным правом голодного, нуждающегося в пище человека берет с блюда пирог, залезает за стол и, придвинув к себе миску борща, уписывает его за обе щеки...

Углубившись в это занятие, она не видит, как монах обходит сидящих за столом с кружкой, в которую каждый бросает свою лепту за съеденный обед.

Монах останавливается перед Динкой и ждет... Динка испуганно отодвигается от него и, положив ложку, молча мотает головой. Но монах неотступно стоит перед ней и ждет... По длинному, унылому лицу его землистого цвета ползут крупные капли пота, из-под монашеского клобука свисают на плечи грязно-желтые волосы.

— У меня нет денег...— с ужасом глядя на него, тихо говорит Динка.

Монах долго смотрит на нее тусклым взглядом бесцветных маленьких глаз и, словно нехотя, побренчав кружкой, отходит, а за столом раздаются возмущенные голоса:

— Что же ты, девочка, за чистый стол села? Шла бы вон к убогеньким, там и даром кормят... Али так кто копеечку на пирожок подаст...

— А это, видать, чья-то девочка... не из простых...

Седая женщина в черной шляпке с вуалью укоризненно качает головой:

— Нехорошо, дитя мое, обманывать бога.

— Но ведь бог знал, что я хочу есть и что у меня нет денег,— дрожащим голосом оправдывается Динка.— Я думала, что бог кормит всех бесплатно...

— Бог-то кормит, милушка; вон сколько калечных да убогеньких сидит, подаяниями добрых людей да милостью божьей питаются. Бог-то кормит, а только людям тоже совесть надо иметь, а ты с этаких лет да в такой одеже...

Динка не в силах больше слушать, что ей говорят верующие; с трудом вылезает она из-за стола, уши ее горят, ноги отяжелели... «Только бы уйти, только бы скорей уйти»,— думает она и почти бежит к воротам, а колокольный звон бьет

ее по голове, гонит на улицу... Динка уже не видит, что над ее головой цветут каштаны, что высокие бело-розовые цветы их стоят так стройно и прямо, как перевитая золотом свеча у нарядной невесты, ей уже не кажется, что окутанный воздушным облаком Киев заневестился... Динка не чувствует, как из палисадников, перегнувшись ветками через забор, сирень дружески хватает ее за рукав... Ничего этого не видит больше Динка. В ушах ее бренчит кружка монаха, в глазах неотступно стоит его длинная черная фигура и грязно-желтые космы, свисающие вдоль унылого лица. Домой! Домой!..

Но у ворот дома ее задерживает Хохолок.

— Я уже выдержал два экзамена... Хочешь, я повезу тебя опять за цветами?

— Нет,— качает головой Динка.— Я не хочу... Ведь тогда это были первые цветы, а сейчас их много, и мне не надо.

Хохолок с сожалением смотрит ей вслед... В классе у него много товарищей, но дома он всегда один. И хотя эта девочка младше его на два года, он хотел бы дружить с ней. Но она уходит, не оглядываясь. Она очень скучная сегодня, эта нескучная девочка...

У крыльца Динка неожиданно замедляет шаг, оглядывается. Ей вдруг неудержимо хочется рассказать кому-то о том, что с ней произошло, освободиться от тяжелого, противного груза на сердце.

— Хохолок! — зовет Динка.

Мальчик одним прыжком достигает крыльца.

— У тебя длинный язык? — строго спрашивает Динка.

— Короткий.

— Значит, ты умеешь молчать?

Мальчик пожимает плечами и отвечает тихим, серьезным голосом, слегка заикаясь:

— Я луч-ше уме-ю молчать, чем го-ворить.

Динка нетерпеливо кивает головой и, схватив его за руку, отбегает к воротам. Там, жестикулируя и захлебываясь словами, она рассказывает ему про свое путешествие в лавру. Прижав руку к животу и глотая слюну, жалуется на то, как ей хотелось есть, как она уплетала за обе щеки горячий борщ

и пирог и как черный монах с длинным лицом и желтыми космами бренчал перед ней железной кружкой... И как она еле-еле выбралась из-за стола. Но тут Хохолок, прижавшись спиной к воротам, вдруг съезжает на землю, беззвучно хохоча и дрыгая ногами. Динка на мгновение замолкает, но смех товарища, прорвавшись сквозь тяжелое ощущение стыда, вдруг словно освобождает ее душу; она видит себя, Динку, где-то со стороны, и непобедимый целительный смех возвращает ей радость этого дня.

— Я же вправду... думала... что задаром. Хорошо, что я у боженьки только один пирог съела...— заикаясь от смеха, добавляет она.— Я еще хотела кваску...

Глава 23

ЕМШАН — ПУЧОК ТРАВЫ СТЕПНОЙ...

Давно остались позади тревожные дни экзаменов. Алина и Мышка благополучно перешли в следующие классы. Мышка со своими четверками спокойно перебралась в пятый класс, а Алина, с горящими щеками, растревоженная и разволнованная собственными успехами, с блеском заняла подобающее ей место в седьмом классе. Вася тоже сдал свои зачеты и перешел на второй курс. Один Леня оставался еще только учеником своего репетитора.

В семье Арсеньевых наступило затишье.

Марина с трудом сводила концы с концами, от мужа не было никаких известий, брат тоже молчал. Катя написала коротенькое письмецо и жаловалась, что ребенок внес раздор между нею и Костей.

«...Костя дрожит над сыном и требует, чтобы я уехала с ним к вам, потому что зима тут суровая, изба, в которой мы живем, промерзает насквозь, бревенчатые стены изнутри покрываются инеем. Купаем Женьку и пеленаем только на русской печке. И все же я не соглашаюсь уехать, здоровье Кости подорвано, он затоскует и погибнет один... Мы часто спорим, и это очень тяжело...»

Письмо Кати огорчило Марину, она перечитывала его и потихоньку от всех плакала. Чаще всего получались письма от Лины. После низких поклонов Лина сообщила, что Иван Иванович поступил на железную дорогу и мечтает выучиться на машиниста, а насчет Никича Лина в каждом письме повторяла одно и то же:

«...Не трогайте вы с места старика, за ним здесь хороший уход, а у вас ходить за ним некому, намучаетесь вы с ним...»

Письма Лины только подстегивали Арсеньевых.

— Ах, боже мой! Надо же скорей его брать, что это Лина выдумывает! — волновалась Марина.

Никичу давно уже были посланы письма, в которых Марина и дети настойчиво звали его к себе, но в последнее время Никич тоже молчал.

Все это очень угнетало Марину, она осунулась, побледнела и по вечерам, опустив на руку голову и помешивая ложечкой чай, грустно задумывалась.

— Я еще никогда не видела маму такой...— с тревогой говорила сестрам Мышка.

— А вы поменьше жалуйтесь, что вам жарко и душно, все равно мама ничем не может помочь! Особенно ты, Динка! — возмущенно говорила Алина.

— А что я? Разве я жалуюсь? Это Мышка вытянулась, как ниточка, и все время попадается маме на глаза со своими острыми лопатками! — сердито бурчала Динка.

Она не чувствовала себя виноватой потому, что после двух неудачных походов нашла в себе силу воли честно сказать матери:

— Мама! Передари мне что-нибудь другое, потому что я все время расширяюсь, у меня такая плохая зона, что один раз я даже расширилась на лавровые пироги...

Заодно Динка рассказала и про торговку на базаре. Мама слушала и смотрела на дочку такими грустными, утомленными глазами, что Динка бросилась к ней на шею с глубоким раскаянием.

— Мама, я больше никуда не уйду! Мама, ты из-за меня такая грустная, да, мама? Из-за меня?

— Нет, Диночка... Просто я думаю, как бы мне вас чаще отправлять за город? Может, хоть по воскресеньям будем ездить куда-нибудь!..

Хохолок, который теперь часто заходил к Арсеньевым, предлагал возить Динку за город на своем велосипеде, но Леня строго-настрого запретил это.

— Смотри, Андрей, не вздумай и правда брать ее, а то, если что случится, ты со мной век не рассчитаешься,— сурово предупредил он.— Жара, духота, а я как безрукий сижу, никуда не могу сестер свозить! — с отчаянием жаловался Леня своему репетитору.

— Ну-ну! Этим летом ты и безрукий и безногий, нам нельзя терять ни одного дня. Пусть ездят с Алиной.

Но поездка с Алиной была мучением для всех троих. Алина ежеминутно дергала сестер, боялась, что они потеряются, сядут не на тот поезд, и бог знает чего еще она боялась, только щеки у нее всю дорогу пылали, а испуганные голубые глаза так тревожно смотрели по сторонам, словно она вывезла своих сестер не на прогулку, а на передовые позиции под обстрел неприятеля. О поездке на Днепр не могло быть и речи; куда-нибудь в лес они тоже не попадали. Приехав на ближайшую станцию, Алина добиралась с сестрами до какой-нибудь рощи или до опушки леса и, разостлав на траве плед, усаживалась с книжкой, ежеминутно командуя:

— Дина, не бегай далеко! Дина, не заглядывай за чужой забор, это неприлично!

Мышка, жалея старшую сестру, ходила как тень за Динкой, и, промучившись до обеда, все трое с удовольствием возвращались домой. В конце концов они начали устраивать эти поездки не для себя, а только для мамы, чтобы она не беспокоилась.

— Мы так хорошо надышались,— хитрили все трое, возвращаясь.

Потом уже они окончательно отказались от всяких поездок, считая самой дальней своей прогулкой Ботанический сад.

Однажды вечером, когда Марина грустно наигрывала что-то на пианино, Мышка, прижавшись к ее плечу, тихо спросила:

— Мамочка... А что, если послать дяде Леке емшан?

— Нет, зачем же... Если он не едет и не пишет, значит, ему нельзя, а мы будем срывать его с места емшаном! — отвечала Марина.

Вася, сидя, как всегда, в своем кресле, прислушался.

— А что это такое — емшан, если не секрет? — с любопытством спросил он.

...Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает...—

с улыбкой продекламировала Марина.

— Мама, я расскажу Васе! Можно, я расскажу? — выскочила Динка и, не дожидаясь разрешения, начала сбивчиво рассказывать своими словами вперемежку с рифмованными строчками:

Когда в степях за станом стан
Бродили орды кочевые,
Был хан Отрóк и хан Сырчан —
Два брата, батырѝ лихие...

И вот один раз, когда они пировали,— с жаром рассказывала Динка,— когда у них «велик полон был взят из Руси», на них вдруг, как буря, налетел русский князь Мономах и разбил их наголову! И вот тогда

Сырчан в донских залег мелях,
Отрóк в горах Кавказских скрылся!
...И шли года... Гулял в степях
Лишь буйный ветер на просторе!
Но вот скончался Мономах...

И плачет по нем Русь, а хан Сырчан зовет певца и к брату шлет его с наказом!

Он там богат, он царь тех стран,
Владыка надо всем Кавказом!

Но ты скажи ему, чтоб бросил все, что умер враг, пусть он идет к себе на родину, в благоухающие степи!

Ему ты песен наших спой,
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему, и он вернется!

Певец едет к хану, говорит, что брат велел ему вернуться...

...Отрóк молчит, на братний зов
Одной усмешкой отвечает...

Певец ему поет песни его родных степей, но хан нахмурился и отвернулся...

И взял пучок травы степной
Тогда певец и подал хану,
И смотрит хан и сам не свой,
Как бы почуя в сердце рану,
За грудь схватился... Все глядят:
Он — грозный хан, что ж это значит?
Он — пред которым все дрожат,
Пучок травы, целуя, плачет!
И вдруг взмахнувши кулаком,
«Не царь я больше вам отныне! —
Воскликнул: — Смерть в краю родном
Милей, чем слава на чужбине!»

Вот, Вася, какой волшебный этот емшан! — закончила Динка.

— Ну, это все так! Кстати, я вспомнил, это стихи Майкова. Но при чем тут вы? — спросил Вася.

Марина засмеялась.

— А у нас в семье с давних пор так уж повелось, что, когда кто-то слишком долго отсутствует и не дает о себе знать или надо спешно вызвать его, то мы посылаем короткие строчки:

Ему ты песен наших спой,
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему, и он вернется...—

пояснила Марина.— Одним словом, для каждого из нашей семьи достаточно одного слова: емшан!

— А хорошо, честное слово, хорошо! — вскочил Вася.— Ну и что же тот, кто получает такой призыв?

— О! — воскликнула Динка.— Он мчится как угорелый, он летит как стрела! Он так спешит на этот зов...

Динка вдруг оборвала себя на слове и, внезапно осененная какой-то мыслью, обвела всех затуманенным взглядом и села на свое место.

А наутро в дальнем уголке двора Динка о чем-то шепталась с Хохолком; потом Хохолок исчез и Динка ежеминутно выбегала к воротам... Наконец Хохолок вернулся и, разжав кулак, показал Динке прилипший к потной ладони телеграфный листок.

— В-от,— заикаясь, сказал он.— Еле при-и-нял-и, ник-то не знал, что та-кое ем-шан!

— Еще бы! — шепотом ответила Динка.— Это же волшебное слово! Его никто не знает. Но ты, Хохолок, знай! На всю жизнь запомни: емшан!

Глава 24

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Переполох поднялся вечером, когда Динка уже улеглась спать.

— Арсеньева, телеграмма! — крикнул на лестнице почтальон.

— Телеграмма! Телеграмма! — заволновались Мышка и Алина.— Мама, мама, иди скорей!

— Да слышу, слышу! Не кричите так,— торопливо идя по коридору, ответила Марина.

Леня, зажимая пальцем страницу учебника, пошел за Мариной.

— Что-то случилось,— упавшим голосом сказала Алина, прислушиваясь к шагам матери.

Худенькое личико Мышки сразу заострилось, словно она приготовилась услышать что-то ужасное.

— От кого бы это? От кого бы это? — вылезая на середину комнаты в длинной ночной рубашке, возбужденно тараторила Динка.

Марина медленно вошла в столовую, читая на ходу полученную телеграмму:

— «Выехали курьерским. Лека».

— Что?

— Что такое? Кто выехал? Прочти еще раз!

— «Выехали курьерским. Лека»,— пожимая плечами, медленно повторила Марина.

— Ничего не понимаю... Кто и с кем выехал? Почему курьерским?

— Ну чего вы не понимаете? И почему никто не радуется? Ведь к нам едет дядя Лека! — кричала Динка.

— Мама! Дядя Лека едет не один! Он, наверно, везет Никича! А может, с ним Кулеша? — гадала Мышка.

— А вдруг Кулеша, правда? Может, он везет письмо от папы? Но зачем же везти, он мог бы передать через дядю Леку.

Алина, хмурясь, прочла телеграмму и передала ее Лёне. Леня читал, молча шевелил губами, вертел телеграмму в руках, потом вдруг спросил:

— Что, дядя Лека всегда ездит курьерским или в этот раз такая спешка?

— Вот именно. Никогда без особой нужды он не поедет курьерским... Вот это меня и тревожит,—сказала Марина.

— И как странно, мама,— усмехнулась Мышка,— я только вчера спросила, не вызвать ли дядю Леку емшаном, и вот он словно почувствовал и летит на курьерском! Просто чудо какое-то!

— Обыкновенное чудо! Обыкновенное чудо! — забормотала Динка. Она уже была смущена общей тревогой и побаивалась, что ее секрет откроется, как только приедет дядя Лека...

* * *

Дядя Лека приехал не один; из-за его плеча, как хилый пенечек около молодого дуба, выглядывала сухая фигурка Никича.

— Никич! — вскрикнула Динка и, обхватив обеими руками своего старого друга, чуть не свалила его с ног.

— Дина, Дина, пусти, уронишь...— испугалась Мышка.

— Никич, голубчик...— растроганно говорила Марина, обнимая старика.

— Ну, вот и добрался, пробился к своим,— задыхаясь, бормотал Никич, не успевая отвечать на объятия.

Дядя Лека, сильно встревоженный неожиданным вызовом, начал с того, что громко пересчитал всех по пальцам.

— Одна, две, три, четыре и пятый! И говорите сразу, что тут у вас случилось? — обнимая сестру, спросил он.

— Как — у нас? Это у тебя что-то случилось! Почему такая телеграмма? Как будто вы мчались как на пожар. Мы уже всё тут передумали...

Едва помещаясь в узком коридоре, приезжие и хозяева шли тесной кучкой; девочки на ходу обнимали то Никича, то дядю Леку...

Никич пытался что-то сказать, но Динка тащила его за руку:

— Пойдем, Никич, пойдем!

— Леонид! Отними у девчонок Никича! Они его уже сбили с ног и окончательно замучают! Лучше всего уложить его сразу в постель! — гремел в коридоре голос дяди Леки.

Войдя в столовую, он еще раз обнял сестру, любовно оглядел ее, тоненькую, похудевшую, похожую скорей на старшую сестру девочек, чем на их мать. Дядя Лека покачал головой.

— Да, недаром ты мне емшан прислала! — неожиданно сказал он.

— Я? Послала емшан? Когда? — широко раскрывая глаза, сказала Марина.

Все сразу смолкли... У Динки загорелись уши, она спряталась за высокой спинкой кресла и оттуда с тревогой наблюдала за всеми.

— Э, сестреночка...— засмеялся дядя Лека.— У тебе ведь это испытанный способ! Ты своим емшаном можешь человека с того света вызвать!

Он засунул пальцы в карман пиджака и вытащил сложенный вдвое телеграфный бланк.

— А это что? Не емшан? Только довольно корявые слова, я подумал, что ты сочиняла их наспех, и очень встревожился...

Марина взяла из рук брата телеграмму и при общем молчании громко прочла:

— «Емшан пучок трава степная».

— Неправда! Я не так говорила! Это на почте перепутали! Или сам Хохолок...— неожиданно выскочила из-за кресла Динка и, увидев вокруг удивленные лица, заметалась: — Ну что вы все так смотрите! Я же хотела сделать вам чудо! Обыкновенное чудо! Чтобы вы обрадовались! И дядя Лека приехал! И даже привез нам Никича! Что же вы сердитесь? — Она всхлипнула и бросилась к Никичу: — Никич, ведь тебя тоже привез мой емшан! Ведь ты не сердишься, Никич?

Никич ласково погладил ее по голове:

— А что же мне сердиться, если я тебя вот эдакой махонькой знаю... И со всеми твоими штучками. Да я к ним так привык, что без них мне вроде бы и скучно...

Леня с нежностью взглянул на старика.

— Характер у ней такой... Что ж тут обвинять,— начал было он, но, взглянув на Марину, осекся.

Лицо у Марины побледнело и стало таким твердым, холодным, как будто оно высечено из камня и никогда на нем не было теплой человеческой улыбки... Это было самое худшее, чего больше всего на свете боялись девочки.

— Дина, ступай в свою комнату, мне нужно поговорить с тобой!

Девочка низко опустила голову и покорно пошла к двери.

— Может быть, ты отложишь? — тихо спросил сестру дядя Лека.

— Нет... Прости... Не могу...— отрывисто бросила Марина и ушла вслед за Динкой.

В комнате наступило тяжелое молчание, потом Леня вдруг рванулся к Динкиной комнате, но дядя Лека взял его за плечи:

— Есть такие дела, когда нельзя вмешиваться.

Леня, кусая ногти, отошел в угол. Девочки сидели тихие, подавленные.

— А ну-ка, хозяюшки, дайте-ка нам с Никичем чаю! Есть в этом доме чай? — потирая руки, нарочито громко и весело спросил дядя Лека.

— Есть! Есть! — засуетились девочки.

* * *

Марина недолго говорила с дочкой. Но после этого разговора Динка уткнулась лицом в Ленькин пиджачок и, войдя с ним в его комнату, дала волю слезам.

— Мама сказала... что есть такие дети... они... считают себя умнее взрослых... и лезут... во все дела.

— Ну хватит, хватит...— успокаивал ее Ленька.

Но девочка не могла успокоиться.

— Мама сказала... я вырасту и буду мешать... всем хорошим людям... как самоуверенный...— Она на минутку затихла, пытаясь вспомнить еще одно слово, это слово почему-то напоминало ей индюка, но она забыла его.— Я вырасту и буду как пышный, самоуверенный дурак...— громко плача, жаловалась она своему другу.

— Ничего, ничего...— бормотал Ленька.— Из дурака умного сделать можно, а вот из умного дурака уже не сделаешь... Это она так, к слову сказала...

Глава 25

ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Марина разливает чай, шутит с Никичем.

— Дина, Леня! Идите пить чай! — как ни в чем не бывало зовет она.

Динка проходит мимо с опущенной головой; Леня ведет ее в кухню умываться. Дядя Лека укоризненно качает головой:

— Перетянула, сестреночка, перетянула...

— Это уже не шалость, а серьезный проступок,— тихо отвечает Марина.

Когда Леня и Динка усаживаются за стол, дядя Лека, помешивая ложечкой чай, вдруг хитро подмигивает Никичу:

— Ну, как ты думаешь, Никич? Сказать нам или не сказато нашу оглушительную новость?

— Я так думаю, самое время,— говорит Никич.

— Ну, значит, сейчас я вас всех развеселю. Слушайте же! Мне дано поручение купить в лесной глуши под Киевом уютный, тихий хуторок с какой-нибудь хаткой на курьих ножках и перевезти туда на летние каникулы семью Александра Дмитриевича Арсеньева, в первую очередь, конечно, Динку...

Девочка слабо и недоверчиво улыбается, но дядя Лека дружески кивает ей.

— Да, да, Динку в первую очередь. Ну, и остальных, конечно! Повторяю, хуторок этот надо найти в лесной глуши, подальше от станции.

— Что это такое, Олег? Я не понимаю...— удивленно спрашивает Марина.

Брат улыбается, наклоняется к ней и что-то тихо шепчет...

— Ну, а кстати можно каждое лето вывозить туда детей...— так же тихо добавляет он.

— Замечательно! — вспыхнув, говорит Марина.— Но ведь это дорого стоит, наверно?

— Не думаю... Но денег на эту покупку мне ссудили в достаточном количестве, так что завтра же я начну действовать. Надо бы расспросить кого-нибудь из киевлян, какие тут есть красивые места,— говорит дядя Лека.

Динка беспокойно вертится на стуле, потом, не выдержав, тихо говорит:

— Хохолок все места под Киевом знает.

— Мама! Дядя Лека шутит или это правда? — спрашивает Мышка, придя в себя от удивления.

— Нет, он не шутит,— серьезно говорит Алина.— И я, конечно, все поняла... Только где же найти такое глухое место?

— Да Хохолок найдет, он везде ездит...— снова не выдерживает Динка и робко взглядывает на мать.

— Да вот тут есть такой мальчик, Динкин приятель,— кивает головой Марина.— Он, кажется, хорошо знает все окрестности Киева!

— Нет! Послушай-ка их, Никич! До чего спокойно они приняли эту оглушительную новость! Я просто разочарован. Ведь мы с тобой, Никич, думали, что наши девчонки будут скакать до потолка, а Леонид до крыши!

— Да мы просто еще в себя не пришли! — засмеялась Мышка.

— Нет, вы только подумайте, что каждое лето после экзаменов вы будете отправляться на свежий воздух, копаться в земле, сажать деревья, огородину всякую, а я да, может быть, и еще кто-нибудь будем пользоваться трудами рук ваших! — шутил Олег.

— Эх, сказка! Лес, река! Слышь, Макака! Да это и царю не снился такой хуторок в лесу! — разгорелся вдруг Леня.

Глядя на него, Динка забыла, что она «пышный самоуверенный дурак», и, вскочив со стула, бросилась к дверям:

— Я сейчас приведу Хохолка. Можно?

Хохолок действительно знал много мест за городом. У него самые красивые места были даже отмечены в записной книжечке.

— Я знаю од-но такое место, там молния ударила в дуб, и хозяева не хотят жить на этом хуторе! Это версты три от станции... Там и глушь, и заросший пруд, и густой орешник, и родник на лугу!

— Всё! Всё! — кричал дядя Лека.— Завтра же едем! Ну, а соловьи там поют? — спросил он у Хохолка.

— И соловьи... и ля-гуш-ки,— серьезно ответил Хохолок.

Глава 26

НЕСМЕТНЫЕ СОКРОВИЩА

Прошло всего две недели со дня приезда дяди Леки, а семья Арсеньевых, к своему удивлению, стала обладательницей маленького хуторка с белой хаткой. А в Динкиной жизни произошло настоящее чудо. Она вдруг почувствовала себя хозяйкой всех лесов, полей и рек. И не только лесов и полей, а и двух деревень, между которыми в лесной глуши приютилась белая хатка. Несметные сокровища таились в лесах для Динки... Сладкая дикая малина, припеченные солнцем ягоды земляники, кокетливые шляпки лисичек, покрытые белой пленкой, молочные маслята, полные достоинства белые грибы на толстых ножках... А птицы, белки, зайчики, а калина, усыпанная красными монистами!.. У Динки первое время разбегались глаза, и, остановившись среди зарослей малины, она разводила руками и пела:

Не счесть алмазов...

Уткнув лицо в букет полевых гвоздик, она мчалась по луговой тропинке к узенькой, изворотливой речонке... В буйной траве на влажном лугу расхаживали черногузы[1]. Их длинные клювы ловко вылавливали себе на обед зазевавшихся лягушек.

При виде бегущей по тропинке девочки черногузы лениво хлопали крыльями и, сложив, как две палочки, ноги, перелетали на другое место. Достигнув речонки, Динка сбрасывала платье и бросалась с головой в заросшую лесной зеленью и желтыми кувшинками воду...

Проголодавшись, Динка бежала домой. Алина и Мышка, поздоровевшие на воздухе, загорелые и веселые, варили на летней печурке, сложенной наспех из кирпича и глины, зеленый борщ...

Никто не упрекал Динку, что она где-то бегает, и Динка вволю наслаждалась своей свободой.

---

[1] Черногузы — цапли.

— Ну что ты там еще интересного видела? — спрашивал дедушка Никич, сидя в тени ветвистого дуба в креслекачалке.

— Некогда, дедушка Никич, некогда! Потом расскажу!

У Динки было еще одно сокровище — это кривая на один глаз лошадь Прима. Дядя Лека купил ее у соседнего помещика вместе со старой бричкой. Прима каждый день утром отвозила на станцию маму и вечером встречала ее. На козлах сидел Ефим Бессмертный, единственный сосед новых хуторян. В полуверсте от Арсеньевых стояла наспех сколоченная хатка, в которой жил Ефим со своей молодой женой Марьяной. Как только Арсеньевы переехали в свое новое жилье, при первом же дожде оказалось, что крыша течет, двери перекосились, окна не открываются. Нужно было что-то делать. Ефим пришел сам и предложил свои услуги. Руки у Ефима были золотые. Высокий, кудрявый, с голубыми серьезными глазами, он сразу располагал к себе. Динка быстро подружилась с ним.

— Знаешь, мама, Ефим очень круглый сирота. У него ничего нет — ни лошади, ни коровы... За него и Марьяну не хотели отдавать, но Ефим отработал пану два лета за клочок земли, построил хатку и женился на Марьяне! Я уже была у них в гостях! Мамочка, пусть Марьяна помажет нам хату, она очень хорошо умеет мазать.

Арсеньевы познакомились и с Марьяной. Синеглазая, стройная, как тополек, Марьяна в вышитой украинской рубашке, с бусами на шее, казалось, только что сошла со сцены украинского театра... Ефим и Марьяна сразу расположили к себе Арсеньевых и стали их лучшими советчиками и помощниками. Под руководством Марьяны девочки вскопали землю под огород, посадили всякую зелень. Оставался последний месяц каникул... Леня с Васей жили в городе, Марина часто забегала к ним со службы.

Увлеченная своей новой вольной жизнью, Динка как будто совсем забыла о Лёне.

— Как это так? — удивлялась Мышка:— Даже Алине и то как-то не хватает Лени, про себя я уже не говорю, я и без Васи скучаю, а Динка даже и не думает ни о ком.

— Ну и, пожалуйста, не напоминайте ей... У Лени последние считанные дни перед экзаменами! Не дай бог, Динка запросится сейчас в город!

Но Динка не просилась. У нее было много дела. С утра, когда Прима возвращалась со станции, Динка купала ее в пруду, чистила щеткой и вела на луг пастись. Все выпрошенные у матери деньги она тратила теперь на овес для своей любимицы, таскала ей со стола куски хлеба, и благодарная Прима, отличая от всех свою маленькую хозяйку, встречала ее радостным ржанием...

И еще было у Динки одно интересное, завязавшееся на хуторе знакомство. Это те дорогие «людыны», без которых даже в богатых лесах, среди несметных сокровищ земли Динка не мыслила своей жизни.

Глава 27

ДОРОГИЕ ЛЮДЫНЫ!

В первые дни Динка не испытывала одиночества, но однажды, остановившись на лугу среди густой травы и колыхающихся от ветерка ромашек, она вдруг остро почувствовала, что ей чего-то недостает.

Оглянувшись во все стороны, она попробовала громко и призывно крикнуть:

— Эй, эй! Где вы?

«Где вы... где вы...» — прокатилось за лугом и затихло без ответа.

— Ау!.. Ау!..— еще раз крикнула Динка, и снова ей ответило только эхо. Тогда она побежала к Ефиму.

— Ефим, здесь есть где-нибудь такие людыны, как я? Такие дети, Ефим?

— Чого-чого,— усмехнулся Ефим,— а детей хватает!

— А где же они? Почему я никого не вижу?

— Ну, дак они, конечно, по деревням больше да в экономии пана! А чего ж вы их не видите, когда они вон в кустах сидят,

выглядают... Любопытные, как мухи. Я их и вчера видел, и сегодня, как шел к вам,— улыбнулся Ефим.

— В кустах? А где это? — беспомощно оглядываясь, спросила Динка.

— Ну, может, сегодня нету, так завтра будут... У них же свой интерес к городским людям.

Динка стала приглядываться к кустам и деревьям. Как-то утром за тремя березками мелькнул белый платочек.

«Идут, идут!»

Но они не шли, а стояли. Мальчик и девочка. Девочка смущенно натягивала рукава вышитой рубашки и, склонив набок голову, смотрела на Динку серьезными голубыми глазами; из-под длинной широкой юбки с фартуком виднелись утопавшие в траве маленькие босые ноги.

Мальчик стоял немного поодаль; штаны его, застегнутые на одну пуговицу на животе, доходили ему до щиколоток, на плечах, поверх рубашки из серого полотна, болтался чей-то старый пиджак.

Динка, боясь, что гости уйдут, бросилась к ним, протянула руки:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Пришли наконец!

Она поймала прятавшуюся в рукаве загорелую руку девочки, похлопала по плечу мальчика.

— А я так ждала... Как вас зовут? — с интересом спросила она.

— Меня Федорка, а его Дмитро,— несмело ответила девочка.

Мальчик, щуря темные глаза, опасливо смотрел на хлопавшую его по плечу Динкину руку.

— Да вы не бойтесь! Меня зовут Динка!

— А я с того году пойду панских коров пасти,— ни с того ни с сего заявил вдруг басом Дмитро.

Федорка подняла свои тонкие бровки и дернула плечом:

— Не хвастай, бо это еще неизвестно! Павло сказал, если твоя матка принесет ему порося, то он возьмет тебя подпаском, а если нет, то кого другого пошлют.

— Нема у нас порося...— сердито сказал мальчик.

— А что это за порося такое? Почему этому Павло нужно порося? — заинтересовалась Динка.

Федорка потуже завязала концы платка, выплюнула изо рта травинку.

— Так Павло — это ж приказчик пана... Он задаром не возьмет... Еще и по шее даст!

— Ого! — возмутилась Динка.— По шее! Из-за какого-то порося! Его самого надо по шее!

— Ой, боже ж мой! Хиба ж так можно казать! — испугалась было Федорка, но, взглянув на Динку, закрылась концами платка и звонко расхохоталась.

Смех у нее был такой дробный и заразительный, что Динка тоже начала смеяться. Хмыкнул и Дмитро, а потом, расхрабрившись, снова совсем не к месту спросил:

— А чого-то вы этот хутор купили? Тут молния на пруду в дуб ударила... Она в другой раз может ударить, деды кажуть — тут место нехорошее, по всем ночам филин кричит...

— Ну и что же? Пускай кричит! Я люблю птиц,— беспечно сказала Динка.

— Э, ни! — махнула рукой Федорка.— Его погано людям слушать. Он может на каждого беду нагнать.

Она вдруг обернулась к Дмитро и начала шепотом убеждать его в чем-то, повторяя одну фразу:

— Все равно ж найдут! Лучше сам скажи!

Мальчик сердился, упрямился...

— Ну чего вы там шепчетесь! Говорите громко! Я никому не скажу, если это тайна! — вмешалась Динка.

Федорка толкнула локтем Дмитро:

— Ну говори! Вот какой упрямый... Барышня никому не скажет!

— Я не барышня, я Динка! Ну говори твою тайну, Дмитро,— нетерпеливо перебила Динка.

Дмитро покусал губы и, глядя исподлобья на Динку, нехотя сказал:

— У вас под крыльцом я обрез спрятал... Если стрельнет, то может и насмерть прибить...

— Обрез? А что это такое? Ружье? — живо заинтересовалась Динка.

— То не настоящее ружье, оно обрезано, чтобы, значит, покороче было...— объяснила Федорка.

— А где же ты взял его? — ахнула Динка.

— У нас, как батько помер, так мы с маткой полезли в подполье и нашли! А матка испугалась да и велела закинуть в пруд, а мне жалко стало, я его и подложил под ваше крыльцо... Тут никто не жил,— хмуро рассказал Дмитро.

— К нам, под крыльцо? Так ведь Ефим будет чинить это крыльцо и найдет! Что же ты сразу не сказал? Надо сегодня же перепрятать его в другое место! — загорелась Динка.— Мы вот как сделаем...

Динка обняла своих новых приятелей за плечи и что-то зашептала...

— Дак он заряженный, в нем и пуля есть...— прерывая ее, шептал Дмитро.

— Ой, боже мой...— испуганно вздыхала Федорка.

— Ничего, ничего... Я осторожно...— уверяла Динка.— Только приходите вечером, как стемнеет.

* * *

Весь день Динка беспокойно прохаживалась около крыльца и, еле дождавшись вечера, побежала к трем березам.

— Идем,— шепотом сказала она Дмитро.— Я уже нашла место... Мы спрячем его в дупле старого дуба... Пойдем, Федорка!

— Э, ни! Я боюсь...— усаживаясь в траву и натягивая на коленки платье, замотала головой Федорка.— Я тут обожду... Бо воно как стрельнет, так и живой не останешься.

— Ну, нехай сидит.— Дмитро, задевая за ветки своим длинным пиджаком, пошел за Динкой.

В хате уже горели свечи; Мышка и Алина стелили постели, ждали со станции мать.

— Скорей, скорей! — торопила Динка.— Сейчас Ефим вернется со станции, он поехал за мамой...

Дмитро, сбросив пиджак, полез под крыльцо. В темноте были видны только босые пятки...

— Нашел? — нетерпеливо спрашивала Динка, поглядывая с опаской на дверь, из которой каждую минуту могли выйти сестры.

Дмитро молча шарил под крыльцом; потом наконец вылез, держа в руке что-то тяжелое. Динка увидела приклад и дуло настоящего ружья... Такое ружье, только много длиннее, она видела у дяди Леки, когда он собирался на охоту.

— Пошли! — сказал Дмитро.

Под старым дубом, в который ударила когда-то молния, оба остановились.

Огромный, широкий дуб выгорел и обуглился изнутри. Несмотря на это, толстые сучья его зеленели ветками, и наверху виднелось узкое, глубокое дупло.

Дмитро ловко вскарабкался на дерево и, положив в дупло свой обрез, благополучно спустился вниз.

— Пусть там и лежит,— сказала Динка.— А потом, когда я на следующий год приеду, мы решим, что с ним делать.

Федорка одобрила это решение. Все трое еще немного пошептались и, решив завтра обязательно свидеться, разошлись.

Глава 28

«СВЯТАЯ КРИНИЧКА»

Хуторские знакомые внесли в Динкину жизнь новые впечатления. У Федорки было много дела по дому. Отец ее служил сторожем в экономии пана, мать работала птичницей. Кроме Федорки, в семье были еще младшие дети. Федорка вместе со старой бабкой нянчилась с ними, поэтому у нее только в воскресенье выдавалось свободное время побегать с Динкой, но, несмотря на это, девочки уже побывали в казенном лесу, побывали и в соседних селах... Дмитро приходил чаще; его интересовало, что делается на хуторе. Усевшись в кустах, он часами смотрел, как Ефим чинит крышу и строит терраску.

— Вот как бы не взяли мы под крыльцом обрез, то ваш Ефим нашел бы его,— говорил Дмитро.

Вечерами то он, то Динка лазали на дуб проверять, лежит ли в дупле обрез.

— Лежит,— шепотом говорила, прыгая на землю, Динка.

— Лежит,— передавал Федорке Дмитро.

— Ну и пусть лежит,— с облегчением говорила Федорка.— Стрельнет, так в дуб...

Она очень боялась обреза. Как-то в воскресенье Федорка собралась в казенный лес под Ирпенью и зашла за Динкой.

— Пойдем с нами! Люди говорят, что в казенном лесу объявилось чудо! Там есть такая криничка[1], и вот когда нагнешься над ней и посмотришь на дно, то там божья матерь является!

— Да ну? — удивилась Динка.— Откуда же она является?

— Ну, в воде, конечно... Только не все ее видят; который человек очень грешный, тому ничего не видно... Вода и вода. А который безгрешный, тот видит... Вот бабка и посылает меня... Пойдем, может, сподобит нас господь! — перекрестившись, сказала Федорка.

— Пойдем! — равнодушно сказала Динка.— Только меня господь не сподобит, я неверующая!

Девочки пошли. Побегав по казенному лесу, они добрались до «святой кринички», как ее окрестили старухи, и с любопытством заглянули в нее. Криничка была неглубокая. Сквозь чистую прозрачную воду видно было дно. Динка нагнулась первая.

— Ничего тут нет! — засмеялась она.

Федорка, шепча какие-то молитвы и мелко крестясь, заглянула в криничку.

— Ой, мамонька моя! — простонала она.— Не вижу... Ничего не вижу... Не хочет мне божья матерь показаться. За грехи мои не хочет...— Федорка расплакалась.— Ну как я дома скажу, что не сподобил меня господь?

— Да чепуха это! Ничего там нет. Никто и не видит.

---

[1] Криничка (укр.) — родничок.

— Ох, нет, нет! В прошлое воскресенье сам батюшка в церкви говорил! И две старухи сами видели... Лежит в воде икона божьей матери с младенцем на руках. Безгрешные старухи, они и видели! А я, грешница, ничего не вижу...

Всю дорогу Федорка плакала, а Динка сердилась:

— Враки это все! Никто там ничего не видел!

На следующее воскресенье девочки опять пошли. На этот раз около «святой кринички» собрался народ: матери принесли детей, появились откуда-то батюшка и два монаха...

Люди заглядывали в криничку, били себя кулаком в грудь, плакали горькими, покаянными слезами... Динка, протиснувшись вперед, к своему удивлению, увидела в воде икону божьей матери и, подозвав Федорку, сказала:

— Смотри скорей, а то опять будешь плакать! Вот она, твоя божья матерь!

Федорка глядела, крестилась, радовалась:

— Сподобил господь...

Но на обратном пути ее одолели сомнения:

— А ты, Динка, тоже видела божью матерь?

— Конечно, видела. Это же икона! Ее сами монахи подложили! Вот хитрюги какие! — хохотала Динка.

— Смотри, накажет тебя бог! — пугалась Федорка.— Не насмехайся лучше!

— Да я ни во что это не верю! А вот хочешь, пойдем раным-рано на эту криничку, я прыгну туда и вытащу тебе эту икону? Хочешь?

— Нет, нет! — замахала руками Федорка.— Я боюсь! Накажет нас бог, отнимет руки и ноги! Калеками станем, лучше и не говори мне такого!

— Ну, как хочешь! Только подумай сама, почему же нам одинаковая честь — что тебе, то и мне? Ты верующая, тебе бы божья матерь и показалась, а мне зачем?

— Не знаю...— вздохнула Федорка.— Как я могу знать, что божья матерь об нас думает?

Динка снова захохотала. Федорка обиделась. Утром Динка прибежала к ней мириться.

— Не будем спорить,— сказала она.— Когда-нибудь ты сама узнаешь, что все это неправда.

Федорка узнала через несколько дней. Она прибежала к Динке с неожиданной новостью.

— Чуешь, Динка? — живо сказала она.— На святую криницу зашли какие-то хлопцы с Киева... Кто говорит, студенты... Зашли, заглянули в криницу да и говорят: вот как здесь народ морочат! Один разделся, нырнул в криницу и вытащил икону богоматери... Монах давай шуметь на него, старухи плакать начали, а эти хлопцы только смеются: «Кому вы верите? Попам да монахам?» И теперь все... Не стали люди туда ходить, и я не пойду больше,— закончила Федорка.

— Вот здорово получилось! — рассказывая об этом дома, заключила Динка.

Глава 29

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Федорка была живая и любознательная девочка, а Динке нужна была слушательница. Усевшись на траву под тремя березками, Федорка могла без конца слушать Динкины истории. В этих историях вымысел был так искусно перемешан с правдой, что Федорка, слушая их, то смеялась, то плакала, то просто, удивляясь, говорила:

— И откуда ты так много знаешь? Как будто уже сто лет живешь на свете!

— А из книг? Я многое знаю из книг,— скромно сознавалась Динка.

— Вот если бы и мне выучиться читать! — сказала один раз Федорка.

Динка попросила маму привезти Федорке букварь и каждый день терпеливо показывала ей буквы. Память у Федорки была редкая, буквы она запоминала сразу.

— Когда я приеду на следующее лето, ты будешь уже читать! — радовалась Динка.

Незаметно шло время. Однажды Федорка пришла на хутор

в красном монисто из калины; на голове у нее был венок из желтых осенних листьев.

Динка подняла глаза на три березки и увидела, что листья их тоже пожелтели.

— Федорка! — растерянно сказала она.— Ведь это осень! Уже наступила осень!

Федорка кивнула головой, и веселое круглое личико ее затуманилось.

— Наверно, скоро вам уезжать? — забеспокоилась она.

— Да-да, скоро...— машинально ответила Динка.

Словно очнувшись от долгого сна, она вдруг увидела выросшие на полях стога, скошенное жито. Вспомнила песни жнецов. Все это было уже давно-давно...

— Осень, осень! Значит, уже скоро у Лени экзамены!

Динку вдруг охватило страшное беспокойство, и утром, рано вскочив, она стала собираться в город.

— Мама, я поеду с тобой! Я очень соскучилась по Лёне...

— У Лени через три дня экзамены, ты можешь ему помешать! — строго сказала Марина.

— Ни в коем случае не бери ее с собой, мама; она сорвет Лёне все занятия, да еще в последние дни! — решительно запротестовала Алина.

— Конечно. Не надо тебе ехать, Диночка... Лёне сейчас очень трудно,— вздохнула Мышка.

Но Динка как будто очнулась от долгого сна:

— Не говорите мне ничего, я все равно поеду! Я хочу быть с Леней...

Мать уехала. Сестры пробовали еще уговорить Динку, но она, молча сжав губы, собрала свой баульчик, сбегала попрощаться в экономию к Федорке:

— Вот тебе, Федорка, тетрадки, цветные карандаши... Я, может, еще приеду...

Федорка замигала длинными ресницами, вытерла концом платка круглые, как горошинки, слезы:

— Привыкла я до тебя...

Динка вытащила из кос новые ленты, сунула их Федорке и убежала. С Дмитро попрощалась весело, на ходу.

Видя, что все уговоры бесполезны, сестры тоже начали собираться.

Вечером, вернувшись со службы, Марина спокойно приняла эту новость.

— Ну что ж, ехать так ехать.

Потом она позвала Алину; они ходили по дорожкам, обнявшись, как две сестры, и о чем-то тихо, взволнованно говорили. Не говоря ни слова младшим детям, они допоздна мыли и прибирали хату, заставили Ефима наколоть дров и сложить их у печи.

— Я буду каждый день приезжать сюда,— говорила Марина.

Утром на пригорке Динка нежно гладила и целовала Приму. Они расставались на долгую-долгую зиму... Ефим брал лошадь к себе.

Лето кончилось... Динка шла через лес молча, с опущенной головой.

«Если б только Леня выдержал экзамены,— думала она,— если б только выдержал! Тогда и осень и зима — все было бы хорошо!»

* * *

Через час Динка уже нетерпеливо звонила у двери городской квартиры.

— Тише! Не бренчи так! — стоя сзади нее с сумками и баулами, предупреждали сестры.— Они же занимаются!

Но по лестнице раздались быстрые шаги.

— Макака, ты? — обрадовался Леня.

Динка без слов повисла у него на шее.

— А я думал, вдруг не приедешь, а у меня экзамены... А вот ты и приехала... Теперь не бойся! Я выдержу! — взволнованно говорил Леня, не замечая сестер и матери.— Я при тебе ни за что не провалюсь!

Сестры молчали. Они вдруг поняли, как нужна, как необходима была мальчику в эти трудные дни его Макака.

Мать тоже молчала, с горечью думая про себя:
«А мы могли бы не пустить ее...»

Глава 30

«МОЙ ЧАС НАСТАЛ!»

Леня вскочил рано, распахнул окно и тихо, торжественно произнес:

— Мой час настал!

— Наш час...— поднимаясь с кушетки, поправил его Вася.— Твой экзамен — это и мой экзамен! И никогда еще в жизни у меня не было более трудного и ответственного экзамена!

В столовой уже собрались девочки. Покашливая, вышел из своей комнаты Никич. Марина торопливо готовила завтрак.

— Леня, съешь ветчины!

— Нет, лучше два яйца и кофе!

— Обязательно выпей кофе! — наперерыв предлагали и советовали девочки.

— Не закармливайте его и не разнеживайте, он готов к бою! — шутил Вася.

Из спальни вышла Динка; на ней была новая парадная форма с белым передником, в толстых косках пышные белые банты.

«А эта еще куда разоделась?» — хотел сказать Вася, но что-то в лице Динки остановило его. Может быть, от пышности белых бантов, но лицо ее казалось очень бледным, она все время ежилась, как будто ее знобило... Это была Динка, но в то же время какая-то другая, жалкая, оробевшая девочка.

Леня взял с блюдечка стакан кофе, положил в него большой кусок сахара и, кивнув ободряюще головой, протянул его Динке.

Она покорно выпила и встала у двери.

— Диночка! Пусть Леня идет один, а мы с тобой будем ждать его около гимназии,— ласково сказала Марина.

Динка вопросительно взглянула на Леню.

— Конечно, Макака!.. Ты зато самая первая и узнаешь! — сказал Леня.

— Что узнаю? — испуганно спросила Динка.

— Ну, узнаешь, как я отвечал, как выдержал...

На губах Динки появилась слабая, неуверенная улыбка.

— Ну, пошли, Леонид! Пошли! — бодро сказал Вася и, проходя мимо Динки, ласково погладил ее по голове.

За воротами Вася остановился:

— Ну, дальше иди один, а я подожду тебя здесь!

Леня пошел. На углу он оглянулся. Вася Гулливер стоял неподвижно, засунув руки в карманы и подпирая спиной ворота.

Вася думал о доме, который стал ему родным... Как омрачатся, как будут горевать все эти дорогие ему люди, если Леня не выдержит экзамен! Как переживет это сам Леня? Как и чем успокоит их он, Вася? Тем, что снова и снова часами и днями они будут сидеть с Леней над учебниками?.. Нет, этого не должно случиться.

* * *

Около мужской гимназии, где на аллее в желтеющей листве каштанов раскрываются колючие гнездышки и из них, как новенькие, отполированные шарики, падают на землю коричневые каштаны, где беззаботные дети набивают ими свои карманы, взволнованно прохаживаются взад и вперед Марина с Динкой. Сегодня у Лени самый важный, последний экзамен...

— Ой, мамочка, мамочка! — шепчет Динка.— Может быть, сейчас его уже вызвали?

Марина тоже волнуется. Вот будет беда, если мальчик провалится. Он так много занимался, так осунулся за последние дни, стал как-то молчаливее, сдержаннее...

А еще месяц назад он шел с ней по улице и, разговаривая об экзаменах, храбрился и только, время от времени тревожно взглядывая на Марину, повторял:

— Вот будет штука, если я провалюсь...

И через несколько шагов опять:

— Вот будет штука...

«Хороша штука...» — грустно усмехаясь, думала Марина и, подбадривая мальчика, говорила:

— Ничего страшного, Леня! Провалишься, так будешь держать в середине зимы.

— Мама...— трогает ее за рукав Динка.— Смотри, уже выходят какие-то гимназисты!

Парадная дверь в мужской гимназии то открывается, то закрывается, а Марина с изнемогающей от волнения Динкой все прохаживаются и прохаживаются мимо... Но вот наконец что-то знакомое...

— Мама! Это он! Лёнь! Лёнь! — кричит Динка.

Леня оглядывается по сторонам, прыгает с крыльца и мчится к ним навстречу:

— Я выдержал! Выдержал! Меня приняли! Сам директор сказал!

— Приняли! Приняли! — прыгает Динка. Щеки ее загораются румянцем, и в диком восторге она мчится вперед, чтобы первой сообщить эту радость домашним.

— Вася! — кричит она, завидев около ворот высокую фигуру в студенческой тужурке.— Ох, Вася!..

Она виснет у него на шее, гладит его по лицу и, задыхаясь от волнения, залпом выпаливает три слова:

— Его приняли, Вася!

А Марина, идя рядом с Леней, крепко сжимает его красную, измазанную чернилами руку и радостно смеется.

— Вон идет Вася,— растроганно говорит она и, выпуская руку мальчика, чуть-чуть подталкивает его вперед.

Леня молча останавливается перед Васей, и оба они, улыбаясь, смотрят в глаза друг другу...

— Ну, обнимитесь же! — смеется Марина.

— Мы — мужчины,— говорит Вася, но, притянув к себе Леню, крепко обнимает его.

— Никогда не забуду я этого дня! — говорит Леня.

— Я тоже.

— Спасибо тебе, друг...— шепчет Леня.

— И тебе тоже,— улыбается Вася.

— Пойдемте! Пойдемте! — хватая обоих за руки, кричит Динка и тащит их в дом.

— Подождите! — мечутся по комнате девочки.

Они выстраиваются все трое на пороге с букетами осенних цветов. Мышка, краснея от смущения, отдает свой букет Васе... Так велела ей Алина. Но не все ли равно, кто велел? Вася счастлив, и все счастливы в этот счастливый день в семье Арсеньевых!

— А праздновать будем в первое же воскресенье на хуторе! — говорит Марина.

Она теперь часто после работы уезжает на хутор и возвращается поздно, одна, очень усталая и печальная... Алина, открывая ей дверь, ни о чем не спрашивает.

Глава 31

НИЧЕЙНЫЙ ДЕД

— Какой заплаканный день! — с сожалением говорит Динка, выходя на террасу.

Черные ветки дуба, словно бисером, усеяны дождевыми каплями, последние желтые листы слетают с деревьев и плавают в лужицах у крыльца, земля набухла, неживая, намокшая трава с редкими мелкими ромашками и вылинявшими васильками полегла на лугу...

— «Поздняя осень... Грачи улетели...» — вспоминает Динка.

Теперь даже Марина не может ездить на хутор каждый день: рано наступают сумерки, часто моросит дождь, возвращаться на станцию через лес вечером стало очень трудно. Арсеньевы всей семьей приезжают на хутор в субботу и остаются на воскресенье. Они все еще надеются, что приедет отец... Старшие уже знают это от матери, одной Динке никто ничего не говорит, и она ни о чем не спрашивает, но догадывается. Она слышала, как дядя Лека, уезжая, делал под-

робный план, как пройти на хутор, ни у кого не спрашивая дорогу. Динка видит, что каждый раз мать, сестры и Леня оставляют около печки сухие дрова, а на столе и в буфете всякую еду. Закрыв дверь на терраску, мама прячет ключ в условленном месте под крыльцом.

В субботу Динка, обгоняя всех, мчится через мокрый лес... В сумерках чудится ей, что на хуторе в одном из окошек горит тоненький огонек.

Но нет, никого нет... Так и раньше, и теперь, в этот раз. Сегодня воскресенье, Динка проснулась раным-рано... Вчера Леня и Вася копали ямки для посадки саженцев черешни, вишни и молоденьких яблонь, в ямках набралась вода, всю ночь по железной крыше мелко и надоедливо стучал дождь. Динка в стареньком пальтишке и намокшей, как мышь, серой шапке с ушами, в стоптанных прошлогодних башмаках бегала вчера с Федоркой по лесу. Собирали поздние грибы, ели горьковатую рябину, аукались... Федорка, обвязанная материнским платком, с босыми, отмытыми и вытертыми мокрой травой ногами, свободно шлепала по лужам. Глядя на нее, Динка тоже сняла свои громоздкие, залепленные грязью башмаки и, почувствовав себя легче, с восторгом бегала по лесу, обнимала березки и, окликая подружку, беспричинно смеялась... До сумерек играли в прятки. Но лес стал такой редкий и прозрачный, что, как ни пряталась Федорка, Динка далеко видела рваный платок, из которого выглядывало круглое розовое лицо притаившейся за деревом Федорки.

Наигравшись, подружки разбежались по домам. Когда Динка вернулась, на хуторе уже зажгли свет.

В воскресенье Федорка была занята, старая бабка тащила ее с собой в церковь.

Динка грустно стояла на террасе и смотрела на хмурое небо.

— Ну, что ты стоишь? Дождя сегодня не будет — выходи на террасу,— сказал Леня.— Вон куда тучи ушли, на город!

Динка обрадовалась:

— Значит, мы все деревья посадим сегодня?

— Конечно. Я и под дождем посадил бы, от этого дереву худо не будет. Спасибо Васе, помог мне вчера все ямки вскопать.

— А Вася уже уехал?

— Он рано... Ему на урок надо.

Леня уже давно ходил в гимназию. В новом гимназическом мундирчике, затянутый поясом, в новой фуражке, у которой, по обычаю «бывалых» гимназистов, полагалось примять донышко, Леня был так не похож на себя, что сестры совсем затормошили его.

— Какой ты тоненький стал, высокий...— восхищалась Мышка.

— Настоящий гимназист! — оценила с гордостью Алина.

А Динка запрыгала, схватив Леню за руку:

— Пойдем пройдемся, чтобы все видели, какой ты гимназист!

Леня был счастлив и озабочен. Первые же дни в гимназии показали ему, что знаний и опыта у него все же маловато, что надо с неослабевающим усердием продолжать свои занятия с Васей.

— Чудом вскочил я в пятый класс. Но теперь уж не отступлюсь, я должен до рождества в первые ученики выйти!

Вася соглашался и, недоумевая, спрашивал:

— Что это за фантазия всей семьей ездить каждую субботу на хутор? Ну, поехали бы мы с тобой раза два, посадили бы, что там надо... Удивляюсь Марине Леонидовне, честное слово, у нее бывают такие же фантазии, как у Динки!

— Так она ж ее мать! — смеялся Леня.

Он ни одной минуты не сомневался в своем друге, но посвятить его в тайну ожидания Арсеньевыми отца все же не мог. «Что зря об этом болтать? Мать захочет — сама скажет, а если молчит, значит, и мне говорить не надо»,— решал про себя Леня.

— Да, сегодня денек будет неплохой,— определил он, стоя на террасе и показывая Динке на небо.— Вон, видишь, какой синий уголок уже очистился!

Леня не ошибся. К полудню показалось слепое солнце, а после обеда вдруг потеплело и стало так тихо, что Леня прямо перед терраской разжег костер и на кирпичах поставили варить грибную похлебку. Марина, подкладывая сучки и помешивая половником похлебку, сидела рядом на крылечке. Леня вытащил старую медвежью шкуру, подаренную когда-то дядей Лекой, и расстелил на земле, около огня.

— Вот тут и будем ужинать! — сказала Марина.

Темнело, Леня вместе с сестрами сажал деревца.

— Ну, теперь остались последние четыре деревца — три березки и один дубок! Ваши березки и мой дубок! — весело сказал он.— Ну, показывайте, где какую сажать?

— Мама! Где сажать наши березки? — закричала Динка.

— Сажайте у каждой под окном, а у Лени под окном дубок! — распорядилась Марина.

Леня со старшими сестрами пошел рыть ямки.

— Начнем с Алины,— сказал он.

Динка, оставшись одна, выбрала себе самую маленькую березу и, встряхнув ее, стала тщательно осматривать корни.

— Я буду расти, и березка будет расти,— сказала она вслух.

— А что, дивчинка, деревья сажаете? — раздался из кустов чей-то голос.

Динка вздрогнула, прижала к себе березку. Голос... голос... Но из кустов появилась согбенная старческая фигура в наброшенном на плечи домотканом армяке, из-под низко опущенного на лоб соломенного бриля свисали седые волосы и густые длинные усы.

— Сажаем, дедушка,— разочарованно вздохнула Динка.

— А не помочь ли вам, девоньки? — ласково спросил дед.

Динка снова внимательно и настороженно оглядела его с ног до головы.

— Нет, дедушка. Спасибо! Мы сами с руками,— улыбнувшись, ответила она и тут же, подумав, что дед, может быть, голоден, спросила: — А ты чей, дедушка?

— Да я ничей, иду издалека,— как-то неопределенно ответил дед, вглядываясь в горящий костер, у которого сидела Марина.

— Подожди тут, дедушка.— Динка положила на землю свою березку и побежала к матери. Марина, склонясь над огнем, мешала грибную похлебку.— Мама! Там один ничейный дед. Можно его позвать?

— Где, где? — взволновалась Марина.

Алина, Мышка и Леня, услышав громкий голос матери, обернулись.

— Сейчас! — крикнула Динка и, боясь, что дед уйдет, бросилась обратно.— Пойдемте, дедушка, пойдемте! Не бойтесь, там моя мама! — весело сказала она старику, хватая его за рукав.

Марина, выпрямившись, стояла над костром, огонь освещал ее тонкую фигуру и заплетенную по-девичьи косу.

— Маму-то я вижу. А вот еще кто у вас? Может, прогонят странника? — надвигая на лоб свою соломенную шляпу, сказал старик.

— Ой, что вы! Там только мои сестры еще и брат. У нас никто не прогонит. Мы не такие...— успокаивала его Динка, между тем как Марина поспешно шла к ним навстречу.

Остановившись в двух шагах, она тихо ахнула, выронила половник.

Ничейный дед молча шагнул к ней...

* * *

— Как же это ты сразу не узнала? Отца родного не узнала? — долго подтрунивали потом сестры над озадаченной Динкой.

— Да я думала, ничейный дед... Седые усы...— оправдывалась Динка.

— Папа, папа... Ты поживешь с нами? — прижимаясь к отцу, спрашивали дети.

— Поживу, поживу. В этот раз уж мы познакомимся поближе. Вот и с сыном о многом нам нужно переговорить,— глядя на смущенное лицо мальчика, говорил Арсеньев. Он уже снял свой седой парик, отлепил длинные усы, бросил на траву стариковский бриль и, наконец, предстал перед глазами жены

и детей в своем настоящем виде, с такими знакомыми синими смеющимися глазами.

Далеко за полночь, потушив огонь, сидела на хуторе счастливая семья. Многое рассказывал отец... О пересыльных тюрьмах, о подпольной работе, связанной с постоянным риском попасть в руки полиции.

— Однажды иду я ночью с одного собрания. Разошлись мы все поодиночке... Решили, так будет безопаснее. Было это в Нерчинске. Улицы там глухие. Ну, иду я и слышу, кто-то идет сзади меня, шагах в десяти. Оглянулся — вижу, какая-то темная фигура, поднятый воротник. Ну, думаю, плохо. Видимо, шпик. Решил проверить. Начинаю сворачивать в разные улицы, так сказать, вожу его за собой. Он идет. Ну, думаю, ясно! Что ж тут еще ждать? Довел я его до проходного двора, замедлил шаг, подпустил ближе да как обернусь сразу:

«Ты что, мерзавец, за мной по пятам ходишь? А ну, живо чтоб духу твоего тут не было!» Выхватил револьвер и вдруг слышу: «Тише, тише, товарищ Скворцов! Это я, Кулеша... Товарищи просили для безопасности проводить вас...» Тьфу, черт! Какой конфуз получился! Чуть я его не пристукнул на месте! — рассказывал Арсеньев.

Все смеялись. Динка с восторгом впитывала каждое слово отца.

На семейном совете было решено, что Марина откажется от службы в частной фирме и поживет с отцом на хуторе, а дети будут приезжать каждую субботу на воскресенье.

— А там посмотрим, как дальше будет! Загадывать надолго нашему брату нельзя,— улыбнулся отец и, поглядев на Динку, спросил: — Ну, а как вы там без мамы обойдетесь?

— Ну, что там! За милую душу проживем! — храбро сказала Динка. Ради отца она готова была на самую тяжелую жертву — разлуку с матерью.

Долго, долго сидела тесной кучкой счастливая семья. Динка забралась к отцу на колени и, прижавшись головой к его груди, слушая его рассказы, думала, что если б уже была революция и папа остался навсегда с ними, то ей, Динке, никогда уже не пришлось бы плакать из-за сытой морды торговки или из-за

мальчика с оторванным ухом. Всем, всем было бы уже хорошо жить на свете. И, хлопая сонными глазами, Динка отдавалась своим сладким мечтам, прерывая рассказ отца неожиданными вопросами.

— Папа, а после революции будут кормить всех уличных сирот?

— Конечно, доченька,— гладил ее по голове отец.

— И учиться они будут?

— Все, все будут учиться, Диночка.

— И Федорка, папа? Она очень хочет.

— Конечно, доченька.

— И велосипеды всем купят, да, папа? — сонно мечтала Динка. Глаза ее уже совсем закрывались, но жизнь обещала так много хорошего, светлого, необычайного, так много еще нужно было спросить...

Сестры тоже не отходили от отца. Леня стоял рядом и улыбался такой мягкой, любящей улыбкой, что Марина тихонько шепнула мужу:

— Посмотри на сына...

— А ну-ка, дочки,— шутливо сказал отец,— дайте-ка мне обнять сына. Ведь мы с матерью давно мечтали о сыне.

Динка прощается с детством



Глава 1

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ ПОЕЗДА!..

Сизый дымок вьется над дачной станцией. Приходят и уходят поезда. Одни идут на Киев, другие из Киева... Тянутся длинные воинские эшелоны. В запыленные окна вагонов видны забинтованные головы, бескровные лица, туго стянутые монашеские косынки сестер и свешивающиеся с верхних полок солдатские одеяла. На площадках и на ступеньках вагонов сидят молодые солдаты с забинтованными обрубками рук и ног; прыгая на костылях и теряя стоптанную туфлю, жадно выглядывает из дверей раненый и, поймав сочувственные взгляды женщин, ухарски машет рукой. Паровоз с коротким свистком дергает вагоны, и эшелон медленно проплывает мимо, туда, на

Киев... А навстречу ему уже торопится другой длинный состав товарных вагонов. В распахнутых настежь дверях теплушек стриженые головы, безусые молодые лица, рассыпанные по щекам веснушки цвета спелой ржи, молодые васильковые, карие и черешневые, притуманившиеся глаза. Сыплются из солдатских карманов запасенные дома подсолнушки, ухает под тугими пальцами гармонь, и дружно из вагона в вагон подхватывается песня.

— Мене люды визьмуть... тебе люды визьмуть... Моя не будешь. Эх, жаль! Жаль!..

Исчезает вдали паровоз. Глохнет под стук колес песня. Долго смотрят вслед эшелону бабы с завязанными на затылках концами платков... Что делать? Война... Солдаты... Туда едут здоровые, многие ль вернутся хоть калеками... Не на гулянку едут хлопцы — на войну... Напал на родную землю германец, выставил проклятый кайзер Вильгельм закованную в железо армию, вот и поспешают они, молодые, наспех обученные новобранцы, чтобы сложить свои головы за веру, царя и отечество... Эх, жаль... Жаль...

Война... А к маленькой станции, лязгая колесами, расшатанные пассажирские вагончики подвозят дачников. Выгружаются на платформу чемоданы и картонки, звенят детские голоса, среди встречающих и провожающих молодые нарядные женщины, мамушки, нянюшки, старухи... Подлетают к станции экипажи, пролетки; сбруя на лошадях блестит под солнцем начищенными бляхами, на высоких облучках степенные кучера в бархатных безрукавках. Тянутся вдоль железнодорожных путей нарядные дачи с высокими шпилями на крышах. Из летних кухонь вьется аппетитный дымок, на клумбах цветут розы... Не пустуют дачи: душно сейчас в городе, на зеленый корм, на широкий воздух рвутся люди... Прошла весна, уже давно похозяйничал в лесу ветер, помог он столетним дубам развернуть длинные клейкие листочки. Давно раскудрявились беленькие, словно умытые зимним снежком березки, загустел орешник, вытянулись новые побеги тонкой рябинки, на желтых стволах сосен заблестели янтарные капельки смолы. А за лесом, за экономией пана Песковского, в глухой глуши словно

пристыл к земле арсеньевский хутор — не шевельнет закрытыми окнами, не потянет уютным дымком, не хлопает наглухо закрытыми дверьми, не перекликается веселыми молодыми голосами...

* * *

Все эти годы, как только у девочек кончались экзамены, Арсеньевы переезжали на свой хутор. С первым весенним солнышком Динка начинала считать дни, оставшиеся до переезда. И каждый раз, обегая знакомые, дорогие ей местечки, удивлялась, как вырос и разросся сад, какая вкусная вода в холодном, обжигающем губы роднике, как ласково шумит ореховая аллея. Динка уверяла, что даже лягушки на пруду сразу узнают ее и, раздуваясь от крика, всплывают наверх... Но не только для Динки, для всех Арсеньевых переезд на хутор был всегда радостным событием, к которому исподволь готовились всю зиму, мечтая о летнем отдыхе. И каждый раз осенью, переезжая в город на долгие зимние месяцы, они грустно расставались с полюбившимся им хуторком. Динка, вспоминая о нем в холодный, снежный вечер, жаловалась, что все еще слышит стук молотка, которым Леня забивал окна и двери...

Арсеньевы никогда не держали сторожа. Затерянная в глуши между двумя селами хатка зимовала одна... Она стояла вдалеке от дороги, и только птицы, разгуливающие по саду, оставляли свои мелкие росчерки на запорошенных снегом дорожках да столетние дубы сбрасывали на крышу рыхлые комья снега, прикопившегося на их ветках.

Зато уж ранней весной, когда из прелой черной земли выбивались первые зеленые ростки, а на склонах железнодорожной насыпи появлялись незатейливые желтые цветочки, хутор начинал оживляться наездами молодых хозяев.

Чаще всего это были Леня и Вася; они приезжали сюда на воскресный день готовиться к экзаменам. Иногда с ними увязывалась Динка.

— Ну зачем она нам? — сердился Вася.— Земля еще сырая, наберет она полные галоши воды, да еще и простудится!

— Динка не простудится,— убежденно говорил Леня.— Пусть побегает на воздухе!

— Но ведь мы же едем заниматься. Вечно ты что-то осложняешь, Леонид,— ворчал Вася.

Динка делала постное лицо и, прикрывая ладонью румяную щеку, начинала жалобно причитать:

— Воздуха вам для меня жалко, да? Всю зиму я не дышу, посинела уже вся, а вам жалко?

Леня прыскал от смеха, Вася смягчился:

— Ну поезжай. Только смотри не лезь куда попало и не мешай нам заниматься!

На хуторе, обегав все дорожки, Динка успевала навестить Федорку, наломать мохнатой вербы, провалиться в пруд и, волоча за собой пальто, мокрая и грязная, просовывала свой нос в дверь, вызывая Леню:

— Лень, Лень... Не бойся, Вася, я сейчас уйду... Я только на минутку!

Схватив Леню за рукав, она тащила его за собой:

— Пойдем скорей! Понюхай, как пахнет земля. Смотри, уже листочки ландыша, а это будут фиалки... Вот приложись ухом к земле... Послушай, что там только делается...

Леня ложился на землю, нюхал, слушал и, глядя в сияющие глаза Динки, со всем соглашался.

А Вася, стоя на крыльце, качал головой.

— Ну, вы, двое сумасшедших, где теперь сушиться будете?

Сушиться и ночевать Динку отправляли на печку в Ефимову хату. Ефим и Марьяна Бессмертные за все эти годы близкого соседства крепко подружились с Арсеньевыми.

— Лучше родни они нам,— говорил Ефим.

Зимой он часто ездил в город, привозил деревенские новости и подолгу сидел за столом с Мариной, опрокинув на блюдце чашку и советуясь с ней обо всех делах. Перевозил на хутор тоже Ефим. Являлся он задолго до рассвета и, помахивая кнутом, торжественно говорил:

— Ну так что, поихалы?

На хуторе были уже очищены дорожки, подрезаны кусты малины.

Марьяна, туго обвязав платком голову, загодя мазала стены, на полу стояли белые лужицы, гремели ведра, настежь распахивались окна, со скрипом открывались отсыревшие за зиму двери; на дымящей кухонной плите булькала картошка. К приезду хозяев Марьяна выпекала свежий хлеб и встречала их на крыльце светленькой обновленной хатки с хлебом-солью на вышитом рушнике. Весь первый день девочки вместе с Леней и Васей занимались разборкой вещей, вешали занавески, наводили привычный уют.

Вечером все собирались на террасе за большим столом, с аппетитом ели горячую, пропахшую дымом картошку, запивая ее молоком, и, опьянев от весеннего воздуха, едва добирались до своих постелей.

Хутор был в трех верстах от дачной станции, Марине приходилось каждый день ездить в город на службу. Возила ее все та же одноглазая лошадь Прима, купленная в первое лето жизни на хуторе.

Бедная Прима в счастливую пору своей жизни была одной из лучших верховых лошадей. Она ходила под седлом грациозной поступью иноходца, и начищенная шерсть ее блестела как зеркало, но с тех пор как однажды колючая ветка ели хлестнула ее по глазам и один глаз почти совсем затянулся бельмом, Прима была выведена из конюшни и отправлена на черный двор.

К Арсеньевым она попала за небольшую плату, как уже мало на что пригодная лошадь. Но на хуторе Прима ожила. Она стала необходимым членом семьи. Динка не хуже заправского конюха ухаживала за ней: чистила ее, купала, баловала, кормила овсом, и благодарная Прима, забывая про свой слепой глаз, снова почувствовала себя верховой лошадью.

Появился на хуторе и белый Динкин Нерон. Он был в большой дружбе с ефимовским Волчком. Обе собаки были мохнатые, пушистые и совершенно неизвестной породы. Но Динку это никогда не смущало.

— Дворняги еще умнее,— уверяла она.

И лошадь и собака зимовали у Ефима, но с появлением Арсеньевых они с восторгом возвращались на хутор, чтобы служить своим хозяевам.

Так незаметно бежали дни. Дождливую осень сменяла снежная зима, потом наступала весна и солнечное лето.

А годы шли... Под окнами березки подросли,
Не раз к земле их буря пригибала...

И много событий произошло в семье Арсеньевых, с тех пор как озорная, веселая Динка в первый раз появилась на хуторе. События эти были нерадостными. Первым большим горем для всей семьи была смерть дедушки Никича. Особенно тяжело пережила ее Динка. Незащищенное сердце ее еще не могло и не умело мириться со своими потерями.

Когда Никич умирал, Динке все казалось, что смерть не придет за ним, если она, Динка, будет его сторожить... Она перестала спать по ночам и, встав с постели, тихо брела по темному коридору на свет ночника. В комнате Никича всегда горела печка, дверцы ее были открыты, поленья уютно потрескивали. Никич, обложенный подушками, полулежал в своем любимом «Сашином» кресле. Сухонькая фигурка его, закутанная в одеяло, казалась совсем детской; седая голова на тонкой, исхудавшей шее покоилась на подушке. Никич никому не позволял дежурить около него ночью; на столике рядом с креслом всегда стояло приготовленное ему на ночь питье и порошки от кашля. Казалось, все в доме спали, но стоило только старику закашлять, как из спальни неслышно появлялась Марина. Леня давно уже отвоевал себе право ставить свою раскладушку в комнате Никича, Мышка оставляла на столике звонкий школьный колокольчик и брала с Никича слово звонить, если ему что-нибудь понадобится. Старика утешала и расстраивала забота домашних, особенно трогала его Динка.

— Ну, чего бродишь, полуношница? — тихо спрашивал он, завидев при свете ночника жалкую фигурку в длинной ночной рубашке.— От смерти, что ли, уберечь меня хочешь?

Динка дрожащими руками обвивала худые плечи старика, прижималась щекой к его щеке:

— Уберечь хочу...

— Ох и глупая ты... Как только жить будешь?

— Вместе будем...— всхлипывала Динка.

— Да где же нам вместе? Я свое отжил, до самого края дошел. Вишь, ноги уже не держат. А тебе еще жить и жить...

— Не надо мне, ничего не надо. У меня сердце разрывается...— уткнувшись в его плечо, плакала Динка.

Никич с усилием поднимал ее голову.

— А ты послушай меня. Мы ведь столько с тобой разговоров переговорили. Вот еще какая махонькая ты была, а понимала меня. И теперь пойми... От смерти никуда не денешься. За себя мне не страшно, за вас страшно. Мать твою мне жалко. И ты не плачь, не тревожь ее. Смирись, девочка.

Никич замолкал. Пламя от печки, разливая по комнате таинственный свет, мягко колебалось, как будто кто-то тихо взмахивал легким и прозрачным шарфом, бросая на стены то синие, то красные тени. От этих неслышных взмахов свет в ночнике дрожал и колебался, вытягиваясь длинным красным язычком. Казалось, вот-вот он вытянется в последний раз, мигнет и погаснет. Никич тяжело дышал, в груди его что-то хрипело, рука, гладившая Динкины волосы, бессильно падала на колени.

— Иди... Помни, что я тебя просил...

Динка молча кивала головой, слова застревали у нее в горле, ноги не слушались.

— Ну, ну...— ободряюще улыбался ей Никич.— Ты ведь папина дочка.

Один раз, задержав ее руку, Никич сказал:

— Запомни слова мои. Всякий человек в жизни должен быть стойким. А тебе это особо надо. Ты ведь во все суешься. Вот и вспоминай почаще: Никич, мол, велел мне быть вдвое стойкой...

Слова Никича навсегда остались в памяти Динки. В самые трудные минуты своей жизни она вспоминала их с грустью и благодарностью. Но не успела еще осиротевшая семья оправиться от потери старого друга, как пришла новая беда. Однажды под осень, когда Арсеньевы уже собирались пере-

езжать в город и сидели на террасе среди сложенных вещей, на хуторе появился редкий гость — Кулеша. Он появился, как всегда, неожиданно, словно вырос перед глазами. И все сразу замерли в предчувствии беды. Одна Марина не растерялась.

— Что-нибудь случилось, Кулеша? — спросила она.

Кулеша снял шапку, вытер вспотевший лоб.

— В этот раз я плохой вестник,— сказал он.

Мышка, словно защищаясь, подняла руку, Динка вскочила, у Алины упало сердце. «Отец...» — с ужасом подумал Леня и стал рядом с матерью. Но она только спросила:

— Он жив? Говорите сразу.

— Ну что вы, что вы...— замахал руками Кулеша, и мать с улыбкой оглянулась на детей.

Никогда не забудут дети эту строгую улыбку на белом и холодном как снег лице матери.

— Он арестован,— сказал Кулеша и стал рассказывать, а Марина слушала его, задавая короткие вопросы, и, глядя на мать, никто из девочек не проронил ни одной слезы.

* * *

Судили Арсеньева в Самаре. В этом городе, еще молодым инспектором «Элеватора», он был душой и организатором бастующих рабочих, здесь его бесстрашный и гневный голос поднимал их на борьбу с самодержавием.

В день суда огромные толпы народа запрудили улицы... К Марине, приехавшей на суд с Леней, из толпы рабочих вышел старый элеваторский рабочий Федотыч.

— Не бойся ничего, Арсеньевна... Рабочий класс не выдаст... Нас много,— сказал Федотыч.

Марина молча пожала ему руку.

Она ждала всего, самого худшего... Но молчаливая угрожающая толпа рабочих, тесно окружившая здание суда, сделала свое дело... Правительство не решилось вынести смертный приговор; Арсеньев был присужден к десяти годам одиночного заключения с последующей пожизненной ссылкой...

Марина вернулась измученная, но не упавшая духом, такая же, какой всегда знали ее дети.

— Не плачьте,— сказала она.— Революция откроет все тюрьмы!

Прошла первая тяжелая зима. Арсеньев отбывал заключение в Самаре. Знакомый Марине старый надзиратель тюрьмы тайком передавал Арсеньеву с воли записки, книги... Товарищи носили передачи... Отец писал ласковые, успокаивающие письма...

Жизнь постепенно вошла в свою колею, но Арсеньевых ждало еще одно семейное горе...

Окончив гимназию, как-то неожиданно заневестилась и вышла замуж Алина... Муж ее никому не нравился, в семье Арсеньевых он казался чужим, пришлым человеком, но ни слезы сестер, ни уговоры матери не подействовали на Алину, и сразу после свадьбы она уехала с мужем на Дальний Восток, в чужую ей семью. И, только прощаясь со своими уже на перроне, Алина вдруг испугалась предстоящей ей разлуки и, бросившись к матери, горько заплакала.

— Алина, голубка моя!.. Еще не поздно, вернемся домой...— уговаривала дочь Марина.

— Домой, домой! Алиночка, родненькая, пойдем домой!..— цепляясь за сестру, умоляла Динка.

Мышка молча плакала, роняя слезы на свадебный букет. Леня бросился в вагон за Алининым чемоданом... Муж Алины, стоя на подножке, задержал его.

— Я не понимаю, что здесь происходит? — холодно сказал он и, подойдя к Алине, взял ее за руку.

Алина вытерла слезы и пошла в вагон. Поезд отошел. Осиротевшая семья долго стояла на перроне, глядя на исчезающие вдали красные огоньки. И снова кое-как наладилась жизнь, только за столом опустело место старшей сестры да на светлом лице Марины прибавилась новая глубокая морщинка. Жить становилось трудно. Фирма «Реддавей», где служила Марина, после ареста мужа уволила ее. Мышка, окончив семь классов гимназии, пошла на краткосрочные курсы сестер; Леня поступил в университет и целый день бегал по урокам; Динка

училась. Ей не удалось сдержать свое обещание учиться только на пятерки. Она получала пятерки только по тем предметам, которые любила, а любила она, по ее собственному выражению, «больше всего на свете» уроки словесности и своего учителя словесности.

— Василий Иннокентьевич уважает чужие мысли,— важно говорила она дома.— Он никогда меня не одергивает... И вообще...— Динка обводила взглядом своих домашних и многозначительно добавляла: — Василий Иннокентьевич знает, кого нужно ругать, а кого хвалить.

О себе она, конечно, думала, что ее нужно хвалить, и тогда она «горы своротит». Учитель словесности читал вслух ее сочинения и ставил ей красным карандашом жирные пятерки. Динка очень гордилась похвалой любимого учителя, но, стараясь не показать этого дома, придя из гимназии, словно мимоходом говорила:

— Василий Иннокентьевич опять читал в классе мое сочинение, и что ему там понравилось, не знаю...

Зато уж по другим предметам, по математике и особенно по алгебре, Динка даже с помощью Лени с трудом добывала четверки, а иногда, скатываясь до тройки, сердито говорила:

— И кто это придумал так крутить человеку мозги... Ну еще геометрия туда-сюда... Там хоть теоремы, их каждый дурак может наизусть запомнить. Ну, физика еще ничего, там опыты интересные, а уж алгебра — это прямо издевательство!

Шел второй год войны. После рождественских каникул ушел на фронт Вася. В семье прибавилось новое беспокойство, Динка выбегала на улицу и подолгу стояла у ворот в ожидании почтальона. Писем ждали теперь не только от отца и Алины, ждали с нетерпением серых, солдатских треугольников от Васи...

Письма читали сообща, тревожно вслушиваясь в короткие, ласковые строчки, пытаясь проникнуть в то, что сознательно или бессознательно скрывалось под этими успокаивающими строчками... Во всех письмах, часто против воли писавшего, слышалась тоска по семье, по близким людям и привычному уюту.

Всю зиму Марина рвалась в Самару навестить мужа. Устроиться на службу она так и не смогла: нигде не принимали жену политического «преступника», отбывающего наказание в тюрьме. Бесплодные поиски места и тревога за мужа подорвали силы Марины, поддерживала ее только тесная связь с «Арсеналом», где она часто проводила собрания и вела кружок, обучая рабочих грамоте. Через отца Андрея Коринского Марина близко познакомилась с новыми товарищами, работающими в «Арсенале», печатала дома прокламации и с помощью Лени широко распространяла их на фабриках, заводах и в казармах между солдатами. Уехать было нелегко, но все же весной, перед самыми Динкиными экзаменами, Марина уехала в Самару. Леня, по рекомендации Марины, также пользовался доверием старших товарищей и нередко получал от них тайные поручения. Чаще всего это были поездки для установления связи с рабочими и железнодорожниками ближайших городов. В этот раз, после отъезда Марины, Леню послали к гомельским железнодорожникам. Дом опустел, Мышка уже работала в госпитале и часто оставалась на ночное дежурство.

Но Динка не скучала, у нее была одна мечта: выдержать с честью переводные экзамены в восьмой класс и уехать на хутор!

Бросив на стол целую кучу приготовленных заранее билетов, Динка вытаскивала по одному билету и, зажав пальцами уши, зубрила или, поглядев на часы, бежала вниз по лестнице звать на помощь своего давнего приятеля Андрея. Андрей, окончив училище, по желанию своего отца работал в «Арсенале». Но Динка не давала ему времени даже на обед.

— Ну что ты себе думаешь? Не идешь и не идешь! Ведь я же могу провалиться из-за тебя! — сердито обрушивалась она с выговором на запоздавшего приятеля.

— Так я же работаю...— слабо оправдывался Хохолок, собирая разбросанные по столу билеты.

— Вызывай меня! — командовала Динка.

Выдержав последний экзамен и почувствовав себя вось-

миклассницей, Динка забросила в угол все учебники и стала собираться на хутор.

— Ну что мы там будем делать одни? Мамы нет, Лени нет. Подождем хоть Леню,— уговаривала ее Мышка.

— Нет, нет! Я никого не буду ждать! Уже столько хороших дней пропало! Пошли открытку Ефиму, и начнем складываться!

Динка уверяла, что уже давно-давно, как только началась весна, ей каждую ночь чудятся паровозные гудки и маленькая дачная станция...

— Я слышу, как приходят и уходят поезда,— с тоской повторяла она.

Мышка вызвала Ефима.

* * *

Приходят и уходят поезда... А в экономии пана Песковского ждет не дождется свою городскую подружку дочка сторожа, голубоглазая Федорка.

— Мамо,— говорит она,— чого ж так долго нема Динки? Я сбегаю до дядьки Ефима, спытаю, когда он за вещами поедет.

— Да ты ж бегала, доню, не одного разу уже бегала! Не можно так надоедать людям! Никуда она не денется, твоя Динка, нема чого таку панику бить! — сердито двигая в печи ухватом, выговаривает дочке Татьяна.

Но Федорка решительно срывает с шестка платок.

— Вам усе паника, мамо... А я Динку с самой осени не бачила...

— Не бачила и не померла, слава господу. Подруга — не мать! Як бы ты за родной маткою так скучала...

— А чого мени за вами скучать, как вы у меня кажный день перед глазами,— дерзко отвечает Федорка, идя к двери.

— Ось я тоби покажу — перед глазами!..— выскакивая на крыльцо, кричит мать.— Федора! Вернись зараз! Ох ты ж языкатая девка! Вернись, кажу!..

Но крепкая, приземистая фигурка уже скрылась в кустах. Федорка бежит узенькой тропкой за огородами, минует эко-

номию и, выскочив на пригорок, где круто сбегает вниз белая глинистая дорога с выщербленными колеями, смотрит на верхушки вековых дубов, где чуть виднеется крыша Динкиной хаты.

— Нема...— качает головой Федорка и, повязав потуже концы платка, степенно сворачивает на дорогу, ведущую к хате Ефима и Марьяны Бессмертных.

Маленькая белая хатка живет хлопотливой хозяйственной жизнью. По двору бродят три курицы с красным петухом, около тына мычит привязанная корова. Навстречу Федорке выскакивают два лохматых пса. Черный — хозяйский Волчок, и белый — любимец Динки Нерон.

— Нерончик, Нерончик...— лаская белого пса, приговаривает Федорка, проходя в хату.

За столом, покрытым чистой домотканой скатертью, сидит Ефим и со смаком ест из глиняной миски зеленый борщ.

— Ну здравствуй, Федорка! — усмехаясь в усы, говорит он, поддерживая ложку краюхой хлеба.— Сядай за стол, гостьей будешь!

— О! Федорка! Зачем прискакала? — весело откликается, гремя подойником, Марьяна и, склонив голову набок, смеется.— За подружкой скучаешь?

— Скучаю,— смущенно улыбается Федорка и, присаживаясь на скамейку, испытующе смотрит на остриженные в кружок темные кудри Ефима с тонкими серебряными ниточками, на загорелый лоб с белой полоской от шапки и на опущенные вниз лукавые голубые глаза.

— Ну, что ж ты молчишь, Ефим? — с живым любопытством спрашивает мужа Марьяна.

— А що мени казать? — притворяясь непонимающим, зачем прибежала Федорка, равнодушно говорит Ефим.

— А вы, дядько Ефим, ще не едете в город? — робко спрашивает Федорка.

— В город? — почесывая в затылке, переспрашивает Ефим.— А что мне там делать, в городе?

Марьяна, подперев рукой щеку, тихонько посмеивается.

— А по вещи по Арсеньевых вы не едете? — с волнением повторяет Федорка.

Ефим зачерпывает полную ложку борща и, не спеша, несет ее ко рту.

— Ни,— односложно отвечает он, но Марьяна, всплеснув руками, хохочет:

— От вредный! Ну и вредный же ты, Ефим! Чого дивчинку дразнишь?

— Дядечко Ефим...— сложив руки, умоляюще шепчет Федорка.

— А вот бери ложку и хлебай борщ, тогда я тебе и скажу, чи еду, чи не еду! — смеется Ефим.

— Да едет он, едет... Вон уже и овес для Примы насыпал... К ночи там будет, а утром вещи погрузит и обратно... Только кто тут будет жить? — качает головой Марьяна.

— А Динка? — пугается Федорка.

— Ну, Динка — это уж беспременно,— говорит Ефим, подвигая к Федорке миску.— Динка да Мышка, а больше и жить тут пока некому. Вася на фронте, Леню куда-то по делам послали, а сама к мужу поехала у Самару — это город такой, на Волге стоит...

— А чего ж она поехала? — аккуратно черпая ложкой борщ, спрашивает Федорка.

— Ну, это ихнее дело... Нас оно некасаемо... Ну, а подружку завтра встречай! — поднимаясь из-за стола, говорит Ефим.

— Ой, боже мой! Чого ж она так долго не ехала? — всплескивает руками Федорка.

— А чего долго? В восьмой класс переходила, это тебе не в ляльки играть... Ученье, для его тоже время надо...— обстоятельно объясняет Ефим, сгребая с лавки приготовленную одежду.— Эй, Марьянка, живо дои корову! Я пошел за коничкой! А ты, Федорка, извиняй, бо не рано уже. Сиди, сиди! Доедай борщ! Зараз Марьяна парного молочка принесет!

— Спасибо, я побегу! Меня матка дожидает! Ой, дядечко, перекажите Динке, что я ее завтра в лесу встречать буду! — убегая, кричит Федорка.

Глава 2

СБОРЫ НА ХУТОР

Динка сидит над своим ящиком, разметав по полу вьющиеся концы своих длинных кос.

«Уже вечер,— думает Динка.— А Ефим приедет ночью... Я ничего не успею... Надо брать только самые нужные вещи... Сначала книги...»

Динка разбирает горку книг, долго вертит каждую в руках.

«Вот эту возьму... вот эту возьму...»

Динке всегда кажется, что за лето она перечитает множество книг. Но это только благие намерения: из кучи набранных книг она едва ли прочитывает две-три, а остальные привозит обратно даже нераскрытыми. Это повторяется каждую весну. То же происходит и теперь; ящик быстро наполняется, и Динка вынимает книги обратно, оставляя только самые необходимые. Вот, например, Чернышевского «Что делать?». «Ведь это совершенно необходимо прочесть,— думает Динка.— Мне уже пятнадцать лет, а я еще не читала такой книги. Уже многие девочки в моем классе читали, а я только вожу ее в ящике на хутор и обратно. Просто безобразие какое-то...»

В Чернышевском больше всего привлекает Динку не содержание книги — о содержании она знает только понаслышке, а главное то, что книга эта «вполне взрослая». Да еще в памяти Динки свежо хранится портрет Чернышевского, висевший в пустой кухне после отъезда Лины...

Динка помнит, как по утрам бежала она в Линину кухню с тайной надеждой, что Лина вернулась. Но Лина не возвращалась, и, открыв осторожно дверь, Динка останавливалась на пороге, осиротевшая и несчастная. И вот тогда из угла, где висела раньше Линина икона, смотрел на нее Чернышевский... У него было такое благородное, тонкое лицо и что-то такое в глазах...

«Он все понимал...» — растроганно вспоминает Динка и осторожно кладет книгу на самое дно ящика. За Чернышевским следует сборник рассказов Чехова и «Белый клык» Джека Лондона, а между ними проскакивает Майн Рид и Диккенс.

Все эти книги уже читанные, но любимые. Стихи Ахматовой и Блока Динка не укладывает в свой ящик: для поэтов всегда найдется место у Мышки. Особенно для Ахматовой и Блока.

— А остальных я просто положу ей, например, Северянина, а то Мышка может его не взять...

Динка проходит на цыпочках мимо спящей сестры, на минутку вглядывается в бледное, усталое лицо Мышки.

— Ей давно на воздух надо,— шепотом говорит она и, заметив в зеркале свои тугие щеки с оранжевым румянцем, недовольно дергает плечом.— Ну мало ли что... Мне тоже надо!

Развязавшись с книгами, Динка усаживается на пол и с удовольствием разворачивает сверток с гостинцами. Гостинцы надо уложить в первую очередь. Вот, например, платочек для Федорки. Динка встряхивает платок, и по белому полю разбегаются голубые букетики. Динка так и видит между ними круглое лицо Федорки и лукавые звездочки ее глаз с густыми загнутыми ресницами. Динка прижимает к лицу платочек. Ей кажется, что он уже пахнет нагретой солнцем травой и полевыми цветами... За платочком следуют еще гостинцы Федоркиной матери, братикам Федорки, сестричкам и тому новорожденному, который каждый год появляется в Федоркиной хате.

Динка любовно укладывает в ящик все эти вещицы, собранные ею в течение долгой зимы... Кроме хуторской подружки, есть у Динки еще один дорогой ей человек. Это деревенский музыкант, Яков Ильич.

Динка кладет в ящик коробочку с канифолью и видит перед собой знакомое бледное лицо музыканта, поднятый смычок и прижатую к подбородку скрипку.

«Ах как он играет, как он играет...» А она, такая дуреха, только в последнее лето по-настоящему оценила его игру. Но зато уж теперь...

Динка зажмуривает глаза и стискивает на груди руки.

«Первым долгом... первым долгом, на другой же день, я оседлаю Приму и поскачу к нему в лес. Он, наверно, как всегда, сидит за сапожным столиком со своим сынишкой Иоськой... Отдам ему канифоль».

«Здравствуйте, Яков Ильич! Вот я привезла вам канифоль, вы жаловались, что всегда теряете ее...»

«Здравствуйте, барышня! Иосенька, дай барышне стульчик...»

Забывшись, Динка низко кланяется, говорит вслух... и Мышка поднимает голову.

— Господи, Динка! Ты ляжешь сегодня спать? — сонным голосом спрашивает она.— Ведь ты же прекрасно знаешь, что каждый год Ефим приезжает под утро, еще можно хорошо выспаться!

— Ну и спи, а я не хочу! У меня много дел!

Динка закрывает свой ящик и подходит к окну. Теплый-теплый весенний вечер... Ох, скорей бы ехать! Но где же этот Ефим? Ну что бы ему стоило хоть один раз приехать с вечера! Тогда можно было б умчаться с последним поездом... Нет, это, конечно, не годится, в лесу темно... Надо раньше отправить Ефима и самой бежать на вокзал... Как раз рассвет, хорошо...

Динка смотрит на пустынную улицу. Тихо-тихо стоят ряды каштанов, неслышной поступью поднимаются они вверх вдоль тротуаров. То ли луна, то ли тусклые огни фонарей отсвечивают на их листьях...

— Ночь идет, как тихая монашенка, строгая подружка солнечного дня...— задумчиво шепчет Динка.

У нее теперь часто сами по себе складываются какие-то рифмованные строчки — не то стихи, не то просто приукрашенные мысли, в подражание любимым поэтам. Писать настоящие стихи Динка не умеет и даже не пробует.

— А ты бы попробовала,— уговаривала ее иногда Мышка.

— Ну что ты! — смеялась Динка.— Меня только на две строчки и хватает! Побормочу для себя и успокоюсь.

Но Мышке, зачитавшейся Ахматовой, Блоком и другими поэтами, обязательно хотелось видеть в сестре хоть какие-нибудь проблески поэтического таланта.

— А ты прислушайся к себе, ведь вот у тебя рождаются какие-то строчки и мучают тебя...

— Да ничего меня не мучает, не стану я с этим и связываться! Еще чего не хватало!

Я не поэт — поэтому
Я не пишу стихи,
Не стану в ряд с поэтами,
Не пустят в рай грехи! —

весело отвечала Динка.

Но Мышка старательно собирала и записывала каждую услышанную от сестры строчку. На себя она не надеялась, а вот на сестру... Вдруг в ней что-то проявится...

— Проявится! Как же! К шестидесяти годам напишу тебе первые стихи про любовь...

Приду к тебе старушечкой
Читать стихи свои...
И нас с тобой под липами
Освищут соловьи...—

хохотала Динка.

— Да ну тебя! — отмахивалась Мышка.— Ты просто ленивая.

— И ленивая и бесталанная! — весело соглашалась Динка.

Такие разговоры часто бывали между сестрами, но с тех пор как Мышка поступила в госпиталь, они совершенно прекратились, у Мышки не хватало ни сил, ни времени на чтение стихов, и только один сборничек, «Четки» Ахматовой, она все-таки возила в своей сумке с медикаментами. А Блока клала под подушку, надеясь почитать вечером.

Динка с нежностью смотрит на спящую сестру, потом снова на пустынную ночную улицу. Как тихо! Хоть бы стук колес, скрип телеги... Но еще не время. «Может, и мне поспать?» — думает Динка и, придвинув к кровати свой ящик, усаживается на него, положив голову на подушку.

Динка спит так крепко, что даже не слышит знакомого стука колес во дворе, не слышит, как, сорвавшись с кровати, бежит по лестнице Мышка и громко спрашивает:

— Ефим?

Не слышит она и тяжелых шагов Ефима, когда он, осторожно ступая, носит вниз вещи. Во сне, словно издалека, доносится до нее приглушенный голос Мышки:

— Вот это мамино, Ефим... Осторожней, пожалуйста! Положите куда-нибудь на самое дно. А это книги и Ленины учебники, как бы их не промочило дождем...

— Дождю нет, дорога хорошая...— отвечает Ефим.

— А вот эта корзинка моя. Ну, ее куда знаете. А вот Динкин ящик, только она спит на нем. Никак не хотела ложиться,— озабоченно говорит Мышка; ей жаль будить сестру.— Может быть, она сама проснется?

— Ну, мне невозможно ждать, пока она проснется. Дорога дальняя, надо поспешать. А ну, отступитесь трохи, Анджила, я ее сам переложу на постелю.

С тех пор как Мышка поступила в госпиталь, Ефим начисто забраковал ее ласковое детское прозвище «Мышка».

— Самостоятельна дивчина, сколько раненых за день перевязует, а ее яким-то котячьим именем прозывают,— недовольно ворчал он.

— Да не котячьим, а мышиным,— смеялась Динка.

— А где мышь, там и кошка. За что ж таку хорошу дивчину обижать. Ну, нехай уж Анджила, да и то не по-христиански... Я просто удивляюсь! Образованные люди и душевные, а вот имя подобрать як положено не могут. Ну что это за имя — Анджила!

— Да не Анджила, а Анжела или Анжелика,— поясняла ему Динка, но Ефим махал рукой:

— Хрен редьки не слаще.

С Мышкой вообще он обращался так же, как с Мариной, нежно и уважительно, зато с Динкой и Леней был на «ты» и держался по-свойски.

— А ну перекладайся на постелю, Динка, бо останется твой ящик у городе! — осторожно трогая Динку за плечо, говорит Ефим.

Но Динка еще крепко цепляется за сон.

— Не надо, не надо,— бормочет она,— мне и тут хорошо!

— Уж чего лучше! Голова на подушке, а тулово на ящику! А ну вытягуйте ящик, Анджила, а я ее подниму!

Знакомый голос и «спотыкающееся» имя сестры окончательно отрезвляют Динку, и она сразу вскакивает.

— Ефим... Ты уже приехал? И Прима тоже приехала? — сонно тараща глаза, спрашивает Динка.

— А як же! Мы обои приехали,— смеется Ефим.

Мышка тоже смеется.

— Как же так? Значит, я проспала! А где же, где же Прима, Ефим?

— А вон Прима, на телеге сидит как барыня и кушает овес! — острит Ефим, кивая на окно.— Ну, давай твой ящик!

Но Динка уже роется в карманах и достает завернутый в бумажку сахар.

— Подожди, Ефим... Отнеси это Приме... Вот хоть кусочек. Это пока, на хуторе я еще дам,— словно извиняясь, говорит Динка.

— А чого ж ты сама не отнесешь? Выйди хоть поздоровкайся со своей конячкой, она тут во дворе стоит!

— В самом деле, что это еще за выдумки, Дина? — строго спрашивает Мышка.— Почему ты сама не идешь?

— Я не пойду! Я не хочу видеть Приму, запряженную в телегу... Я увижу ее на лугу, на хуторе... Я так мечтала об этом! Ефим, миленький, отнеси сам, пожалуйста!

— Да отвыкла она от твоего сахару! Вот уж, ей-богу! Все не как у людей! Лошадь, она и есть лошадь, и нема чого тут придумывать! — ворчит Ефим, вскидывая на плечо ящик и держа в кулаке сахар.— Ну, бувайте здоровы! Ожидайте меня к обеду, як, бог даст, все будет благополучно. Там Марьяна борщу наварит! А пока лягайте обеи спать, бо ночь короткая!

Сестры ложатся. Динка уже не спорит. Она еще успеет на утренний поезд. А сейчас так хочется спать!

* * *

Выезжает Динка поздно, когда Мышка уже давным-давно убежала в госпиталь, а на вокзале и в дачном поезде полным-полно народу.

«Проспала,— с досадой думает Динка.— Теперь Федорка, наверно, уже двадцать раз выбегала встречать меня...»

Но в окно вагона видны уже поля и перелески, знакомые станции, и сердце Динки нетерпеливо бьется. Святошино... Ирпень... Буча... И вот наконец Ворзель. Динка прыгает на платформу, торопливо шагает мимо дач, мимо железнодорожного переезда и останавливается на лесной опушке. Сколько раз за эти годы, едва сойдя с поезда, она мчалась сюда не переводя дыхания! Размахивая своей матроской и сбрасывая на бегу сандалии, она мчалась так, как будто за ней гналась вся гимназия, все учителя и классные дамы! И только здесь, в этом могучем укрытии леса, она чувствовала себя свободной, счастливой девчонкой!

Но сегодня... Этот зеленый сумрак и густая притаившаяся тишина... Этот шорох крыльев перепархивающих с ветки на ветку птиц... Может быть, все стало по-новому? Или она не прежняя Динка? Нет-нет, все прежнее... И лес, и птицы, и она сама... И даже ее матросская блуза с синим воротником...

Динка медленно идет по лесной дороге, заплетая и расплетая свои косы. Ей кажется, что старые дубы встречают ее как чужую,— так сумрачно в их темно-зеленых ветвях. Может быть, им мало солнца?

Зоркие глаза Динки замечают свежесрубленные деревья; широкие пни, еще влажные, темно-розовые, кажутся ей живыми, оплакивающими свою жизнь. Динка пробирается к одному такому пню, ей вспоминается высокий красавец дуб, который стоял на этом месте... Кто же и зачем срубил его?

«Бессовестные, бессовестные люди...» — с горечью думает Динка, оглядывая лес. Но взгляд ее вдруг останавливается на солнечной полянке; вокруг нее, словно играя в прятки, разбегается веселый молодняк, за широкими спинами дубов прячутся тоненькие березки, распушилась и присела в траву



зеленая елка, разбежались кто куда осинки, шелестят кусты орешника, а за ними выглядывает черемуха...

И Динке вдруг делается безотчетно весело, она вспоминает, что где-то здесь, в лесу, ее ждет Федорка.

— Ау! Ау!.. — кричит Динка, и откуда-то из глубины леса доносится радостный ответный голос:

— Ау!..

Глава 3

ХУТОРСКАЯ ПОДРУЖКА

— Ау! Ау! Динка!..

— Ау! Федорка!..

Не разбирая дороги, мчатся навстречу друг дружке девочки и, сшибаясь на лесной тропинке, со счастливым смехом замирают в крепком объятии. С шумом проносятся над ними птицы, из-за тяжелых ветвей дубов машут белыми платочками березы.

— Вот и прошла зима, Федорка! — радуется Динка.

— Пройшла! Пройшла! — подтверждает счастливая подружка.

— Вот мы и опять вместе!

— Эге ж! Эге ж! — кивает головой Федорка.

— Солнце, лето! Какое это счастье, Федорка! — закидывая голову и глубоко вдыхая лесные запахи, говорит Динка.

Но Федорка уже ничего не подтверждает, сияющими глазами вглядывается она в лицо подруги и робко спрашивает:

— Ну, як ты?

Динка улавливает в ее голосе тревожные нотки и, словно очнувшись, быстро говорит:

— Ничего... Экзамен я выдержала. Мне остается только один восьмой класс. А Мышка уже работает в госпитале. А Алина...— Какая-то тень проходит по лицу Динки, и медленно, словно снимая паутину, она проводит ладонью по лицу.— Алина пишет иногда... Не жалуется...

— Ну, дай ей боже... Дивчина замуж вышла. За кого схотела, за того и вышла. Чего ж ей жаловаться? — поспешно говорит Федорка.

— Конечно... Она и не пожалуется, если б даже ей плохо было,— говорит Динка.— Но зачем он увез ее так далеко...

Перед глазами Динки встает перрон и красные огоньки уходящего поезда... Динка знает: пройдут годы, но она уже никогда не забудет эти красные огоньки, как не забывает опустевшую после отъезда Лины кухню, как не забывает прощанье на пристани с Марьяшкой, как не забывает поезд, увозивший Катю... И многое другое.

Федорка с тревогой смотрит на подругу, боясь прервать непонятное ей молчанье, но Динка поднимает голову и, щуря глаза, словно разглядывая что-то в ветвях деревьев, бросает сквозь зубы злые слова:

— Это то же, что запустить руку в теплое гнездо и вытащить оттуда беспомощного птенца. Я ненавижу свадьбы, Федорка, я с детства ненавижу свадьбы!

— Ой, боже! — всплескивает руками Федорка.— Ну чего ты сердишься! Дивчина вышла замуж за хорошего человека, а она сердится! Ведь на том же и свет стоит! Парубки женятся, девчата выходят замуж... Так же не можно, Диночка,— степенно уговаривает подругу Федорка. Она уже давно привыкла к быстрой смене настроений своей городской подружки и навсегда усвоила себе в обращении с ней степенную материнскую мудрость.— Не мучай себя, голубка...— мягко говорит она, прижимая к щеке Динкину руку.— Все перемелется, как говорят старые люди...

Федорка почти ровесница Динки, но все в ней уже девичье: и походка, и стать, и разговор с искринками смеха, и лукавая ямочка на подбородке. Сегодня для встречи подружки Федорка нарядилась по-праздничному. Ловко сидит на ней вышитый цветами бархатный герсет, тихо позванивают на шее бусы. Круглое румяное лицо Федорки совсем такое, как поется в украинской песне: брови, как шнурочки, глаза как звезды, ресницы стрельчатые, губы розовые, смешливые, а за ними два ряда мелких, как у мышки, зубов.

— Федорка, как ты выросла! И какая красивая стала! — замечает вдруг Динка и, остановившись среди дороги, с восхищением смотрит на подругу.— Да когда же ты так выросла, Федорка? — с удивлением говорит Динка; она чувствует гордость за подругу, и почему-то жалко ей ту маленькую дивчинку в белом платочке, что пряталась в трех березах. Жалко и себя, безудержно веселую, озорную девчонку.— Когда же, когда же мы так выросли, Федорка? — недоуменно и грустно повторяет она, мысленно пробегая глазами лето, зиму, еще одно лето и еще зиму. Сколько их было, этих лет? И сколько горя, сколько слез унесли они с собой.— Федорка, Федорка...— испуганно шепчет Динка,— как же, когда же это все случилось?

— Та годи тебе! — хохочет Федорка.— Дывыться на мене, як на старуху! Конечно, что мы уже не диты! А чего ж тоби треба? Молоди девчата.. Ось, слухай, песня такая есть:

Ро́сла, ро́сла дивчинонька,
Тай на поле стала...
Ждала, ждала миленького,
Тай плакаты стала...

Ой, горенько мени з тобою! — заливается дробным смехом Федорка.

— Ха-ха-ха! — залилась и Динка, потом вдруг оглянулась на лес и с горечью сказала: — Лес рубят... Уже столько деревьев загубили! Кто же это, Федорка?

— А я знаю? Кому надо, тот и рубит! Нашла о чем плакать... Тут люди пропадают, а она об деревьях беспокоится... Война...— сурово говорит Федорка.

Но Динка быстро перебивает ее:

— Война скоро кончится!

— Как это кончится? В августе два года будет... Может, что-нибудь слышно в городе? — с надеждой спрашивает Федорка.— Только у нас таких слухов нет. Гонют людей, как скотину. Тут один с госпиталя выписался, так он бог знает чего рассказывает...— Федорка боязливо оглядывается, но в лесу тихо, только где-то в кустах стрекочут птицы. Федорка тянет

подругу в сторону от дороги, зайдя в самую гущу, усаживается на траву.— Садись. Много чего переговорить надо...

Динка покорно опускается рядом и выжидающе смотрит в лицо подруге.

— Ой, изболело сердце мое. Что на свете делается... Тот солдат говорит, что немцы прут со всех сторон, а у наших хлопцев всего недостача. Нечем от ворога обороняться, гонют их с голыми руками. Да еще якой-то главный генерал на ту сторону предался. Что ж это будет, Диночка, подружка моя?..— Федорка вдруг всхлипнула и, прижавшись к Динкиному уху, зашептала: — Погубит той солдат Дмитро... Зовсим он ему голову заморочил...

— А при чем тут Дмитро? — удивилась Динка.

— А вот слухай... Ты ж ничего не знаешь.— Федорка вытерла кончиком платка светлые, как росинки, слезы и припала к плечу подруги.— Зимой, как померла у Дмитра маты, так остался он один, как той дубок в поле. Ну, а мы с ним с детства дружили. Как двойняшки, бывало всё вместе... Ну дак жалела я его... То рубаху ему постираю, то сала у матери стащу... И он тоже слухал меня. Бывало, как ни заспорим, все мой верх...

— Да, я помню,— усмехнулась Динка.

— Ну вот! А теперь же он один в хате. И постучался раз ночью до его человек... Шинель на нем рваная, сам худой, одни кости, стоит под окном, на костыль опирается. Без ноги, значит... Ну, попросился переночевать. Дмитро, конечно, пустил его в хату, отрезал ему хлеба, всыпал в миску борща... Ну, разговорились, конечно, обо всех новостях... Солдат и говорит: «Я, говорит, сам с госпиталя, выписали меня на все четыре стороны. Только идти мне, говорит, некуда, потому как я раньше у старшего брата за батрака был, а теперь я калека, а у брата жена настоящая ведьма. Сам-то брат принял бы меня, но она нипочем не желает... Вот и хожу я по дворам, где что кому починить, сам я бондарем могу работать и сапожником, на чужой шее сидеть не буду». Вот и пустил его Дмитро — живи, места хватит...

— Ну и хорошо,— кивнула головой Динка.

Федорка покачала головой:

— Оно бы и хорошо, почему не пустить человека? Да только язык у того солдата вредный. «Я, говорит, всего на этой войне насмотрелся и умных людей послушал. Сомневается, говорит, народ. За что мы кровь проливаем?.. Генералам да офицерам до солдата и дела нет. Вот искалечили меня да и выбросили как собаку. Околевай где хочешь...»

— Ну что ж,— вздохнула Динка.— Он же правильно говорит...

— Может, оно и правильно, ну так держи про себя, а то как почнет всех ругать. А то посядают рядом с Дмитро и всё бумажку яку-то читают...

— А что в той бумажке написано? — заинтересовалась Динка.

— А я знаю что? Хиба они мне скажут? Чула только, что там и за самого царя и за царицу прописано... А Дмитро развесит уши и слушает. Уж я его прошу: выпроводи ты этого солдата от греха,— а он злится! Куда там! Этот солдат ему теперь лучше родного отца стал! — с горечью махнула рукой Федорка!

— Вырос, наверно, Дмитро...— задумчиво сказала Динка, и перед глазами ее вдруг встал застенчивый кареглазый подпасок с переброшенным через плечо серым армяком; вспомнилось, как еще в первые годы ее жизни на хуторе Дмитро пожаловался на приказчика Павло, который избил его, а Динка, утешая Дмитро, сказала, что скоро будет революция и тогда они побьют всех панов и царя.

«А на что мне тот царь? — обозлился вдруг Дмитро.— И за что я его буду бить, как я его и в глаза даже не видел! Ни он меня, ни я его! И пан тоже мне ни к чему! Вот приказчик Павло — это другое дело!»

Динка всегда считала Дмитро тупым, неразвитым мальчишкой, а вот прошло два-три года и случайно зашедший в село солдат сумел чем-то заинтересовать Дмитро, читает с ним вместе какую-то бумажку — может, прокламацию...

— Дмитро... Я давно его не видела. Прошлым летом его куда-то посылали за коровами? — живо заинтересовавшись, спросила она примолкнувшую Федорку.

— Ну да! У пана под Житомиром еще одно имение, да вот оттуда они с приказчиком коров пригоняли, ты его и не видела! А сейчас и не познаешь уже! Настоящий парубок стал! Только характер его спортился, не слушает меня! А про солдата хоть говори, хоть не говори — всё мимо ушей пропускает! — пожаловалась Федорка.

— А ты не говори. Не ссорься с Дмитро. Он не должен тебя слушаться в этом деле, Федорка! — строго сказала Динка.

— Ну, так тому и быть,— вздохнула Федорка, поднимаясь.— Может, я и вправду зря на него нападаю. Ходим лучше скорее, бо мамка моя вареники для тебя лепила, наверно, сердится уже, что нас долго нет.

Девочки молча вышли на дорогу. Взглянув на расстроенное лицо Федорки, Динка обняла ее за плечи.

Федорка растрогалась.

— У меня еще один разговор есть. Ну, то уж на свободе, а то как почуе маты, то весь веник об меня обломает!

— Все еще бьет? — удивилась Динка.

— Ну, а кто ж ей воспретит? Она ж маты...

— Так тем более. Сама родила и сама бьет! Чепуха какая-то,— сердито сказала Динка.

— Ну, это уж так полагается... Да не то обидно, что бьет, а то обидно, за что бьет... Ну, добре, об этом мы потом побалакаем,— заторопилась Федорка, завидев на крыльце мать.— Молчи зараз!

Глава 4

ХАТА С КРАЮ

Федоркина хата под самым лесом, на краю панской экономии. Старая эта хата напоминает засыпанный сосновыми иголками гриб; крохотные окошки лежат на завалинке, крыша покрыта зеленым дерном, и как веселая насмешка над этим убожеством белеет новое крылечко из свежевыструганных досок. На гладеньких ступеньках копошатся младшие братишки

Федорки, кряхтя, взбираются на крыльцо и задом ползут обратно.

Мать Федорки, Татьяна, такая же круглолицая, как дочка, с тоненькими морщинками под голубыми глазами, встречает гостью на крыльце.

— Ну, слава господу, приехала наша Диночка! А уж моя Федора с утра голову потеряла! Бегает да бегает по лесу, гукает! «Да чего ты, кажу, бегаешь? Задержуется человек по своим делам!»

Она крепко обнимает Динку и ведет ее в хату.

— Сядайте, сядайте, Диночка, за стол! Зараз будем вареники кушать! Вы ж мои варенички завсегда любили,— ласково приговаривает Татьяна, усаживая Динку за стол и вынимая из печи большую миску с горячими варениками. На столе разостлан чистый домотканый рушник, на нем золотистые, свежие коржи. Динка сразу чувствует волчий аппетит и по старой детской привычке без всякого стеснения вытаскивает из миски огромный черный вареник.

— Вот, Диночка, дожили мы до якого часу — нема ни крошки белой муки. Просеяла житнюю да и слепила вареники. Може, не понравятся вам? — беспокоится Татьяна.

— Ну что вы! Я сроду ничего вкуснее не ела! — весело уплетая вареники, уверяет ее Динка.

Федорка тоже ест вареники, но берет их осторожно, чтоб побольше досталось гостье. Татьяна любовно смотрит на Динку, проводит заскорузлой рукой по ее косам, мягко улыбается.

— От яки косы вырастила! И сама вытянулась, як той тополек! Да вот и моя Федорка тоже подросла...— Татьяна озабоченно смотрит на обеих девочек.— Мабуть, скоро замуж пора вас отдавать,— шутит она, но моложавое лицо ее грустно, и сквозь шутку слышится материнская тревога.— За кого только отдавать, все хлопцы на войне, а возвернутся, тоже радости мало: все хозяйства порушены, скотину кормить нечем... А немец тем часом все ближе подступает.

— Та годи вам, мамо, и чего вы таку панику наводите... Накладайте лучше еще вареников, бо Динка голодная!

С матерью Федорка говорит особым тоном, капризным, ворчливым, не допускающим возражений, вроде держит мать

в узде, и мать слушается дочки, хотя это не мешает ей, выйдя из терпения, трепать свою Федорку за косы. Но сейчас мать поспешно хватает миску и бежит к печке.

— Зараз, доню, зараз! Ешьте на здоровьичко, я богато налепила!.. А вы геть отсюда! — шлепая полотенцем карабкающихся на скамью ребятишек, кричит она.— Пораскрывали рты, как галчата. Ведь только-только кормила я вас, да не накормишь никак, прости господи!

Насытившись, Динка разглядывает знакомую с детства Федоркину хату, привычно гладит русые и белые головенки Федоркиных братиков и сестричек. Сколько их, кажется, и сосчитать невозможно! Федорка — вечная нянька, нянчилась с ними и Динка, приезжая летом на хутор. Мучились они с этими малышами и играли в них, как в куклы. Приведут, бывало, к Динкиному пруду, выкупают, посадят на песочек, а сами выстирают их рубашонки, разложат на траве сушиться, и Динка бежит домой, шарит в буфете, прячет в карман сахар, а то, залетев в кухню, хватает прямо со сковородки горячие котлеты.

— Куда ты? — кричат ей из дома, а Динки уже и след простыл, она уже на пруду, кормит вместе с Федоркой своих галчат.

С нежностью вспоминает все это Динка. Подросли за зиму Федоркины ребятишки, а помнят ее, улыбаются лукавые рожицы, прячась под стол. Динка поспешно роется в карманах и сует в их грязные ручонки дешевые конфеты в бумажках.

— О, бачишь, яка баловница приехала, теперь разве выгонишь их с хаты? — выкладывая на рушник лепешки, добродушно ворчит Татьяна и, присаживаясь на лавку, с робкой надеждой смотрит на Динку.— Ну, а что ж там в городе за войну балакают?

Но Динка не успевает ответить, потому что на пороге вдруг появляется Дмитро. Только Дмитро ли это? В таком же армяке, накинутом на плечи, в вышитой по вороту рубашке, но это уже не подпасок, ухарски щелкающий кнутом, и даже не тот Дмитро, с которым они позапрошлым летом учились стрелять

из обреза. Теперь это уже не хлопчик, а настоящий парубок, и только круглые карие глаза и смущенная улыбка напоминают прежнего тихого подпаска.

— Здравствуйте,— говорит парубок, снимая шапку. На коротко стриженной голове у него оставлен мягкий чуб, он все время падает на лоб, и Дмитро осторожно приглаживает его ладонью.

— Здравствуй, Дмитро! — вскакивает ему навстречу Динка.

— Здравствуйте,— смущенно повторяет Дмитро, отводя глаза и как бы нехотя протягивая руку.

— Здравствуйте, Дмитро! — в тон ему повторяет Динка.

За столом, давясь варениками, заразительно хохочет Федорка:

— Бачилы, яки у них церемонии!

Дмитро тоже смеется и уже крепко, по-дружески жмет Динке руку.

— Ну, сядай, раз пришел,— поджимая губы, говорит Татьяна.

Она что-то имеет против этого гостя, но Федорка бросает на нее быстрый сердитый взгляд и, придвинув к столу табурет, усаживает Дмитро за стол:

— Вот, ешь вареники. Хлеба бери!

— Да я не хочу! Я не голодный,— упрямится Дмитро.

— А я говорю — ешь! — сердится Федорка.

— Да что ты его приневоливаешь! Не хочет человек — так нет, пристала как репей! — раздраженно гремит заслонкой мать.

— А я кажу — ешь,— настойчиво шипит Федорка.

Дмитро нехотя берет вареник черной от загара рукой и смотрит на Динку:

— Ну, что слышно в городе?

— То же, что у вас,— говорит Динка.— Ведь подумать только, второй год война идет, солдаты не вылезают из окопов. Разутые, раздетые... Вася пишет, зимой прислали сапоги, и всё какие-то недомерки, у всех ноги растерты, портянки от пота и крови заскорузли... А кому дело до солдат? По-

смотрели бы, что в госпитале делается, когда раненых привозят! Класть негде! Мышка по два дня домой не приходит. Ужас какой-то! Бросили людей на бойню с голыми руками! Ничего толком не заготовлено! Пушек нет, ружей и тех не хватает! А кому нужна эта бойня? Солдаты не хотят драться! — возбужденно говорит Динка.

Дмитро поднимает голову и торжествующе смотрит на остолбеневшую Федорку.

— Да что же это ты, Диночка, говоришь? Солдат — он человек, призванный на военную службу, тут хочешь не хочешь, а свою землю от ворога боронить надо! — всплескивает руками Татьяна.

— А то его земля? Панская земля! — сердито вступает в спор Дмитро.— Когда б за свою землю, так каждый пошел бы! В чем стоит, в том и пошел бы! — дергая свой армяк, горячится Дмитро.

— Вы не понимаете, Татьяна,— торопится ему на помощь Динка, но Татьяна, не слушая ее, наступает на Дмитро:

— Смотри какой пан объявился! Да где ж у солдата та земля? Ну вот, к примеру, у тебя, Дмитро,— где твоя земля? Або у нашего батька?

— Так ведь про то же и говорим,— снова беспомощно вступает Динка, но Татьяна машет рукой.

— Обожди, Диночка, обожди! Нехай он мне сам ответ подает... Нехай скаже, где его земля?

— Земля скрозь наша крестьянская, не паны ее своим потом поливали, а мужики... Вот и придет такой час, когда надо будет отбивать ее от панов, вот тогда и драться будет за што! — сердито говорит Дмитро.

— Ой, божечка, божечка! — всплескивает руками Татьяна.— Да кто ж с тобой, дурень, даже балакаты будет? Скрутят тёбе паны по рукам, по ногам, ще й в железо закуют!

— Не скрутят...— усмехается Дмитро.

— Да что ж он один, что ли, будет? — врывается опять Динка.— С ним весь народ встанет! Вы думаете, народ ничего не понимает, да? Посидите-ка в окопах да послушайте, что

солдаты говорят, тогда узнаете! Да рабочих в городе послушайте! — размахивая руками, кричит Динка, но Татьяна с горькой усмешкой смотрит на Дмитро.

— Ох ты ж смутьян, смутьян! — прижимая к щеке ладонь и качаясь из стороны в сторону, горестно причитает она.

— Хватит, мамо! Молчите хоть за ради бога! Почует кто из экономии, всем нам тюрьма будет! — кричит Федорка и, как вспугнутая птица, бежит к двери и выглядывает во двор.

— Всех в тюрьму не посадишь,— усмехается Дмитро.

— Молчи, дурень! Тебя первого схватят да и пристрелят как собаку!

— Ну годи,— поднимается Дмитро.— Извиняйте за беседу...

Напуганные ребятишки тихо сидят под лавкой. Динка, чтобы переменить разговор, вдруг спрашивает:

— А где ж у вас люлька? Всегда висела в углу, а сейчас нету?

— Яка, Диночка, люлька? — сморкаясь в передник, спрашивает Татьяна.

— Ну та, где новорожденные спят?

— А на что она нам? — улыбается Татьяна.— Повырастали дети, батька и снял!

— А разве у вас никто не родился этой зимой? — интересуется Динка.

— Оборони боже! — смеется Татьяна.— И так семеро с ложкой...

Федорка вдруг поднимает красное сердитое лицо.

— Не хватало еще! Да я б его, как котенка, придушила в той люльке!

— От комусь жинка будет! — неожиданно весело говорит Дмитро.

— Комусь будет. В девках не останется,— многозначительно бросает Татьяна.

— Добре,— неопределенно бурчит Дмитро и по-дружески трогает за плечо примолкшую Динку: — А что, Ефим будет вас перевозить с города?

— Да, он уже поехал... К вечеру вернется. Ну, пока мы одни с Мышкой жить будем. Мама уехала, Леня тоже уехал...

— А Вася ваш где? — спрашивает Дмитро.

— А Вася на фронте. Давно уже...

— А Мышка, значит, коло раненых? Вот это ей самая работа. Вот же добрая душа, пошли ей господи! — вздыхает Татьяна.

Динка смущенно улыбается:

— Мы с Мышкой вам гостинцы приготовили, да они на подводе едут. И тебе, Дмитро, тоже... Я тебе складной ножик купила, а Федорке платочек.

— Да чего ты беспокоишься, Диночка, разве теперь такое время, чтоб подарки возить? — расчувствовавшись, говорит Татьяна.

— Да я только вам и еще Якову-музыканту канифоль для скрипки...

— Кому? — с ужасом переспрашивает Татьяна, уронив полотенце.

— Мамо! — тихо и предостерегающе бросает Федорка.

Дмитро, шумно вздохнув, опускается на лавку.

— Якову Ильичу... для скрипки,— недоумевающе глядя на всех, повторяет Динка.

— Ой, боже! А я думала, кому это? — в смятенье говорит Татьяна, суетливо прибирая со стола.— Вот уж не догадалась бы... А на что он тебе, Диночка?.. Обыкновенный человек.

— Что вы, Татьяна! Это же замечательный музыкант! Играет Яков теперь на свадьбах? — спрашивает она Дмитро.

— Э... Яка вже ему свадьба,— машет рукой Дмитро.

— Молчи, дурень,— тихо огрызается Федорка и громко объясняет: — Какие теперь свадьбы! Нема никаких свадеб зараз. За войну только приказчик Павло оженился!

При имени приказчика Динка вспоминает давнюю мечту Дмитро сделаться старшим пастухом.

— А что, Дмитро,— улыбаясь, спрашивает она,— тебя уже сделали главным пастухом?

Но Федорка не дает товарищу раскрыть рот.

— Эге! Ему до старшего пастуха, как мне до неба...

— Ну да, как тебе до неба,— ворчит Дмитро.— У нас три пастуха, у меня у самого подпасок есть... А вот как помрет дед, так и старшим поставят! Только и делов!

— Жди, когда дед помрет! Он еще здоровый, как тот дуб! — усмехается Федорка.

Дмитро переминается с ноги на ногу, щеки его заливает темный румянец.

— Сегодня здоровый, а завтра может и помереть,— говорит он, задетый за живое насмешливым тоном Федорки.— Мало ли с чего человек помереть может. Схватит ему живот или болячка какая прикинется, а может, и убивец какой-нибудь гакнет по голове топором,— неожиданно увлекаясь, говорит Дмитро, не замечая предостерегающего взгляда Федорки.— Вот тебе и мертвое дело...

— Чего? — весело удивляется Динка и, подметив тревожные знаки Федорки, останавливается. Улыбка сбегает с ее лица.— Вы что-то скрываете от меня?

— Оборони боже! Что нам скрывать? Хиба ты не знаешь Дмитро? Он такое набормочет, что и век не разберешься! — обнимая Динку и ласково заглядывая ей в лицо, пытается успокоить Федорка.

Дмитро, чувствуя свою промашку, угрюмо стоит посреди хаты, почесывая ногтем свой обветренный нос.

— Не колупай носа! — кричит на него в раздражении Федорка.

— От характер! Никакой самостоятельности хлопцу не дает! — качает головой Татьяна.

— А мени без вниманья,— надевая шапку, говорит Дмитро и идет к двери.

— Подожди, Дмитро! Вместе пойдем... Спасибо за вареники! Приходи, Федорка! — приглашает Динка, выходя вместе с Дмитро на крыльцо.

Федорка с матерью провожают их тревожными взглядами.

— Эй, Дмитро, смотри у меня! — грозится вслед товарищу Федорка.

Дмитро, не отвечая, машет рукой.

— Развели бабскую канитель,— хмуро бормочет он.

Глава 5

СТРАШНАЯ НОВОСТЬ

Динка не хочет идти через панскую экономию, они обходят ее узкой тропинкой вдоль забора: Динка — впереди, Дмитро — сзади. Динка идет молча, не оглядываясь. По правую руку ее далеко-далеко расстилается желтеющее поле, высокие колосья с сухим шелестом гнутся под легким ветерком. С пригорка уже виден утонувший в зелени хутор. Динка внезапно останавливается.

— Дмитро,— строго говорит она,— я хочу знать правду! что вы скрываете от меня? Может, это касается Якова? Где он? Где его маленький Иоська?

Дмитро мнет в руках шапку, долго чешет затылок; лицо у него хмурое, взгляд убегает куда-то далеко, за желтеющее поле.

— Иоська-то, может, и живой...— нехотя мямлит он.

— Как это «может, живой»?.. А где Яков? — холодея, допрашивает Динка.

— Ну что тебе сказать?..— Дмитро вздыхает и оглядывается по сторонам, словно боясь, что его услышит Федорка.

— Дмитро! Не играй со мной в прятки! Говори правду... Где Яков? — еще ближе подступает к нему Динка.

— Да это уже давнее дело. Нема Якова... Упокойник он... Еще осенью, как вы уехали, так его вскорости и убили...— медленно цедит слова Дмитро.

— Убили?..— с ужасом переспрашивает Динка, отступая от Дмитро и глядя на него широко открытыми, остановившимися глазами.— Как это... убили?

— Ну как... Обыкновенно... Пришли вдвох да и зарубили в хате. Тут и скрывать бы нечего, да твои как прослышали от Ефима, так и прискакали к Федорке. Леня да Вася этот ваш длинный. Как раз он в то время в отпуск, что ли, наезжал с фронта... Ну и меня позвали, конечно. Чтобы вам с Мышкой не говорили, значит, ничего.

— Леня... Вася...— машинально повторяет Динка, а в глазах ее, словно в тумане, вырисовывается белая, обитая дождями

хата в лесу. Знакомый, выщербленный порог, раскрытая настежь дверь, и на полу в луже крови...— Нет, нет! — кричит она.— Этого не может быть! Он так хорошо играл, он никому не делал зла...

— Да тут не со зла. А вроде бы деньги были у Якова. Дед, что ли, Иоське оставил. Ну, вот за деньгами они и пришли. И под печкой, и под полом искали...

Но Динка не слушает Дмитро.

— Боже мой... Боже мой...— шепчет она, бессильно опускаясь на траву.— Убили... такого человека...

— Да ты что так расстраиваешься? На войне разве одного убивают... У нас только в Рубижевке восемнадцать человек молодых хлопцев...

— Дмитро,— вдруг шепчет с надеждой Динка,— может, ты спутал, может, это не его, не Якова убили, а кого-нибудь другого?..— Побелевшие губы Динки не слушаются ее, по спине пробегает колючий озноб, а в глазах, то расплываясь в тумане, то снова выступая из черноты леса, стоит залитая кровью хата...

— Ну годи, годи,— касаясь ее плеча, сочувственно говорит Дмитро.— Ты думаешь, ты одна его жалеешь? Людям тоже жалко. И поиграть на святки было некому. А над Иоськой все бабы плакали. Как почал он над отцом кричать... И прямо при всех на Матюшкиных показывает... Ведь как дело-то получилось? В ту пору Иоська уже учиться ходил, отец ему студента одного договорил на дачах, в репетиторы, значит... Ну, вот и в тот день пошел он, а темнеет-то рано. Возвертается домой, а отец тут прямо около порога лежит чуть живой. Ну и сказал, видно, сыну, кто его порубал. А Иоська хоть маленький, а дуже разумный хлопчик...

— Иоська... Иоська...— Динка проводит рукой по лбу.

Перед глазами ее встает шумная деревенская свадьба. В углу на табурете, прижав к подбородку скрипку, сидит Яков, а около, прижавшись к его коленям, стоит маленький кудрявый мальчик...

Динка вскидывает на Дмитро сухие глаза.

— Где Иоська?

— Да был в Киеве. Говорили бабы, с босяками на базаре бегает.

У Динки пересыхает во рту, она хочет что-то спросить, но Дмитро машет рукой.

— Да ты погоди, слушай, что дале было. Ну, значит, как схоронили Якова, то студент, что с Иоськой занимался, взял Иоську к себе, а сам пошел в полицию, чтобы, значит, на Матюшкиных показать. Ну, куда там! Матюшкины — известные куркули, первые богатеи на селе, их голыми руками не возьмешь. Семен Матюшкин да брат его, Федор, всю полицию купили... Люди их боятся, молчат, а Иоська дитя, ему веры нет. Ну, побился, побился тот репетитор и пошел на Ирпень правду искать. А как пошел, так и сгинул...

— Совсем сгинул?

Дмитро разводит руками.

— Нема... И доси нема... Говорили люди, вроде нашли его, где-то в ирпенском лесу, только сильно суродованный, так что и человека в нем признать невозможно. Ну, бабы, конечно, спугались, чтобы Иоське того же не было, схватили хлопчика да и вывезли его тишком в город.

— В город? — машинально переспрашивает Динка.

— Ну да... Там вроде тетка Якова жила. Старуха, конечно, слепая да хворая, сама кое-как перебивалась, а тут еще хлопчика ей подкинули. А куда денешься? Люди привезли да и оставили. Ну, а потом ближе к рождеству поехали наши бабы проведать, как там Иоська... А Иоськи нет, сбег Иоська. А тут вскорости и старуха померла.

— Не нашли? — с трудом шевеля губами, спросила Динка.

— Да никто и не искал. Кому надо? Своих ребят кормить нечем, а тут сирота! А потом один раз видели его на базаре с босяками. Рваный, голодный. Узнал наших баб и давай тикать. Пропащее дело! Да ты об этом не думай, выбрось из головы!

— А Леня... И Вася... Они знали все это про студента и про Иоську? — вдруг спросила Динка, глядя в упор на Дмитро загоревшимися глазами.

— Да нет, откуда! Им как сказал Ефим про убийство, они сразу и приехали! Тогда еще Иоська у студента был... Ты смотри,— вдруг испугался Дмитро,— не говори, что я тебе рассказал, а то они обижаться будут на меня!

— Некому говорить... Вася на фронте, а Леня тоже уехал. Ну, я пойду! — сказала Динка, поднимаясь и глядя на чернеющий за полем лес.

— Прощай пока. У меня тоже одно дело есть, поговорить бы надо, но об этом потом.

— Потом,— машинально повторила Динка и, кивнув головой, пошла к черневшему за полем лесу.

Дмитро недоумевающе посмотрел ей вслед.

— Эй, Динка! Вон где хутор-то! — улыбаясь, окликнул он, указывая рукой на краснеющую среди дубов крышу.

Но Динка не оглянулась.

— И куда идет? Дорогу забыла, что ли? Задурило ей голову это убийство. Правда, говорила Федорка, что лучше молчать... Эй, Динка! — снова крикнул Дмитро.— Куда идешь?

— Я к Якову...— слабо донеслось с дороги.

— Куда?

Дмитро испуганно взмахнул руками и бросился за Динкой.

— Помешалась ты на этом Якове,— с досадой сказал он, неожиданно преградив ей дорогу.— Иди домой, там, верно, уже Ефим вещи привез.

— Ничего,— равнодушно сказала Динка, отстраняя его с дороги.— Я скоро вернусь!

— Да обожди! Не можно в тот лес ходить! — потеряв терпение, крикнул Дмитро.

— Почему?

— А потому, что той дорогой никто не ходит теперь. И даже на мельницу мужики не ездят. Понятно тебе?

Динка покачала головой.

— Ну, как тебе сказать... Боятся люди, ведь упокойник Яшка-то.

— Дураки они! — с раздражением сказала Динка.

— Нет, не дураки! — горячо заступился Дмитро и, приблизив к ней взволнованное лицо, зашептал: — Скрипка там

играет. Понятно тебе? Как полночь вдарит, так и скрипка! Федоркин отец сам слышал. Ехали они с мужиками на мельницу. Весной уже дело было. Ночь теплая, меж дубами ветер шумит, лист разворачивает. Ну, едут, едут, конечно, дело, разговор на Яшку зашел, а тут уж и хата его одним боком виднеется. Ну, примолкли мужики и вдруг слышат — играет скрипка! Да так жалостно, как маленькое дитя плачет, на все голоса выводит. Спугались мужики, а тут как захрапят кони, как понесут по кочьям, чуть телегу в щепы не разбили!

Динка прижимает руки к груди, пальцы ее дрожат.

— Неправда это, неправда...

— Да что ты! Все люди слышали.— Дмитро подвигается ближе.— Бабы тоже рассказывали. Пошли они как-то по грибы, гуртом. Ну и спозднились сильно. Идут через лес, а в хате Якова огонь по окошкам бегает, вроде кто со свечкой идет. А потом сразу — зырк и погас. Ну, думают бабы, опять, видно, Матюшкины братья деньги Яшкины ищут. Спугались они и давай бежать. Вдруг слышат, вслед им скрипка грае... Да так тоненько, как ножом по сердцу режет. Вот как, бывало, на свадьбах Яшка играл. С гопака да на жалостное переходит, бывало, а потом обратно вот эту песню свою любимую, «На сопках Маньчжурии».

— Да-да! — лихорадочно подтверждает Динка.— Он любил этот вальс. И ты говоришь, они сами слышали?

— А как же? Семь человек их было, и все слышали. Да я тебе лучше скажу: с тех пор как объявилась эта скрипка, Матюшкины в тот лес ни ногой! На мельницу и то объездом едут, десяток верст лишку делают. Потому как тоскует Яшкина душа, убивцу своего ищет!

— Дмитро,— говорит Динка, и в лице ее быстро чередуются сомнения, радость и надежда.— Так ты говоришь, ты даже думаешь, что это играет Яков?

— А кто же, как не он? Все повадки его! Уж люди-то знают! — уверенно подтверждает Дмитро.

— Да-да, это он! Так больше никто не сумеет! И вальс «На сопках Маньчжурии». Да, это он! — радостно соглашается Динка.

— Ну вот! — удовлетворенно говорит Дмитро.— Поняла, наконец, в чем суть? Теперь не пойдешь. Ну, прощай пока... Вот уж солнце садится, а у меня скот на лугу...

Проводив глазами Дмитро, Динка долго стоит на дороге, потом снова поворачивает к лесу. Нет, она все-таки пойдет, она пойдет... к Якову.

В сердце ее уже нет надежды, в нем сомнение и грусть.

«Убили, а скрипка играет. Выдумки все это. А Иоська... Иоська... Убег, говорит Дмитро. Ах боже мой, боже мой... Убить такого музыканта... Недаром людям кажется, что они всё еще слышат его скрипку...

Глава 6

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ

Когда с дорогим человеком случается несчастье и когда есть еще хоть малейшая надежда спасти его, люди бегут и торопятся, они делают всё, что в их силах и даже сверх сил. Люди не верят в чудеса, но, когда угаснет последняя надежда, они ждут чуда. Динка ждет чуда. Она не хочет думать о мертвом, она думает о живом. Она пойдет к Якову сама.

Далеко тянется казенный лес. Прорезают его глубокие овраги, густые ельники и заросшие крапивой чащи. В середине этого леса на развилке двух дорог стоит хата. Давно проржавела ее крыша, повалился плетень, засох старый колодезь. Позади хаты круто сбегает вниз глухой овраг, густо заросший ежевикой и малиной. На дне оврага, не смолкая ни днем ни ночью, журчит ручей. Из-за густой зелени и обступивших со всех сторон деревьев хата Якова только одним боком высовывается на дорогу, словно любопытная девушка в большой белой шали. В недалекие времена жил здесь старый лесник Михайло со своей единственной дочерью Катрей. Грозен был лесник, и немало грошей перепало ему от мужиков за порубку леса. Водку лесник не пил, на станции бывал редко, а потому и прошел слух, что у старика водятся деньги. Может быть, и правда копил лесник на приданое своей красавице дочке. Кто

знает, за какого богача хотел ее выдать старый Михайло, только однажды на деревенской свадьбе увидела девушка молодого сапожника Яшку, послушала его игру на скрипке, заглянула в грустные Яшкины глаза да и сама не заметила, как отдала ему свое сердце. Долго бушевал старик, гнал зятя из хаты, проклинал дочь, аж пока не родился маленький Иоська. Вот тогда притих дед, помирился с зятем, перестал ворчать на дочь и в свободное время нянчился с внуком. А года через два случился со стариком удар, и молодые зажили одни. Жили весело, любовно. Катря помогала мужу шить сапоги, держала в порядке дом, и хотя лишнего достатка не было, светленькие окна и свежевыбеленные стены белой хатки радовали глаза проезжих людей. Бесценным сокровищем Катри и Якова был их маленький сын Иоська. Летними вечерами Яков брал скрипку, усаживался на крыльце и подолгу играл жене и сыну. Когда Иоське надоедало сидеть, Яков начинал играть свой любимый вальс «На сопках Маньчжурии», а Катря с Иоськой весело кружились около крыльца. Счастливая это была жизнь. Только не суждено было Якову счастье. Однажды осенью, когда Иоське шел уже четвертый год, простудилась и тяжело заболела Катря. Лучших докторов привозил ей из города Яков, поил теплым молоком с медом, не спал ночи. Но ничего не помогло, и весной остался Яков один с маленьким Иоськой. Тяжко и пусто было в хате, плакал без матери ребенок, плакал вместе с ним и отец. Понемногу наладилась кое-как жизнь. Снова взялся Яков за свое ремесло сапожника, снова стали звать его люди поиграть на свадьбах, только часто теперь во время игры забывался вдруг Яков и, глубоко задумавшись, неожиданно переходил с веселых плясовых мотивов на грустные еврейские мелодии или на свой любимый вальс. За это на хуторе и в селах люди в глаза и за глаза стали называть Якова «малахольным», а бывали случаи, когда разобидившиеся хозяева выгоняли его со свадьбы за неподходящие к празднеству похоронные мелодии.

Ничего этого не знала бы Динка, если б не Федорка. Однажды, обегав вместе соседние села, девочки неожиданно попали на «весилля». Там в первый раз Динка услышала

скрипку Якова. И пока Федорка с восхищением считала ленты и намисто молоденькой невесты, Динка не сводила глаз с угла, где сидел музыкант. Прижав к подбородку скрипку и полузакрыв глаза, он играл по требованию разгулявшихся гостей то польку, то краковяк, то казачка. Рядом, тесно прижавшись к его коленям, стоял совсем маленький мальчик. На голове у него золотистым барашком вились давно не стриженные кудри, большие синие глаза с напряженным, недетским выражением следили за отцом, тонкое нервное личико пугливо морщилось от громких визгливых выкриков и топота сапог. Когда кто-нибудь из гостей или хозяев протягивал мальчику кусок пирога или другое лакомство, он ежился, прятал назад руки и теснее прижимался к отцу. Но отец не обращал ни на что внимания. Казалось, что веселые плясовые мотивы, которые он сам извлекал из своей скрипки, болезненно резали его слух, и все время, пока он играл по требованию хозяев, какая-то недоумевающая горькая улыбка не сходила с его длинного бледного лица. И вдруг в самый разгар веселья, когда сам хозяин пошел вприсядку вокруг своей дородной сватьи в зеленой сборчатой юбке, когда гости, хлопая в ладоши, вытолкнули на середину чубатого жениха и застыдившуюся невесту, лицо музыканта приняло какое-то новое, важное и проникновенное выражение, а скрипка, протяжно вздохнув, перешла на тоскливую мелодию.

У Динки оборвалось сердце, ей почудилось, что кто-то жалобно, страстно и безнадежно зовет на помощь. Она схватила за руку Федорку, но вокруг все затопало, загоготало, закричало:

— Эй ты, малахольный, куда тебя занесло?

— Грай гопака, бисова душа!

— Не наводи тоску, чтоб тебя свиньи съели!

— А ну влейте ему в глотку горилки!

— Замолчи, кажу, тоску наводить, а то выгоню к чертовой матери! — стучал кулаком подвыпивший хозяин.

— Тато, тато...— подняв к отцу испуганное личико и цепляясь худенькими ручонками за его рукав, шептал Иоська.— Тато! Грай веселую, бо нас выгонят, тато!

— Грай гопака! — стучали ногами гости.

— Тато, тато...— плакал ребенок.

— А? Что такое? Чего ты хочешь, Иосенька? — словно проснувшись, спрашивал отец и, опустив скрипку, тревожно смотрел на сына.— Чего ты плачешь, мой сыночек?

— Тато, грай веселую,— вздрагивая от слез, повторял мальчик.

— Что? Веселую? Ну? Почему нет? Гости хотят веселую? Так ты бы так и сказал, а зачем плакать? — Вытирая клетчатым платком слезы сына и обращаясь к притихшим гостям с мягкой, словно извиняющейся улыбкой, он добавил: — Я же понимаю... Гопак так гопак! Я могу все, что угодно. Пожалуйста! А зачем делать такой шум? — Он поднял смычок и, склонив набок голову, заиграл гопак.

Динка бросилась из хаты. Федорка догнала ее уже на краю села.

До хутора было версты полторы. Девочки шли по пыльной проселочной дороге. По обеим сторонам колосилась рожь, усатые колосья с тихим сухим шелестом склонялись на тропинку, месяц светил на запрятавшиеся во ржи васильки, где-то далеко, лениво ворочая колесами, скрипела телега, а Динка жадно выспрашивала у Федорки все, что она знала про музыканта.

— Я ж тебе кажу, что он малахольный, ну, як то прямо сказать, с ума рехнулся, бо у него была жинка Катря. Красива-красива... И они дуже любились... А потом она застудилась и померла. Вот перед тем, как вам приехать на хутор, она в тот год и померла. Иоське только четвертый годочек шел.

— Подожди, ведь ты же говорила, что этого музыканта зовут Яков...— сдвинув брови, допытывалась Динка.— Так почему же люди не называют его настоящим именем, а придумывают всякие дурацкие прозвища?

— Да кто как. А чаще всего просто малахольным.

— Да ты что? С ума сошла? — Динка даже не находила слов от возмущения и, остановившись на дороге, молча смотрела на подругу.

— Чего? — растерялась Федорка.— То ж правда... Ты ж сама чула... Нема у него постоянного имени, а кто как хочет, так и называет,— невинно повторила Федорка.

— У каждого человека есть имя, а у этого музыканта такой талант, а ему всякие дураки смеют кричать «малахольный»! И его мальчик Иоська плачет. Что же это? Да у тебя-то у самой есть сердце, Федорка? — дрожа от волнения, спросила Динка.

— Ну, а як же... У всякой людыны есть сердце,— тихо проронила Федорка. Бойкое, ясноглазое лицо ее при свете месяца затуманилось, и, взглянув на Динку, она просто сказала: — Тебе жаль, и мне жаль. Такой жаль на сердце поднимается, когда он заиграет свою музыку. То он по жинке скучает. Она дуже его скрипку любила. Моя мать часто до Катри ходила, она и старого лесника знала...

Федорка рассказывала не спеша. Динке представлялась одинокая, затерянная в лесу хата, где раньше так счастливо и весело жили трое людей. Потом Федорка замолчала и прибавила шагу; она вспомнила, что ей уже давно пора быть дома, что мать замучилась одна с младшими детьми, и теперь не иначе, как встретит ее на крыльце с добрым davayте ручком...

— Ходим скорейше,— робко поторопила она подругу, но та шла не спеша и думала о том, что в ее ушах уже никогда не перестанет звучать эта грустная музыка и никогда уже она не сможет так смеяться, как смеялась раньше.

Динка мучительно и тревожно искала в чем-нибудь утешения для этого музыканта без имени, для его мальчика Иоськи и для себя.

— Федорка,— сказала она вдруг тихим звенящим шепотом,— ты ничего не знаешь, а я знаю. Я просто так чувствую... Послушай, Федорка. Когда-нибудь этот музыкант будет стоять на сцене, в театре, а может, на большой площади... Он будет играть на скрипке. Вот это, свое, жалобное... И люди, все люди... будут плакать.

Звенящий шепот прерывается тихим всхлипыванием; мокрое лицо Динки, обращенное куда-то к месяцу, странные слова ее пугают Федорку.

— Та чего ж ты плачешь? Ну, нехай вин грае, нехай вин грае где схоче... Бежим до дому, Диночка! Бежим скорее, голубка! Ой, на что ж нам нужна была та свадьба! — испуганно бормочет Федорка и, схватив за руку подружку, тащит ее за собой изо всех сил.

Но Динка упирается. Ей мало, что музыкант станет знаменитым артистом, ей еще надо наказать тех, кто называет его «малахольным». И, задыхаясь на бегу, она выкрикивает злым, мстительным голосом:

— Он будет играть! И тогда все узнают его имя! И никто не посмеет, никто не посмеет...

— Ой боже мой! — взвизгивает Федорка и, бросив Динкину руку, несется вскачь, разбрызгивая босыми пятками прибитую росой пыль.

Все это вспоминает сейчас Динка, торопливо шагая по длинной лесной дороге. Бережно, как что-то очень дорогое, собирает она в памяти свои коротенькие встречи с Яковом. Ей было тогда двенадцать лет, она многого не понимала, о многом и вовсе не думала. Еще раза два слышала она игру Якова на свадьбах и снова глубоко страдала, когда он сбивался с плясовой музыки на свою, дорогую его сердцу. Теперь она понимает, почему осиротевшему музыканту был так памятен этот вальс «На сопках Маньчжурии». На дачной станции в тенистом парке на берегу пруда часто устраивались гулянья, танцы, фейерверки. Туда в счастливые дни Яков часто ходил с Катрей.

Может быть, сидя вдвоем на берегу пруда и слушая этот вальс, они вдруг поняли, что любят друг друга, а потом в длинные летние вечера Яков играл его на крыльце для жены и сына...

Динка не раз слышала этот вальс и раньше. Играли его в городском саду, играла его и мама, но никто и никогда не играл его так, как Яков, с такой глубокой певучей нежностью, с такой несказанной грустью, проникающей в сердце, что иногда даже веселые свадебные гости не решались прервать эту игру, невеста начинала горько оплакивать свою девичью волю, а бабы, пригорюнившись, вторили ее плачу.

В один из таких вечеров, когда Яков, отказавшись выпить чарку горилки, вышел с Иоськой на крыльцо, Динка несмело подошла к нему.

— Вы так хорошо играете... Я не знаю, что мне делать, когда вы играете,—сказала она, волнуясь и прижимая руки к сердцу.— Скажите, как ваше имя-отчество? — Она стояла перед ним маленькая, встрепанная, испуганная своей смелостью.

Музыкант наклонил голову, и обычная, мягкая, словно извиняющаяся улыбка осветила его бледное лицо.

— Что вы сказали?

— Я хочу знать ваше настоящее имя. Вас часто называют по-разному, но у вас же есть настоящее имя? — заторопилась Динка.

— Имя? Ну конечно, у меня есть свое имя. Но какое это имеет значение? Тех, кто давал его, давно нет на свете. А я не обижаюсь, пусть люди зовут меня, как им хочется. Ведь от этого ничего не изменится,— медленно пояснил он, поглаживая кудри сына.

Динка, не найдя больше слов, молча смотрела на него, на Иоську. Яков заметил ее взгляд, глаза его вдруг оживились, неожиданная улыбка преобразила некрасивое лицо.

— Вот мой сын Иоська. Его имя Иосиф... И у него была мамочка, ее звали Катря. Если вы хотите видеть глаза его мамочки, так посмотрите на Иоську. Иосенька, покажи барышне свои глазки! Вы видите эти глаза? Их нельзя забыть. Иоська — это наш принец... Он весь в свою мамочку. Вы, кажется, сказали, барышня, что я хорошо играю? Катря тоже говорила так. Она и теперь так думает, когда я ей играю. Она стоит во весь рост на своем портрете и слушает наш вальс. Она любит, чтоб я каждый вечер ей играл...— Он остановился и, словно прислушиваясь к чему-то, пробормотал: — Я очень извиняюсь перед вами,— и, взяв Иоську за руку, ушел в хату. Через минуту оттуда послышался знакомый вальс...

Шумит лес, бесконечной кажется дорога, но Динка не замечает ее, бережно припоминая все свои встречи с Яковом. Потом она все-таки узнала, что его зовут Яков Ильич. Как-то

в прошлом году, уже в конце лета, боясь, что она скоро уедет и не услышит скрипки Якова, она решилась пойти к нему сама; кстати, из экономии пана ехали на мельницу, и Динка попросила подвезти ее. На развилке двух дорог она спрыгнула и огляделась. Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами просторной хатыной. Недаром мужики, которые подвезли Динку, рассказали, что еще задолго до того, как в этой хате поселился старый лесник, здесь была корчма.

«Похоже...» — подумала Динка и пошла по дорожке. Две половинки двери были широко раскрыты, прогнившее от времени крыльцо, казалось, совсем провалилось под трухлявыми, позеленевшими перилами. Одной стороной своей хата стояла на краю обрыва, кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед таким же низеньким, изрезанным ножом столиком и тачал сапоги. Иоська, размахивая руками, что-то быстро и весело рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от удивления и неожиданности. Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье с черным кружевным шарфом. Она была снята во весь рост и как будто торопилась куда-то, накинув свой легкий шарф. Но больше всего поразили тогда Динку ее глаза. Огромные, полные какой-то внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. Остановившись на пороге, Динка не могла отвести глаз от этого портрета. Казалось, она где-то уже видела эти глаза, улыбку и ямочку на щеке.

«Тато, тато, грай веселую»...— вспомнилось ей вдруг. Забывшись, она молча переводила глаза с матери на сына... Иоська давно уже замолчал и вопросительно смотрел на непрошеную гостью. Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение строгой важности.

— Здравствуйте, барышня! — сказал он величественно, поднимаясь навстречу.— Вы хотели узнать, как меня зовут? Так мое имя Яков Ильич!

— Здравствуйте, Яков Ильич! — низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка.

Она чувствовала глубокое удовлетворение от того, что может назвать его настоящим полным именем, но портрет Катри, ее живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам несчастный, помешавшийся от горя скрипач,— все это внушало ей ужас, ноги ее приросли к порогу, и, не зная, что делать, как найти в себе силы уйти или остаться, она жалобно попросила:

— Сыграйте, Яков Ильич, вальс «На сопках Маньчжурии».

Иоська с готовностью подал отцу скрипку. Яков все так же величественно кивнул головой сыну:

— Дай барышне стул,— и, повернувшись к портрету, поднял смычок...

При первых звуках скрипки страх Динки прошел. Играя, Яков смотрел на портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. И Катря отвечала ему нежной, строгой улыбкой. Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях ладошки, смотрел то на отца, то на мать. Долго, долго играл в тот раз Яков. Динка бежала домой уже в сумерках, лес казался ей огромным, нескончаемым, но, очарованная, окрыленная музыкой, она не чувствовала ни страха, ни усталости.

И еще одну встречу с холодным ужасом в душе вспомнила Динка. Это было на дачах в воскресный день. В лавке толпилось много народу. Облокотившись на прилавок, братья Матюшкины торговались о чем-то с хозяином. Да-да, это были они, Федор и Семен,— Динка ясно видела! Оба рыжие, с тараканьими усами. Яков пришел вместе с Иоськой. Какая-то дачница долго смотрела на мальчика и, погладив его золотые кудри, сказала:

— Бедное дитя!

Яков посмотрел на нее и усмехнулся.

— Кто бедный? Мой Иоська? Чтоб вы были так богаты, как он! Это я бедный. А Иоська, наш принец, он будет боль-

шим ученым. Это же сын Катри,— как же он может быть бедным?

Динка стояла тут же. Тогда она не обратила внимания на братьев Матюшкиных, но сейчас ей кажется, что она даже видела, как они переглянулись... И она ничего не сделала, не бросилась на них, не закричала: «Спасите, спасите!..»

Динка останавливается перевести дух, сердце ее сильно бьется. Ей кажется, она умирает. Да и к чему жить на этой земле, если можно безнаказанно убить такого чистого сердцем человека, такого чудесного музыканта, как Яков?.. Но куда это она зашла? Кругом лес, лес и лес. Динка тревожно оглядывается. Где же развилка? Там расходятся две дороги. В лесу тихо и пусто. Люди теперь не ходят сюда, в рыжих соснах свободно прыгают белки, неумолчно и крикливо зазывает какая-то птица... Динка возвращается назад. Может, она заблудилась? Где же эти дороги? По ним сейчас редко ездят, может, они заросли бурьяном? Неожиданно перед Динкой вырастает овраг. На краю его белеет задняя стена хаты, с этой стороны в ней нет окон. Динку бьет озноб. Она снова возвращается назад и наконец находит развилку. Отсюда узенькая, заросшая тропинка ведет к хате Якова. С помертвевшим сердцем Динка сворачивает на эту тропинку.

Глава 7

КЛЯТВА

Разбитые окна, сорванные с петель двери. Мертвой кучей валяется искалеченная и брошенная около дома мебель. Динка узнаёт железную кровать с почерневшими шишками, она стояла у Якова за печкой; тут же валяется и детская кроватка Иоськи. Динка вспоминает, что эта кроватка стояла в комнате рядом с большой кроватью. Мокнет на дожде и коробится под солнцем самодельный дубовый шкафчик; кто-то кропотливо мастерил его своими руками для жизни, для уюта... Холодом смерти и разрушения веет на Динку от этих брошенных вещей. Кто

вытащил их из осиротевшей хаты и свалил здесь в одну кучу? Или, может быть, сначала увез к себе, а потом, испугавшись мести мертвеца, привез обратно и в суеверном ужасе кое-как сбросил их около двери.

У Динки опускаются руки, чем ближе подходит она к хате, тем яснее чувствует, что здесь уже нечего искать, не на что надеяться. Не свершится чудо, не запоет больше скрипка Якова... С тихим скрипом качается одна половинка двери. Оглянувшись на лес, Динка медленно поднимается по ступенькам. «Чего я боюсь? — успокаивает она себя.— Мертвые не встают из гроба. А если б даже и вставали, то как бы обрадовалась я, увидев Якова. Ведь я пришла к нему... Но здесь уже ничего нет живого, нет, нет...» И все-таки ее неудержимо тянет в комнату, где она была в последний раз, где так долго играл Яков.

Динка отодвигает половинку двери и входит в полутемные сени. Груда битых кирпичей преграждает ей путь. Это Матюшкины искали деньги. «...И под печкой и под полом искали»,— лихорадочно вспоминает она слова Дмитро. Дверь в комнату открыта. Динка шагает через кирпичи и с ужасом смотрит на пол: она боится увидеть кровь... лужу крови. Но пол засыпан известкой. Динка поднимает голову и как вкопанная останавливается на пороге... Катря! Она стоит во весь рост над сапожным столиком и в упор смотрит на Динку. Живые, говорящие глаза ее умоляют и требуют, черный шарф шевелится под рукой. Катря... Катря... Одна, брошенная в осиротевшем доме... Но почему она смотрит на нее так? Может быть, она спрашивает, где Иоська?

— Катря...— шепотом говорит Динка, и голос ее прерывается слезами.— Не смотрите на меня так, Катря... Я найду, я не брошу Иоську... Я буду ходить по всем улицам. Клянусь вам самым дорогим! Клянусь именем моего отца!

Легкий шорох проносится за спиной Динки, но она ничего не слышит. Упоминание об отце заставляет ее сразу взять себя в руки.

— Я найду Иоську, Катря... Я никогда не брошу вашего мальчика. Клянусь именем своего отца! — голос Динки крепнет,



слезы высыхают.— И я отомщу убийцам Якова! Я жестоко отомщу! — гневно кричит она, поднимая кулак.

Ветер шумит в лесу, с тихим свистом врывается он в черную дыру развалённой печи. Динке чудится приглушенный шепот, но она уже ничего не боится. Ей только страшно повернуться спиной к портрету. И, пятясь задом, она с трудом выбирается на крыльцо.

Чуда не случилось. Динка уже точно знает, что Якова нет и никогда не будет.

«Где же могла тут играть скрипка? Какие глупые, суеверные люди... Нет, это не глупость и не суеверие, а память, светлая память о таланте музыканта. Да-да... Никто не может забыть его скрипку, и всем кажется, что она все еще поет...» — растроганно думает Динка, выходя на дорогу. Теперь, когда она приняла твердое решение и дала клятву, в сердце ее уже нет слез. Она найдет Иоську! Она сделает это для Якова, для несчастной Катри и для самого осиротевшего, брошенного всеми Иоськи... Динка не хочет больше разжалобивать себя грустными мыслями, ей кажется, она тверда, как камень. Но против ее воли ей вдруг представляется в кучке босяков оборванный, голодный мальчишка: слипшиеся от грязи кудри падают ему на лоб и большие материнские глаза кого-то ищут в толпе...

Динка замедляет шаги и меряет глазами дорогу... Ноги ее подламываются, она очень устала... Устала... устала... А до хутора еще далеко... Но нужно идти... Там уже давно ждут ее... Долгую, долгую зиму ждут свою хозяйку собаки, и, когда Ефим начинает запрягать в телегу Приму, они поднимают такой визг... Собаки всё понимают... Прима тоже всё понимает, у нее совсем не лошадиные, а человеческие глаза. Динка хочет думать о хуторе, о своих друзьях... Она всегда так спешила к ним, так радовалась этой встрече... Она и сейчас будет рада... Она обнимет за шею своих собак, уткнется лицом в мягкую гриву Примы...

Мышке не надо говорить о Якове, она и так видит много страданий... Ей многое не под силу, но она все терпит... Да и зачем говорить... Все равно разве можно снять тяжесть

со своего сердца и переложить ее на другого? Нет, нельзя... И не надо... Человек должен сам, один пережить, справиться с собой...

Динка приходит на хутор уже в сумерках. Ефим приехал. Мышка тоже дома. Вещи разложены по местам, стол покрыт белой скатертью, и посредине в глиняном горшке полевые цветы. Динка проходит по знакомой дорожке, мельком гладит прыгающих в восторге собак, мельком взглядывает на луг, где пасется Прима...

— Потом, потом...— говорит она, чувствуя безмерную усталость.

— Где ты была? — удивленно спрашивает младшую сестру Мышка.

Но Динка без сил падает на кровать.

— Потом... потом,— бормочет она.— Я не хочу ничего, ни есть, ни пить, а только спать. Укрой меня папиной тужуркой.

Уезжая, отец оставил на хуторе свою кожаную тужурку. С тех пор когда кому-нибудь из домашних нездоровится или просто тяжело на душе, его укрывают папиной тужуркой. В это чудодейственное средство свято верят его взрослые дети, и озабоченная Мышка, не спрашивая ни о чем, заботливо укрывает сестру папиной тужуркой.

Глава 8

СЕСТРЫ

Мягкие волосы сестры щекочут Динкино лицо.

— Динка, Динка! Проснись! А то после обеда я опять уеду, а мы совсем не виделись вчера...

— А что это — утро? День или вечер? — сонно моргая ресницами, спрашивает Динка.

— Да утро, утро...— смеется Мышка.— Знаешь, сколько часов ты проспала? Ведь мы еще вчера приехали! Надо же было так набегаться!

— Вчера... вчера...— машинально повторяет Динка и, садясь на кровати, мучительно трет лоб.— Мы приехали вче-

ра,— медленно повторяет она, а в глазах ее встает хата Якова, оторванная половинка двери и в простенке над сапожным столиком летящие концы черного шарфа.

Динка спускает на пол ноги и шарит под кроватью, разыскивая свои туфли.

— Я должна сейчас же ехать...— бормочет она.

— Куда? — удивляется сестра.

— Я еще сама не знаю куда. Но я должна...— в смятении бросает Динка.

Но Мышка, смеясь, обнимает ее за шею:

— Да проснись ты наконец! У меня сегодня такой трудный день. И потом, я хотела поговорить с тобой о маме...

— А что о маме? — с тревогой спрашивает Динка, окончательно приходя в себя.

— Как — что? Ведь нет же ни письма, ни телеграммы... А мама уже давно в Самаре. Неужели до сих пор нельзя было добиться свидания... Она же знает, как мы волнуемся.

— Конечно, знает... И она бы написала, но ведь и в прошлом году, когда мама ездила к папе, ей тоже долго не давали свидания. Что же зря писать?

— Замучается она там. И папа бедный так ждет...— грустно говорит Мышка.

Тревожные мысли об отце, о матери, добивающейся свидания через тюремную решетку, омрачают лица сестер.

— Сколько унижений... Полиция, допросы... Обыщут ее там, не передала бы чего... Везде подлость! Такая подлость, что просто иногда дышать нечем! — стискивая руки, говорит Мышка.

Динка молча кивает головой и смотрит на сестру. В темном казенном платье Мышка кажется тоньше и стройнее, тоненькие, как паутинка, белокурые косы ее пышным узлом свернуты на затылке. Солнце совсем не трогает загаром нежного лица Мышки, щеки ее всегда покрыты защитным пушком и даже около точеного носика сами по себе куда-то исчезли веснушки.

«Как мы непохожи...» — машинально думает Динка, глядя на нежно-розовые губы сестры и на темно-серые глаза с длинными золотистыми ресницами. Мышка такая легкая и

воздушная, что, когда она неслышно ступает по полу, Динке всегда кажется, что в комнату спустилось белое облако.

«А я уродка... Таким всегда говорят: «Какая вы симпатичная», потому что нечего больше сказать».

Динка мельком бросает взгляд на зеркало и недовольно отворачивается.

«Ишь, сидит, распустила Дуня косы... Глазки синенькие, щеки румяные, а пышные прожорливые губки так и лезут вперед. Несчастная матрешка! Недаром Федорка один раз сказала: «Не знаю, чого тоби не нравится, на мой вкус, ты дуже гарна дивчина». На Федоркин вкус...» — горько усмехается про себя Динка, любуясь сестрой.

— А вот глаза у тебя стали совсем другие,— неожиданно говорит она вслух.

— Глаза? Какие глаза? При чем это тут? — останавливаясь посреди комнаты, удивленно спрашивает Мышка. Она давно уже привыкла ко всяким неожиданностям со стороны Динки, но ведь сейчас они говорят о папе и о маме и при чем же тут какие-то глаза?

— Ты совсем не слушала меня, Динка. Я так беспокоюсь, а у тебя вечно одни глупости на уме,— с обидой говорит старшая сестра.

— Да нет, я, конечно, слушала... И я тоже беспокоюсь...

— Ну так почему же ты всегда вставишь что-то неподходящее? Говоришь с тобой об одном и вдруг слышишь что-то совсем из другой оперы... Ну почему это?

Динка вертит пальцем около головы.

— У меня мысли бегут наперегонки,— серьезно объясняет она.— Их нельзя удержать на месте.

— А надо, Динка, потому что ты вот так ляпнешь что-нибудь невпопад, и люди будут думать, что ты глупая.

— А я и правда не очень-то умная, у меня всего не хватает. И ума, и знаний, и красоты — всего-всего! Я ущербный месяц,— грустно улыбается Динка.

— Ты на самом деле так думаешь? — пытливо спрашивает Мышка, прислушиваясь к грустным ноткам в голосе сестры.

— Конечно, зачем бы я стала таиться перед тобой?

— Но ведь это же неправда, Динка,— присаживаясь рядом, горячо убеждает Мышка.— Я думаю, тебе просто надо научиться управлять собой, своими мыслями...

— Как обижен тот судьбою, кто не властен над собою,— задумчиво говорит Динка.

— Вот-вот... Откуда ты взяла эти строчки?

— Я их сама для себя придумала, только это мало помогает... У меня все — и злость, и горе, и обида сразу, как горячая смола, прикипают к сердцу, и я уже ничего не могу с собой сделать...— И неожиданно для себя Динка вдруг тихо сообщает: — Вчера я узнала, что того музыканта, который играл на скрипке, убили...

— Убили? — широко раскрыв глаза, переспрашивает Мышка.

Динка молча кивает головой.

— Так вот почему ты просила укрыть тебя папиной тужуркой,— тихо говорит Мышка.

Глаза Динки загораются злобой.

— Его убил Федор Матюшкин, он искал какие-то деньги... Это подлый негодяй, убийца! — Она вдруг хватает сестру за руку и смотрит ей прямо в глаза горячим, напряженным взглядом.— Скажи мне: если б ты шла по лесу, а впереди тебя шел Матюшкин, стреляла бы ты в него или нет?

Оторопевшая Мышка неуверенно качает головой.

— Как — стреляла? Из чего стреляла?

— Ну, предположим, у тебя был бы револьвер.

— Да я совсем не умею стрелять,— разводя руками, говорит Мышка.

— Ничего, сумела б... Револьвер не винтовка: нажал курок — и все! Ну так вот. Впереди тебя идет Матюшкин — выстрелишь ты в него или нет? — сдвинув брови, допытывается Динка.

— Впереди меня... Значит, в спину? — испуганно переспрашивает Мышка и вдруг решительно встряхивает головой.— Нет, в спину я стрелять не буду, мне это противно, я никого не могу убивать в спину!

— Скажите какие интеллигентные штучки! Таких негодяев можно убивать со всех сторон! Ну хорошо, пусть он идет тебе навстречу. Так будешь ты стрелять в его кулацкую морду или нет? Я принципиально тебя спрашиваю!

— Да почему же это я буду ходить с револьвером и перестреливать всех кулаков? — возмущается Мышка.

— Не всех, а одного!

— Так это еще хуже. Всех так всех!

— Да ты раньше хоть одного убей!

— Не понимаю, раньше или позже... И вообще, как же это я посмею без всякого совета со старшими товарищами устраивать какие-то террористические акты? Такие вещи возможны только в случайной перестрелке или по заданию...

— Ладно,— махнув рукой, перебивает ее Динка,— задания у меня нет, так я этому Матюшкину устрою такую случайную перестрелку, что он у меня вместо одной получит десяток пуль!

— Нет, ты просто сумасшедшая или дуреха! Как была дуреха, так и осталась. А я взрослый человек, и нечего из меня дурака делать! — окончательно выходит из себя Мышка.

Сестры долго молчат.

— Тебе хорошо,— вдруг говорит Динка.— Ты уже закалила свое сердце от подлости. Я ведь недаром сказала, что у тебя стали другие глаза... Ты научилась смотреть поверх человека, и взгляд у тебя иногда такой холодный, твердый. В таких глазах и слез нет. А ведь я знаю, у тебя столько доброты и жалости к людям: когда ты приезжаешь из госпиталя, на тебе лица нет. Но может быть, ты закалилась и от жалости? — тревожно спрашивает Динка.

Но Мышка качает головой.

— Нет, Динка... Ты сама знаешь, что это невозможно. И все-таки я закалилась. И знаешь отчего? От какой-то ежедневной борьбы с подлостью.— Мышка ловит вопросительный взгляд сестры и, смущаясь, поясняет: — Борьба — это громкое слово. Какой я борец, Динка! Я просто не могу выдержать так же, как ты. Только я не бегаю с револьвером, иначе мне пришлось бы каждый день стрелять в какую-нибудь

гадину. Вот вчера, например... Привезли очень тяжело раненных солдат, предстоят ампутации. У одного совершенно раздроблена нога. У другого оторвана по локоть рука... разбита снарядом грудь. Такие муки, такие стоны. Ну, ты же была в госпитале, видела, каких привозят...

Динка молча кивает головой.

Сестра останавливается перед ней, прямая, тоненькая, на прозрачно-бледном лице ее глаза, обведенные синевой, кажутся черными, уголки розовых губ нервно вздрагивают.

«Нет, не закалилась она, нет»,— быстро думает Динка, но голос сестры вдруг меняется.

— ...И вот ты подумай. Сестры уже всё готовят к операции, и вдруг Иван Евдокимович — ну, знаешь ты его, старый такой хирург, хороший, его все зовут у нас «седенький»,— так вот он подходит ко мне и говорит: «Операции будем делать без наркоза...» Я прямо остолбенела. «Как без наркоза, почему? Я сейчас пойду к начальнику!» — «Не ходите, сестричка, бесполезно, я уже говорил с ним».— «Нет, нет! Задержите операции, у нас же есть наркоз, я знаю!» Бегу наверх к начальнику. Сидит такая туша в кителе, вся грудь в каких-то бляшках. А во мне все трясется. И голос... Не знаю даже, мой ли это голос, такой спокойный. Я говорю: «У нас мучительные операции, ампутации рук, ног... У нас же есть наркоз, дайте наркоз...» А он так отечески похлопал меня по руке: «Успокойтесь, сестра, вам пора привыкнуть ко всяким операциям, на то мы и военный госпиталь. Наркоза нет, все, что было, мы передали в офицерское отделение. Господа офицеры — народ изнеженный, а солдат на то и солдат, чтобы терпеть. Что поделаешь?»

— И ты... ты не дала ему по физиономии? — вскакивает Динка.

— Нет, я не дала, я бросилась в офицерскую палату. Ты знаешь, как я презираю их всех. Когда поднимаешься по лестнице, а они стоят так небрежно у перил, покуривают и лезут к тебе с пошлыми комплиментами, я ненавижу свое дежурство в офицерском отделении. А тут не знаю, что со мной сделалось... Я вбежала в палату, ой, я такого наговорила им,

Динка! Тут были всякие слова: и честь, и доблесть русского офицера, который в самом жестоком бою идет впереди... Одним словом, я уже не помню всего. А потом выяснилось, что они об этом просто ничего не знали, все это выдумал начальник! Подумай, какой мерзавец! Ну зато и ему попало! — Мышка вдруг звонко рассмеялась.

Но Динка тревожно спросила:

— А наркоз как же?

— Да не только наркоз появился: этот наглец еще полчаса извинялся передо мной и уверял, что я его не так поняла. Вот с какими типами приходится работать! — глубоко вздохнув, добавила Мышка.

— Подожди! — перебила ее Динка.— Значит, все-таки эти офицеры тоже возмутились?

Мышка пожала плечами и усмехнулась:

— Кто-то, может, и возмутился, а кто-то просто из самолюбия... Одним словом, взгрели они этого прохвоста здорово! Вызвали в палату... Я, конечно, не была при этом, но Иван Никодимыч был... А что ж ты думаешь! В этой палате как раз собран весь цвет высшего общества! Тут такие козыри, как сын генерала, двоюродный брат министра, два чистокровных князька...

— Значит, сам начальник госпиталя их боится?

— Конечно, он перед ними заискивает. И сейчас по всему госпиталю разносит слух, что вот, мол, господа офицеры пожертвовали ради своих солдат наркозом... А солдаты откуда-то всё знают. «Если б, говорят, не сестричка, так резали б нас, как скотину»,— усмехается Мышка.

Динка крепко обнимает сестру.

— Ты действительно закалилась, Мышечка, а я бы только ревела, ругалась и бегала с револьвером!

— Все это еще детство, Динка... Вот ты хочешь мстить какому-то кулаку Матюшкину. Я понимаю, что у тебя в сердце делается... Но нельзя думать об одном человеке, когда кругом сотни, тысячи гибнут на войне, на каторге, в тюрьмах... Ты помнишь, как на золотых приисках были расстреляны безоружные рабочие? А сколько сейчас политических в тюрьме!

Вокруг, вокруг, Динка, гибнут лучшие люди! Идет такая борьба, Динка! Вот для чего нужно копить силы и ненависть, а не терять их на какого-то кулака Матюшкина,— горячо убеждает Мышка.

Но Динка вместо ответа тихо спрашивает:

— Ты не знаешь, когда приедет Леня?

— Нет. Но, я думаю, уже скоро. А ты соскучилась по нем? — с улыбкой спрашивает Мышка.

— Нет, мне некогда скучать. Я никогда не скучаю, а просто чувствую пустоту вот здесь.— Динка прижимает руку к сердцу и серьезно смотрит на сестру.— Мне кажется, если б Леня уехал на целый месяц или на два, я бы тихо скончалась, просто скончалась, и все!

— Вот видишь, Динка, а почему же ты никогда не веришь, что мне так же не хватает Васи? — с упреком говорит Мышка.

— Нет, я верю, что тебе его не хватает. Но ведь это не любовь... Я хочу сказать, не настоящая, ведь ты же сама говорила, Мышка, что любовь — это чудо! И стихи об этом написаны, и книги. А где же это чудо у нас?

— Какое чудо? Что я тебе говорила и что ты читаешь, Дина? — удивляется Мышка.

— Ну, что я читаю? Твоего любимого Блока, Ахматову, мало ли что еще — так при чем это? — насмешливо спрашивает Динка.

— А при том, что с тобой очень трудно разговаривать и вообще нет времени разбирать сейчас все твои фантазии. Ну уж недаром Вася говорил, что у нас вечная говорильня! — раздраженно бросает Мышка.— Вася — человек дела, и он действительно прав, что нельзя тратить время на бесполезную болтовню.

— Ну и не трать. А Вася твой — дуботол! — равнодушно бросает Динка.

— Неблагодарная ты! — с горечью говорит Мышка.— Разве мало Вася сделал для всех нас, для Лени?

— Ну и что ж, что сделал? Так за это я должна отдать ему сестру? А я уж вижу, к чему дело клонится... Подумаешь, какое чудо — Вася! Чудо-юдо! — неожиданно хохочет Динка.

За дверью на ее смех восторженным визгом отвечают собаки.

Динка, не глядя на обиженную сестру, мчится к двери и, присев на пороге, обнимает мохнатые морды заждавшихся ее собак.

— Собакевны мои, дружоченьки!.. Прима! Прима! — кричит она, вскакивая.

Из густых зарослей орешника доносится тихое ржание, и стреноженная Прима скачет на зов хозяйки.

Глава 9
У ПРУДА

Захватив со стола горячую картофелину, Динка осторожно отрезает тоненький кусочек хлеба и делит его между собаками, потом так же осторожно отрезает еще один кусочек и несет его Приме.

— Ешь скорей,— шепотом говорит она, пока Прима мягкими губами собирает с ее ладони последние крошки.

Хлеба мало, нельзя кормить лошадь, когда многие люди сидят без хлеба. В городе все так дорого, люди говорят: «Ни к чему нельзя подступиться». И всё с каждым днем дорожает, на базарах торгуют из-под полы спекулянты. Хорошо, что Мышка хоть в свое дежурство ест в госпитале — все-таки что-то горячее, а Динка мало думает о себе, ей лишь бы картошка была, а картошка есть, в прошлом году Ефим вместе с Леней накопали несколько мешков, в этом году по совету Ефима они засадили весь огород одной картошкой и сейчас доедают остатки... Когда мама и Леня дома, готовится настоящий обед, а когда Динка остается одна, то ей лень что-нибудь придумать, и вся еда всухомятку. Денег в доме тоже мало. Когда мама уезжала, собрали все, что можно, для папы. Динка бегала на базар, продала кое-какие вещи... Раньше Леня зарабатывал уроками, а теперь его часто посылают с поручениями, от уроков пришлось отказаться. После папиного ареста маме было очень трудно устроиться на службу: хорошо еще, что ей да-

вали на дом переписку, но старая пишущая машинка так часто портилась, что Лене приходилось постоянно чинить ее.

Динка вспоминает, как плохо они жили зимой. На хуторе, конечно, будет лучше. Все-таки здесь огород, своя картошка. Марьяна приносит молоко.

«Мы-то не пропадем,— думает Динка,— а вот папе нужно чаще посылать посылки. Скорей бы мне кончить гимназию и поступить на службу в Мышкин госпиталь. Но для этого надо еще пройти краткосрочные курсы сестер». Динка сидит у пруда. Давно не чищенный пруд, или ставок, как называет его Федорка, зарос камышами и осокой; на крошечном островке посредине зацветают синие и желтые ирисы; на воде, затянутой зеленой ряской, лениво распластались лягушки; в траве монотонно журчит ручеек.

Мысли Динки вялые, стоячие, словно затянутая ряской вода, в глубине которой бьет живой ключ. Так и у Динки под всеми мыслями бьется главная: Иоська!

Надо ехать искать Иоську. Но где искать, с чего начинать поиски?

Динка складывает на коленях руки, тихонько шевелит пальцами. После вчерашнего дня она чувствует себя разбитой, ей кажется, что даже голова у нее как чужая, приросла к шее.

«Ну куда я такая поеду? — сердится на себя Динка.— Надо очнуться, взять себя в руки. Ведь искать так искать, а не ползать осенней мухой. И что это я так сразу падаю духом, словно обухом меня по голове стукнули. Ведь вот у мамы сколько горя, а кто видел ее такой поникшей? А Катя, бедная...»

Когда Динка думает о Кате, перед ней почему-то всегда возникает одна и та же картина... Утонувшая в снегу избенка, покрытые инеем бревенчатые стены. Из угла, где лежит Костя, слышится надрывный кашель. На дворе, закутанная в серый платок, Катя колет мерзлые дрова, а на крыльце, завернутый с головой в тулуп, сидит маленький мальчик. Зовут его Женька, и он тоже часто болеет. Ссылка... Все это называется — ссылка в Сибирь. Один раз дядя Лека вырвался к Кате... Каких только препятствий не чинила ему в пути полиция! Больше месяца

добирался он до глухого села, где далеко друг от друга разбросаны домишки ссыльных. Многим уже давно кончился срок, но их держат еще годами. Рассказывая о жизни Кати, дядя Лека плакал.

«Чем я мог им помочь?» — хватаясь за голову, повторял он.

Но Катя писала, что он очень помог. И хотя по пути его много обыскивали, он провез прямо на себе теплые вещи, зашитые в тулуп деньги и лекарства для Кости. О Кате Динка боится даже думать, так больно и страшно ей за нее. И всем страшно, и все молчат, только у мамы появились такие глубокие морщинки на лице и столько седых волос, что нет уже никакого смысла выдергивать их. Да и не надо! Мама всегда будет молодой! Динке кажется, что в сердце у мамы горит спокойный, ровный, вечный огонек. Поэтому в ней никогда не иссякает энергия, и во всяком деле она становится необходимым, нужным человеком. Даже отец Андрея, старый рабочий «Арсенала», не может обойтись без нее. Это рассказывал Динке сам Андрей, за которым по-прежнему сохранялось ласковое прозвище «Хохолок».

«Уехала я и даже не попрощалась с ним,— думает Динка.— Спешила на хутор. А теперь вот сижу и ничего еще не видела по-настоящему».

Динка встает и обходит пруд. Из-под ног ее в мокрой траве прыгают крохотные зеленые лягушата. Динка глубоко и жадно вдыхает знакомый запах болотных растений, травы и цветов. Не спеша поднимается по заросшей тропинке в ореховую аллею, над головой ее смыкаются густые ветки с мягкими, широкими листьями. По обеим сторонам аллеи в зеленой чаще синеют крупные фиалки и отцветающие ландыши. В красном цветике смолки гудит мохнатый шмель. Динка присаживается на траву и долго смотрит, как ползают, хлопочут и куда-то торопятся муравьи, жучки и козявки.

Жизнь! Жизнь! В самом маленьком кусочке земли, в самой крошечной козявке — везде жизнь! Как же должен быть чист и прекрасен человек, чтобы быть достойным всего этого! «А у меня черная душа... черная душа...— в отчаянии думает Динка.— Во мне вечно кипит ненависть и злоба. Такая не-

нависть, что меня можно выпускать на врага, как цепную собаку, как взбесившуюся кошку. Я бы просто драла их когтями, зубами, пока б не сдохла сама... Господи боже мой! А ведь настоящие люди поступают совсем не так, они борются день изо дня, рискуя собой, разъясняют людям правду, рабочие устраивают забастовки, их семьи голодают, а они борются, они тоже, может быть, хотели бы запросто бить своих хозяев, но они понимают, что этим ничего не достигнешь и что надо слушаться настоящих, умных людей, а не придумывать ничего от себя. Все, все борются, и даже Мышка в своем госпитале, а мне уже пятнадцать лет, и только один раз Леня с мамой дали мне листовки разбросать на кирпичном заводе, и то с какими предупреждениями, как будто я совсем глупенькая. А что мне листовки? Когда-то их кто прочитает. Меня нужно посылать в бой, прямо в бой, с красным флагом!..»

Динка вскакивает на пенек и, сложив руки на груди, смотрит на плывущие в небе лебеди-облака. В бой! В бой! С красным знаменем! Ветер колеблет тонкую фигурку девчонки-подростка, солнце нещадно печет затылок, золотит ее косы.

— Я здоровая как лошадь! Как бык! В бой! Вот куда меня нужно послать! — взмахивая крепко сжатым кулачком, говорит Динка.

А вокруг все живет, все радуется жизни, и Динка смиряется.

«Куда пошлют, туда и пошлют,— покорно думает она.— А пока что мне надо искать Иоську. И Мышку я зря обидела...»

* * *

Динка возвращается тихая, умиротворенная.

— Хочешь, я съезжу на почту, Мышенька? — ласково спрашивает она сестру.— Может, там есть письмо от мамы или от Васи... Я мигом туда и обратно.

Мышка не может устоять перед ласковым голосом сестры, но она хотела бы показать ей все-таки, что нельзя быть такой грубиянкой.

— Не надо,— холодно говорит она.— Я сама поеду к поезду и зайду на почту!

— Значит, ты поздно вернешься? — спрашивает Динка.— Я тебя встречу. Хорошо?

— Меня встретит Ефим,— не глядя, отвечает Мышка.

Но Динка обеими руками поворачивает к себе лицо сестры и звонко чмокает ее в нос.

— Мирись со мной! Ну, мирись! Я вовсе не хотела обидеть твоего Васю. Я сама его люблю, только мы не сходимся характерами. Но разве ты хотела бы, чтоб все люди были похожи друг на друга? Чтоб мы с Васей были как две капли воды?

— Ничего я не хотела, но такая капля, как ты, может переполнить чашу любого терпенья! — важно заявляет Мышка.

Но Динка, хохоча, вертит ее по комнате.

— Ой, сказала и довольна! Страшно довольна собственным красноречием!

— Болтушка ты! — смеясь, отбивается Мышка.

— Я еду на почту! К Почтовому Голубю! Эй, Прима! — Динка хватает с гвоздя уздечку и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистит.

— Ой! — зажимая пальцами уши, морщится Мышка.— Когда ты отучишься от этого свиста?

— Зачем? Ведь это для Примы! Вон она скачет, смотри!..

Ездит Динка без седла, как лихой наездник. Похоже, что ее поездки с Примой доставляют обеим большое удовольствие, потому что соскучившаяся Прима прямо от крыльца берет в галоп.

Глава 10

ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ

Выехав на дорогу, Динка искоса бросает взгляд на чернеющий вдали лес. О, этот страшный, черный, бесконечный лес! И глубокий, заросший кустарником овраг позади хаты Якова. Никогда больше не пойдет она туда. Вот только портрет Катри...

Когда-нибудь, может быть, с Леней они возьмут его оттуда. Ведь Катря — Иоськина мама. Конечно, она перенесет этот портрет к себе, и когда Иоська найдется, Динка скажет ему:

«Смотри, здесь твоя мама...»

Динка не успевает додумать, что еще скажет она осиротевшему мальчику, горло ее предательски сжимается, и, чтобы мгновенно прервать свои жалостливые мысли, она сильно дергает поводья:

— Вперед! Прима, вперед!..

Дорога к станции кажется ей очень короткой, знакомый лес — милым, верным убежищем. Сквозь густо сплетенные ветви мягко просвечивает нежно-зеленый свет, из-за вековых дубов застенчиво выглядывают белые березки. Одну из них, бедную кривульку, Динка особенно любит: ветки у ней стелются по земле такие пышные, со свежими зелеными листиками, а ствол, раздвоенный посредине, неизвестно кем искалеченный, стоит, горбится, как седенький старичок. Часто в детстве сидела под этой березкой Динка и думала о том, что вот и люди такие бывают... Калеки... Обидно и горько им жить на свете. Каждый год Динка по-хозяйски обходила этот лес. Люди часто обижали деревья. То разложат костер под самым стволом и дочерна опалят его огнем; то надрубят березку, и в пожелтевшие стружки каплями слез стекает березовый сок, плачет береза... То просто наехавшие дачники набросают где-нибудь в уютном местечке просаленную бумагу, пустые бутылки, разбитое стекло...

«И что это за люди? — думает Динка.— Неужели не понимают они красоты природы, не ценят ее?»

Видя, что хозяйка глубоко задумалась, Прима умеряет шаг, легкой, плавной рысцой выезжает из леса, минует дачи, железнодорожный переезд. Дачная почта помещается в маленьком голубом домике, терраса его выходит в палисадник с круглыми клумбами цветов. Динка привязывает у калитки Приму и торопится по усыпанной песком дорожке. «Хоть бы маленькое письмецо от мамы! И от Васи бы»,— волнуясь, думает она.

На почте никого нет. На стене прямо против двери царский портрет, в углу старинная икона; под стеклом вокруг головы божьей матери венчиком рассыпаны блестящие цветные камешки. На длинном столе, отгороженном от посетителей прилавком, гора писем. Среди них больше всего солдатских, фронтовых треугольников. Динка тщетно оглядывается вокруг и, неторопливо постукивая пальцами о прилавок, ждет.

— Ах, простите! Это вы? Я только что с поезда, и письма еще не разобраны! Но я сейчас, одну минуточку!..

Невысокий юноша в солдатской гимнастерке торопливо выходит из задней двери и начинает перебирать письма. Пальцы у него тонкие, длинные, лицо удивительно светлое, чистое, как у ребенка.

— Сейчас, сейчас... Я так и думал, что вы сегодня приедете, и очень спешил, но вы знаете, на днях меня отправляют на фронт,— быстро бормочет он, словно оправдываясь.

— Вы поедете на фронт, Миша? — удивленно спрашивает Динка. Ей даже не верится, что этот мальчик, этот Миша Жиронкин, которого они с Мышкой прозвали Почтовым Голубем, может поехать на войну и с кем-то сражаться, кого-то убивать.— Вы, Миша, на войну? — улыбаясь, переспрашивает она.

Юноша взмахивает длинными, девичьими ресницами, большие голубые глаза его застенчиво щурятся, щеки заливает густой румянец.

— Меня еще зимой мобилизовали в стрелковый полк. Но я, знаете, наверно, не смогу стрелять в живых людей,— жалко улыбаясь, поясняет он.— Я плохой солдат. Конечно, я должен. За царя и отечество...

— За царя и отечество...— машинально повторяет Динка.

* * *

Бедный, бедный Почтовый Голубь... Он давно и безнадежно влюблен в Мышку. Когда Мышка появляется на почте, Голубь совсем теряется. Несмелый и стеснительный по природе, он не может даже ответить ей, есть ли письма, и только смот-

рит на нее большими, чистыми, как родник, васильковыми глазами.

— Ничего, ничего... Я не спешу,— смущаясь так же, как он, поспешно говорит Мышка.

— Я сейчас, сейчас... Письма должны быть,— бормочет несчастный Голубь.— Я найду...

Мышка терпеливо ждет. Если писем все-таки не оказывается, Миша Жиронкин приходит в полное отчаяние. Он хотел бы отдать ей всю пачку любых писем. Миша чувствует себя так, будто он виноват в том, что ей не написали...

— Письма немного задержались,— смущенно говорит он.— Они еще в дороге. Но завтра обязательно придут, я уверен, что придут. Только не беспокойтесь, пожалуйста.

— Ничего, ничего,— торопится успокоить его Мышка.— Признаться, я и не ждала сегодня.

— Нет, как же! Вы приехали, а писем нет. Что же это такое! Как можно... Ведь это для вас напрасное беспокойство.

Бедный Почтовый Голубь снова и снова перебрасывает все письма и в отчаянии разводит руками.

— Да пустяки,— уверяет его Мышка.— Я и не ждала, я просто так приехала.

Прощаясь, Жиронкин широко распахивает перед Мышкой обе половинки двери. Из-за доброты и сочувствия к юноше Мышка ласково улыбается ему, протягивает руку. Вспыхнув от счастья, он осторожно, как хрупкую вещь, держит на ладони ее пальчики, не смея пожать их.

— Вы приедете завтра? — с замирающим сердцем спрашивает он.

— Не знаю. Может быть, сестра...— говорит готовая провалиться сквозь землю Мышка.

Дома она машет руками и смеется:

— Ни за что больше не поеду! Мы стоим на этой почте, как два дурака, друг против друга и краснеем. Нет, ты только представь себе эту картину! Причем от смущения или еще какого-то идиотского чувства я веду себя так, что этот бедняжка вполне может предположить, что я влюблена в него!

— Да нет, он смотрит на тебя как на божество! — хохоча до слез, уверяла сестру Динка.

У Миши Жиронкина трудная жизнь. Отец его умер, когда мальчику было два года. Мать, громоздкая, провинциальная дама, страстная почитательница царской фамилии, вышла замуж за начальника почты, кругленького, безличного мужичонку с увядшим бабьим лицом. Оба они, и мать и отчим, держат Мишу в ежовых рукавицах. Когда мать, шурша накрахмаленными юбками, входит в комнату, сын низко склоняется над столом, не смея поднять на нее глаза.

— Мишель! — медленно растягивая слова, говорит мать.— Я оставила тебе в кухне обед, можешь уйти на десять минут, я тебя заменю.— Она величественно усаживается за перегородкой и, опершись локтями на стол, разглядывает свои пухлые руки в кольцах.— Иди же, что ты стоишь?

— А вы уже обедали, мамаша? — робко спрашивает сын.— И папаша тоже?

— Конечно. Мы всегда в свое время обедаем. Ступай. И не забудь перекрестить лоб!

— Как можно-с! — бормочет Миша, пятясь спиной к двери.

— Обожди,— останавливая его движением руки, говорит мамаша.— Подай мне сюда стакан чаю!

— Сию секунду!

Миша мгновенно исчезает. Через минуту он приносит матери стакан чаю и тонкий ломтик лимона.

— Пожалуйте-с.

Мать благосклонно треплет его по щеке.

— Ну иди! И не вздумай греметь посудой, папаша спят!

...Однажды, приехав не вовремя, Динка присела на скамейку в палисаднике. Почта была еще закрыта, но за стеклянными половинками дверей раздавался могучий контральто госпожи Жиронкиной:

— Ты зарабатываешь себе только на кусок черного хлеба, тебя кормит отчим. Понятно тебе это или нет?

Динка не слышала слабого возражения юноши, но вслед за ним раздалась звонкая пощечина и бушующий голос:

— Ты ножки должен целовать отчиму! Он взял тебя паршивым щенком, кормил, поил, выучил и пристроил к месту! Вон отсюда, негодная тварь! И не смей появляться в комнатах, пока не попросишь прощения у меня и у отчима!..

Динка, замерев от ужаса, прижалась к спинке скамьи. Когда почта открылась, она увидела Мишу за конторкой, очень бледного, с красным пятном на щеке. Он привычно вскочил, улыбнулся испуганной, жалкой улыбкой забитого ребенка. Динка, не зная, что сказать и чем его утешить, наклонилась к конторке:

— Вам кланяется моя сестра.

— Ваша сестра? Мне? — Родниковые глаза засияли, наполнились слезами.— Ваша сестра — ангел...

— Вы очень любите ее? — с глубокой грустью и теплым участием спросила Динка.

Он вздрогнул, испугался.

— Как можно-с? Кто я такой, чтоб ее любить? Какое право я имею...

— Вы человек... У каждого человека есть право любить,— серьезно сказала Динка.

— Я не человек, я слуга.— Он немного помедлил и, бросив взгляд на царский портрет, громко добавил: — Я слуга царя и отечества.

— Вы слуга своей матери. Это она вдолбила вам в голову...— резко начала Динка.

Но Миша вскочил и, указывая на дверь, быстро зашептал:

— Тише, ради бога тише... Если она услышит, мне конец!

— Чепуха! Чем скорей они вас выгонят, тем лучше,— шепотом сказала Динка.— Без них вы станете человеком!

— Нет, я никогда не стану человеком. Я не расплачусь с ними всю мою жизнь, они кормили меня с двух лет.

— Послушайте, Жиронкин! — строго сказала Динка.— Вы не маленький мальчик...

— Да, конечно! Мне уже двадцать, а я едва зарабатываю себе на кусок черного хлеба, я нищий,— с отчаянием прошептал

Жиронкин.— Я должен быть благодарен по гроб жизни отчиму за то, что он устроил меня на это место.

— Значит, вы что-то зарабатываете?

— Очень мало. Отчим получает за меня; я не знаю сколько. Он начальник почты, он может в любой момент выгнать меня, и тогда я останусь на улице,— с горечью сказал юноша.

— Улица — это еще не самое страшное. Самое страшное — это ваша мамаша и отчим,— твердо сказала Динка.

— Ради бога...— снова взмолился Миша, оглядываясь на дверь.

— Черт с ними! — махнула рукой Динка.— Наберитесь храбрости и уходите отсюда! Я найду вам крышу над головой и работу. Мы с сестрой...

— О нет, нет... Не говорите ей обо мне. Я жалкий человек, но я никогда не приму милостыни из ее рук...

Этот разговор произошел еще прошлым летом. С тех пор, приезжая на почту, Динка часто говорила с Мишей о его матери, о его жизни с отчимом.

— Наберитесь храбрости,— твердила она,— и порвите с ними сразу. Идите к людям, на завод, на фабрику! У меня есть друг в «Арсенале». Там совсем другая жизнь! Идите к нам, ко мне, прямо ко мне! Вот вам моя рука. Я даю вам слово, что буду все время рядом, пока вы не устроитесь! — горячо убеждала она.

Миша был тронут до слез, но ни на что не решался.

— Как я приду к вам? Нахлебником к вашей маме, к вашей сестре, в чужую семью...

Сегодня Миша Жиронкин встретил Динку с радостным лицом.

— Я скоро уйду отсюда,— таинственно шепнул он.— Я нашел выход. Но пока это очень скрываю.

Динка безнадежно махнула рукой. Весной, перед самым переездом на хутор, она встретила Жиронкина около их дома.

— Вы уже переезжаете? — спросил он.— Я видел вашего Ефима.

В голосе его не было ни обычного оживления, ни радости. Динка предложила ему зайти к ним, но он куда-то спешил

и отказался. И теперь, услышав, что Жиронкин уезжает на фронт, она очень удивилась.

— И вы будет жить в казарме? Уйдете отсюда?

— Да, да! Я ухожу совсем, навсегда.— Он наклонился к ней и, прикрывая рукой губы, зашептал: — Я попросился на передовую. Я останусь навсегда военным, или меня убьют.

Динка вздохнула:

— Ну что ж, это все же лучше, чем оставаться здесь.

— Конечно, конечно... Я только хотел попросить вас об одном одолжении. На днях я уеду. Не можете ли вы взять у вашей сестры какую-нибудь самую маленькую вещь мне на память. Я хотел бы иметь ее платочек или ленточку.

Динка улыбнулась.

— Конечно, могу, Миша. Да она сама с радостью даст вам что-нибудь. Ведь вы же придете к нам попрощаться?

— Да. Если позволите. Я приду перед самой отправкой,— сказал осчастливленный юноша и, порывшись в пачке писем, вытащил серый треугольничек.— А вот и письмо... Анжелике Александровне!

— Кому? — не поняла Динка.

— Вашей сестре, Анжелике Александровне!

«Ах да. Это от Васи!» — чуть не вскрикнула Динка и, схватив письмо, радостно закивала головой.

— Ну так приходите же, Миша! До свидания! — крикнула она уже в дверях.

Глава 11

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАН

Динка спешит, ей хочется порадовать Мышку письмом от Васи.

«Поеду напрямки через экономию»,— решает она. Динка не любит ездить через экономию: там можно встретить самого хозяина, пана Песковского, да еще его приказчика Павло. Они всегда неразлучны; без своего Павлуши пан и шагу не ступит. Павло управляет огромным имением пана, распоряжается ра-

бочими как хочет. Люди говорят: «Не так пан, як его пидпанок!» Вредный этот Павло, не любит его беднота, а богатеи к нему льнут, на свадьбы свои приглашают. Не хочется Динке ехать через длинный двор экономии, но Мышка ждет. Правда, от мамы ничего нет, но Вася-то хоть жив... Динка ощупывает карман, где хрустит серый треугольничек, и пускает Приму мелкой рысцой.

Вот уже и Федоркина хата, а вот и сама Федорка стоит на крыльце, утирается рукавом. Что это она? Плачет, что ли? Динка придерживает лошадь.

— Эй, Федорка! Чего зажурилась?

Федорка взмахивает вышитыми рукавами и бежит на голос подруги.

— Стой, Прима!.. Что случилось, Федорка?

Федорка, всхлипнув, припадает к Динкиным коленям.

— Мать за косы оттягалы...

— Что это с ней? С ума сошла! — хмурится Динка.

— Мабуть что так... Зовсим с глузду з'ихалы.

Федорка поднимает лицо с красными полосками слез, из-под платка свисают ей на грудь толстые, встрепанные косы.

— У меня такое горе, Динка. Ты ж ничего не знаешь. А тут присватался ко мне один старый дурень, сам вдовый. Троих детей ему жинка оставила. А зато богатый, мельницу держит. Ну, матка моя як с ума сошла,— наполовину по-русски, наполовину по-украински жалуется Федорка.

— Вот же дурни! — удивляется Динка.— Ну, це дило треба добре разжувать.— Она тоже говорит наполовину по-украински, наполовину по-русски, они всегда так говорят с Федоркой.

Но сейчас Динке некогда, а сватовство — дело затяжное. Хотелось бы Динке укорить подругу за то, что она скрыла от нее убийство Якова, но говорить об этом тяжело и тоже не к месту, у Федорки свое горе.

— Ты вот что, Федорка: приходи сегодня ко мне. Мышка уедет, и мы обо всем поговорим. Ладно? И не плачь! Ничего этого не будет! Мы того дурня так отпугнем, что он и дорогу к твоей хате забудет!.. Придешь?

— Приду,— кивает головой Федорка.

— А сейчас я спешу, у меня письмо для Мышки. Вот, от Васи! — Динка вытягивает из кармана солдатский конвертик.

— Живой! — радуется Федорка, смаргивая слезы.— Ну, езжай, езжай... Я пид вечер приду!

— Обязательно приходи! — трогая лошадь, наказывает Динка.

Федорка молча кивает ей вслед.

Через экономию нельзя мчаться галопом: здесь на каждом шагу люди, уцепившись за подолы матерей, семенят ребятишки. Около коровника бабы гремят подойниками, рабочие выгребают навоз, а немного подальше, на самой дороге, стоит пан Песковский и рядом с ним приказчик Павло...

«Тьфу, нарвалась-таки! — думает Динка, ощущая противную неловкость от этой встречи и натягивая широкую юбку на голые коленки.— А что мне до него? Поздороваюсь и проеду!» — храбрится она.

Бывало, в первые годы жизни на хуторе, когда еще маленькой девчонкой она с Федоркой бегала по лесу, Федорка вдруг испуганно шарахалась в кусты, предупреждая:

«Пан! Пан едет!»

На дороге показывалась линейка, запряженная серой тонконогой лошадью. Динка не бежала, а с любопытством смотрела на лошадь, на черную, блестящую линейку и на самого пана в синем жупане и вышитой сорочке. Мельком взглянув на девочку, пан Песковский вежливо приподнимал шляпу, босоногая Динка тут же, на краю дороги, делала быстрый реверанс. Потом они с мамой приходили к пану покупать одноглазую Приму. Пан был очень любезен, за Приму взял совсем маленькую плату и улыбался, когда Динка, буйно радуясь купленной лошади, сказала:

«Теперь она наша на всю жизнь!»

Встречала Динка пана и позднее, бешеным галопом пролетая по лесу. В этих случаях он поспешно сворачивал в сторону, не успевая даже поздороваться. Изредка, встречаясь с Мариной, он по-соседски предлагал ей кирпич со своего завода

и материал для постройки. Марина благодарила, но отказывалась — она не хотела быть чем-то обязанной пану, и более близкое знакомство пана с обитателями маленького хуторка так и не состоялось.

«Нам это ни к чему»,— коротко говорила Марина.

Алина и Мышка держались такого же мнения. Поэтому и Динка, чувствуя себя в свои пятнадцать лет уже взрослой, никогда не ездила через экономию, избегая встречи с паном. Но в этот раз деться ей некуда. Пан Песковский уже издали смотрит на нее и, полуобернувшись к Павло, спрашивает его о чем-то. Павло важно кивает головой. Динка принимает независимую позу и вежливо здоровается.

— Здравствуйте, здравствуйте!.. А я даже не узнал вас! Вы стали совсем взрослой панной!

Пан Песковский, дружелюбно улыбаясь, подходит к Динке.

— Ну, Павло, видно, мы здорово состарились, если даже не заметили, как в нашем лесу вырôсла такая синеглазая панночка! Да еще с такими косами!..

Щеки Динки заливает румянец, она не знает, что сказать, и от смущения готова провалиться сквозь землю. На ее счастье, пан уже оглядывает лошадь.

— А это все та же моя одноглазая Прима? Сколько же ей лет сейчас? — Он с видом знатока смотрит зубы лошади, поднимает копыта, гладит ее блестящую шерсть.— Лошадь в прекрасном состоянии! Кто же это за ней так ухаживает?

— Зимой Ефим, а летом я сама и купаю ее и чищу,— с гордостью говорит Динка.

— Какой это Ефим? — хмурясь, спрашивает пан, обернувшись к приказчику.

— Это ихний сосед, Ефим Бессмертный, он рядом с ними живет,— заискивающе поясняет Павло.

Пан Песковский полуполяк, полуукраинец, он называет Динку панночкой, по-польски, но говорит чисто по-русски; на нем вышитая украинская рубашка, высокие сапоги и накинутый на плечи синий жупан.

«Как только что из украинского театра,— придя в себя,

думает Динка.— Настоящий театральный пан, и лицо такое холеное, панское, только усов нет и волосы редкие». И держится пан как на сцене, высокий, плечистый; рядом с ним приказчик Павло кажется таким низкорослым и плюгавеньким, что Динке даже не верится, что он, как говорят люди, гнет подковы руками.

— А панна все такой же лихой наездник? — улыбаясь, спрашивает пан Песковский и, не давая Динке ответить, быстро добавляет: — Но теперь уже нужно ездить в седле. У меня есть английское дамское седло. Я сегодня же, на правах соседа, пришлю его вам.

— Нет, спасибо! Я не умею ездить в седле! Я уже привыкла! — мотает головой Динка.

— Да это же очень удобно. Я могу дать вам несколько уроков, и потом... это же гораздо приличнее для молоденькой панны!

Динка снова вспыхивает краской стыда и злости.

— А я не хочу! Я буду ездить так, как езжу! — сердито и упрямо говорит она, дергая поводья.

Но пан поспешно останавливает лошадь.

— Одну минутку! Я же не хотел вас обидеть,— удивленно глядя на нее, говорит пан.— И я не предлагаю вам покупать у меня седло, я с удовольствием отдам его вам, потому что в моем доме нет женщин и мне оно совершенно лишнее. Так за что же вы рассердились?

— Да нет, я не рассердилась! Просто я не могу ездить боком! Ну чего это ради...

Но пан Песковский прерывает ее слова громким хохотом и, придерживая ее руки с поводьями, весело говорит сквозь смех:

— Ну в следующий раз я буду осторожнее!

— А следующего раза не будет,— сухо говорит Динка.— Я не люблю, когда надо мной смеются! — Она резко дергает поводья, и Прима, вскинув задние ноги, с места берет в галоп.

Пан Песковский еще что-то кричит ей вслед, но Динка, не оглядываясь, вылетает со двора экономии.

«Черт бы его подрал с его седлом! И чего он пристал ко мне, старый дурак!»

Пан Песковский совсем еще не старый, но у него на висках заезды — это значит лысый; а лысый — это все равно что старый. Но Динка ругается не оттого, что пан лысый, и не оттого, что он предлагал ей седло. Динка недовольна собой. Во-первых, она вела себя невежливо и глупо, а во-вторых, юбка у нее не натягивается на коленки, а она уже взрослая. И хотя ей на все наплевать, но для верховой езды надо сшить штаны, об этом уже говорили ей и мама и Мышка. А еще мама давно мечтала купить дамское седло, и можно было не брать его у пана даром, а просто дешево купить, а теперь уже поздно... Недовольная собой, Динка ругает пана, и, хотя сначала пан даже польстил ей, назвав «синеглазой панночкой», она вдруг обернулась ведьмой.

— Ну ничего, все-таки я ему показала, что я взрослый человек и смеяться над собой не позволю! — утешает себя Динка, подъезжая к хутору.

А Мышка давно уже стоит на крыльце и смотрит на дорогу. Завидев ее, Динка моментально забывает свою встречу с паном и весело машет письмом.

— От Васи! От Васи! — кричит она.

— А от мамы? — подбегая, спрашивает Мышка.

— От мамы ничего нет!

* * *

Мышка читала Васино письмо долго и внимательно. Динка, стоя около стола, пила молоко и, закусывая его горбушкой хлеба, нетерпеливо поглядывала на сестру. Наконец Мышка опустила на колени письмо и озабоченно сказала:

— Не сносить ему головы. С одной стороны, война, передовые позиции, а с другой...— Она протянула Динке письмо: — На, читай.

Письмо было написано так, как было заранее условлено, и сестры читали его между строк. После первых приветов маме, Динке, Лене и Ефиму с Марьяной и после нежного обращения

к Мышке, которую Вася называл «утешительницей скорбящих», шло невинное с виду описание природы.

«Земля здесь богатая,— писал Вася,— колосья растут и поднимаются с каждым днем. Правда, кое-где они так прибиты и затоптаны, что их трудно вытащить из грязи, но в основном обещается хороший урожай. Так едешь по полю, ширится земля, впереди блестит солнце, и никому не хочется умирать. Но на войне как на войне, можно нарваться и на врага, так уже случалось не раз. Не со мной, но на моих глазах... Что поделаешь, солдат есть солдат».

Динка задумалась.

— «Колосья растут и поднимаются с каждым днем»,— повторила она.— Так надо радоваться! Ведь это значит, что солдаты становятся с каждым днем сознательнее. А что Вася рискует, так это мы всегда знали!

— Вася проводит с солдатами беседы, он может неосторожно увлечься. А ты думаешь, на фронте мало шпиков и провокаторов? — волнуясь, сказала Мышка.

— Ну, Вася стреляный волк, он не попадется,— с уверенностью сказала Динка.

В комнату заглянул Ефим. Он с укором посмотрел на Динку:

— На что это Приму прогоняли на станцию? Зараз Мышку везти, а лошадь вся потная!

— Я сейчас оботру ее, Ефим! — вскочила Динка.

Ефим присел на краешке стула.

— Ну, что маты пишуть?

— Это от Васи, от мамы ничего нет.

— Ну, значит, не время. Тут волноваться нечего. А Вася как?

— У Васи пока все хорошо. Конечно, попадаются всякие люди, но в большинстве своем народ сознательный,— тихо пояснила Мышка.

— Солдат — это не темный мужик, а Вася хлопец самостоятельный, разумный, он все разъяснит в лучшем виде. Ну, а война, она и есть война, что ж теперь загодя убиваться,— ласково сказал Ефим, поднимаясь.— Ну, поехали, бо вже

не рано, надо на поезд поспешать, а вечером опять лошадь гнать на станцию, ей и попастись некогда.

— Так, может, я не приеду сегодня, заночую в госпитале, а то мне утром снова на дежурство,— глядя на сестру, заколебалась Мышка.

— Ну, в госпитале какое спанье, уж лучше я выеду за вами, хоть и поздно.

— Да что вы, Ефим! Пусть ночует в госпитале, там есть дежурка для сестер, а здесь и спать некогда. Приедет часов в одиннадцать, а в шесть опять ехать,— вмешалась Динка.

— Конечно, я останусь сегодня. А ты не будешь бояться одна? — спросила Мышка.

— А кто ее тут тронет? Да я могу и Марьяну прислать, або сам тут на терраске пересплю. Ночи теперь теплые, мы с Марьяной все время на дворе спим! — успокоил Мышку Ефим.

Но Динке не хотелось, чтоб кто-нибудь ночевал, она рассчитывала рано-рано уехать в город на поиски Иоськи и потому поспешно сказала:

— Ко мне Федорка придет, мы с ней давно не виделись, она переночует здесь.

— Ну вот,— усмехнулся Ефим.— У них с Федоркой на всю ночь хватит секретов, а вы, Анджила, уезжайте спокойненько, у вас дело трудное, надо и себя пожалеть.

Проводив сестру, Динка хотела пойти к Марьяне, хоть поздороваться с ней,— обижается, верно, Марьяна... Но, постояв на крыльце, раздумала и, махнув рукой, уселась на перила.

«Хватит мне на сегодня всякой сутолоки. Еще придет Федорка, надо с ней что-нибудь придумать... А потом, когда уйдет Федорка, надо спокойно решить, куда ехать завтра на поиски Иоськи. Ведь уже столько времени прошло с тех пор, как я обещала Катре... Но как было вырваться?» — словно оправдываясь перед кем-то, думала Динка.

Глава 12
ФЕДОРКИНЫ ЗАБОТЫ

Федорка пришла с каким-то свертком под мышкой.

— На́ тебе твою рубашку,— сказала она как ни в чем не бывало.

— Какую рубашку?

— А тую, что мы с тобой три года вышивали! — зареготала Федорка.

На щеках ее, как всегда, прыгали веселые ямочки, косы были уложены на голове аккуратным веночком. Слез уже не было и в помине. Динке даже стало досадно, что она беспокоилась за нее.

«А ведь так часто бывает в жизни: человек за кого-то беспокоится, переживает за него, думает, как он, чем ему помочь, а тот уже все забыл и является как ни в чем не бывало, да еще иногда и удивляется, что за него беспокоились»,— с досадой думает Динка, глядя, как Федорка, весело усмехаясь, разворачивает сверток. Но досада Динки быстро проходит.

— Ах, рубашка! Вышитая рубашка! — в восторге кричит она.— Уже готова? Совсем готова!

— Только сегодня маты дошила! — сообщает довольная Федорка.

Украинская рубашка из беленого полотна ярко вышита черными и красными нитками. Присобранный у плеча рукав промережен, по нему рассыпаны искусно вышитые крестиком «квитки» и листики, по вороту вьется черно-красная строчка.

— Где мой герсет? Сейчас я наряжусь, Федорка, ищи герсет! Выкидай, выкидай все из комода! Потом соберем! — торопится Динка.

В прошлом году деревенский портной сшил ей синий бархатный герсет, выткал его серебряными цветами. Куплены были намисто на шею, и даже мочки ушей решительно проткнула себе Динка, натерев их солью, вдела в них сережки и неделю ходила с распухшими ушами. Но рубашка была

не готова, и надеть украинский костюм во всей его красе так и не пришлось.

— Ты ж чого тут напутала! Я целую неделю порола, як ты поехала...— рассказывает Федорка.

Но Динка уже натягивает на себя рубашку, вытаскивает из кучи прошлогодних платьев свой герсет, надевает на шею бусы.

— Юбку треба сборчату. Ось эту надевай, вона як раз сюда подойдет! — увлеченно советует Федорка.— Лентой, лентой повяжись! И у косы ленты вплети!

Динка, вся красная от спешки, вплетает, повязывает и наконец, отбежав в угол комнаты, останавливается перед восхищенной Федоркой.

— Ой яка дивчина! Матынько моя, яка гарна дивка! И вся блещить! — всплескивает руками подружка.— Ой, Динка, ну як бы то ни война, пишли б мы с тобою кудысь в дальнее село на храмовой праздник! Ой, уси б хлопцы за тобой биглы! Або куда на весилля! Ты б ще гопака сплясала,— захлебываясь от восторга, говорит Федорка.

— Гоп, кума, не журися, туды-сюды повернися! — подбоченившись, кружится по комнате Динка.

— Вот такочки, скоком, боком! — срывается с места Федорка и, притопывая босыми пятками, кружится вместе с подругой.— Ой, запарилась! — хохоча и обмахиваясь платочком, говорит она через минуту и с любопытством спрашивает: — А о чем ты с паном балакала? Я бачила с крыльца, как он смеялся с тобой!

— Да ну его! — отмахиваясь от неприятного воспоминания, говорит Динка.— Он мне седло предлагал!

— Седло? — пожимает плечами Федорка.— А на что оно тебе?

— Вот именно! На что оно мне? Так, дурацкий разговор!

— Слухай...— придвигаясь ближе, таинственно говорит Федорка, и глаза ее в наступающих сумерках блестят озорными огоньками.— А колысь наш пан дуже охочий был до красивых девчат... Бывало, придут до моей матки бабы и давай рассказывать, яки тут гулянки были! И девчата на те гулянки, як

пчелы на мед, слетались. Ну он, конечно, молодой тогда был, красивый...

— А теперь лысый,— перебивает Динка.

— Ну конечно, ему уже за тридцать сейчас. А раньше, кажуть бабы, заедет он со своим Павлухой в село, тут у них и вино, и конхветы, и орехи... Никому отказу нету. Нагуляются добре, а станут уезжать, подсадит пан самую красивую девку и скачут в усадьбу...

Федорка прыскает в платочек, но Динка хмуро спрашивает:

— А эта девка... плачет?

— А с чего ей плакать? Это ж гульня! Ну, а яка дивчина своего парубка имеет, той он и свадьбу справит... А с которой дня три погуляет, той еще и корову даст одну або две...

— Коровы? Увезет, а потом коровы...— возмущается Динка.

— Вот ты яка непонятлива! Я ж тебе кажу, что тут и любовь была. А одна даже так влюбилась, что с полгода прожила в усадьбе, а потом уж не знаю, что там Павло ей набрехал, только одного разу поехал пан в город, а она, бидна, в речке утопилась...

— Совсем? Насмерть? — испуганно спрашивает Динка.

— Ну конечно, что насмерть. Як бы люди видели, то вытащили бы, а она своего виду не показала, да и бросилась тишком.

— Ну, а что же... пан? — с ужасом спрашивает Динка.

— Да то уже давно было... Только маты моя добре помнят... Як вернулся пан с городу — бумаги якие-то або паспорт для заграницы выправлял,— ну, вернулся, а вона уже мертвая в хате у матки своей лежит. Дак пан зараз на коня да и туда... Схатився отак за голову... «Что ты, каже, наделала, что наделала...»

— Подлец он, и больше ничего! — топает ногой Динка.

— Ой, что ты! — укоризненно качает головой Федорка.— Не можно так, Диночка... Маты кажуть, что он три дня над ней убивался, белый был, как та стена. А потом два года за границею прожил, а как вернулся, то все гулянки кончил. Ну, як подменили его! И жениться не женится, и с девчатами

не гуляет, и хозяйство все на Павлуху бросил... А уж Павло — вот это сама что ни на есть погана людына! Издевается над людьми як хочет! А к пану пойдешь, он и слухать тебя не будет! Вот и правду приказка есть такая: «Не так пан, як его пидпанок!» — глубокомысленно закончила Федорка и вдруг, словно перекинув мостик от чужого горя к своему, подперла щеку рукой и тихонько, по-бабьи, запричитала: — А мени ж горе, голубонька моя, такэ горе, что не знаю, куда и податься...

— Подожди,— дергает ее за рукав Динка.— Скажи лучше, за что тебя мать била?

— Ой, била... Так же била, голубонька моя! Навернула косы на руку, да по всей хате тягала...— всхлипнув, жалуется Федорка.

— Да за что? За того старого дурня, что к тебе сватается?

— За его да за Дмитро... Бо маты хочут, чтоб я замуж пошла, бо тот хоть и старый, да богатый: у него мельница, он моей матке два мешка белой муки обещал, абы я за него пошла. А куда я пойду? Он же вдовый, жинка его померла и троих сирот ему оставила. На що ж мени чужих детей нянчить? И на кого ж я Дмитро покину, пропадет он без меня, як тая былинка в поле... Ой, Диночка, голубка моя, такое мне горе от того старого черта! Повадился он к нам в хату кажну субботу. Всю зиму спокоя не было, а сейчас и вовсе никакой жизни нету.

— А чего ж ты мне сразу не сказала, как я приехала? — удивляется Динка.

— Матка не велела,— сморкаясь и вытирая платком глаза, говорит Федорка.— Ну, я и побоялась сразу тебе сказать. У Динки, думаю себе, закипит сердце, начнет она мою матку ругать, и нема будет кому вареники есть, а я ж их с утра лепи-ла...— снова всхлипывает Федорка.

Динка молча хмурит брови и усиленно качает ногой, как рассерженная кошка хвостом, и глаза у нее злые, колючие, как хвойные иголки... Но ничего, ничего, она со всеми расправится.

— Вот что, Федорка. Я сама приду к тебе в эту субботу, и не я буду, если твой старый дурень еще когда-нибудь сунется в вашу хату... Поняла? — строго говорит Динка плачущей подруге.

— Эге... Поняла,— бормочет, оробев от ее воинственного тона, Федорка.— Только... что ж ты ему зробишь?

— Что зроблю, то зроблю,— круто обрывает ее Динка.— А теперь иди домой и больше не плачь, да не спорь с матерью. Что бы она ни сказала — молчи. Молчи до субботы! И считай, что этого мучного жениха у тебя уже нет! Тю-тю! — весело заканчивает Динка, чмокая подругу в мокрую щеку.

— Тю-тю! Ой, матынько моя! — прыскает от смеха Федорка.— Ну и что ты за людына, Динка! Ты ж и мертвяка насмешишь! А я как поговорю с тобой, так и горя нема! Тю-тю! Надо ж такое слово придумать! — растроганно говорит Федорка, прощаясь.

* * *

В комнате уже совсем темно, Динка садится у стола и сжимает обеими руками голову... Она очень устала, столько всякой всячины перевернулось в ее голове за этот день!

«Не голова у меня, а рубленая котлета! Не сработает она ничего... А еще надо подумать о самом главном. Завтра поиски Иоськи...»

Динка хочет представить себе базар, шмыгающих в толпе рваных мальчишек. Иоську она узнает по глазам: у него синие, Катрины глаза. «А сколько же ему теперь лет?» — думает Динка, но ресницы ее слипаются. Спать... спать... Динка ощупью добирается до кровати и, не раздеваясь, валится на нее как сноп. Под окном, тихонько всхрапывая, пасется Прима. В раскрытую дверь осторожно заглядывают две собаки и, убедившись, что, кроме спящей Динки, в комнате никого нет, широко зевая, укладываются неподалеку от хозяйки.

Глава 13

ПОИСКИ

Динка выходит из дома очень рано. Она боится, что утром придет Ефим и, заметив ее сборы, скажет:

«А куда-то ты собралась? Нема чого тебе ездить в город! Сиди дома. Мамы нет, Лени нет — значит, слухайся меня!» Без мамы и Лени Ефим всегда чувствует на себе ответственность за «девчаток» и строго опекает их. С Мышкой он еще церемонится, а с Динкой обращается, как с дочкой. Кстати, своих детей у него нет.

«Вот он и отыгрывается на мне! — сердито думает Динка, уныло плетясь по лесу.— Еще целых два часа можно было поспать, так нет, вставай, иди неизвестно куда так рано!»

Солнце еще только поднимается. На траве лежит ночная роса, деревья и то еще не совсем проснулись: шу-шу-шу — перешептываются между собой; и птицы еще не хлопочут около своих гнезд; на дороге прибита пыль, не видно свежей колеи. Динке хочется спать, она идет с закрытыми глазами, натыкаясь на кусты и деревья. На руке ее болтаются сцепленные ремешками сандалии, прошлогоднее платье с вылинявшими голубыми горошками цепляется за кусты и, обрызганное росой, липнет к голым коленкам.

«Если завалиться тут где-нибудь и поспать еще часочек?» — вздыхает Динка.

Но в лесу легко заспаться, она знает это по собственному опыту. Нет уж, ехать так ехать! Только как соваться такому разморенному человеку в город, да еще на такое трудное дело, как поиски... «Ведь искать Иоську — это все равно что искать иголку в куче мусора. И некому мне помочь,— с обидой думает Динка.— Ведь это одни разговоры, что надо советоваться со старшими. А где у меня старшие? Мамы нет, Лени нет, Мышку нельзя волновать. Остается один Хохолок. Если бы вчера послать ему телеграмму с одним волшебным словом: «Емшан» — он, конечно, явился бы даже ночью. А с утра Хохолок работает в «Арсенале» вместе со своим отцом, ему не так-то просто уйти с работы. Да и чем бы он помог, если

б даже ушел? Ничем. Наоборот, он мог бы все испортить. Ведь если придется шнырять между босяками на базаре, то тут каждый может и обругать, и толкнуть, а Хохолок сейчас же вступится, схватит за шиворот... Нет, нет! Он совсем не умеет вести себя с босяками, особенно если хочешь что-то узнать от них. Ведь тут нужно ловить каждое слово и перемигивание, а толкнет кто-нибудь — наплевать, и обругает — наплевать, никто же не скажет запросто, где Иоська... Нет уж, на все самое трудное я всегда иду одна, так уж мне, видно, на роду написано...»

На дачной станции мало народу. Динка влезает в поезд и мрачно садится у окна. Теперь уже нечего спать, надо обдумать, что и как делать. Мама говорит, что Динка создает свои дела сама. «Гм... Конечно, сама! Кто же мне создаст мои дела? А вот как делать, чтоб их не было? Ну, предположим, я не пошла бы в хату Якова, и не увидела Катрю, и не давала бы обещания найти Иоську. Что от этого изменилось бы? Ничего, потому что я и без этого обещания поехала б его искать. Значит, чего же я «создаю»? Ничего не создаю, дела вокруг человека создаются сами. Какой человек, такие у него и дела. А у свиньи вообще никаких дел нет, валяйся хоть целый день на брюхе да наращивай сало. Но что об этом думать? Надо думать, куда идти первым долгом».

Поезд уже подходил к вокзалу, когда Динка твердо решила обойти в этот день все базары и, если там Иоськи нет, обследовать все ночлежки, расспросить нищих, а потом в следующий приезд начать с приютов... Больше всего боялась она найти Иоську среди чахлых приютских детей, бледных, как маленькие привидения, в своих серых одинаковых платьицах.

* * *

За время войны город очень изменился. На улицах было много военных, между серыми солдатскими шинелями и вылинявшими гимнастерками мелькали франтоватые офицерские мундиры с Георгиевскими крестиками. По мостовой грохотали

телеги, нагруженные тюками и солдатским обмундированием; рядом, подгоняя мохноногих лошадей, шли солдаты; их перегоняла щегольская генеральская пролетка; вскидывая блестящие копыта, мчались запряженные в экипажи тонконогие рысаки. На тротуарах часто встречались пожилые и молодые женщины с черными траурными вуалями, скрывающими их бледные лица. Опираясь на костыли, медленно двигались раненые в сопровождении сестер милосердия; перегоняя их и небрежно отдавая честь, шли молодые, недавно испеченные офицеры под руки с девушками, о чем-то весело, бравурно рассказывая.

Мимо Динки прошла кучка рабочих, они скупо перебрасывались между собой словами. Мельком взглянув на их испитые лица, Динка отметила одного пожилого, с проседью на висках, и почему-то подумала, что он, наверно, ведет среди своих товарищей революционную работу и что все его уважают и слушают. И чем больше она встречала рабочих, тем больше ей казалось, что все они так или иначе причастны к подпольной работе, как и рабочие «Арсенала», которые часто заходили к отцу Андрея. Динка плохо представляла себе, как может начаться революция, поэтому фантазия ее разыгрывалась, рисуя это знаменательное событие по-разному, но обязательно с бешеной скачкой по улицам, с боевыми выкриками, толпами рабочих, выбегающих из ворот фабрик и заводов с развернутыми знаменами. Динке представлялся гром и треск выстрелов, разрывы гранат и падающие тела трусливо убегающих буржуев, лавочников, толстых городовых и царских защитников — офицеров. И она, Динка, с криком «ура!» тоже кого-то била, для удобства просто молотком, который ловко держать в руке, била направо и налево, щелкая буржуйские головы, как орехи. И, может быть, ее тоже ранили, но немного, в какое-нибудь неважное место, чтобы не мешало ей рваться вперед и вперед...

Замечтавшись, Динка ускоряла шаг, размахивала сжатой в кулак рукой и сейчас, когда около одной из булочных, где стояла большая очередь, какая-то простоволосая женщина с пустой сумкой тоненько закричала:

— Провалитесь вы все сквозь землю вместе с проклятыми спекулянтами!

Динка совершенно ясно представила себе, как на мостовой взлетают от взрывов камни, свистят пули, валятся вверх колесами щегольские экипажи, рушатся дома, а из всех подъездов с винтовками наперевес бегут рабочие. Эта картина была так реальна, что Динка даже встряхнула головой и зажмурила глаза, но в это время откуда-то из-за угла вдруг появилась колонна юнкеров. Они браво маршировали по мостовой, четко отпечатывая шаг.

«Юнкерское училище, будущие офицеры...» — неприязненно подумала Динка.

Взвейтесь, соколы, орлами...—

браво запели юнкера.

Динка свернула на бульвар. Внизу был большой базар, сплошь забитый людьми. Здесь когда-то, еще маленькой девчонкой, Динка спасала от разъяренной толпы раскосого рваного мальчишку, который украл сало. У мальчишки за ухом была глубокая трещина с запекшейся черной кровью. Это оборванное ухо долго потом снилось Динке.

Базар, как огромная карусель, кружился на одном месте. Беспорядочная толпа сразу втянула в себя Динку и понесла ее за собой, что-то выкрикивая, предлагая, торгуясь и бранясь. Над площадью стоял сплошной гул смешанных языков. Здесь торговали все. Над самым ухом Динки безногий калека в солдатской шинели, расчищая себе дорогу костылем, гремел старым чайником, связанным вместе с солдатским котелком; рядом старик щелкал зажигалками; какая-то женщина размахивала над головами вышитой рубашкой; словно по воздуху, проплывало поднятое вверх бязевое солдатское белье с тесемками на кальсонах; какая-то старуха держала пробитую пулями шинель... Динка растерялась. «Спокойно, спокойно... Надо все делать с толком»,— повторяла она себе, пытаясь удержаться на месте. Толпа протащила ее еще несколько шагов и наконец вытолкнула на край, где было меньше народу. Динка опомнилась, запихала под платье косы, чтобы не зацепиться за

чью-нибудь пуговицу, и осторожно пошла по краю площади. Здесь было больше порядка. Выстроившись в ряд, пожилые, молодые женщины с сумками, держась в отдалении от непрерывно движущейся толпы, продавали какие-то вещи, осторожно вынимая их из сумки и предлагая проходившим мимо покупателям. Поднявшись на цыпочки, Динка попыталась увидеть где-нибудь шныряющих на базаре мальчишек. «Они, наверно, около съестного держатся»,— подумала она и робко спросила одну из женщин:

— Скажите, пожалуйста, где тут торговки с салом или молоком?

Женщина неопределенно указала рукой куда-то налево, где стояли возы. Динка обошла площадь и направилась к возам. Раза два мимо нее проскакивали девчонки и мальчишки, но они мгновенно исчезали в толпе. Около возов с мешками визгливо переругивались бабы.

— Вот пирожки, горячие пирожки! — пронзительно выкрикнула над ухом Динки какая-то баба.

Динка шарахнулась в сторону, потом решительно шагнула назад к торговке, которая продавала вместе с пирожками какую-то требуху и ржаные вареники; старик потряхивал связкой сушеной воблы и пакетиками чудодейственных корешков от ломоты в костях.

Динка остановилась около него и внимательно огляделась вокруг. Здесь действительно шмыгали какие-то мальчишки и девчонки; в одном месте, сидя прямо на земле, они играли в карты, засаленные и грязные до того, что на них уже невозможно было отличить дамы от короля. Динка подошла ближе, но среди ребят вдруг началась ругань и потасовка; один из них, получив пинок ногой, чуть не свалил Динку и, смачно выругавшись, бросился на своих обидчиков. Динка снова отошла в сторону и решила переждать драку. Неожиданно все стихло. К кучке ребят подошел высокий, черный как жук подросток. Все было в нем черно: черные, словно полированные, как спинка жука, волосы, черные брови и черные глаза. «Настоящий жук»,— наблюдая за ним, подумала Динка. Держа руки в карманах, подросток медленно подошел к при-

тихшим мальчишкам и, двинув ногой колоду карт, мрачно сказал:

— Мотайте отсюда!

Мальчишки, испуганно поглядывая на него, начали подбирать рассыпанные карты.

— Подождите! — бросилась к ним Динка.— Подождите!

Мальчишки, отбежав на два шага, остановились. Жук быстро с головы до ног смерил Динку удивленным и презрительным взглядом, гневно махнул рукой мальчишкам и повернул к Динке насмешливо улыбающееся лицо:

— Вы чего нибудь ищете, барышня?

— Да,— быстро ответила Динка и, кивнув в сторону исчезнувших мальчишек, сердито спросила: — Зачем вы прогнали их?

— Это мое дело,— ответил он, сузив черные глаза и бесцеремонно разглядывая Динку.

«Настоящий босяк... главарь»,— определила про себя Динка и, подойдя к нему ближе, тихо сказала:

— Отойдем в сторону.

— Далеко? — не двигаясь с места, спросил он, так же насмешливо улыбаясь.

Улыбка его показалась Динке неприятной и злой; сквозь синеватую полоску губ были видны белые, ровные зубы.

«Ломается»,— подумала Динка и, оглянувшись на проходивших мимо людей, потянула его за рукав:

— Выйдем отсюда! Мне нужно поговорить с вами...

Он дернул плечом, поправил рваный пиджак и молча пошел рядом.

— Вот сюда,— сказала Динка, останавливаясь за пустой телегой.— Скажите, пожалуйста, вы босяк?

— Что? — злобно дернулся подросток, выбрасывая из кармана тугой кулак и показывая его Динке.— Ты говори, да не заговаривайся, а то я не посмотрю, кто ты есть!

Динка испуганно отшатнулась и, морщась, отодвинула рукой его кулак.

— Спрячь, спрячь... назад в карман... Я такая же, как ты... Мне нужны босяки... Я ищу одного мальчика, его сманили



босяки... в свою компанию, понимаешь? — сбивчиво объяснила она, тоже переходя на «ты».

— Подумаешь, сманили...— Он усмехнулся и покрутил головой.— А зачем тебе он?

— Я возьму его, буду учить, воспитывать... Он еще маленький. Послушай... Его зовут Иоська... Ты, наверно, всех знаешь, найди мне его!

— Ишь ты какая быстрая! «Найди»! Ну, предположим, знал я такого. Иоська, говоришь?

Динка кивнула головой.

Черные глаза еще больше сузились.

— Иоська, говоришь? Кудрявенький такой, лет девять ему?

— Да-да! — радостно закивала головой Динка.

— Так он уже помер... Убили его...— выпрямившись, сказал подросток, и в глазах его появился хищный огонек.— В лесу убили...

Динка схватила его за руку, ноги ее задрожали, в глазах мелькнул черный шарф Катри...

— А ты что за него хватаешься, дура? — грубо одернул ее мальчишка.— Кто он тебе? Ни сват, ни брат... Ну и не лезь не в свое дело!

— Я матери... матери его обещала... Я поклялась,— закрыв руками лицо, простонала Динка.

— А на клятву можно и наплевать,— с хитрой усмешкой сказал он.

Динка опустила руки.

— Я поклялась и найду его. Живого или мертвого. Где его убили? В каком лесу? Послушай: может, ты врешь? У тебя ведь нет ни стыда ни совести!

— «Ни стыда ни совести»! — злобно усмехнулся подросток.— А откуда ты знаешь, какая у меня совесть?

Динка покачала головой. На сердце у нее было пусто и горько.

— Но ты ведь только что сказал, что на клятву можно наплевать... Где же тут стыд и совесть? — холодно сказала она.

Подросток смачно плюнул сквозь зубы.

— Это я о тебе сказал, дура!

— А что же, я не человек? — строго спросила Динка и нетерпеливо добавила: — Говори правду: жив Иоська?

— Я уже сказал — нету. Ну, чего тебе еще нужно? Убили его на дачах. Понятно? Сначала его отца убили, а потом его. Ну? А ты будешь искать, так и тебя убьют. Понятно? — угрожающе добавил он.

— На дачах...— повторила упавшим голосом Динка.— Значит, правда...— Лицо ее сразу осунулось, побледнело.— Прощай.— Она протянула руку.

Подросток медленно вытащил из кармана руку, потер ее об пиджак.

— Грязная...— сказал он вдруг, осторожно пожимая Динкины пальцы.

— Это все чепуха,— грустно улыбнулась Динка и, не оглядываясь, пошла на тротуар.

Глава 14

ТЯЖКОЕ РАЗДУМЬЕ

Как в смутном сне ехала домой Динка. В ушах ее всю дорогу звучали последние слова мальчишки:

«Убили его на дачах. Понятно? Сначала его отца убили, а потом его...»

«Я опоздала... опоздала...» — с отчаянием думала Динка, и горькая обида против Васи и Лени нарастала в ее сердце... Зачем они скрыли, что Яков убит? Ведь если бы она, Динка, узнала, то сразу подумала бы об Иоське... Разве можно скрывать в таких случаях правду? Это, наверно, придумал Вася. Он всегда такой... Борется, борется за народ, за революцию, на фронте рискует жизнью, объясняя солдатам, что войну нужно кончать, что ружья надо повернуть против панов и помещиков, а случись что-нибудь в жизни, он только рукой махнет да еще и скажет: «Не ввязывайтесь вы в эту историю, у вас есть дела поважнее...» Сколько раз спорила с ним мама, Мышка. И сама Динка кричала ему:

«Ты дуб, Вася, дуб! У тебя дубовое сердце».

Мало ли было таких случаев! И Леня никогда не поддерживал Васю. А что же теперь, зачем поехал он вместе с Васей к Федорке и просил ее не говорить Мышке и Динке об убийстве? Может быть, он думал, что если уже все равно ничем нельзя помочь, то зачем же девочкам плакать и волноваться. Но Леня забыл про Иоську... Да, да, он забыл, наверно, забыл, что у Якова есть сынишка. А может, ему сказали, что Иоську взял тот студент, который его учил? И еще какая-то родственница, старуха в городе...

Динка незаметно для себя хватается за малейшую возможность оправдать в своих глазах Леню.

Нет, нет! Он никогда не бросил бы на произвол судьбы Иоську, ведь он сам был таким же брошенным сиротой... Разве мог он забыть об этом?

Нет, Леня не забыл, но он вырос... Он стал теперь взрослым и не все понимает...

Мерно стучат колеса поезда, Динка машинально смотрит в окно, а мысли, тревожные, недодуманные мысли о Лене всё настойчивей лезут в ее голову. Упираясь острым локтем на коленку, она больно трет пальцами лоб. Машинально сходит с поезда на своей станции. Но мысли додумываются только в лесу: Леня скрыл от нее правду, Леня ушел в лагерь взрослых, туда, где мама, где Вася и даже Мышка... Леня часто не согласен с Васей, но он все делает и думает так, как мама. Как скажет мама... Он уже не приходит к Динке рассказать ей, как раньше, все свои дела, а один раз, когда она хотела поехать с ним вместе в Корсунь, он ласково сказал:

«Это же не прогулка, Дина... Подрасти еще немножко, и мы будем посылать тебя одну».

«Мы» — это он и мама. Это во-первых. А во-вторых, почему все реже и реже Леня называет ее, как прежде, Макакой? Может быть, тоже мама сказала ему, что Динка уже выросла и нехорошо называть ее так при людях? А может быть, посмеялся над этим именем Вася? И Леня только наедине называет так свою прежнюю подружку... Да, Леня ушел к взрослым, Мышка тоже ушла; она часто читает сестре какие-то нотации, выговаривает ей, совсем как мама. Это

случилось уже давно, Динка не заметила, когда это случилось, но взрослые остались по одну сторону, а она, одна-одинешенька, по другую... А ведь она, Динка, тоже росла — как же все-таки это случилось?

«Я росла, но я не умнела, а они умнели,— пробует объяснить себе Динка.— Но зачем и что объяснять? У меня остался один Хохолок». Динка видит перед собой темноглазое внимательное лицо своего друга; он словно издали прислушивается к ее мыслям и, как всегда подняв одну бровь, спрашивает, чуть-чуть заикаясь:

«Ты забыла про м-меня, Динка?»

Нет-нет, она не забыла, она не забыла, она расскажет ему все, что пережила за последние дни, и об этом черном мальчишке на базаре... и страшные слова:

«Убили его, на дачах. Понятно?..»

Динка приезжает домой рано. Не зная, куда себя деть, она вытаскивает из угла ящик со своими вещами, садится посреди комнаты на пол и начинает разбирать его, вынимая по одной знакомые, дорогие ей вещи...

Вот Ленькин подарок — железный гребень. Его надо вынуть: летом Динка расчесывает им сбившуюся за зиму шерсть собак и гриву Примы... Вот карточки. Анюта, волжская подружка Алины, в темном платье приходского училища. Так и не приехала Анюта; мама звала ее, а она не приехала. Время разделило их... Время похоже на корабль: он идет вперед, а за бортом его остаются люди... Осталась за бортом и Анюта. А вот дядя Лека. Даже здесь, на карточке, видны глубокие морщины на его лице... Он такой старый приехал тогда, от Кати... Из ссылки, где лежал больной Костя... Тут есть карточки, где снят сам Костя со своим мальчиком Женькой. Есть и Катя. Но Динка, словно испугавшись чего-то, поспешно закрывает коробку и вынимает намисто, которое они искали с Федоркой. Красные, зеленые и голубые огоньки бус не радуют ее, она откладывает их в сторону.

К грустным мыслям прибиваются только грустные, а к веселым веселые, зачем ей сейчас какие-то бусы... Пальцы Динки нащупывают завернутый в носовой платок старенький

футляр... Это очки Никича. Она взяла их себе на память, когда он умер...

Динка осторожно разворачивает платочек, достает из футляра очки, тихонько проводит пальцем по сломанной и туго перевязанной черными нитками дужке.

Разложив все это на коленях, Динка долго смотрит на дорогие ей памятки... Никич... Она видит его лицо, склонившееся над книгой. Вот он поднимает на лоб очки и вопросительно смотрит на нее мигающими от света глазами...

«Ну, как ты?..»

— Ничего... я... живу, Никич...

Динка сидит посреди комнаты, жалкая улыбка кривит ее губы, крупные слезы падают на старый, потертый футляр, на очки со сломанной дужкой.

— Я помню... Я все помню, Никич...

Глава 15

НОЧЬ ИДЕТ...

С бешеным лаем срываются спавшие на террасе собаки. Динка поспешно прячет свои вещи и задвигает ящик в угол.

— А чтоб вы пропали, скаженные черти! Ну, чого сорвались, як на злодия! — слышится возмущенный голос Марьяны.

Динка выходит на террасу. Собаки, смущенно виляя хвостами, укладываются на крыльце. Динка всю зиму не видела Марьяну. И теперь, глядя на молодую еще, но изможденную женщину с темным очипком на волосах, Динка вспомнила, как увидела Марьяну в первый раз, такую веселую, красивую, в вышитой рубашке, с яркими бусами на шее.

С тех пор прошли годы. Марьяна с Ефимом жили дружно, но хозяйство их было маленькое, бедное; свиней они не держали, около хаты, обнесенной тыном, бродило несколько кур да на лугу Арсеньевых паслась низкорослая коровенка. Жилось трудно, особенно трудно стало во время войны, и Динка с сожалением смотрела на потемневшие, словно прибитые ветром и дождем, щеки Марьяны, на стертые от работы руки, вы-

глядывавшие из вышитых рукавов, на голубые, словно выгоревшие от солнца, глаза.

— Марьяна! Здравствуй, Марьяночка!

Марьяна ставит на стол кринку с молоком и, обтерев фартуком лицо, крепко целует Динку, оглядывая ее со всех сторон.

— А ну, чи подросла ты за зиму? Я ж тебя с осени не бачила! Ефима спрашиваю, а он только рукой машет: какая, говорит, была, такая и осталась! Ну, ясное дело, мужик не то, что баба! А на мой погляд, вытянулась ты, як тая рябинка, только дуже худа. Ну что зробишь, как теперь война! Настоящей пищи людына не получае. Ось я тут тебя молочком отпою! — ласково говорит Марьяна, и глаза ее оживляются прежними молодыми искорками, за полными губами блестят белыми бусинками зубы.— А я и вчера и сегодня все ожидала: прибежит моя Динка поздоровкаться! Не! Что-то не бежит в этот раз. Мабуть, у Федорки загостилась?

Быстро-быстро болтает Марьяна, как горох сыплются у нее слова, и, как будто подтверждая каждое свое слово, на ее живом, помолодевшем лице также быстро сменяются выражения радости, заботы и горя.

— Ох и проклята ж эта война! Оборони боже, что на свете делается! Ефим в городе был; думал, Мышка с ним до дому поедет, а она и вовсе сегодня не возвернется, бо раненых навезли столько, что класть негде! Лежат солдатики прямо во дворе. У кого голова обвязана, у кого руки, у кого ноги! Казала Мышка, чтоб Ефим ночевал у вас, он потемну придет!

«Бедная Мышка опять насмотрится всяких ужасов»,— озабоченно подумала Динка и спросила:

— А где же Ефим? Остался в городе?

— Да нет, он давно приехал, сейчас, мабуть, на селе, бо там такой слух прошел, что наш пан будет коров продавать, а коровы ж у него дуже хорошие. Ну конечно, богатеи и побежали записываться, а беднота волнуется, кажному хочется. Ну вот и прибегли за Ефимом: може, он переговорит с Павлухой, чтоб на выплат дал...

— Так Павлуха ж не хозяин! Надо с паном поговорить! — возмутилась Динка.

— Эге, с паном! Тут всеми делами Павло заправляе! А пану что? Он сегодня здесь, а завтра в городе! А осенью и вовсе за границу поедет!

— За границу? Так надо скорей, хотя до осени еще далеко,— задумчиво сказала Динка.

Марьяна махнула рукой.

— Да ничего с этого не выйдет! Я ж казала бабам на селе, да они и сами знают, что Павлуха моего Ефима даже и на порог до пана не допустит, так нет, прибегли до нас, плачут... Что делать, у многих на войне мужей поубивали, остались солдатки с детьми... Ни коровки, ни конячки, пустые горшки на колышках,— пригорюнившись, вздохнула Марьяна.

— Но как же так? Надо идти прямо к пану,— заволновалась Динка.

— Да я ж тоби кажу, что Павлуха зверь, не допустит. Он на моего Ефима дуже злой из-за той дивчины, что утопилась. Бо кто ж ее и погубил, как не Павло? А Ефим все то дело знал да и сказал пану... Так с той поры моего Ефима даже и на работу в экономию не берут.

— Как? Значит, это правда, что ту дивчину погубил Павлуха? Может, она не сама утопилась? — испуганно спросила Динка.

— Да сама-то сама... Только тут такое дело вышло. Павлуха давно от нее избавиться хотел: боялся, женится пан, а Маринка — так ту дивчину звали — и прогонит его, Павло значит... Бо все люди на селе ненавидят Павлуху.

Динка согласно кивнула головой. Она уже слышала кое-что от Федорки, но ей хочется знать, как это было. Марьяна вытерла двумя пальцами рот и понизила голос:

— Ну, вот один раз, как поехал пан в город, на два дня — билеты, что ли, схлопотать за границу,— хотел и Маринку с собой взять, учить, что ли, думал ее там. Голос у ней был дуже хороший. Як той соловейка пела... Аж за душу хватала. Красиво-красиво пела...

Глаза Марьяны увлажнились слезой, но Динка нетерпеливо прервала ее:

— Ну? Ну?

— Ну, дак как поехал пан, так Павлуха пришел к ней. А она уж с полгода в усадьбе жила, и как раз летом это дело вышло. Ну, пришел и говорит: «Велел тебе пан обратно на село идти до своей матки, бо пан жениться поехал, а тебе в награждение корову даст...» Ну, вот так и сказал. А мой Ефим на ту пору в садике у пана дорожки чистил. Только видит он, выбежала Маринка на террасу и лица на ней нет, белая, как моя рубашка. «Брешешь ты, кричит, поганый пес! Брешешь!..»

А Павло ей опять те же слова повторяет... И тут как вскинется она, да как побежит... А мой Ефим и вступился: «Какое ты, говорит, имеешь полное право, Павло, такие слова ей говорить? То, говорит, дело пана, а не твое, если уж правда, что пан женится!»

Ну, обозлился Павло, хвать у него грабли.

«Геть, кричит, отсюда, а то на месте прибью! И смотри, чтобы пану не докладался, а то и костей не соберешь!» Ну, а мой Ефим, сама знаешь, он если за правду, так и черта не побоится, хоть режь его на куски!

Марьяна горестно покачала головой.

— Ну конечно, утопилась с горя Маринка...

— А Ефим? Сказал он пану? — лихорадочно допрашивала Динка.

Марьяна горько улыбнулась.

— Сказал, конечно, на свою голову... Не поверил ему пан. Над гробом Маринки поклялся Павлуха, что даже и разговору такого не было... Вот с той поры не берет Павло Ефима в экономию на работу, да везде и гадит ему как может. Хорошо, мы тут живем, не на панской земле, а то и вовсе житья бы не было. А за Павлухой и Матюшкины на Ефима взъелись, ведь они с Павлухой родня: Семен Матюшкин да Федор родную сестру за Павлуху отдали. Вот и думай теперь: как это Ефиму об коровах хлопотать, к кому он пойдет? — вздохнула Марьяна.— А бабам что говори, что не говори: верят одному Ефиму, плачут — пойди да пойди...

Динка медленно провела рукой по лбу и закрыла глаза.

— Ах боже мой, боже мой...— тихо пробормотала она, все еще думая об утопившейся дивчине.— Сколько же на свете подлых людей!

Марьяна испуганно охнула, прижала к себе Динкину голову.

— От дурная я! От же дурна! Напугала тебя! Да то уж давнее время, ты не переживай, голубка. Что тут делать, кому какая судьба выпадет...

Но Динка уже пришла в себя, имена братьев Матюшкиных, случайно брошенные Марьяной, напомнили ей об Иоське.

— Марьяна! — быстро сказала она.— Ты слышала что-нибудь о Матюшкиных?

— Да этих богатеев в селе и без Матюшкиных хватает! И все им с рук сходит. А уж эти братья особо вредные! Хотя бы их нечистая сила взяла! — перекрестилась Марьяна.

— Слушай, Марьяна! Ведь это они убили Якова?

Марьяна испуганно оглянулась.

— А ты откуда знаешь? Не велели ваши тебе говорить...

— Я знаю. И про Иоську знаю. Иоську тоже они убили! Слышала ты про это?

— Якого Иоську? — сморщила лоб Марьяна.

— Да сынишку Якова, Иоську!

Марьяна всплеснула руками.

— Ах боже мой! Дите, совсем дите! Дак это не иначе как Матюшкины! Ну звери! Как есть звери! Да как же это он попался им, ведь его бабы в Киев свезли...— запричитала Марьяна.

Но Динка нетерпеливо перебила ее:

— Слышала ты об этом?

— Об Иоське? Нет, не было такого слуху. Ах они звери! Ну вот помяни мое слово, придушит их упокойник. Только они в тот лес ни ногой! Скрипки боятся...

— Да какая там скрипка! Это все бабьи выдумки!

— Э, нет, голубка моя! Мне и Ефим так говорил: брешут да брешут люди! А тут как поехали мы с ним на мельницу да как послушали своими ушами, так и примолк!

— Своими ушами? Скрипку? — недоверчиво переспросила Динка.— Да, может, это филин кричал или еще какая птица?

— Да что ты! На разные голоса-то филин? Скрипка это, и все! Убийцу своего Яков зазывает.

— Ты сама слышала, Марьяна? — дрогнувшим голосом спросила Динка. Перед ее глазами снова встал портрет Катри.

— Ну, а як же? И я, и Ефим! Вот хоть у него спроси! Нет, что правда, то правда, не к ночи будь сказано! — быстро перекрестилась Марьяна.

— Ночью? В котором часу? — думая о своем, нетерпеливо тронула ее за рукав Динка.

— Известно, ночью... Днем-то не слыхать вроде. И мы с Ефимом ехали после полуночи.— Марьяна хотела еще что-то сказать, но Динка перебила ее:

— Где Прима?

— Да здесь где-то, на лугу пасется. Я уж говорила Ефиму: на що траву топтать? Трава нынешний год сочная, густая.

— Ну ладно! Иди домой, Марьяна! Я, как стемнеет, спать лягу. И Ефиму меня сторожить нечего! Лягу да усну! Ночь короткая...

— Да, може, и так! Кто тут тронет... Возьми вот молочко, повечеряешь да ляжешь. А то к нам приходи, если скучно тебе одной.

— Да нет! Я возьму Приму, покатаюсь!..

Динка пошла на луг. Ноги путались в густой траве. Качались ромашки, колокольчики; в сырых местах между зелеными кочками стояли чистые лужицы воды; крупные незабудки и высокие желтые цветы, разбросанные по лугу, тихо колебались от налетающего ветра. Прима подняла голову, и, увидев свою хозяйку, тихонько заржала. Динка привычно оглядела ее со всех сторон, отогнала слепней и повела к пруду. Потом сбегала домой, принесла щетку, скребок и Ленькин подарок — железный гребень, которым теперь расчесывала пышную гриву Примы. Почистив лошадь, она привела ее до-

мой и привязала в саду. Все это делала она машинально, с одной неотступной мыслью: «Я должна сама поехать в этот лес ночью и убедиться, что нет никакой скрипки... Иначе от всех этих разговоров я совсем замучаюсь». Где-то под этими мыслями снова оживала неясная надежда.

«Ну, а если все-таки я услышу скрипку Якова? Ведь это такое счастье — еще хоть раз услышать его игру. Да нет, какие глупости, о чем я думаю?»

Динка пошла в комнату, взглянула на часы. Было только половина шестого. Не зная, как убить время до вечера, Динка выпила молока с горбушкой хлеба, покормила хлебом Приму, надела на нее уздечку; потом, предполагая, что ночью будет прохладно, переоделась в старенькое шерстяное платье с матросским воротником и, вытащив из-под крыльца остро отточенный топорик, задумалась. Что, если в хате Якова она наткнется на Матюшкиных? Может, в эту ночь они снова придут искать деньги.

Динка вспомнила про обрез и, поплевав на ладони, полезла на дуб. Но в дупле было пусто... «Видно, взял его Дмитро»,— с досадой подумала Динка и тут же вспомнила, что обрез был заряжен крупной дробью, а дробью нельзя убить человека... Да еще двоих... А братья придут вдвоем, если, конечно, решатся прийти. Нет, месть должна быть хорошо обдумана, и действовать надо наверняка. Не стоит торопиться и делать глупости. Динка спрятала под крыльцо топорик и снова взглянула на часы; было только без десяти восемь... Динка побродила по саду, посидела на пруду, глядя, как за лугом широкой красной полосой отсвечивает уходящее солнце.

«Красный закат, завтра будет ветер»,— машинально подумала Динка. Готовясь к ночному хору, на темную поверхность пруда всплывали лягушки и, распластавшись на воде, смотрели на Динку зелеными выпуклыми глазами; на островке качались синие и желтые ирисы...

Динка вернулась домой и, усевшись на крыльце, нетерпеливо ждала, когда в сад заползут вечерние сумерки и приляжет на ночь трава... Время тянулось нескончаемо долго. Динка старалась ни о чем не думать, но против ее воли перед

глазами вставали живые лица, в памяти возникали обрывки из рассказа Марьяны: белое-белое, как рубаха, лицо утопившейся дивчины, ненавистные лица Павлухи, Матюшкиных, в овраге за хатой Якова распростертый на траве, убитый Иоська, а над всем этим неясные, теряющиеся в верхушках деревьев, плачущие голоса скрипки...

«Ой, какая суматоха в моей голове, какая суматоха...» — бессильно думала Динка, закрывая ладонями лицо и утыкаясь головой в колени. Потом все исчезло, и на крыльце осталось только темное пятнышко: свернувшаяся в клубочек Динка...

На небо уже вышел месяц, когда Ефим тронул ее за плечо.

— Ты что здесь делаешь? Иди ложись спать, бо уже не рано. Я тоже вот лягу на терраске.— Он бросил на пол рядно и подушку.— А где Прима?

— Она здесь, я привязала ее в саду,— сонно ответила Динка.

— Ну пускай пасется,— согласился Ефим, укладываясь на рядно.

Динка зашла в комнату и села на кровать. Когда с терраски донесся мирный храп, она осторожно вылезла в окно, отвязала Приму, вывела ее на дорогу и, держась за гриву, бесшумно вскочила на спину лошади. Ночь была тихая, только на пруду приглушенно кричали лягушки да во ржи, по обеим сторонам дороги, слышался тихий шелест, словно там шебаршились зверьки или птички. Динка пустила лошадь крупной рысью. Месяц светил ей в лицо. Оно было бледно и спокойно. Вдали чернел лес.

Глава 16

СКРИПКА ЯКОВА

Поле кончилось. Поросшая мелкой травой давно не езженная дорога круго сворачивала в лес. Над головой Динки сомкнулись густые разлапистые ветви, они как будто хотели втянуть ее в свое черное логово. Прима тревожно насторожила уши и, кося здоровым глазом на выступающие из темноты

деревья, пошла боком... В тишине глухо отдавался стук ее копыт. Динка низко склонилась к голове лошади и тихо прошептала:

— Вперед, Прима, вперед...

Дорога кружила по лесу, обходя заросшие кустарником пни, в темноте неожиданно возникало впереди что-то белое,— казалось, за деревьями прячется человек в длинной белой рубахе... «Это береза»,— успокаивала себя Динка. Глаза и слух ее были напряжены. Стук копыт мешал ей, она пустила лошадь шагом. Один раз ей показалось, что в кустах кто-то шепчется, Динка натянула поводья, прислушалась. Ночью растет трава, грибы... Над головой засуматошились птицы, ухнул филин. Динка вздрогнула, прижалась к гриве Примы. «Надо было взять топорик,— лихорадочно подумала она, но филин заохал уже где-то в дальнем овраге, а месяц неожиданно осветил дорогу и густые верхушки деревьев.— Лес! Это же мой, с детства знакомый лес — чего же я боюсь? — подумала Динка.— Людей тут нет, Матюшкины не пойдут ночью, они боятся скрипки... А где же эта скрипка? Всё выдумки... Но тогда зачем же я еду? Наверно, уже скоро поворот и развилка двух дорог.— Динка представила себе белеющую сквозь деревья хату и с дрожью подумала: — Нет-нет... я туда не пойду. Там в темноте светятся глаза Катри. Не могу я смотреть на них сейчас. Надо вернуться... Скрипки нет...»

На дорогу снова упал свет месяца, сбоку зачернел овраг. Над ним, словно окутанная белым туманом, показалась хата Якова.

Перед Динкой легли две дороги.

«Развилка...» — со страхом определила она. И вдруг... руки ее вцепились в поводья, сердце остановилось. Тихие, словно приглушенные звуки скрипки донеслись до ее слуха и смолкли. Словно кто-то неуверенно провел смычком по струнам. Потом снова по лесу пронесся тихий тягучий звук... и снова оборвался. А вслед за ним полилась знакомая Динке жалобная мелодия, она скользила между деревьями, поднималась ввысь и чуть слышно падала на дорогу. Перед глазами Динки возникла фигура Якова с прижатой к подбородку скрипкой и поднятым

вверх смычком. Словно в забытьи она бесшумно спрыгнула на землю и, ведя Приму на поводу, пошла на голос скрипки. Смычок вдруг резко переменил мотив, и навстречу Динке неожиданно громко вырвался вальс «На сопках Маньчжурии»... Но это играл не Яков. «Не Яков... Не Яков...— тревожно думала Динка.— Это его мотивы, но не его музыка... Но кто же мог так хорошо знать, что играл Яков?.. Кто же это?..» И вдруг яркая, как внезапно вспыхнувший свет, догадка мелькнула в голове Динки... Она выпустила поводья и, протянув вперед руки, как слепая, бросилась в хату.

— Иоська! — отчаянно крикнула она, вбегая на порог. Но что-то тяжелое, как бревно, обрушилось на нее сверху, резко ударило в голову, придавило к порогу. В глазах у Динки помутилось, мелькнула короткая мысль: «Матюшкины...» — и сознание исчезло.

Глава 17

НАД ОВРАГОМ

Динка лежала вниз лицом, раскинув руки и уронив на битый кирпич косы. Смутно, словно в тяжелом сне, она слышала над собой чьи-то приглушенные голоса, то грубые и резкие, то тихие и жалобные, как плач ребенка, но их заглушал тяжелый, булькающий шум в ушах и слова не доходили до сознания.

— Я говорил тебе, что это она, Горчица... А ты взял да ударил. Зверь ты после этого, Цыган...— шептал чей-то расстроенный, негодующий голос.

— А мне плевать, кто она! Живым отсюда никто не выйдет! — гневно отвечал другой.

— Это мой дом. Она ко мне пришла,— жалобно, по-детски всхлипнул третий.

— Твой дом, шкура? А ты чей? Кто тебя подобрал, сволочь? Пошел вон отсюда, пока цел!

Динка подняла голову и застонала. Голова была тяжелая, словно на ней лежало сто пудов, по шее струилось что-то теплое и заливало лицо. Губы пересохли.

— Пить...— с трудом прошептала Динка, не слыша своего голоса.

Неподалеку что-то метнулось, звякнуло ведро.

— Дай ей пить, Цыган.

— Пошли вон отсюда к чертовой бабушке! Кому я говорю, Ухо? — послышался грозный окрик.

— Не пойду. Ты убьешь ее...— упрямо ответил первый.

— Не убивай, Цыган...— жалобно всхлипнул ребячий голос.

— Пить...— снова прошептала Динка.

— Воды хоть дай... Сам дай, Цыган!

Ведро снова звякнуло. Тот, кого называли Цыганом, перешагнул через Динку, приподнял ее голову и прижал к губам жестяную кружку. Струя холодной воды плеснулась Динке на шею, пролилась на грудь. Она жадно припала к кружке и открыла глаза.

— Ну пей, что ли! — нетерпеливо произнес знакомый грубый голос.

Динка уперлась обеими руками в пол и попыталась встать. Но сил не было, тяжелая, словно чужая, голова ее снова упала на пол.

— Кончается...— испуганно прошептал кто-то.

Цыган грязно выругался.

— Идите вы знаете куда...— Он грубым рывком приподнял Динку и прислонил ее спиной к разваленной печи.

Месяц осветил ее лицо и шею, залитые кровью. Серые тени сдвинулись ближе, заслоняя собой свет.

— Кровь...— с ужасом прошептал детский голос.

— Эй, Ухо! Уведи Шмендрика! — сказал Цыган.

— Не пойду я... Не пойду!..

Цыган наклонился, набрал в рот воды и плеснул в лицо Динке. Она широко раскрыла рот, хватая губами воздух. Глаза ее посветлели, и взгляд остановился на темном лице Цыгана.

— Что? Узнала? — насмешливо спросил он.

— Жук...— тихо прошептала Динка и вдруг беспокойно зашевелилась, обвела глазами стены. Все происшедшее смутно встало в памяти: скрипка... Иоська... Матюшкины...

Она обхватила за шею наклонившегося над ней Цыгана и с ужасом зашептала:

— Беги, Жук, беги... Спаси Иоську... Меня убили Матюшкины...

Цыган вдруг смягчился.

— Никто тебя не убил, дура! — добродушно усмехнулся он и, намочив ладонь, стер с ее лица кровь.

— Матюшкины...— снова повторила Динка.

В углу кто-то тихонько фыркнул.

— Кто это? — с испугом спросила Динка и снова застонала.

— Защитник твой... Рваное Ухо... Смеется, сволочь, рад, что ожила,— все с той же добродушной усмешкой пояснил Жук.

— Рваное Ухо...— задумчиво повторила Динка. В ее разбитой голове смутно зашевелилось какое-то далекое воспоминание, но она ничего не смогла вспомнить, ее мучила другая мысль.— Жук... где Иоська? — с тревогой спросила она.

— Ну, здесь Иоська... А тебе что до него?

— Иоська! — жалобно всхлипнула Динка, приподымаясь и поддерживая руками голову.

— Ну иди уж, Шмендрик! — разрешил вдруг Цыган, с интересом глядя, как робко и неуверенно из угла комнаты двинулась в сумерках небольшая детская фигурка и, словно боясь подойти ближе, остановилась.

— Иоська...— радостно повторила Динка, протягивая руку навстречу щуплому мальчику и пытаясь в темноте разглядеть его лицо.

— Да ты чего боишься? — хмыкнул вдруг Цыган и громко расхохотался, блеснув белыми зубами.— Иди поздоровайся. Я разрешаю,— важно сказал он.

— Ну, я Иоська...— подходя ближе и ежась от смущения, улыбнулся мальчик.

Динка быстрым взглядом окинула его щуплую фигурку, спутанную кудрявую голову. В темноте лица его не было видно, но ей показалось, что большие синие глаза Катри ожили и улыбнулись ей счастливой, благодарной улыбкой.

— Жук! — быстро сказала она.— Там, у крыльца, Прима! Приведи ее сюда! Скорей, пока не вернулись Матюшкины! Мы сейчас же уедем!

Цыган вдруг ощетинился, и глаза его с тревогой уставились на Динку.

— Какая еще Прима с тобой? Кого ты привела сюда? — грозно крикнул он, поднимаясь и глядя на дверь.

— Дурак ты! Прима — это моя лошадь! Иди — приведи ее к крыльцу!

— Смотри барыня какая! Приведи ей лошадь! А зачем она тебе, твоя лошадь?

— Не кричи,— поморщилась Динка.— Мы с Иоськой уедем домой! Мне бы только встать... Помоги мне встать!

— Я тебе не нянька! Вон Ухо поможет!

Высокий худой подросток рванулся на помощь Динке и, близко наклонившись к ней, лукаво улыбнулся блестевшими в темноте светлыми раскосыми глазами.

— Не помнишь меня? А я тебя помню!

Динка с удивлением вспомнила вдруг базар, рваного мальчишку, вспомнила запекшуюся кровью рану у него за ухом, крикливую торговку и вывалянный в пыли кусок сала.

— Так это ты Рваное Ухо? — спросила она, подымая бровь.— Ты?

— Я...— довольно ухмыльнулся подросток.— Своей собственно особой.

— Откуда же ты? А ухо? Болит у тебя ухо? — растерянно спросила она, вспоминая, как долго преследовало ее во сне кровоточащее ухо базарного мальчишки.

Он засмеялся, дернул себя за ухо.

— Не... зажило теперь.

— Ну хватит,— мрачно сказал Цыган.— Иди, Ухо, отгони лошадь подальше, а то светает, увидит еще кто...

— Как — отгони? — закричала Динка и, схватившись за руку Уха, с усилием поднялась.— Нам нужно ехать! Пойдем, Иоська!

— Я не пойду! — с испугом сказал Иоська и, отойдя к Цыгану, прижался к его плечу.— Я с Цыганом останусь!

— Что, съела? — расхохотался Цыган.— Пойдет он с тобой, как же! Мы тут своей компанией живем, и никто нами не распоряжается! А тебе я так скажу: убирайся, пока цела,



но помни...— Он подошел к Динке и поднес к ее лицу тугой кулак.— Если скажешь кому про нас, наведешь на след, тогда прощайся с жизнью! Я и сейчас не выпустил бы тебя живой, да вот защитники нашлись и рук марать мне не хочется. Поняла, что я сказал?

— Поняла,— прошептала Динка и с укором посмотрела на Цыгана.— Так это, значит, ты мне голову разбил?

— Я! Но это только для первого раза, и зря не убил на месте!

— Да за что же? Что я сделала тебе, Жук? — с удивлением и грустью спросила Динка.

— Я не Жук, а Цыган... И тебе не товарищ, со мной шутки плохи. Вон они это знают! Мы здесь по своему делу сидим. Поняла? А слягавишь — пеняй на себя! Из-под земли вырою! — грозно закончил Цыган.

— И про Иоську ты молчи. Люди его скрипки боятся и не лезут сюда. Понятно? — серьезно добавил Рваное Ухо.

Динка, держась за печь, молча смотрела на Иоську, но он прятался от нее за спиной Цыгана.

— Я никому ничего не скажу,— твердо сказала Динка.— Живите, как хотите. Но Иоська еще маленький, ему надо учиться, его отец хотел, чтобы он учился,— начала было Динка, но Иоська, высунувшись из-за плеча Цыгана, быстро перебил ее:

— Я уже умею читать... А мы с Цыганом Матюшкиных убьем... Мы их подстережем и убьем!

— Матюшкиных? — Динка посмотрела на Цыгана.— Я их тоже убью!

Цыган расхохотался:

— Ну вот, как раз вдвоем с Иоськой!

— Напрасно ты смеешься,— холодно сказала Динка.— Я и сейчас хотела взять обрез на всякий случай.

— Что же не взяла? Тяжело тащить было? Лошадь бы довезла как-нибудь! — насмешливо скривил губы Цыган.

Динка обозлилась:

— Ты здоровый как дубина, а дурак! Обрез я могу взять в любую минуту, и стрелять я умею! А ты сидишь тут, собрал мальчишек и грозишь голым кулаком!

Глаза Цыгана сузились. В предрассветных сумерках отчетливо было видно его лицо с хищной улыбкой. Он кивнул головой сгрудившимся вокруг него ребятам.

— Вон как заговорила! Что, не сказал я вам? Ведьма! Из головы кровь хлещет, а она тут командовать! Говорю, уноси ноги, пока цела! Мы не с обрезом на Матюшкиных пойдем, у нас всякое оружие есть. Поняла? У нас свои дела... А ты мотай отсюда, да живо!

— Ладно,— махнула рукой Динка и, держась за стенку, пошла к двери.— Люди по тюрьмам сидят из-за вас, из последних сил бьются за революцию, оружие готовят на буржуев, а вы в дурачка играете! Ты, Жук, главарь здесь, я ведь понимаю! Ты мог бы целый отряд собрать. Вон что по селам делается, бедняков богатеи в бараний рог гнут, а тебе дела мало, ты небось по базарам мотаешься и Иоську воровать учишь! Эх, ты! — Динка снова пошла к двери.

Цыган переглянулся с притихшими мальчишками.

— Стой! Ты что нам голову темнишь? Слыхала звон, да не знаешь, где он! А нам все известно, мы на базарах лучше, чем из газет, все знаем!

Динка остановилась. Голова нестерпимо болела, говорить не хотелось.

— Ладно,— сказала она.— Все равно с вас толку нет...

— Ну и катись отсюда, а то, слово за слово, да и выбросим в овраг!

— Не грози, я тебя не боюсь. Дай мне воды еще, а то дома испугаются. Полей мне,— выходя на крыльцо, сказала Динка.

Цыган зачерпнул воды.

— Шею смой,— сказал он и вдруг простодушно добавил: — Утереться у нас нечем! Ну, обсохнешь по дороге.

— Обсохну,— сказала Динка.

Из хаты вышли Иоська и Рваное Ухо. В лесу уже светало. Динка вспомнила, что Ефим скоро проснется, и заторопилась. Неподалеку от дороги спокойно паслась Прима. Цыган подвел ее к крыльцу.

— Твоя лошадь? — спросил он.

— Моя. Я живу на хуторе.— Динка подробно объяснила, где живет, и добавила: — Приходи с Иоськой! И ты, Ухо, приходи! — с улыбкой обернулась она к давнишнему знакомому.

— Вряд ли... Иоську мы прячем, нельзя ему. Одного тоже не оставляем.

— Да, конечно, а то Матюшкины узнают... Но я Иоську все равно так не брошу, я матери его обещала,— твердо сказала Динка.

— Слышали мы клятвы твои! Только зря это, Иоська от меня никуда не пойдет!

Динка молча подошла к лошади. Ребята тоже подошли, гладили бока Примы, расчесывали пальцами гриву.

— Сколько ей лет? — спросил Цыган и, ловко подняв голову Примы, заглянул ей в рот.— Молодая, а глаз слепой!

— Это ветка хлестнула ее по глазу,— машинально ответила Динка. У нее нестерпимо ныла голова; кровь уже не шла, но до темени страшно было дотронуться и не было сил вспрыгнуть на лошадь.

— Вот садись с пенька,— сказал Рваное Ухо и подвел Приму к старому пню.

Динка села, взяла поводья.

— Прощайте. Я еще приду как-нибудь днем. Меня никто не увидит, не бойтесь!

— А днем ты нас не найдешь: мы, как кроты, в земле живем. Днем спим, а ночью выходим!

— Где же в земле? — удивилась Динка.

— Ну, это наше дело! А ты, если надумаешь, приезжай ночью,— неожиданно миролюбиво сказал Цыган.

Динка улыбнулась.

— Ну уж нет! Чтобы ты мне опять голову разбил?

— А ты знак подай, а то и разобью! Покричи кукушкой. Можешь?

— Могу. Иоська! — позвала Динка.

Иоська поднял глаза. В сером утреннем свете они казались огромными.

— До свиданья, Иоська! И ты прощай, Ухо! Я рада, что

увидела тебя, а то часто снилось мне, как бежит за тобой торговка, и больное ухо твое мне снилось. Прощай, Жук! — Динка тронула лошадь. Ехать рысью она не могла и, сцепив зубы, сразу взяла в галоп.

Ребята молча смотрели ей вслед.

— Поехала...— не то сожалея, не то удивляясь чему-то, сказал Цыган.

Глава 18

ВОСПИТАНИЕ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ

Пока Динка добралась домой, Ефим уже ушел. Динка пошла к ручью, выстирала заскорузлое от крови платье, как могла промыла родниковой водой рану, завязала ее бинтом. Дома она долго шарила в ящике стола, где лежали у Мышки всякие лекарства. Динка никогда не лечилась, но сейчас голова ее нестерпимо болела, и она хотела принять все меры для скорейшего выздоровления. Налила в рюмку валериановых капель, подумав, бросила туда же таблетку пирамидона и, выпив все это одним залпом, улеглась. Но сон не шел. Подушка казалась жесткой, шея с трудом ворочалась, и душу саднила горькая обида на Цыгана и Иоську.

Не пошел с ней Иоська... А она из-за него столько хватила горя: искала его на базаре, плакала, ехала ночью в лесу, да еще получила такой удар по голове и теперь валяется без сил. За что ударил ее Цыган? Ведь мог бы убить! И грозился еще... Конечно, он перед ребятами хорохорится, а вообще жуткий человек, и улыбка у него какая-то волчья, и глаза как у хищника. И ругается он, как последний босяк, ни одного слова без ругани. Динка с отвращением вспоминает грубый голос Цыгана, но в этих воспоминаниях вдруг проскальзывает неожиданное мягкое выражение его лица, смущение, не свойственное ему, даже доброта... И как это он сказал? «Ты нас днем не найдешь: мы живем, как кроты, в земле». Где же они живут? В первый свой приезд она хорошо разглядела хату, там не было никаких признаков жилья... Динка потрогала голову и тихонько застонала.

«Черт с ними, пусть живут где хотят! Я не пойду туда больше, видеть не могу этого черного Жука! Тем более, что Иоська жив... Я исполнила свое обещание, нашла его!.. Но как нашла? Среди босяков, базарных воришек, а может, еще и хуже...— Динка вспомнила Катрю и снова заволновалась.— Конечно, если по-настоящему честно выполнить свое обещание, то я должна бы вырвать у этого Жука мальчишку, учить его, воспитывать. Но кого я могу воспитывать? Я сама-то никак не воспитаюсь как следует. А сколько со мной мучилась мама... Да и станет ли меня слушаться Иоська? А ведь я была однажды учительницей,— вдруг вспомнила Динка и, придерживая рукой больную голову, засмеялась.— Сколько мне было тогда лет? Одиннадцать? Двенадцать? Леня был уже в седьмом классе, кажется».

Динка вспомнила, как мама каждый день выдавала им, всем троим, и Лене по три копейки на завтрак в гимназии. Эти копейки Леня никогда не тратил на себя, а в субботу, собрав их за неделю, выдавал Динке. Она называла это «получкой» и тайну этих получек строго хранила от всех, хорошо понимая, что если узнает мама или хотя бы Мышка, то ей не поздоровится. Динка была отчаянной лакомкой и очень любила угощать своих подруг. Каждую субботу, получив от Лени «получку», она приглашала двух-трех девочек в кондитерскую Клименко, которая славилась свежими тянучками. Ходила туда Динка и одна. Кондитерская была маленькая, дверь из нее вела в жилые комнаты, где проживал сам Клименко с женой и восьмилетним сыном Колькой. Клименко был толстый, добродушный человек, он сам делал тянучки и выносил их в лавку на большом противне. Когда он шел с противнем в своем сером фартуке, мясистые щеки его тряслись и противень одним концом крепко упирался в живот, а жена, худенькая, с жидким пучком волос на затылке, бежала рядом, приговаривая: «Упирай в живот, Федя, упирай в живот, а то сронишь на пол!»

Иногда за стеной поднимался невероятный шум: это супруги гонялись за своим Колькой, который вдруг появлялся из комнаты и с грохотом тащил по полу привязанный за веревку противень. Тянучки были свежие, мягкие, они сбивались

в кучу, и супруги чуть не плакали. Один раз Динка вырвала у мальчишки веревку и, облокотившись на прилавок, спросила:

— Неужели вы не можете справиться с вашим Колькой?

Супруги, перебивая друг друга и вытирая обильный пот, катившийся по их лицам, стали жаловаться, что Колька никого не слушает, что ему надо учиться читать и писать, что они уже брали на дом учительницу, но Колька залезал под стол и щипал ее за ноги.

— Какой же человек будет это терпеть? Она, конечно, неделю походила и отказалась,— со вздохом сказал Клименко.

— Подумаешь какая невидаль — щипал за ноги! А я вот не отказалась бы! Хотите, научу вашего Кольку читать и писать? — предложила Динка.

— Господи! Да мы бы вас, барышня, со всех сторон ублаготворили бы! И тянучками, и шоколадом!..

— Хорошо! — согласилась Динка; в ее мечтах уже рисовался целый противень тянучек, упирающийся одним концом в ее живот.

Домашним она готовила сюрприз и никому ничего не сказала. Занятия начались на другой же день. Динка зашла в комнату Клименко, крепко заперла за собой дверь и, поймав упирающегося Кольку за ухо, потащила его к столу.

— Слушай,— сказала она.— Я тебе не папа и мама и не та учительница, которую ты щипал за ноги! Я сама могу сделать из тебя такую тянучку, что никто не разберется, где твои руки и ноги! Вот как я это делаю! — Динка схватила мальчишку за другое ухо и крепко зажала оба, сделав страшные глаза.

Колька завертелся и раскрыл рот, чтобы разразиться оглушительным ревом, но Динка выпустила его уши, строго пригрозив:

— Молчи, а то еще вытяну изо рта язык и подвешу к потолку!

Но это было только предисловие.

— Вот помни, Колька,— сказала дальше Динка.— Я не просто какая-нибудь учительница. У меня двенадцать брать-

ев-разбойников. У одного брата такие большие ноги, что всех мальчишек он давит, как козявок. Вот так: пройдет и раздавит! У другого брата такой большой рот, что он может проглотить тебя, как лягушку, и ты даже не успеешь квакнуть. У третьего брата громадный живот, куда он сажает всех лентяев. И если они начинают там хныкать, он бьет себя кулаками по животу и делает из них котлеты.

Перечислив таким образом своих одиннадцать братьев, Динка особенные качества придала двенадцатому:

— Этот брат мой обращается в муху. Он всегда летает в той комнате, где я занимаюсь с моими учениками, и достаточно мне крикнуть: «Курлы-мурлы! В-ж-ж!», как мой брат-муха впивается ученику в нос и высасывает из него всю кровь до последней капли! Понял ты теперь, какие у меня братья? — строго спросила Динка.

Колька покосился на окно, где ползали мухи, и спросил:

— А какая из них твой брат?

— А вот когда я крикну: «Курлы-мурлы! Вж-ж!», тогда и видно будет, какая из них мой брат! Да ты сразу почувствуешь это, когда муха вопьется в твой нос!

— А если я спрячусь в шкаф? — оглянувшись, спросил Колька.

Но Динка покачала головой.

— Мой брат пролезет в любую щелку.

Колька поковырял в носу и, опасливо глядя на мух, сложил на коленях руки.

— Но сама я добрая,— великодушно закончила Динка.— И если ты будешь хорошо учиться, я тебя поведу в «Иллюзион», где показывают всякие фокусы!

Закончив предварительную беседу, Динка взяла букварь, показала своему ученику четыре буквы, громко прочитала их, потом заставила его прочитать, потом написала эти буквы, потом, водя Колькиной рукой, снова написала их каждую в отдельности, потом сложила их и, получив слово «Коля», прочла вместе со своим учеником.

— Вот твое имя,— сказала она.

— А меня зовут не Коля, а Колька,— поправил ученик.

— Это неправильно. Кольками зовут плохих мальчишек, а когда они делаются хорошими, их зовут «Коля». Сегодня ты Коля.

— А муха? — спросил ученик.

— Муха здесь, но когда ты хороший, ей нет никакого дела до твоего носа,— успокоила учительница.

Занятия пошли гладко. Стоя на пороге лавки, мальчик нетерпеливо ждал свою учительницу и, садясь за стол, опасливо спрашивал:

— А братья твои где?

— Я только одного видела,— небрежно говорила Динка.— Но он так много насовал в свой живот мальчишек, что все время икал и с ним невозможно было разговаривать.

Случались и обещанные прогулки. Счастливые родители не скупились на «Иллюзион», и Колька, красный от удовольствия, возвращался домой полный впечатлений. Динкина педагогика действовала иногда и во время прогулок. Показывая однажды своему ученику громадную галошу, нарисованную на витрине магазина, Динка сказала:

— Моему брату с большими ногами эта галоша не лезет даже на самый маленький палец.

Колька был способный мальчик и, приохотившись к занятиям, ждал их с нетерпением. Но иногда, входя в комнату, Динка замечала в своем ученике расхлябанность и лень. Тогда, не приступая к занятиям, она с улыбкой подходила к окну или взглядывала на потолок, где жужжали мухи, и весело говорила:

— А? Здравствуй, братик! Ты уже здесь? А я только что пришла!

— А где он? Который? — тревожно спрашивал Колька.

Динка выбирала самую большую муху.

— А вон, вон он! Позвать его? — непринужденно спрашивала она, но Колька поспешно забирался за стол и мотал головой:

— Не надо. Пусть сидит там.

Благодарные супруги Клименко дарили Динке пакетики с тянучками и шоколадками. Динка приносила их домой, как первые, честно заработанные лакомства.

Алина приходила в ужас, Ленька хохотал, а Марина, побывав у Клименко, сказала:

— Они очень благодарили меня за Динку. По-видимому, это действительно честно заработанные тянучки!

К окончательному торжеству учительницы, Кольку после рождества удалось пристроить в первый класс гимназии, а весной он перешел во второй со всеми пятерками, кроме поведения. По поведению у него стояла четверка. Видимо, в гимназии уже не было братьев-разбойников и самый опасный из них, брат-муха, на занятия не допускался.

Вспомнив всю эту историю, Динка серьезно задумалась.

«Да, воспитание — дело сложное. Как я могу воспитывать Иоську, когда и с собой-то никак не справляюсь... Ведь это мало только любить детей, это что! Зацацкаешь его, избалуешь... Настоящий воспитатель должен быть всем: артистом, писателем да еще просто твердым, выдержанным человеком... Вот Жук... Попадется такой вожак, ребята его слушаются, а учит он их плохому, и ничего с ним не сделаешь».

Динка в волнении прошлась по комнате и, придерживая руками голову, остановилась перед зеркалом. «Ну что ты из себя корчишь, Жук? Подумаешь, какой-то особенный... Я тоже могу так...— Динка прищурила глаза, угрожающе сдвинула брови, хищно оскалила зубы и, глянув на себя в зеркало, громко расхохоталась: — Жук, и только! Вернее, карикатура на Жука... Вот чем можно сбить авторитет!» — торжествующе подумала Динка; откуда-то издалека ей послышался даже хохот ребят.

«Конечно, воспитатель должен быть хоть немного артистом... И еще писателем, потому что случись какая-нибудь история, не будешь же напрямки читать ребятам длинную нотацию... Нотация — это без пользы; сиди слушай и дрыгай ногой... А если вдруг задуматься и сказать: «А вот, ребята, мне припомнился один случай, очень похожий...» И рассказать почти такую же историю, но чтоб не рассусоливать, а то все пропало... И чтоб до сердца дотянуть. А не дотянешь, тоже все пропало. Да еще так, будто ты тут ни при чем... Ой, ой, ой! Ведь все это надо придумать тут же, на месте... Значит, нужен

писатель. А я что? Врушка... Несчастная врушка! Сама себе насочиняю, сама в это поверю, сама смеюсь и сама плачу... А кому это нужно? Одного Кольку и обманешь...»

Динка снова подумала об Иоське: «Это совсем другой мальчик. Он тихий, с такими, наверно, труднее. У Кольки на его веселой, круглой физиономии было все написано, а этого не сразу поймешь. Он уличный. Может, Цыган уже научил его красть. Может, его так же бьют торговки, как били Рваное Ухо...»

Перед глазами Динки встал высокий худой подросток с раскосыми глазами... «Как он вырос, этот Ухо,— подумала Динка.— Никогда бы не узнала я его на улице, разве только по глазам... И Иоську только по глазам узнала бы... И подумать только, где нам довелось встретиться!..» Динка ласково и удивленно улыбнулась.

* * *

Мышка приехала рано. После тяжелого дня в госпитале она еле добралась до вокзала. На станции Ефим забежал на почту. Писем от Марины не было. На хуторе, увидев сестру в постели с обвязанной головой, Мышка, забыв про свою усталость, нагрела воды, быстро и ловко промыла рану, залила ее йодом.

— Ради бога, скажи мне правду: что с тобой случилось? — спросила она.

— Да ничего особенного... Зацепилась косами за ветку, упала с лошади и ударилась головой о пенек.

Но Ефим, который привез Мышку, глубокомысленно заметил:

— Какой тут пенек! Такую дырку в голове только камнем или железякой можно пробить. Ну да разве ей это впервые? До свадьбы заживет, ничего!..

Ночью Мышка несколько раз подходила к сестре, но Динка спала. Ей снился лес, лес и лес... А в лесу играла скрипка... Но это не была скрипка Якова, и потому даже во сне у Динки мучительно болела голова.

Глава 19

РАДОСТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Богатырским сном спит Динка. Спит день, спит два — так всегда лечит она свои немудреные болезни. Просыпается только поесть и ест с закрытыми глазами все, что дают ей Марьяна или Мышка. Только на третий день ощущает она обычный прилив сил и, потягиваясь в постели, сонно приоткрывает то один глаз, то другой. А позднее утро уже деловито расхаживает по комнате, направляя яркий луч солнца то на одну брошенную в беспорядке вещь, то на другую, а то и просто на тонкий слой пыли, оседающий на этажерке, на зеркале и на полу.

«Чепуха,— сонно думает Динка.— Встану, приберу — вот и все!»

Слух Динки тревожат приглушенные голоса на террасе.

— А у нас в «Арсенале» почти все рабочие учатся...— словно издалека бросает чей-то ломающийся басок.

Динка поднимает голову с подушки, морщит лоб. Чей это голос? Кто это с такой гордостью произносит знакомые слова: «А у нас в «Арсенале»? Но она не успевает вспомнить, как другой голос, такой родной и знакомый, тихо говорит:

— Железнодорожники вообще передовой народ, тут дело даже не в грамотности, а в умении правильно разбираться во всем!

«Леня! Да это же Леня! Значит, он приехал!» Динка вскакивает, путаясь в разбросанной на стуле одежде, с трудом натягивает через голову платье и с радостным криком бросается на террасу:

— Лень! Лень!

Сильные руки подхватывают ее на пороге.

— Лень! Лень!..

Динка виснет на шее брата, трогает пальцем сросшиеся на переносье темные брови, короткий ежик пепельных волос.

— Ох, Лень, Лень... Тебя не было целую вечность! — захлебываясь от радости, говорит она и слышит дружный смех на террасе.

— Ну, проснулась? Куда и сон делся! — добродушно шутит Ефим.

— От же як любятся брат с сестрою...— растроганно качает головой Марьяна.— Все равно як невеста с женихом!

— Ну, Динка, Динка! Отпусти его сейчас же! Ты ведь уже не маленькая,— смущенно говорит Мышка, дергая сестру за платье.

Но Динка ничего не видит и не слышит. Леня заботливо и нежно заглядывает ей в глаза и, стараясь скрыть радостное смущение, спрашивает:

— Прошла голова у тебя, Макака? Прошла?

— Чепуха! — машет рукой Динка.— Зажило, як на собаке! — хохочет она, взбираясь на перила, и, быстро оглядев собравшихся на террасе, вдруг всплескивает руками: — Хохолок!

В углу террасы, прислонившись спиной к перилам, стоит темноволосый юноша. Смешливые губы его разъезжаются в улыбке, большие коричневые глаза щурятся от солнца, над высоким лбом круто и задорно, как вопросительный знак, поднимается темный хохолок.

— Ой сколько радости у меня в один день! — спрыгивая с перил и подбегая к нему, кричит Динка.— Здравствуй, Хохолок! Как ты смел так долго не являться? Уже прошло два воскресенья! У меня такие дела, а тебя нет как нет! — быстро-быстро говорит Динка и, схватив товарища за рукав, тащит его за собой.— Пойдем! Мне нужно многое сказать тебе,— шепчет она, поднимаясь на цыпочки и обхватывая рукой шею Хохолка.— Пойдем скорей!..

Мышка бросает тревожный взгляд на омрачившееся лицо Лени, на черные брови, сведенные в одну прямую черту, и сбегает с крыльца. Но Динку уже нельзя догнать, между кустами мелькают только две спины...

— Вечно эта Динка с какими-нибудь пустяками! Наверно, что-нибудь насчет собак,— неуверенно говорит Мышка, возвращаясь на террасу.

— Ну як же! Собаки-то у ней первая статья! — хохочет

Марьяна.— Сама не съест, а собак або Приму уж обязательно накормит!

— Золота дивчина,— вздыхает Ефим.— Только дуже рискова... ну так тому и быть,— заканчивает он, постукивая пальцами по столу.— Значится, Леня, ты поездкой своей доволен? — спрашивает он, меняя разговор.

— Ну как, доволен? Не все было гладко, а в общем, удалось и собрание провести, и кое-какие планы наметить. Недельки через две снова придется поехать...— задумчиво говорит Леня, и голос его звучит так тускло и устало, что Ефим сразу поднимается со стула.

— Ну, ходим, Марьяна, бо Леня с дороги устал, мабуть, и есть хочет! Як там борщ у тебя?

— Ой божечка! Та стоит же с утра в печи! Такой борщечок хорошенький: и со шкварками и со сметанкой! Ну як знала я, что Леня приедет!

— Да я, пожалуй, и не хочу есть! Просто устал немного. В вагоне тесно, всю ночь сидеть пришлось...— хмуро говорит Леня, и расстроенной Мышке кажется, что под пепельным ежиком брата и глаза стали серыми, как пепел, и синяки под глазами углубились, и сухие губы побледнели.

«Ну, противная Динка! Все настроение ему испортила! Дуреха какая-то со своим Хохолком! И тот как загипнотизированный за ней ходит! Пусть только приедет мама, обязательно все расскажу»,— с бессильным раздражением думает Мышка, хотя сама знает, что никогда не пожалуется на Динку матери, а если б и пожаловалась, то все равно ничего из этого не выйдет, потому что Динка даже не поймет, в чем она виновата.

Леня присаживается к столу и, приглаживая рукой волосы, ласково смотрит на сестру.

— Ну, а ты как, Мышенька? Как Вася? Было от него письмо?

— Да, как раз недавно... Вот, почитай...— Мышка бежит в комнату и приносит серый треугольник.— Почитай...

Леня читает про себя. По старой детской привычке губы его во время чтения шевелятся, и Мышка легко угадывает слова, которые неслышно произносит Леня.

— Да, вот видишь, видно, среди них кого-то уже арестовали...— взволнованно поясняет она.— Ведь это очень опасно, я так боюсь за Васю.

— Конечно, все может быть, но Васю голыми руками не возьмешь, он опытный в этих делах человек, знает людей. На рожон не полезет,— успокаивает Мышку Леня.

Марьяна приносит чугунок с горячим зеленым борщом и ставит его на стол.

— А ну, куштуйте, чи понравится мой борщок... Хочь трава вона и есть трава, ну, да я же и щавель кинула, и молодой крапивки да сметанкой забелила... А вот и по яичку вам до борща,— нарезая толстые ломти хлеба, аппетитно воркует над столом Марьяна.

Леня шумно тянет носом воздух и подвигает свою тарелку.

— Садись, Мышка, сейчас попируем с тобой! Спасибо, Марьяна, борщ замечательный! — попробовав первую ложку, говорит Леня.

— Ешьте, ешьте на доброе здоровьичко!

Марьяна ушла. Леня налил себе вторую тарелку борща и, глядя, как нехотя ест Мышка, покачал головой:

— Ну что ты еле-еле шевелишь ложкой, как кошка лапкой... Эх, нет Васи! Уж он бы заставил тебя съесть все до капельки!

Лицо Мышки залилось нежным румянцем.

— А знаешь, Леня, я только сейчас, в разлуке, поняла, как нужен мне Вася, как мне часто не хватает его...

— А мне и самому не хватает Васи. Правда, мы часто спорили с ним...— щуря глаза, словно что-то припоминая, сказал Леня.

— Так ведь вы спорили из-за Динки,— грустно сказала Мышка.

— Да, из-за Динки. Вася часто придирался к Динке... Он хотел бы вылепить из нее что-то по своему заказу, а это, конечно, не получалось. Помнишь, как сказала ему один раз сама Динка? — Леня с веселой усмешкой посмотрел на сестру.— Помнишь? Она тогда рассердилась на что-то да как крикнет: «Перестань меня воспитывать, я — Динка и Васей

никогда не буду!» — Леня засмеялся и, прикусив крепкими зубами горбушку хлеба, потянулся к кувшину с молоком.

Мышка налила ему стакан молока и, подперев щеку рукой, глубоко вздохнула:

— Но в одном Вася все-таки был прав, что никто по-настоящему не воспитывал Динку.

— Как это не воспитывал? Мама не воспитывала? — удивленно спросил Леня и, резко отодвинув стакан, встал.— Да мама всех нас воспитала, одним только собственным примером! Да что я, что Динка — кем бы мы были, если б не мама! Напрасно ты все это говоришь, Мышка! Какое еще воспитанье нужно? Да я бы голову оторвал тому, кто хоть на полмизинца изменил бы мою Макаку! — с юношеским негодованием закончил Леня.

Мышка, испуганная его горячностью, вдруг неудержимо-звонко расхохоталась.

— Ну и терпи,— говорила она сквозь смех,— я тоже буду терпеть... и все мы, потому что другую Динку мы не хотим!

— Конечно, не хотим! — усмехнулся Леня.— Ну представь себе хоть на минуту такой паршивый сон, в котором Динка вдруг появляется тихой, послушной, вежливенькой девочкой. Да я бы с ума сошел, честное слово, съехал бы со всех катушек!

Мышка снова расхохоталась.

— Ты и так съедешь! Можешь не беспокоиться...

Оба вдруг развеселились, и Леня, прищелкнув пальцами, весело сказал:

— А какую новость я вам привез! Такую новость, что вы с Динкой запрыгаете от восторга!

— Такую хорошую? Да? Ну так говори скорей! — заволновалась Мышка.

— Э, нет! Без Динки нельзя! Это надо при ней рассказать. Я всю дорогу представлял себе, как она вскочит и повиснет у меня на шее! Только что же она, Динка? Куда они пошли? — снова нахмурился Леня, стоя у перил и глядя на тропинку, уводившую в естественную аллею и дальше, к пруду.

* * *

А около пруда стояли два человека, и старший из них с потемневшим лицом взволнованно допрашивал:

— Кто тебя?

— А откуда ты знаешь...— начала было Динка, но Хохолок перебил ее:

— Я знаю тебя, и этого мне до-достаточно!

— Я думаю,— усмехнулась Динка.— Но все-таки ты же слышал, что я упала, зацепилась за ветку...

— Я все слышал и спрашиваю: кто тебя? Говори, потому что я все равно узнаю, и не жить мне на свете, если я этому негодяю не размозжу в черепки всю его башку! — вспыхнув, закричал Хохолок.

— Ой, тише, тише! — замахала руками Динка.— Ты совсем с ума сошел! Тут некого бить. Ты понимаешь, некого бить! Я сама виновата...

— Как это сама виновата? Сама себе разбила голову? Да что я, по-твоему, круглый дурак?

— Ой! — закрывая глаза и хватаясь за сердце, продолжала Динка.— Да выслушай ты сначала всю историю! Ведь я тебя так ждала... Ну пойдем, сядем на скамейку. Только не смей меня прерывать. Что ты, как баба, всякой царапины пугаешься?

— Да к-какая баба, у тебя же полголовы отхвачено...— снова начал было Хохолок, но Динка сердито толкнула его к скамейке и, усевшись рядом, начала по порядку свой рассказ об убийстве Якова, о поющей в лесу скрипке, о поисках Иоськи и о своем ночном путешествии в лес.

Рассказывая, она так волновалась и так снова горячо принимала к сердцу свою клятву, данную несчастной Катре, что губы ее начинали дрожать и с ресниц по осунувшейся щеке быстро-быстро спрыгивали капельки слез.

— Но дай мне слово,— говорила она, подходя в рассказе к началу путешествия в лес,— дай мне слово, что ты не пикнешь и не станешь никому угрожать.

— Хорошо, даю слово, что не стану угрожать,— послушно

повторил за ней Хохолок, осторожно вытирая своим носовым платком мокрые щеки подруги.

На пруду было тихо-тихо, даже птицы и лягушки не решались нарушить эту тишину, в которой слышался только прерывистый голос Динки.

— И вот, ты понимаешь... Они же все несчастные... И этот Жук тоже... и Рваное Ухо... Их и так много били... они же воры... Но я должна спасти Иоську, а он любит Цыгана, вот этого Жука... и не захотел ко мне... И мне нужно посоветоваться с тобой, что делать, а ты кричишь какие-то глупости. Ну кого тут убивать, подумай сам! — горячо закончила Динка.

— Мне думать нечего. Я этого простить не могу, будь он хоть трижды сирота, этот Жук... И это не твое дело, как я с ним поступлю, а Иоську привезу к тебе. Вот и все!

— Нет, это не все! — твердо сказала Динка, вставая со скамейки и отбрасывая от себя руку Хохолка с зажатым в ней носовым платком.— Это не все! А вот когда ты сейчас же, немедленно уедешь и забудешь навсегда, что жила на свете вот такая Динка...— Она дважды стукнула кулачком себя в грудь и гневно повторила: — Вот такая Динка... тогда будет все!

Хохолок тоже встал.

— Так никогда не будет,— спокойно сказал он.— И ты это хор-ошо знаешь...— Он сильно заикался, словно с трудом одолевал каждое слово — с таким трудом, что даже на гладком загорелом лбу его появились бисеринки пота.— Я сделаю все, что ты хочешь, но дай мне слово, что одна ты никогда больше не пойдешь туда.

— Конечно, я не пойду одна! Я пойду с тобой или с Леней.

— Ты расскажешь об этом Лене?

— Конечно. Я только не скажу, кто меня ударил. Я зря сказала тебе, но я думала, что ты все понимаешь, как я... и что думаешь так же, но я ошиблась...— горько улыбнувшись, сказала Динка.

— Я сделаю все, как ты захочешь... Но лучше мне не видеть этого... Жука,— с усилием сказал Хохолок.

Они возвращались молча. У дороги Хохолок попрощался.

— У нас сегодня собрание в «Арсенале». Отец просил вернуться пораньше, но через два дня я приеду. Не решай ничего без меня. Ладно? — попросил он, заглядывая Динке в глаза.

Она молча кивнула головой и пошла к дому.

Хохолок посмотрел ей вслед, словно хотел что-то еще сказать, но не окликнул ее и, выйдя на дорогу, зашагал к станции.

Глава 20

ЛЁНИНА НОВОСТЬ

Динка вбежала на крыльцо и, встретив неодобрительный взгляд сестры, с тревогой взглянула на Леню.

— У меня было важное дело...— виновато сказала она, прижимаясь щекой к его плечу.— А Хохолок уже уехал...— тихо добавила она.

— Как — уехал? — всполошился вдруг Леня.— Я же хотел узнать от него, что делается в «Арсенале»... И вообще, ни о чем меня не спросил и уехал!

Динка пожала плечами.

— У них какое-то собрание сегодня. Отец просил его не опаздывать,— недоумевая сама, пояснила она.

Леня в сердцах стукнул кулаком по перилам.

— Черт знает что! Какое собрание? Что, почему? Я же две недели не был дома... И ничего не сказать, не поинтересоваться даже, как прошла моя встреча с гомелевскими товарищами... Взять да уехать!

— Действительно, странно... Он даже не зашел попрощаться.— Мышка подозрительно взглянула на сестру.— Ты его чем-нибудь расстроила, Дина?

— Расстроила? — серьезно переспросила Динка и тут же утвердительно кивнула головой: — Да... я его расстроила.

Леня вспыхнул и, по-мальчишески дернув плечом, сердито сказал:

— Подумаешь, расстроила девчонка...

— Я для него не девчонка,— обиженно перебила Динка.

— Это все равно, кто ты для него. Для дела это не имеет никакого значения. И нечего путать общественные интересы с личными! А еще гордится: «Я арсеналец»! — разбушевался было Леня, но, встретив пристальный, напряженный взгляд Динки, мгновенно утих и, махнув рукой, засмеялся: — А в общем, он хороший парень! И все мы одинаковы. Я вот тоже приехал и размяк! — Он быстро взглянул на часы — подарок Марины после окончания гимназии — и, подмигнув сестрам, добавил: — Мог бы еще сегодня съездить повидать кой-кого, но не хочется: измотался я за эту дорогу и по вас соскучился до смерти! Да и спешного, в общем, ничего нет!

— Ну и не мучайся! Расскажи лучше, какая там новость у тебя. Динка, у Лени какая-то хорошая новость, но он не хотел говорить без тебя! — весело сказала Мышка.

— Новость? Хорошая? — подпрыгнула Динка.

Леня прижал к щеке ладонь и закрыл глаза.

— Сногсшибательная!

— Ну так говори же, говори! — затормошили его сестры.— Сразу говори!

— Сразу нельзя, надо все по порядку. Вот слушайте. Ну, приезжаю я в Гомель, захожу по указанному адресу... Ну, как обычно, семья железнодорожного мастера: жена, двое ребят. Сам такой степенный, пожилой, в очках... Оглядел меня с головы до ног, подал руку. Ну, кто, что, кем послан — обычные вопросы... Как сказал — из «Арсенала», от товарищей, так он оживился, сейчас жену локтем, самоварчик, то, другое...

— Ну, а где же новость? — нетерпеливо заерзала на перилах Динка.

— Да подожди, все же интересно,— остановила ее Мышка.

— Нет, Лень! Это можно потом, а раньше самую новость! — запросила Динка.

— Ну ладно! Сбила ты мое красноречие! Одним словом, поговорил; он пошел собирать народ, а председателя еще нет: он работает машинистом и должен прибыть прямо на собрание, а собрание на окраине, в домике обходчика. Ну, народ соби-

рается, ждем... Я, конечно, малость волнуюсь, все-таки не шутка ехать с таким поручением к незнакомым людям. А люди, надо вам сказать, особые, этакие просмоленные, крепкие, зря слов не бросают, и вопросов у них, вижу, много, нешуточных. Одним словом, настоящая рабочая интеллигенция. Есть и партийцы, председатель тоже человек партийный... Ну, разговор о том о сем, и вот входит человек, в кожаной тужурке, чистенький такой, ухоженный.— Леня обернулся к Динке и, увидев ее полуоткрытый рот, торжественно поднял палец.— И здесь будьте внимательны, начинается уже моя новость... Ну, поздоровались, он назвал фамилию, я не расслышал какую, заметил только сразу, что выговор у него какой-то нерусский и тип лица. Узкие, блестящие глаза, а улыбка... ну, сразу покорила она меня: открытая, все зубы на виду... «А, говорит, значит, ты товарищ из Киева? Да, Киев, Киев... Хороший город, хорошие люди, там моя родня живет. Такой человек, дороже золота, только давно не видел... Партийный человек, сам женщина. Может, слышал фамилию? Арсеньева, а называется Марина...»

— Ой! — подскочила Динка.— Ой! Это же наш Малайка! Малаечка!

— Неужели Малайка? — всплеснула руками Мышка.

Леня важно кивнул головой.

— Он! Машинист, партийный человек, председатель, пользуется среди железнодорожников непререкаемым авторитетом! Иван Иванович Гафуров!

— Господи! Малаечка! Да как же ты сразу не узнал его? — возмутилась Динка.

— Да когда я его знал? Один раз, еще мальчишкой, видел из щели забора! Только и всего! Вот Лину я сразу узнал, а ведь ее тоже не часто видел. И она меня! Как услышала, что я Леня, так сразу как бросится ко мне, как заплачет. Честное слово, я сам еле удержался... Ну, ну, Макака, глупенькая, ты чего? И ты, Мышка? Ну, знал бы, не рассказывал!

— Да ведь... Лина... нашлась,— всхлипнув, засмеялась Динка.

Мышка тоже смеялась, вытирая мокрые глаза.

— Так много связано с этими людьми... все наше детство! — словно оправдываясь, сказала она, но Динка уже тормошила Леню вопросами:

— Какая Лина? Здорова ли она? Ты был у них дома? Как они живут? Что говорила тебе Лина? Приедет она?

— Подождите, дайте сказать! Ивана Ивановича переводят сейчас в Коростень, там они и будут жить. Это не так далеко, и Лина обязательно приедет к нам, этим же летом! А сейчас она от своего Ивана Ивановича ни на шаг, боится, как бы не арестовали. Работа у него, конечно, серьезная. Одним словом, настоящий человек, а говорит о себе так: «Человеком меня сделал Александр Дмитриевич Арсеньев, без него я как был Малайкой, так бы и остался! А еще Лека помог, устроил учиться на машиниста...»

Новость обсуждалась взволнованно и радостно. Динка и Мышка засыпали Леню вопросами. Хотелось скорей обрадовать мать, говорили о письмах, которые задерживаются, проходя придирчивую проверку в полиции.

— Мама не пишет, потому что скоро приедет,— уверял Леня.— Арестовать ее не могли. О папе писать в письме она не хочет, а больше писать нечего, приедет и все расскажет сама,— успокаивал сестер Леня.

— Завтра воскресенье, почта будет закрыта...— озабоченно сказала Мышка.— А сегодня суббота...

Динка вдруг схватилась за голову.

— Сегодня суббота? — упавшим голосом переспросила она и вдруг, стремительно бросившись в комнату, начала выбрасывать из комода свои вещи.

Оставив на полу целую кучу белья и платьев, она сунула под мышку сборчатую зеленую юбку, герсет, вышитую рубашку и выскочила на террасу. Растрепанные косы расплелись и длинными прядями спускались ниже пояса, из-под руки торчал бархатный герсет вместе с зеленой юбкой, а рукав вышитой рубашки волочился по полу.

— Суббота, суббота... Федорку замуж... Жених... последние косы мать вырвет! Мне надо скорей бежать к Федор-

ке! — бессвязно бормотала Динка, шаря глазами по углам террасы. Заметив у перил кривой дручок, она со вздохом облегчения схватила его и, не оглядываясь на остолбеневших от неожиданности Леню и Мышку, бросилась бежать к экономии.

— Что случилось? — с тревогой глядя ей вслед, спросил Леня.

Но Мышка и сама ничего не понимала.

— Такого с ней еще не было...— испуганно сказала она.

— Не понимаю. Похватала какие-то вещи, набормотала всякой ерунды про какого-то жениха, про Федорку...— беспокойно сдвигая брови, сказал Леня.— Что она задумала?

— А! — догадалась вдруг Мышка и с облегчением перевела дыхание.— Это, наверно, свадьба у Федорки. Неужели все-таки свадьба?

— Постой! Какая свадьба? Она же сорвалась в чем была да еще поволокла за собой какие-то вещи и палку схватила! Нет, тут вовсе не пахнет свадьбой! Да и кого с кем венчать? — разводя руками, спросил Леня.

— Да Федорку мать выдает замуж! За какого-то вдовца-мельника! Ну конечно, Динка побежала на свадьбу! Но знаешь, это прямо ужасно: Федорка же совсем девочка и потом она, кажется, любит Дмитро... А эта сумасшедшая Татьяна отдает ее за старика! — с глубокой жалостью сказала Мышка.

— Ничего не понимаю! Да сколько же лет этой Федорке? Она ведь такая же, как наша Динка! — озадаченно пожимая плечами, сказал Леня.

— Ну что ж! Конечно, рано замуж, но в деревне с этим не считаются. А Федорке уже шестнадцатый год, Динка только на три месяца моложе ее. Ах боже мой, бедная Федорка! Неужели все-таки сегодня свадьба? — искренне огорчалась Мышка.

— Ну, знаешь, свадьба не свадьба, а какая-то чертовщина там происходит! Макака тоже зря не бросится как сумасшедшая. Я сейчас пойду туда, посмотрю сам, в чем дело! — решительно сказал Леня и, отряхнув на крыльце пропылившиеся в дороге брюки, зашагал по аллее.

Глава 21

«ОЙ, НЭ ХОДЫ, ГРЫЦЮ, ТАЙ НА ВЕЧОРНЫЦИ...»

По совету подруги Федорка весь тыждэнь[1] упорно молчала на все попреки и уговоры матери, зато и косы ее были целы, а к концу недели мать и вовсе подобрела и в субботу, обряжая дочку к приему жениха, ласково сказала:

— Вот так-то лучше, доню... Будешь сама себе хозяйка, над всем добром господыня. А что старый да рябой, так с лица воды не пить...

Федорка послушно дала вплести в косы новые ленты, надела веночек... Но когда мать, гремя подойником, ушла доить панских коров, Федорка в отчаянии заломила руки.

«Где ж Динка? Динка! Что же ты не идешь, подруга моя... Ведь последние часы наступают, последние часы девичьей свободы, вот-вот затарахтит коло хаты телега жениха и возвернется маты. Не зря, ой, не зря своими руками обрядила она дочку... А Динки нет как нет, уж давно перевалило за полдень солнце...»

Побежала б Федорка сама за Динкой, да не смеет отлучиться из избы. Не знает и Дмитро, что творится с его дивчиной.

«Ой, не знае, не чуе Дмитро, что жизня моя решается... Не идет, забула за свою подругу Динка...»

Плачет, припадает к оконцу Федорка. Но и Динка летит как встрепанная птица. Вот уже на крыльце метнулась куча цветного тряпья.

— Федорка!..

— Ой, боже мий! Де ж ты была до сих пор? Он же зараз подъедет!

Брошены на пол герсет и вышитая рубашка, Динка молча сдирает с себя платье и бросает его на печку.

— Где матка? — спрашивает она, не отвечая на упреки подруги.

— У коровник пишлы...— всхлипывает Федорка, глядя широко раскрытыми глазами на сброшенные сандалии и свесив-

---

[1] Тыждэнь — неделя.

шееся с печки Динкино платье.— Ой, божечка! Та чого ж ты раздягаешься? — с ужасом спрашивает она.

Но Динка только сопит, застегивая наспех сборчатую юбку и засовывая под нее вышитую рубашку.

— Подай платок... Хустку подай, темную, маткину,— командует Динка и, не дождавшись, сама хватает с гвоздя старый Татьянин платок, туго повязывает им голову, прячет под него косы и, стянув концы, завязывает их узлом на затылке.

— Та на що ж такэ страхолюдство? Повязалась, як старая баба,— разводя руками, всхлипывает Федорка.

Но Динка уже деловито оглядывает себя в огрызок зеркала и, удовлетворившись беглым осмотром, поднимает с пола кривой дручок, захваченный на хуторе.

— Вот,— быстро говорит она,— будешь махать этим дручком. Поняла? Как я на крыльцо, так и ты за мной! И ничего не делай, только маши дручком. Поняла?

— Эге... А як то махать? — испуганно спрашивает Федорка.

— Ну, як собаку отгоняешь! Маши и маши посильнее! — не надеясь на нее, морщится Динка.

Федорка неуверенно берет в руки дручок, а подруга уже гремит за печкой ухватом и, выбрав половчее кочергу, ставит ее около двери.

— Та что ж это будэ? — окончательно робеет Федорка и, вдруг охнув, бросается к окну.— Едет... Спаси меня, матерь божья, едет...— побледнев, оборачивается она к Динке.

— Тпру-у! Стой, тп-ру...— доносится со двора.

Подруги припадают к окну. Около тына останавливается телега. Щуплый мужичонка не торопясь слезает с телеги и, закрутив на колышке вожжи, обтирает пучком травы новые сапоги, отряхивает от пыли шапку, приглаживает редкие, прилипшие к темени седые волосы; теперь уже ясно видно его рябое, словно затолченное пшеном лицо, маленькие мышиные глазки и пучок серой бородки... Осторожно, словно на цыпочках, он снимает с задка телеги увесистый мешок и, крякнув, идет с ним к крыльцу.

— Билой муки привез...— шепчет словно про себя Федорка.

Но Динка внимательно вглядывается в жалкую фигуру согнувшегося под мешком мужичонки. Что-то горькое, вдовье чудится ей вдруг в этом рябом лице, испещренном глубокими морщинами, в крупных каплях пота на лбу, в остром кадыке на худой, жилистой шее.

«Жена у него умерла. Трое деток осталось. Может, за доброту Федорку берет... ради детей... Узнать надо».

Динка поспешно ставит за дверь кочергу и, бросив Федорке: «Выйдешь, когда позову...» — торопится на крыльцо.

— Здоровеньки булы, диду! — вежливо здоровается она, поправляя сползающий на лоб очипок.

— Здоровеньки булы! Здоровеньки булы! — кланяется мужичонка, стаскивая на ступеньку свой мешок и разглядывая Динку прищуренными от солнца, подслеповатыми глазами.

— А куда же это вы, диду, такой мешок приволокли? — с грустью и укором спрашивает Динка.

— Ну, а як же? Так полагается... Что обещал, то исполнил! — с гордостью отвечает мужичонка.— Билой муки невесте в подарунок привез! А матка где? — интересуется он, отряхивая с картуза мучную пыль.

— Нема матки, я за нее...— уже строже говорит Динка.— И невесты нема у вас тут, диду...

— Як то нема? — склонив набок голову с выжженными солнцем белесыми волосами, улыбается старик.

— А вот послухайте меня, диду... Знаю я ваше горе, знаю, что жинка у вас померла и трое деточек осталось,— проникновенно говорит Динка.— Только не в той хате ищите вы невесту. Вы старый человек, диду. Мало ли на селе одиноких старух, каждая с радостью пойдет, она и деток ваших воспитает...

— Цоб! Цоб! — подбоченивается вдруг мужичонка, дергая свою бородку.— А то для чего такой разговор? Мое дело уже договорено, и кончено! С батькой та с маткой договорено! А ты кто такая есть, чтоб мени указывать, га?

— А я человек, и ты человек! Совесть надо иметь, диду! Федорка — молода дивчинка, она тебе во внучки годится!

И замуж пойдет по любви, за молодого хлопца! И вот тебе весь мой сказ! — решительно наступает Динка, чувствуя закипающую ярость.— Забирай свою муку и забудь дорогу в эту хату!

— Да ты кто такая есть? Я тебя первый раз бачу! Лаяла псина коло чужого тына! И Хведорка твоя гола и боса, хай скажет спасибо, что я ее беру! — визгливо кричит мужичонка, наступая на Динку.

— Ах ты ж гадина! Я с тобой, как с человеком... А ты, вот как! — раздражается вдруг Динка.— Гей, Федорка! Живо! Бери дручка! — подбоченившись и яростно наступая на ошалевшего от неожиданности мужичонку, кричит Динка.— А ну, забирай свою муку и геть отсюда! Да чтоб ноги твоей поганой коло этой хаты не было!

— Да ты что, ты что, скаженна дивка! Я ж с маткой договаривался...

— Я тоби покажу — договаривался! Старый ты дурень, трухлява колода! Забирай, кажу, свой подарунок и тикай от хаты, бо я с тобой инше поступлю! — пиная ногами мешок, неистово орет Динка.— Дывысь, який женишок объявился! Ах ты ж дурень, дурень! — подбоченясь, издевается Динка; концы платка угрожающе качаются над ее головой.

Перепуганная насмерть Федорка с застывшим на лице выражением удивления и ужаса машинально машет вверх и вниз кривым дручком.

— А ты кто така есть, га? Яке твое полное право тут распоряжаться, га? Ах ты языката зараза! — придя в себя, вдруг обрушивается на Динку мужичонка и, прикрыв рукавом лицо, боком подскакивает к крыльцу.

Динка ищет глазами кочергу, но кочерга осталась за дверью. Но Динка не теряется. Ухватив с перил глиняный кувшин с квашеным молоком и яростно размахивая им, она бесстрашно наступает на жениха. Тугое квашеное молоко крупными снежками шлепается на белесую голову, на крыльцо, на ступеньки, на траву, и мужичонка не выдерживает. Подхватив на плечи свой мешок и осыпая Динку отборной руганью, он бежит к перелазу.

— Чтоб я тебя больше не бачила коло этой хаты! — орет Динка.

Мужичонка, пригнувшись, сбрасывает в телегу мешок и, нахлестывая лошадь, издали грозит кнутом.

— Передай, Федорка, своему батько: пусть только сунется теперь на мою мельницу, я вам покажу, голоштанна команда... Зараза проклятая!

— Жених! Жених! Дывытесь на его, люды добрые! Ах ты свинячий дух! — не унимается Динка.

Голос ее зычно разносится по экономии, кое-где уже кучками собираются бабы. Гремя подойниками и размахивая руками, от кучки баб отделяется Татьяна.

— Маты! Маты бегут сюда! Ой боже! Маты! — всплескивает руками Федорка.

Динка, окрыленная одержанной победой, хватает подругу за руку и тащит за собой:

— Бежим ко мне!

Федорка не сопротивляется. Взявшись за руки и поднимая ногами облака пыли, подружки мчатся по проселочной дороге... Но у самого хутора чьи-то сильные руки сжимают их в одном объятии.

— Ага! Попались, невесты! — хохочет Леня.— Попались!

— Ой, дывысь! Леня! — всплескивает руками Федорка.

Но Динка, оглянувшись назад, торопится домой. Для нее представление еще не кончено. Динка знает, что всякое достижение надо хорошо закрепить, иначе враг может обойти с тыла.

— Пойдем, пойдем! — торопит она развеселившегося Леню и забывшую все свои горести Федорку.

* * *

На террасе дружные взрывы хохота. Леня рассказывает, как, подойдя к плетню около Федоркиной хаты, вдруг увидел выскочившую на крыльцо Динку.

— Я сразу даже не понял, что это такое. Руки в боки, герсет расстегнут, на голове какой-то старушечий очипок... Да если

б не Федорка, я бы просто не догадался, что это Динка... Но Федорка... Ха-ха-ха!.. Федорка рядом... с перепуганным лицом стоит и машет... вверх и вниз, вверх и вниз... какой-то палкой... Ха-ха-ха!..— Леня падает животом на перила.— Ой, не могу...

— Ха-ха-ха!..— звонко поддерживает его Мышка.

— Ты слухайте... вона ж мне так приказала...— дергает обоих Федорка.— Маши, каже, и маши! Больше ничего не делай, только маши дручком. А сама зразу-то так хорошо с ним говорила, а потом як закричит, у меня аж руки и ноги затряслись. Стою и машу! Стою и машу, а сама себе думаю: что с этого будет?..— взволнованно поясняет Федорка.

— Да тише! Вы мне все испортите! — сердится Динка.— Ведь сейчас прибежит Татьяна...

— Ой божечка! — пугается Федорка.— Она ж за того жениха убьет меня на месте!

— Ну да! Так мы ей и позволим! — усмехается Леня.

Мышка, икая от смеха, пьет маленькими глоточками воду.

— Я не могу больше смеяться,— жалобно говорит она, но Мышкина икотка тоже вызывает взрывы смеха у развеселившейся компании.

И вдруг Динка настораживается.

— Татьяна...— громким шепотом предупреждает она, завидев в конце аллеи, за кустами, широкие рукава с красными пятнышками вышитых розанов.

— Маты...— в паническом страхе жмется к перилам Федорка.

На террасе все замолкают.

— Ну, вот что! — говорит Динка.— Живо, Федорка, снимай герсет и венок! Скорей, скорей! Давай сюда!

Федорка беспрекословно снимает герсет и венок. Динка поспешно кладет эти вещи на перила; венок сверху герсета.

— Теперь,— говорит она подруге,— иди в комнату и слушай каждое мое слово. Поняла? И не выходи, пока я сама тебя не позову.

Федорка кивает головой и послушно скрывается за открытой дверью на террасу.

— А ты, Лень, если не можешь удержаться от смеха, так лучше уйди!

— Нет-нет, не беспокойся, я удержусь! — уверяет Леня, вытирая платком потный лоб.

— И ты, Мышка,— еще строже говорит Динка, но Мышка отмахивается обеими руками.

— Нет, я тут ничего не могу, я не умею ни врать, ни притворяться... Я уйду! — унося в комнату свой стакан, говорит Мышка.

Не спуская глаз с мелькающей за кустами фигуры Татьяны, Динка быстро оглядывает террасу, макает палец в соль и, поплевав на него, устраивает себе на щеках длинные потеки. Потом, снова поплевав на палец, трет глаза.

— Что ты делаешь? — шепотом одергивает ее Леня.

— Плачу...— так же шепотом отвечает ему Динка и, накрыв голову старым платком Татьяны, усаживается на крыльце, подперев ладонью свой локоть и тихонько раскачиваясь из стороны в сторону.

— Кхе-кхе...— подозрительно закашливается Леня, но, вынырнув из-за кустов, Татьяна уже приближается к дому.

Она идет чуть прихрамывая, но босые ноги ее ступают твердо и решительно.

— Здравствуйте,— сухо говорит она, быстро оглядывая пустую террасу, стоящего у перил Леню и поникшую головой Динку.— А ну, Диночка, где моя Федорка? — воинственно начинает она, вытирая двумя пальцами рот и тяжело дыша от быстрой ходьбы.

— Нема вашей Федорки,— тихо и скорбно отвечает ей Динка, вытирая кончиком платка глаза.

— Як то нема? Погавкала, погавкала, як собака, да и нема? Навела такого сорому на свою хату, со всей экономии бабы сбежались, последними словами доброго человека облаяла, да и нема? — уже не сдерживаясь, кричит Татьяна, но Динка прерывает ее тихим воем.

— Ой, боже мий, боже мий...— причитает она, раскачиваясь из стороны в сторону.— Тож не вона его ругала, а я... Вона ж, моя голубка, валялася у хаты, як та чурка безды-

ханна... Закрылися ее глазоньки ясны, побелело лыченко, як та звестка... Ой, боже мий, боже мий...

— Шо то ты кажешь, Диночка? С чого ж то вона така бездыханна валялась? — растерянно спрашивает Татьяна.

— А с того, что жизни хотела себя решить... Хорошо, набежала я на ту пору,— горестно рассказывает Динка.— Заскочила я в хату, кричу: «Федорка! Федорка!» А вона, подруга моя, закрутила на шее полотенце, накинула его на гвоздочек да и висит, як мертвое тело...

— Ой боже! — с ужасом прерывает ее Татьяна.— Да чи то правда, Диночка, что ж ты лякаешь меня, голубонька... Где моя Федора? Дэ вона, доню моя?

Динка быстрым взглядом окидывает ее из-под платка и замечает под мышкой Татьяны свернутое в узелочек платье, которое она бросила в хате на печку.

— Жива ваша Федорка... Сняла я ее с гвоздя. Чуть сама памяти не лишилась, взопрела вся, пока снимала. Брызгала ее водой, аж платье на мне взмокло, бросила я его у вас на печке...— удрученно рассказывает Динка.

Глаза у Татьяны делаются круглыми и медленно наливаются слезами.

— Вот же ж и платье твое... Ох, доню моя, неужели ж справди на такое дело вона решилась? Не обманюй меня, Диночка, бо я ж маты... Кажи, моя дитына, где Федора? Ленечка, где Федора?

Но Леня мрачно смотрит в пол. Он находит, что Динка уже переигрывает, но, боясь испортить ей игру, молчит. Но Динка и сама уже меняет тон.

— Нема чого вам плакать, Татьяна! Жива моя подруга Федорка, только не пойдет она к вам больше! — сердито говорит Динка.— Вы ж ей все косы вырвали за того сивого дурня! А он же с дракой на меня полез, машет руками, как граблями, и последними словами клянет! Чтоб, каже, була проклята эта хата, да чтоб она сгорела до черного угля, да чтоб все дети в ней погорели и очи бы у всех полопались! Ну? Вот какой злодий ваш жених!

— Та с чего же он як собака с цепи сорвался? Человек як человек... Казалы бабы, що с подарунком приехал...— недоумевает Татьяна.

— Эге! С подарунком! Мешок жвачки привез, да и тот обратно забрал! Я ему кажу: «Занедужила ваша невеста, прогуляйтесь до коровника, там ее маты!» А вин мени зараз таки слова: «Хай вона, каже, сгорыть, та маты!»

— Ах ты ж варнак! Каторжна твоя душа! — хватаясь за сердце, кричит Татьяна.

Динка мгновенно оживляется.

— Ну, вин на мене, а я на его! «Геть, кажу, видселя, як ты саму матку не повожаешь!» А вин — в драку... Ну, ухватила я горшок с квашеным молоком да в него! Да в него!..

— Эге! Эге! Люды ж так и казалы: вылез он с нашего двора, як мыша в сметане... От, значить, якэ дило... пострадала ты за нас, Диночка...

— А что я? Мне подругу жалко. Росли мы с ней, как две былинки в поле...— снова жалостно затянула Динка.— Только несчастна ее доля, ридна маты пожалела ей кусочек хлеба, повыдергала ее долги косы, выгнала с хаты на все четыре стороны... Ни, тетю Татьяна, нема у вас больше дочки, не пойдет до дому Федорка, преклонит вона свою бидну голову у чужих людей...

— Ой боже мий!.. Яки слова у тебя... Та хиба ж я своей дитыне добра не желала? Мы ж от роду, вот как есть, босы и голы. А я ж ей богатого человека нашла. Но як такой шкандал получился, я и слова больше не скажу... Федорка! Донечка моя! Выйди до матки, дитына моя! Бог с ним, с тым женихом! Выйди, доню! Не трону я тебя, даже пальцем не трону! — заливаясь слезами, умоляет Татьяна.

— Кхе! Кхе! — нетерпеливо кашляет Леня, но Динка не спеша поднимается со ступенек.

«Ничего, ничего... пусть поплачет, пусть прочувствует»,— думает она, заглядывая в комнату.

«Как бы Федорка не подвела. Может, хихикает тут...» Но Федорка не хихикает. Жалостные слова Динки проникли в ее сердце и возбудили в ней такую обиду за свою несчастную

судьбу, что, притулившись к двери, она давно уже обревелась самыми искренними слезами и, выглядывая оттуда распухшими щелочками глаз, даже сказала:

— Не пиду я...

Но Динка вывела ее на террасу и, словно передав в верные руки свою роль, спокойно уселась на перила.

— Не пиду я, мамо, до дому... Вы ж мени вси косы выдрали, кусочек хлеба для меня пожалели, за старого да поганого замуж гнали...— жалуется словами Динки Федорка.

— А то что за комедия? — раздается неожиданно под террасой голос Дмитро.— Никуда она не пойдет, тетка Татьяна, бо я вам заявляю: як вы таку панику делаете, то я вашу Федорку зараз возьму за себя! Вот и бумаги я схлопотал; потому как ей еще шестнадцати нету, так поп велел сотню яиц принести або поросенка, и он нас обвенчает. А вы как хочете, тетка Татьяна. Хочете — считайте меня зятем; не хочете — ваше дело! А нам от вас ничего не нужно. Руки, ноги у нас есть, мы на свою жизню всегда заработаем! Вот вам и весь мой сказ!

Появление Дмитро является неожиданным даже для Динки, но она быстро смекает, в чем дело.

— Поздравляю тебя, Федорка, с законным женихом Дмитро...

— Наливайко...— важно подсказывает Дмитро. Он стоит в новой свитке, в чистой вышитой рубашке и в сапогах, которые дал ему безногий солдат.

— Поздравляю тебя, подруга,— говорит Динка.

Федорка крепко стискивает ее шею.

— Не забуду... Скольки проживу, не забуду...— бормочет она, заливаясь слезами и не смея поверить в свое счастье.

Но Динка торопится закрепить эту минуту.

— Поздравляю вас, тетя Татьяна, с законным женихом! — говорит она, целуя сухие щеки Татьяны.

— Поздравляю вас, тетя Татьяна! — подходит и Леня.

Татьяна стоит, опустив руки, и не то радостная, не то горькая улыбка трогает ее собранные в складочки губы.

— Поздравляю тебя, Дмитро!

— Поздравляю, Федорка! — изо всех сил торопится Леня.

И, словно предвестник Федоркиного счастья, из комнаты слышится чистый, светленький голосок Мышки:

— Как я рада за тебя, Федорка! Как я рада! Будь счастлив, Дмитро! Поздравляю вас с радостью, тетя Татьяна!

И сломленная Татьяна сдается.

— Ну, так тому и быть! — говорит она.— Засылай сватов, Дмитро! А ты, доню, проси на заручены! А теперь, диты мои, пора и людям спокой дать. Ходимте до дому. Иди ты, дочка, по леву мою руку, а ты, сынок, по праву! Нехай не скажут про нас люди, что мы всех женихов упустили!

Когда процессия удаляется, Леня хватает в охапку Динку и кружится с ней по террасе.

— Поздравляю тебя, Макака, поздравляю!

— Ой, я так боялась, что она переиграет! — говорит Мышка.

— Ну да! Я знаю меру...— самодовольно улыбается Динка.

Глава 22

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

О серьезных делах и о дорогих отсутствующих в семье Арсеньевых никогда не говорилось мимоходом, эти разговоры обычно переносились на вечер, когда все были в сборе и никто чужой не мог уже помешать. На хуторе, после отъезда Алины, такие беседы происходили в маленькой опустевшей комнатке, где под окном шелестела ветвями Алинина березка, прямая и тоненькая, как сама Алина. Такая березка росла под окошками и младших сестер — у каждой своя, а под окном Лени — молодой дубок... Эти деревца были посажены в первую осень жизни на хуторе, когда в саду появился неожиданный дорогой гость — «ничейный» дед-отец... С тех пор не раз сгущались над хутором грозные тучи и горькие слезы, как осенние дожди, промывали белые стволы берез. Смерть Никича, арест отца, умирающий в ссылке Костя, прощание с Алиной...

Обо всем этом подолгу говорилось и думалось в комнатке старшей сестры.

Здесь все было по-прежнему. Накрытая байковым одеялом узкая девичья кровать, письменный стол, любимые Алинины открытки на стене, ее книжки и учебники на этажерке и всегда свежий букет полевых цветов, смешанный с сухой шелестящей травкой «степное сердце». Осиротевшим сестрам не нужно было напоминать, чтоб они меняли «Алинины букеты», Динка и Мышка делали это сами, и каждая, войдя в комнату на минутку, останавливалась перед большим увеличенным портретом худенькой большеглазой девушки со знакомой строгой улыбкой.

«Как тебе живется, Алиночка, родненькая?» — безмолвно спрашивала Динка. Но Алина не отвечала на этот вопрос даже в своих письмах. Она ни на что не жаловалась, прорываясь только иногда короткими и страстными словами: «О, как бы я хотела однажды утром проснуться в своей комнатке...» И еще часто, обращаясь к сестрам, она писала: «Цените, цените каждую минутку, каждый шаг, когда вы можете прижаться к маме, целовать ее руки и обнимать друг друга...»

На этих горьких словах чтение письма прекращалось.

— Я поеду за ней! — хмуро говорил Леня.

— Нет,— твердо отвечала Марина.— Она вернется сама или никогда не вернется.

Человек, которого выбрала для себя Алина, никому не нравился, в семье Арсеньевых он всегда казался чужим, случайно зашедшим в их дом.

— Это какой-то «чиновник особых поручений»,— насмешливо отзывалась о нем Динка.— И чего он всегда такой накрахмаленный?

Всех студентов и гимназистов, которые собирались на Алинины «четверги», называли просто по имени, но жених Алины, аккуратный молодой человек с прилизанными височками, сразу отрекомендовался Виктором Васильевичем. Может быть, оттого, что он был самым старшим и во время своего жениховства заканчивал четвертый курс университета.

Алина была очень общительной и серьезной девочкой. В последнем классе гимназии она много читала и, организовав вокруг себя кружок девушек и юношей, устраивала по совету матери каждую неделю громкое чтение и обсуждение прочитанного. Такие дни назывались «четвергами». Жених Алины тоже присутствовал здесь и охотно принимал участие в обсуждении.

Динка удачно копировала его, делая какие-то жесты и медленно процеживая каждое слово. Домашние хохотали, а Алина обижалась:

«Что это такое, мама! Я не могу пригласить ни одного свежего человека...»

«А ты приглашай не свежего»,— буркнула Динка.

Однажды, чтобы угодить Алине, она добровольно решилась прослушать целую лекцию Виктора Васильевича «О хорошем и дурном тоне». Увлеченный своим красноречием и благоговейным вниманием Алины, Виктор Васильевич, усевшись против Динки, медленно и долго втолковывал ей, как нужно вести себя в обществе и по каким признакам избирать для себя это общество. Говорил он со вкусом, тщательно подбирая слова и примеры, а Динка сидела перед ним, опустив глаза, и, положив ногу на ногу, тихонько шевелила носком ботинка. Когда Леня заглянул в комнату, Динка уже нетерпеливо качала ногой... Леня вызвал Алину.

«Прекрати это,— сказал он.— Кошка уже вертит хвостом...»

Но Алина была уверена, что Динке необходимо выслушать серьезного взрослого человека. И Динка выслушала, но когда Виктор Васильевич сказал, что он еще повторит свою лекцию, она вскочила и, заткнув обеими руками уши, закричала:

«Еще? Еще раз вынести такую скучищу? Да что я, мертвая или живая? Читайте свои лекции над покойниками!..»

Все в доме были в отчаянии, когда Алина дала согласие на брак с этим чужим и неприятным человеком.

Марина со слезами уговаривала дочь подождать, приглядеться...

«Ты же совсем не знаешь его, Алина...»

«Это вы не знаете,— отвечала Алина,— а я знаю... У него очень хорошая семья: мать и брат. Кстати, брат его тоже политический, и сейчас он в ссылке...»

«Так ты же выходишь замуж не за брата»,— вмешался Леня.

Но Алина никого не хотела слушать, и теперь ее письма были полны сдержанной грусти. В одном из писем она писала, что хочет работать, но мать мужа и сам Виктор очень «оскорбляются» этим желанием, так как считают себя людьми обеспеченными; не понимают, чего ей не хватает...

«Алина борется...» — кратко сказала об этом письме Марина. И все поняли, что в жизни Алины наступил какой-то перелом. С тех пор писем больше не было, и на близких это молчание лежало тяжелым камнем. К этой тревоге прибавилось еще и беспокойство за мать. Поэтому, едва кончилась веселая комедия с Федоркиным сватовством, как Мышка сказала:

— Поговорим сегодня о наших... Надеюсь, Динка, у тебя больше нет никаких историй?

Время близилось к вечеру. Динка, усталая и погасшая после недавнего вдохновения, валялась на траве рядом со своим другом Нероном и, положив голову на его пушистую шерсть, дремала. Собака тоже спала, изредка поднимая морду и косясь глазом на спящую хозяйку. Солнце светлыми пятнами падало на траву, на заросшие дорожки, на террасу, где Мышка стирала в тазике свой белый передник и косынку, на босые поджатые ноги Динки. От сарая слышался стук молотка и доносился запах дегтя, которым Леня смазывал бричку.

— Дина! У меня единственный вечер, когда я свободна, мы должны подумать, что делать, если от мамы не будет письма...— снова начала Мышка.— Поэтому отложи пока все свои истории.

— Да у меня только одна история, я потом сама расскажу ее Лене.

— Ну нет! — возмутилась Мышка.— Не морочь нам головы, Дина. Достаточно того, что весь день мы провозились сегодня с Федоркой.

— Ну хорошо, хорошо... Я могу отложить, я же и сама устала. Ты думаешь, все так просто? Раз, раз — и готово? Одна история, другая история... Попробуй сама с ними справиться, тогда узнаешь,— сонно забормотала Динка, но Мышка, опустив над тазом руки, покрытые до локтя мыльной пеной, расхохоталась.

— Ой, не могу! Когда ты вырастешь наконец? — сказала она, глядя на Динку с ласковой снисходительностью старшей сестры.

— Когда вырасту, тогда и вырасту...— ворчливо откликнулась Динка, поднимаясь и заплетая растрепавшиеся косы.— Только ничего от этого не изменится, можешь не надеяться. У человека бывает один характер, а не двадцать, и сердце только одно. Значит, что у меня есть, то уже и останется!

— С чем тебя и поздравляю! — снова засмеялась Мышка.— Только на сегодня ты уже отрешись от всяких своих дел хотя бы на один вечер!

— Об чем разговор? — спросил Леня, появляясь перед террасой и вытирая тряпкой запачканные дегтем руки.— Макака! Налей в умывальник водички или возьми у Мышки в тазике мыльную, слей мне на руки!

Динка сбегала за водой, выхватила из рук Мышки тазик и полила Лене на руки.

— Ну вот и хорошо! Только дегтем от меня несет, как от праздничных сапог! Зато уж смазал колеса на совесть, теперь скрипеть не будут! До вечера еще наколю дров. А как насчет какой-нибудь еды? Может, попробовать подкопать картошку?

Сестры озабоченно переглянулись.

— Молодой еще нет. Она вся такусенькая! — Динка показала на кончик пальца.

— А старой тоже нет. Есть немного пшена и кусочек сала...— задумчиво сказала Мышка.

— Ну и хорошо! Я сейчас сварю кулеш! — с готовностью отозвалась Динка.— Сейчас! Неро, пошли за луком! Айда! Живо!..

Когда она убежала, Леня посмотрел ей вслед и, облокотившись на перила, тихо спросил:

— Не знаешь ли, отчего расстроился Андрей? Ничего не сказал и уехал. Динка не рассказала тебе?

— Нет! Но как будто ты не знаешь Динку? — пожимая плечами, ответила Мышка.— Мало ли что она ему наговорила...

— Андрея не так легко расстроить... Я хотел бы знать, что это за история,— серьезно сказал Леня.

— Не беспокойся, она и тебе наговорит, только уж сегодняшний вечер оставим для мамы... Я просто не нахожу себе места от беспокойства...

— Да, маме очень трудно... Надо решить, не поехать ли мне к ней на помощь... Но раньше я должен отчитаться в своей поездке. Ну, сегодня поговорим обо всем! — решительно закончил Леня.

* * *

Через полчаса Динка уже сидела около костра, над которым в солдатском котелке весело булькал ее кулеш.

Три козявки — три хозяйки
Шли на рынок покупать,
Вот на рынке три корзинки,
А хозяек не видать...—

напевала Динка, нарезая тоненькими кусочками сало.

— Неистощимая у тебя энергия! — засмеялся Леня, подкладывая в костер наколотые чурки.— Только что лежала свернувшись клубочком, как серенький ежик, а тут, гляди, какую бурную деятельность развернула!

— А ведь это всегда: если человек устал от какого-нибудь одного дела, ему нужно просто перейти на другое,— серьезно ответила Динка.

— Ну, а зачем тебе понадобился этот костер и котелок? Можно было поставить кастрюлю на плиту!

— Как это на плиту? Кулеш варят в котелке, и он должен

пропахнуть дымом,— убежденно сказала Динка, облизывая ложку.

Ей уже давно хотелось испробовать котелок, который она купила с рук на одном из дачных базаров. Вместе с солдатским котелком купила она и старую зажигалку — для курящих. В тот день на хутор приехал Андрей.

— А кто же тут курящий? — усмехнулся он, глядя на Леню.

— Пока никто. Но ведь это только потому, что вы оба еще ненастоящие мужчины. А когда вы станете мужчинами...— щелкая зажигалкой, сказала Динка.

— Вот как? — расхохотался Андрей и тут же серьезно сказал: — Ну, если, по-твоему, доблесть начинается с папиросы, то в следующий раз я привезу с собой целую пачку «Казбека»!

— А я подарю тебе зажигалку! — обрадовалась Динка.

— Ну-ну,— хмуро сказал Леня,— не дури, Андрей! Ты мне еще и ее научишь курить!

— «Ты мне»!..— повторил Андрей, и темные глаза его сузились.— А нельзя ли без этой приставки?

— Нельзя,— решительно сказал Леня, и брови его сошлись в прямую черту.— Эта приставка была, есть и будет!

— Ты... так увер-ен в этом? — глядя ему прямо в глаза, спросил Хохолок.

— Да,— отрывисто заявил Леня.— И тебя прошу помнить об этом, на всякий случай!

— Я могу помнить,— усмехнулся Андрей.— Но я ни в чем не уверен!

Динка, напряженно вглядываясь в лица обоих товарищей, силилась понять, о чем они говорят; она чувствовала, что между Леней и Андреем легла какая-то тень, словно пробежала черная кошка. И эта кошка — она, Динка.

— Не смейте так разговаривать! — закричала она.— Я не хочу, чтоб вы спорили из-за какой-то зажигалки! Вот вам, если так! — Она вскочила и, с силой размахнувшись, забросила зажигалку в кусты орешника.— Вот вам!

Глаза Лени просияли, брови разгладились.

— Макака,— ласково сказал он,— ты ошиблась, нам не о чем спорить!

— Нам не о чем спорить,— согласно повторил Хохолок, но в уголках губ его таилась упрямая насмешка.— Мы просто говорили о куренье!

— Это очень вредная штука,— весело продолжал Леня.— И ты права, что забросила свою зажигалку, потому что никто из нас курить не будет!

— Нет,— быстро прервал его Хохолок.— Я буду! Если она захочет, я буду!

— Я не захочу! — быстро сказала Динка.

Эта коротенькая размолвка из-за зажигалки не прошла для нее бесследно; она чувствовала, что в отношении Лени и Андрея вкралось что-то новое. Кроме того, ей просто жаль было зажигалку. Но искать ее в кустах Динка не стала...

Вспомнив об этом сейчас, она недовольно сказала:

— Можно было б разжечь костер зажигалкой... а я разжигала спичками...— Она хотела вернуться к тому странному разговору и хорошенько расспросить Леню.

Но Леня спокойно сказал:

— Спичками тоже хорошо, были б сухие щепки, а щепок я тебе еще наколю!

И, взяв топорик, ушел.

Ужинали на террасе, когда уже стемнело. Кулеш, пропахший дымком, показался всем особенно вкусным. И Динка, которая очень любила, чтобы ее подхваливали, сама распоряжалась за столом, накладывая Лене и Мышке полные тарелки, не забывая и себя. Может быть, поэтому да еще потому, что день был слишком насыщен всякими впечатлениями, настоящего вечернего разговора не получилось.

В комнате Алины горела лампа под зеленым абажуром. Пронизанные ее светом, в раскрытом окне качались ветки березы с нежными разлетающимися листочками, тонкий месяц острым серпом прорезал темно-голубые облака, одуряюще пахло лесными фиалками. Слова были короткие, а молчание длинным. Говорить, казалось, не о чем.

— Надо ехать к маме...— вздохнула Мышка.

— Да, надо ехать. Я завтра же поговорю об этом...— тихо отозвался Леня.

— От Алины тоже давно нет письма,— снова вздохнула Мышка.

— Что-то изменилось в ее жизни,— предположил Леня.

— Может быть, теперь она примет «Емшан»? — с надеждой сказала Динка.

И все посмотрели на портрет. Но старшая сестра при свете зеленой лампы казалась особенно строгой и недоступной, и все трое вспомнили, что она не любила посвящать кого-нибудь в свои дела, и тем более не любила она, чтоб ее дела обсуждались даже самыми близкими людьми.

— Ну что ж! Как будет, так будет,— покорно сказал Леня.

— А Малайка, или этот Иван Иванович, ничего не говорил тебе, Лень? Может, приедет к нам Лина? — вдруг спросила Динка.

— Нет,— сказал Леня.— Лина не может приехать сейчас, ее приезд мог бы послужить ниточкой для полиции. Да! — вдруг вспомнил Леня.— Через недельку оттуда должен приехать один железнодорожник...

— К нам, на хутор? — оживилась Динка.

— Да, он привезет шрифт. Его нужно будет срочно переправить в город... Но это еще не скоро, я думаю, мама вернется к тому времени,— сказал Леня.

— Но почему мама ничего, совсем ничего не пишет о папе? Ведь она уже видела его, хоть одно свидание уже во всяком случае было...— снова заволновалась Мышка.

— А может, в письме нельзя писать. Может, что-нибудь такое, чего нельзя? — предположила Динка.

Леня встал и, потянувшись, хрустнул пальцами.

— Я поеду,— решительно заявил он.— Если завтра не будет письма, я поеду!

— А завтра воскресенье и почта закрыта, но я отвезу вас на станцию и постараюсь повидать Почтового Голубя. У тебя, Мышка, длинный день завтра? — спросила Динка.

— Да, конечно, я вернусь с вечерним поездом, но Леня, может, приедет раньше?

— Да, я постараюсь поскорей вернуться, хотя мало ли что могло случиться за это время... На заводе Гретера и Криванека ожидалась забастовка. Ну и чудак, на самом деле, этот Андрей! Как это уехать и не сказать даже хоть коротенько, что делается в «Арсенале» и вообще... Я просто удивляюсь ему! — с досадой сказал Леня.

— Не сказал — значит, ничего нет серьезного, иначе он так не уехал бы, хоть и расстроился,— чувствуя потребность защитить товарища, буркнула Динка.

Мышка махнула рукой.

— Вообще, Динка, ты пользуешься свом влиянием на него и заставляешь его делать какие-то глупости! Ты меня извини, но противно смотреть, как этот серьезный и неглупый человек бросается, чтобы исполнить любой твой каприз! Я понимаю, что вы давно дружите, что он тебя очень любит, но тем более, Дина, стыдно тебе набивать его голову всяким вздором и делать из него какого-то дурачка, тогда как он совсем другой человек в «Арсенале», рядом с такими людьми, как его отец, как Боженко...

— Боженко очень дорожит им...— вставил Леня, неодобрительно глядя на Динку.

— А что я делаю? Что я особенного делаю? — возмутилась Динка.— Я только делюсь с ним всем, что у меня на душе... Мне же не с кем даже поговорить!

— А о чем тебе говорить? Ты живешь, Дина, как во сне. В каком-то кошмарном сне, где вечно фигурируют то кулаки, то убийцы, которых нужно немедленно перестрелять. Я понимаю, что тебе жалко Иоську, жалко Федорку, и ты бросаешься всем на выручку, но, честное слово, Динка, есть более серьезные вещи, и человек, которому пятнадцать лет, не должен уже бросаться очертя голову во всякие приключения. И тем более не должен из-за пустяков отвлекать от этого дела своих друзей...— Мышка говорила много, горячо, с искренним негодованием.

Леня понимал, что она права, но он с тревогой смотрел на свою Макаку, которая слушала молча, словно впитывала каждое слово сестры, иногда взглядывая на него, Леню...

И он не выдержал:

— Ну, ну Мышка... Ты очень преувеличиваешь все! Дружба есть дружба...

Динка порывисто поднялась с места.

— Не защищай! — горько сказала она.— Не в этом главное.

Она минутку помедлила.

— Главное то, что я одна... И никто на свете, кроме Хохолка, не может понять меня. Ты, Мышка, давно уже Васина, а Леня — мамин. И я одна...

Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью, и через минуту до огорошенных ее словами Лени и Мышки донесся топот копыт...

— Вперед, Прима! Вперед!..

Глава 23

ВО ПОЛЕ БЕРЁЗА СТОЯЛА...

Поле, поле... Бескрайнее поле, засеянное густым низкорослым овсом... Панское поле и панский овес. Отборные семена брошены в рыхлую землю, а все же при свете месяца горят в нем, как огоньки, красные цветочки сорняка, а на меже синеют васильки. Налетит ночной ветерок, пронесется над овсами с сухим звоном, потревожит в гнездах птиц, пробегут по земле перепелки, выглянут из овса заячьи уши, и снова тихо, только сухой звон от желтеющих колосьев. Не слышно и топота, мягко ступают на пыльной дороге копыта Примы. Не управляет лошадью хозяйка, и, добравшись до зеленого островка, где стоит в поле одинокая береза, щиплет густую траву Прима, смачно пережевывает ее крепкими зубами и, подняв голову, ждет, словно хочет спросить:

«Куда едем и не пора ли домой вернуться?»

Нет, не пора... Бросив поводья и держась за гриву, Динка мягко сползает на землю и, прислонившись к теплому боку Примы, долго-долго стоит задумавшись. Много надо сил, чтобы жить на свете своим умом, да еще если слушаться своего сердца



и своей совести. Куда летит камень, не думаешь, а попадет в тебя — узнаешь.

«Не подходящий я человек для жизни. Стою одна, как эта береза в поле. И никому от меня нет ни пользы, ни радости,— горько думает Динка.— Уж на что Мышка — добрая, справедливая, нет у ней ни единого пятнышка на совести, а что же наговорила мне сегодня Мышка... Говорила и говорила, как чужая. И Леня молчал. Трудно ему молчать, когда обо мне говорят плохое, но он молчал; только потом что-то сказал, просто так сказал, не выдержал. Вот, значит, какая я. Росла, росла и выросла. Ни себе, ни людям. Сердятся они и на Хохолка за любовь ко мне, но Хохолок ни на кого не смотрит, никого не слушает и никого не боится. А сколько он терпел из-за меня!..»

Динка отводит лошадь от овса и опускается на траву. Далеко, далеко куда-то убегает ее мысль. Видит она себя девчонкой в коротком гимназическом платье; в мокрых чулках бегает она по лугу и рвет мохнатые фиолетовые цветы — «сон»... А под деревом тоненький реалистик стругает перочинным ножом палочку. Не думает о нем Динка... А ведь это из-за нее он в первый раз пропустил уроки, и дома его ждет строгий отец... Отец...

Морозный холодок пробегает по спине Динки, но сердце ее так жадно ищет тепла, ему так нужны сейчас доказательства, что хоть один человек на свете беззаветно любит ее, Динку...

Ей вспоминается весенняя ярмарка в Киеве. Люди, люди, лакомства, торговцы, уличные представления, фокусники. Динка неудержимо рвется в самую сутолоку, пальцы ее липнут от сладостей, Хохолок, выпросивший у матери деньги, не успевает оплачивать копеечные прихоти подруги. Но это хорошо! Пусть она радуется.

— Только не отходи от меня! Дай мне руку! — просит он.

Но она, Динка, не хочет ходить за руку, ей не страшно затеряться в этой толкотне.

— Отстань! — говорит она.— Что ты ходишь за мной, как нянька!

И Хохолок покорно выпускает ее руку, не отступая ни на шаг.

И вот там, на контрактах[1], случилось то, что могло случиться только с ней, Динкой. Она вдруг загляделась на красивую молодую цыганку, которая, встряхивая бубном и поводя плечами, лихо отплясывала под гитару. Она и теперь не поймет, что это было. Лихорадка, страстное желание так плясать, так бить в бубен и трясти плечами... Она бросилась к Хохолку и от него к цыганке. Она взяла у Хохолка все деньги и высыпала их на ладонь цыганке.

— Я хочу так плясать! Научи меня так плясать! — словно в беспамятстве твердила она.

Хохолок с тревогой смотрел, как ее окружили цыгане. Большие и маленькие, они щупали ее платье, хватали ее за руки, трясли плечами, приплясывали. Потом они куда-то повели ее за собой. Хохолок бросился за ней, растолкал толпу, но она нетерпеливо прикрикнула на него:

— Оставь меня! Скажи дома, что я завтра вернусь!

— Нет,— решительно запротестовал Хохолок.— Если ты пойдешь с ними, я пойду с тобой!

— Не тронь меня! Я поеду с ними в Святошино...

Динка сжимает руками голову. Она даже хорошо не помнит, как это случилось. А ведь ей было уже одиннадцать лет, она могла понимать, что делает... Но она не понимала.

С шумом и гиканьем цыгане влезли на телеги; из-под грязных перин торчали ручки от кастрюль, мятые самовары и цветное тряпье. Цыганка прыгнула на перину и втащила за собой Динку. Хохолок растолкал цыган и сел с ней рядом. Он был очень бледен, темные глаза его с ужасом смотрели на все это сборище детей, подростков, старух и на чернобородого возницу.

— Уйдем, они украдут тебя,— заикаясь от волнения, шепнул он Динке.

— Молчи,— сердито отвернулась она и вслед за цыганами, раскачиваясь и подражая им, подхватила залихватскую песню.

---

[1] Контракты — весенняя ярмарка в Киеве.

Хохолок огляделся, вытащил из-под перины железный шкворень и положил его рядом с собой. В святошинском поле телеги встретил старшина, пожилой цыган с густой черной бородой, в плисовых штанах, засунутых в сапоги, красной рубахе и бархатной поддевке. Цыгане окружили его, быстро, по-цыгански, рассказывая ему что-то и указывая на своих гостей. Цыган протянул Динке руку, потом подал ее Хохолку и гостеприимно предложил им поужинать и повеселиться в его таборе.

Хохолок окинул глазами поле. Весна была ранняя, но не везде еще стаял снег, и подмороженная земля с кочками была твердой и застывшей. Несмотря на это, прямо на землю были брошены толстые ковры, на них горы перин и подушек, а над головами наскоро натянуты рваные шатры. Около палаток валялся сор и железные обрезки, обгорелые головешки и затухшие костры. Привязанные под телегами собаки вытягивали костлявые, обтянутые свалявшейся шерстью бока и лениво гавкали; цыганята в цветных рваных рубашонках выскакивали из палаток и прыгали босиком по мерзлой земле. Табор был небольшой, но от визга, хохота и песен в ушах стоял несмолкаемый шум.

Ничего подобного не видел еще в своей жизни Хохолок. Он стоял, сжимая в руке шкворень, и, не обращая внимания на сыпавшиеся со всех сторон насмешки, не спускал глаз с Динки.

— Иди домой сейчас же! Тут недалеко станция, поезжай поездом! Над тобой все смеются! Скажи дома, что я пошла ночевать к своей подруге! — уговаривала его Динка, но Хохолок только молча качал головой.

Цыгане зажгли костры, сварили картошку. Динка ела с ними картошку, бросая на ковер шкурки. Цыган резал мясо и протягивал ей на ноже толстые куски. Хохолок от всего отказался. Он с надеждой прислушивался к стуку колес на железной дороге и к паровозным гудкам.

— Пляши скорей, и пойдем. Мы еще успеем на поезд,— сказал он Динке.

Но Динка даже не ответила. Она чувствовала себя в этом

цыганском обществе так, как будто родилась в одном из дырявых шатров.

Когда стемнело, цыгане разожгли еще два костра, раскинули на вытоптанной земле теплую кошму и начали плясать. Маленькие девчонки в длинных цветных юбках с удивительным искусством трясли плечами, с гиканьем носились по кругу цыганята, прыгали через голову, вертелись колесом. Цыганка разогнала их, поставила рядом с собой Динку. Черноокая, статная и красивая, она прошлась перед ней, встряхивая плечами и ударяя в поднятый над головой бубен. Динке тоже дали бубен. Она как очарованная смотрела на цыганку и в точности повторяла все ее движения. Цыгане одобрительно вскрикивали, чернобородый бренчал на гитаре. Хохолок вошел в круг и взял Динку за руку:

— Пойдем. Ты уже научилась!

— Нет. У меня не получается тряска плечами,— упрямо ответила Динка, вырывая у него руку.

Цыганка что-то стала ей объяснять, потом забормотала по-цыгански и потащила Динку в один из шатров. Хохолок бросился за ней, но Динка уже переодевалась в какое-то пестрое тряпье. Хохолок молча вышел. Через секунду вместо Динки выскочила из шатра какая-то рваная девчонка и, схватив бубен, лихо затрясла плечами...

Давно уже наступил вечер, при свете костров поле казалось погруженным в черноту, только далеко-далеко на станции мелькали красные огоньки.

Цыгане пели и плясали долго. Но к ночи все утихло. Молодая цыганка вдруг исчезла, вместо нее вышла из шатра беззубая старуха, повела Динку в рваную палатку, бросила там старый матрац и теплое одеяло, из которого клочьями лезла вата, и объяснила на ломаном русском языке, что гости должны ложиться здесь.

— Я хочу в шатре,— воспротивилась было Динка, но старуха ушла и вынесла ей бубен, объясняя знаками, что это подарок от молодой цыганки.

Динка схватила бубен и, свернувшись комочком под одеялом, сейчас же заснула. Ночь была холодная. Хохолок сидел

около Динки в своем весеннем пальтишке и дрожал. Динка тоже ежилась во сне и что-то бормотала. На рассвете цыгане поднялись, тихо и быстро свернули шатры, побросали в телеги ковры и перины, на перины вместе с подушками уложили спящих детей и уехали.

Хохолок все видел, но, когда цыгане встали, притворился спящим. Он был рад, что они уезжают. Когда стук колес затих, он разбудил Динку. Пальто, платье и шапку ее увезли цыгане. Хохолок отдал ей свое пальто. Динка была тихая, покорная. Она шла молча, прижимая к груди подаренный ей бубен; из-под пальто, которое отдал ей Хохолок, волочился по земле грязный подол цветистой цыганской юбки. В поезд они сели без билетов. В город приехали рано. К счастью для них, в этот ранний час улицы были пустынны, редкие прохожие торопливо проходили мимо, и никто не обращал внимания на маленькую цыганку и ее провожатого — бледного, продрогшего мальчика. Подойдя к дому, Динка забеспокоилась.

— Пойти с тобой? — спросил Хохолок.

Она кивнула головой.

Но во двор вбежал Леня. Он был без шапки, в расстегнутом пальто.

— Макака! — крикнул он и, прислонившись к двери, закрыл руками лицо.

В доме царила паника.

Вася заявил в полицию о пропаже на контрактах девочки и мальчика. Описывая Динкины приметы, он так волновался, что не мог говорить. Марина и Леня всю ночь бегали по опустевшей площади контрактов, стучась в закрытые павильоны и расспрашивая сторожей.

Динку напоили горячим чаем и уложили в постель, оставив всякие объяснения на завтра. С Хохолком было иначе.

Его встретил отец.

— Где вы были? — сурово спросил он.

Мать от тревоги и страха за сына стояла с помертвевшим лицом.

— Где вы были? — повторил отец, снимая ремень.

Хохолок молчал.

Три дня не показывался Хохолок. Динка бегала по двору, заглядывала в его окна; идти к ним домой она боялась. На четвертый день ей удалось подкараулить мать Хохолка.

— Отец очень бил его...— грустно качая головой, сообщила мать.

— За что? Ведь это я во всем виновата! — всплеснула руками Динка.

— Кто виноват, не знаю, а ответчик он,— сухо сказала мать Андрея.

Динка побежала домой. Плача, она рассказала во всех подробностях свое путешествие к цыганам.

— Он не виноват! Он все время сидел со шкворнем около меня,— всхлипывая, повторяла она.

Марина пошла к Коринским. Отец Андрея, Степан Никанорович, встретил ее сухо, придвинул ей стул, но сам не сел, давая этим понять, что разговор будет коротким.

Марина, волнуясь, рассказала все, что произошло на контрактах и в цыганском таборе.

— Ваш сын вел себя как настоящий рыцарь,— торопясь и волнуясь, сказала она.

По лицу старого рабочего пробежала презрительная усмешка.

— Мне не нужно рыцарей. Я не воспитываю барчука. Мне нужен честный рабочий человек с понятием, кого нужно защищать, а кого не нужно.

Марина вспыхнула.

— Я понимаю. Он, конечно, не оправдывал ее сумасбродство, но все же не бросил свою подругу. А вы били его за этот самоотверженный поступок.

— Да, бил. И он не сказал мне ни слова.— Степан Никанорович провел ладонью по лицу; в темных, как у Андрея, глазах его промелькнула улыбка, в голосе послышалась гордость и удовлетворение.— Ну что ж... Значит, крепок мой сын, коли молчал.

— Я не бью детей,— чувствуя его упрек, тихо сказала Марина.

— Вот они и творят чудеса. Барское воспитание,— усмехнулся Степан Никанорович.— Ваше дело другое,— небрежно добавил он, махнув рукой.

Марина возмутилась:

— Послушайте, за кого вы меня принимаете?

Чувствуя себя какой-то легкомысленной барынькой в глазах этого строгого, степенного рабочего, Марина начала говорить ему о себе, о муже... Она говорила о том, как трудно ей одной воспитывать детей, как необходим им отец.

Степан Никанорович сел. Они разговорились.

— Вы давно работаете в «Арсенале»? — спросила Марина.

— Я, можно сказать, потомственный рабочий. Андрей тоже будет рабочим, как только кончит реальное училище. Я хочу, чтобы он узнал жизнь рабочих, так сказать, на собственной шкуре. А потом он сможет учиться дальше, я препятствовать не буду!

Степан Никанорович говорил осторожно, словно не вполне доверяя своей собеседнице. Марина это почувствовала и встала.

— Я надеюсь, что когда-нибудь мы познакомимся ближе. Помните, что я всегда готова помочь вам всем, что в моих силах.

— Ну что ж,— просто сказал рабочий.— Может, когда-нибудь и понадобимся друг дружке. Только уж девочку свою вы держите в руках,— провожая Марину, добавил он.

Динка с нетерпением ждала мать. Марина пришла расстроенная, молча опустилась на стул и прижала холодные ладони к пылающим щекам.

— Ну что? Мамочка, что? — в тревоге спрашивала Динка.

— Боже, какого стыда я натерпелась... Никогда в жизни не приходилось мне быть в таком положении,— простонала Марина.

Динка бросилась к матери.

— Из-за меня? Да? Мамочка!

Марина кивнула головой.

— Мама, клянусь тебе, что это последний раз! Последний-распоследний! Мамочка! Я сама не знаю, что со

мной бывает! Меня словно вихрь какой-нибудь поднимет и несет!

— Так для этого человеку даны воля и разум! Чтобы всякий вихрь не хватал его за шиворот и не тащил куда попало! — с возмущением и горечью сказала Марина.

— Мамочка...

— Ну что «мамочка»? Что «мамочка», Дина? Я сидела как девчонка и слушала эти суровые слова старого рабочего. Как девчонка!

Она передала Динке весь разговор с отцом Андрея.

Динка сидит, опустив голову и молча перебирая руками влажную траву. Рядом, тихонько всхрапывая, пасется Прима. Свет месяца падает на Динкину голову, на одинокую березу. Дрожат на березе листья.

«Что же я сделала тогда? Предала Хохолка, опозорила мать... Каялась, кляла себя и плакала...»

— Грош мне цена! — сурово говорит Динка.— Какой я была, такой и осталась! Грош мне цена! — гневно повторяет она и, ухватившись за гриву, вскакивает на лошадь.— Моя жизнь никому не нужна, но я не потрачу ее зря! Я буду бить всех Матюшкиных, бить, пока не убьют меня! Мы вместе будем бить — я, Жук и Рваное Ухо! Вот как мы будем! Вперед, Прима!..

Леня стоит на дороге, не зная, куда идти, где искать Динку. Мышка тоже не спит, и оба они чувствуют себя виноватыми. А месяц уже высоко, и на дороге слышен топот.

— Макака! Макака...— шепчет Леня, снимая с лошади свою подругу.— Прости меня, прости...

И Динка снова запутывается в себе самой, в своих близких. Ах как трудно жить на свете, когда тебе пятнадцать лет, когда твой ум еще не окреп, а жить чужим умом тебе уже не хочется!

Глава 24

СООБЩНИЦА

На станцию едут вчетвером. Леня правит, Мышка и Марьяна рядышком на сиденье, а Динка у них в ногах. Леня, Динка и Мышка безразлично и молча смотрят на дорогу; они не выспались, и на душе у всех троих нарастающая тревога за мать. Болтает одна Марьяна:

— Ой и смеху было в экономии! Бабы та девки обреготались з нашой Динки! Як вона в того жениха горшками паляла!..

Марьяна говорит и смеется одна, Леня не поворачивает головы, Динка смотрит вниз, Мышка насильственно улыбается из любезности, и Марьяна переходит на насущный вопрос о купле кабанчика:

— Як попадется на базаре хорошенький поросеночек, дак куплю, Ефим каже — нема чем годувать, но я все единственно куплю! Пока лето, буду нарезать ему травы та крапивы, трохи присыплю отрубями, а там к осени картопля поспеет... Зимой все сгодится.

Замолкает и Марьяна, погрузившись в свои хозяйственные заботы.

У дачной станции Прима останавливается. Мышка и Леня торопятся на поезд. Потом сходит и Марьяна, она разносит дачникам молоко.

Динка подъезжает к почте. Но почта закрыта, на дверях веранды висит тяжелый замок. Динка обходит дом, заглядывает в окна. Нигде не видно хозяев.

«Сегодня все на базаре. Может, эта ведьма и Мишу с собой потащила носить за ней покупки... Чертова барыня!» — раздраженно думает Динка, залезая в бричку.

На базарной площади стоят возы. На земле яркими вышивками на рубахах и цветными платками пестрят ряды девок и баб. Перед каждой на чистых рушниках и рядне разложены деревенские продукты: яйца, творог, стоит сметана в глечиках, кое-где, лежа на боку и раскрыв клювы, тяжело дышат и трепыхаются связанные куры. Динка привязывает около забора

Приму и торопится на базар. Она ищет в толпе дачников тучную фигуру почтовой ведьмы, рассчитывая рядом с ней увидеть и Почтового Голубя. Где они могут быть? По краю небольшой площади стоят телеги с сеном, с мешками овса и ржи, с поросятами, с картофелем, с дровами. Всюду слышен смех, украинский певучий говор, закликанье дачниц и отчаянный поросячий визг. Около рундука с мясом на разбитой колоде приказчик из лавки рубит мясо и длинным тонким ножом режет на полоски прозрачное розовое сало. Динка сглатывает слюнки: давно она не ела такого сала с горбушкой хлеба, натертого чесноком. Но денег у нее нет, раз у Лени нет, значит, и у нее нет даже на мороженое.

«Глупость все это... сало какое-то,— машинально думает она, отводя глаза и проталкиваясь к мясному рундуку.— Может, ведьма покупает мясо?» Но «ведьмы» не видно и тут, а вместо нее вдруг над самым ухом Динки раздается знакомый голос:

— Вот корзинки, плетеные прочные корзинки!..

Динка быстро оглядывается. Сзади нее, обвешанный туго сплетенными из зеленых прутьев большими и маленькими корзинками, стоит Жук.

— Купите корзинку, барышня! Крепкие, прочные, недорого прошу! — громко говорит он и, потряхивая корзинками, наклоняется к ее уху: — Отойдем... торгуй корзинку...

— Дорого... очень дорого ты просишь,— наугад бросает Динка, примеряя на руку корзинку.

— Да что вы, барышня... плетенье-то какое, век будет служить! — Жук вскидывает корзинку, гнет плетеную ручку.— Знаешь Матюшкиных? — тихо шепчет он.— Укажи... Недорого, барышня. Берите, не пожалеете! — громко кричит он, делая неуловимое движение бровями, но в глазах Динки смятение, испуг.

— Нельзя сейчас... схватят, убьют...— шепчет она побелевшими губами, машинально разглядывая на свет плетеное дно корзинки.

— Дура...— с досадой бормочет Жук.— Мне личность их надо узнать... Да берите, барышня, не пожалеете! Вот эту

берите!.. Здесь они... Матюшкины? — чуть слышно шевеля губами, спрашивает он.

— Не знаю... Найду — стану рядом,— быстрым шепотом отвечает ему Динка, примеряя к руке корзинку.

— Ладно, плати деньги... Ну, так и быть, барышня! — громко говорит Жук, разрывая зубами узел веревки и передавая ей корзинку.— Берите!

— Вот, получай деньги! — порывшись в кармане, говорит Динка и сует ему в руку пустую ладонь.

— Спасибо, барышня! — Жук осторожно сжимает ее пальцы, глаза его теплеют.— Иди... не бойся... Мы друг дружку не знаем. Мне только личность укажи,— почти ласково шепчет он и, перекинув через плечо свой товар, смешивается с базарной толпой.

— Вот покупайте кошелки, зеленые, плетеные...— доносится до Динки его зычный голос.

Но где же Матюшкины? Где их искать? Они, конечно, на возу, с лошадью. А может, вовсе не приехали сегодня...

Динка медленно направляется к возам. Около воза с поросятами торгуется Марьяна со старухой в темном очипке. Динка обходит их стороной и внимательно оглядывает возы с сеном. Нет, не то, не они... Последние возы с дровами. Запах смолистого свежесрезанного дерева бросается ей в нос. Около аккуратно сложенных на телеге березовых поленьев мелькает лицо панского приказчика Павлухи. Из-под козырька новой фуражки блестят его мышиные, бегающие глаза. Сердце Динки сильно бьется. Они! Матюшкины! Оба брата... Рыжие, с тараканьими усами, похожие как две капли воды, только у Семена чуть вдавленный нос, а у Федора лицо, тронутое оспой. Они стоят около свежих, только что срезанных и расколотых поленьев березы. Эти срезы еще сочатся на солнце, истекают соком, как слезами. В глазах Динки встает панский лес и голые пни, а на траве свежие щепки...

«Убийцы... они губят все живое...» — с негодованием думает Динка. В глаза ей бросается кривое полено березы, ей кажется, она узнает его белую кору... свою любимую

березку-кривульку. Она протягивает к нему руку и отступает назад.

— Что, барышня, дровишек требуется? — спрашивает ее чей-то угодливый голос.

Она поднимает глаза... Павлуха.

— Да... надо бы...— хрипло выдавливает она из себя первые попавшиеся слова и, откачнувшись назад, с ужасом смотрит на широкую, как лопата, руку Федора, поглаживающую кору березы: на потной коже этой руки между рыжими волосами темные пятна... Эти пятна запеклись и въелись в нее, как кровь... кровь Якова.

Сердце Динки бьется судорожными толчками, ненависть, гнев и отвращение душат ей горло; она прижимает к груди корзинку и, словно разглядывая что-то на дне ее, опускает глаза.

— Дровишки что надо, барышня! Одна береза. Можем и отвезти до вас, если сторгуемся! — говорит Семен Матюшкин, выглядывая из-за плеча брата.

— Это барышня с хутора. Они, верно, с мамашенькой приехали! — заискивающе поясняет Павлуха.

— Да... я скажу маме...— глухо выдавливает из себя Динка и, отвернувшись в сторону, медленно поднимает глаза.

Тревожные, темные, как ночь, и блестящие, как ночные огни, из толпы прямо в упор смотрят на нее глаза Жука.

«Отходи... отходи...» — быстрым, неуловимым движением приказывают ей эти глаза.

И Динка отходит, не сказав ни слова, не оглянувшись. Отходит она в толпу, унося с собой жгучую накипь ненависти, злобы, гнева и бессилия. О люди, люди! Если кто-нибудь из вас хоть однажды стоял лицом к лицу со своим смертельным врагом и не смог броситься на него, вцепиться руками в ненавистное горло, рвать и топтать его ногами, тот понимает, что чувствует Динка, несчастная, захлебнувшаяся от ненависти Динка.

«Мы друг дружку не знаем»,— сказал ей Жук, но сейчас он забыл эти слова, он идет с ней рядом, волоча за собой свои зеленые кошелки, и жаркие глаза его направляют каждый

ее шаг, словно хотят перелить в нее всю силу и мужество своей души.

— Спугалась... оробела. Это пройдет. Слышь, пройдет. Ну, хошь, убью? Сейчас убью! — шепчет он, наклоняясь к самому уху Динки, и знакомая оскаленная улыбка трогает его губы.

— Нет-нет! Не смей! — вцепляется в него Динка.— Вон бричка. Я поеду домой. Прощай!

Жук отвязывает от забора вожжи и, когда бричка, тарахтя колесами, отъезжает, долго смотрит ей вслед.

Дважды заслужили у него смерть братья Матюшкины: за Иоськиного отца и за студента, которого убили на Ирпене. И трижды заслужили они ее — вот за эту девчонку, за ее помертвевшее лицо и застывшие синими льдинками глаза... Не забудет им этого Жук.

* * *

Динка сидит, уронив на колени вожжи, но Приму не нужно понукать, она хорошо знает дорогу домой. Вот и лес... Глаза Динки невольно отмечают каждый белеющий пень, каждое срубленное дерево, опустевшее место там, где оно росло... «Неужели и березу, мою кривую березу...» — горько вспоминает Динка и, остановив лошадь, продирается сквозь кусты к молодому сосняку, туда, где на крошечной зеленой полянке росла ее подружка. Разве можно сосчитать, сколько раз за все эти годы прибегала сюда Динка, сколько раз, приткнувшись щекой к гладкому белому стволу, спала на разветвленных, словно сросшихся толстых ветках, спускающих до земли свои зеленые косы. «Неужели там, на возу, это была она, моя береза?..»

Но нет, нет! Это не она! «Жива ты, жива, моя кривулька!» Динка поднимает с земли тонкие ветки, гладит кривой ствол.

«Жив-жив! Жив-жив!» — кричит над ее головой какая-то озорная птичка; из сосняка, взметнув рыжим хвостом, прыгает белка, качаются в кустах синие лесные колокольчики, прячутся

в зарослях папоротника желтые грибы лисички, шевелится муравьиная куча...

«Что это со мной было? — думает Динка.— Я испугалась. Неужели ко всем моим недостаткам я еще трусиха? Жалкая трусиха...»

Перед глазами ее снова возникает тяжелая пятерня Матюшкина, поросшая рыжими волосами, и между ними темные, въевшиеся пятна. И снова мутная тошнота сжимает горло. Динка хватает раскрытым ртом свежий лесной воздух, утыкается лицом в листья березы... Сердце ее еще бьется неровными толчками, но в нем уже появляется тихое благородное чувство к Жуку.

«А ведь он хороший...— с удивлением думает она, вспоминая, как вел ее Жук к бричке.— Только, может быть, он сейчас презирает меня за то, что я испугалась? Он, наверно, думает: девчонка... что с нее взять? А еще убивать собиралась!»

Гнев и стыд охватывают Динку.

«И убью! — думает она, сжимая кулаки.— Вы не уйдете от меня, проклятые убийцы, в последний раз меня застала врасплох вся эта гнусь, ненависть и тошнота! И это была не трусость, а отвращение, вот что это было, Жук,— мысленно оправдываясь перед собой и перед Жуком, думает Динка.— Потому что если б можно было драться, я дралась бы до последней капли крови! Жизнь за жизнь! Смерть за смерть! Подумаешь, неженка какая! Затошнило ее от руки убийцы! Да эти пятна запекшейся крови должны удесятерять силы, а не делать человека слабым, как осенняя муха! Нет, конечно! Я буду холодным, как лед, жестоким мстителем всех палачей, и ни один мускул не дрогнет у меня на лице! Я еще покажу вам, Матюшкины!»

Динка выходит на дорогу, вскакивает в бричку и мчится по лесу. Не сидя, а стоя, с высоко поднятой головой.

Жизнь за жизнь! Смерть за смерть!

Глава 25

ГОЛУБИНОЕ СЕРДЦЕ

Только подъезжая к хутору, Динка вспомнила, что не зашла второй раз на почту.

«Эх, что же это со мной делается! — с досадой подумала она.— Ведь правду говорят, что я за маленькими делами не вижу больших... Подумать только, забыть о маме!! Ну ничего! Пусть Прима попасется хоть немного, а потом я опять поеду!»

У хаты Ефима она на минутку остановилась, попросила его распрячь Приму и отвести ее на луг.

— А где Марьяна? — спросил Ефим.

— Не знаю. Она торговала на базаре кабанчика, очень хорошенького...— добавила Динка, чтобы задобрить Ефима, который был недоволен, что Динка уехала с базара, не дождавшись Марьяны.

— Ну ты, Диночка, иди швыдко до дому, бо там тебя ждет який-то чин.

— Какой чин? — удивилась Динка.

— А с откудова ж я знаю? Не солдат, не офицер, а просто военный чин. И сидит он уже целый час, трохи не плачет, бедный... Каже, я на фронт отъезжаю, так попрощаться хотел...

— Да кто же это? Может быть, Миша? Почтовый Голубь?

— Верно отгадала! — засмеялся Ефим.— И я его сразу признал, хоть он и в военном! В какие перья голубя ни обряди, все одно орлом он не будет. Ну, да беги скорей! Спроси, нет ли письма от матери! — крикнул Ефим уже вслед убегающей Динке.

Жиронкин стоял около террасы и безнадежно глядел на дорогу. Около его ног, виляя хвостом, вертелся Нерон, под рукой у Жиронкина выглядывала туго стянутая ремнями шинель.

— Миша! — крикнула, подбегая, Динка и, не дав ему поздороваться, быстро спросила: — Вы принесли письмо? Да?

Жиронкин растерянно улыбнулся, закивал головой и полез в боковой карман гимнастерки.

— Да, вот, пожалуйста... Телеграммка-с...

Динка схватила телеграмму.

«Папа болен. Хлопочу больницу. Ждите письма. Задерживаюсь»,— писала Марина.

Динка прочитала один раз, второй, третий. «Папа болен». Эта фраза долго не укладывалась в ее голове. Вспомнились смеющиеся синие глаза, быстрая походка, широкие плечи, а сердце уже свертывалось в комочек и перед глазами вставало бледное, бескровное лицо узника за железной решеткой, и черты отца становились похожими на черты умирающего в в ссылке Кости...

Динка опустила телеграмму и молча пошла к дому.

— Прощайте... Я сейчас уезжаю на фронт... Но вам не до меня. Прощайте,— догнав ее у крыльца, грустно сказал Жиронкин.

Динка остановилась, пришла в себя.

— Ах да, вы, наверно, пришли попрощаться? — вспомнила она.

Жиронкин вспыхнул, заторопился.

— Да, я думал... Простите меня. Я хотел попросить у вашей сестры что-нибудь на память. Я знаю, меня убьют... Но это не имеет никакого значения. Только я хотел... мне легче было бы... умирать,— быстро и сбивчиво заговорил он, глядя на Динку глубокими, как синие озерца, умоляющими глазами.

— Да-да, конечно...— сказала Динка.— Я сейчас...

Она вбежала в комнату, быстро, один за другим, выдвинула ящики комода, потом, махнув рукой, бросилась к туалетному столику, открыла шкатулку, где Мышка хранила Васины письма, маленькие, заветные вещицы... Выбросив на стол конверты и исписанные Васиным почерком листочки, она вытащила со дна шкатулки черную бархотку, которую Мышка иногда носила на шее, задумчиво подержала ее в руках, потом снова порылась в сестриной шкатулке, нашла флакончик духов с тоненькой стеклянной палочкой внутри — последний подарок

Васи — и, обрызгав духами бархотку, выбежала на террасу.

— Миша...— сказала она, нежно улыбаясь и протягивая на ладони благоухающую эссенцией ландыша бархотку.— Сестра очень хотела попрощаться с вами сама. Но на всякий случай она просила передать вам вот это...

Бедный Голубь, не веря своему счастью, с трепетом поднес к губам дорогой подарок; длинные ресницы его дрожали, из-под них медленно сползали крупные слезы.

Динка порывисто обняла его за шею, стерла ладонью слезы и, щедрая в глубокой жалости к этому беспомощному ребенку, торжественно сказала:

— Сестра просила вам передать, что отныне в самом жарком бою она всегда будет вашим ангелом-хранителем...— Динка сама не знала, почему ей пришло в голову это утешение, но слова ее сделали чудо.

— Я ничего не боюсь теперь! Скажите вашей сестре, что я счастлив... умереть с ее именем! И еще... у меня нет слов, которыми я мог бы поблагодарить ее...— прижимая к груди руку с бархоткой и сияя счастливыми глазами, сказал Миша.

Динка еще раз обняла его.

— Прощайте,— сказала она с неизъяснимой горечью в сердце.— Вы вернетесь... Сестра хотела, чтобы вы вернулись,— сказала она, не веря в его возвращение.

«Пуля ищет малодушного»,— почему-то мелькнуло в ее голове вместе с глубокой жалостью к этому беспомощному ребенку, никогда не знавшему ласки.

— Бедный Голубь... Бедный Голубь,— шептала она, глядя вслед удалявшемуся юноше.

Но Голубь не был сейчас бедным, он даже не был голубем, он нес в своем голубином сердце огромное счастье, такое неожиданное и непостижимое, что силы его вдруг окрепли, плечи распрямились и широко открытые глаза смело глядели вперед! Миша Жиронкин был готов на смерть, на подвиг, на любой подвиг во имя любви!

Глава 26

ОБЪЯСНЕНИЕ

Прочитав телеграмму Марины, Леня решительно сказал:

— Надо ехать. Давай собираться, Макака!

Он выволок на середину комнаты старый, потертый чемодан, отобрал белье, которое возьмет с собой, вынул из двойного дна брошюрку Ленина.

— Не бери с собой ничего такого, за что могут арестовать,— испугалась Динка.

— Да... конечно, мало ли что может быть в дороге,— хмуро сказал Леня, откладывая брошюрку.

— Оставь мне, я тоже хочу почитать! — попросила Динка.

— Хорошо, только смотри осторожней, на день прячь в дупло.

Они снова занялись укладкой. Кое-что пришлось постирать, кое-где не хватало пуговиц. Работая, каждый потихоньку вздыхал, думая об отце.

— Только бы не то, что у Кости...— говорила Динка.

— Ну нет! Костя жил в обледенелой избе. Я думаю, скорей брюшной тиф... это, кажется, часто бывает в тюрьмах,— предполагал Леня.

— А как жы ты поедешь, Лень? Ведь у тебя нет денег, а Мышка только завтра получит! — всполошилась Динка.

— Ах да! — вдруг вспомнил Леня и, запустив пальцы в боковой карман гимнастерки, вытащил пачку денег.— Вот! Тут и на поездку, и вам с Мышкой на хозяйство!

— Где ты взял? — всплеснула руками Динка.

— Ну, где? Все там же... Я, конечно, ничего не говорил. Это Степан Никанорович...

— Отец Андрея?

— Ну да. Он сам поставил вопрос обо мне. И про маму спросил, какие от нее вести. Ну, я сказал: так и так, вестей нет, беспокоимся... А Боженко и говорит: «Придется дать ему еще одно поручение. Пошлем его на помощь Марине Леонидовне, женщина она энергичная, но там ей приходится тяжело». Ну, и решили, а Степан Никанорович говорит: «У него

сестренки одни остаются, ну, да мой Андрей лишний раз навестит...»

— Да? Так и сказал? — удивилась Динка; ей всегда казалось, что отец Андрея недолюбливает ее.

Леня криво улыбнулся и с раздражением сказал:

— Что, обрадовалась? Обрадовалась, что я уезжаю, а твой Хохолок будет приезжать?!

Динка, вспыхнув от обиды, посмотрела ему прямо в глаза.

— Это уже не первый раз... Говори сейчас же, что это значит! Почему ты придираешься к Хохолку? Что он тебе сделал?

Леня засунул руки в карманы и сел, вытянув длинные ноги, на лице его появилось злое и упрямое выражение.

— Андрей ничего не сделал мне, но я ненавижу его приезды,— сказал он с закипающим раздражением.— Я ненавижу его велосипед, на котором вы уезжаете вместе на целые часы. Пусть лучше он не является сюда со своим велосипедом! — в мальчишеской запальчивости выкрикнул Леня.

— Но почему? — топнула ногой Динка.— Он купил этот велосипед для того, чтобы катать меня! Ты не думай, что ему так легко было его купить...

Леня внезапно остыл, черные брови ярче выступили на его побледневшем лице.

— Я не нужен тебе, Макака... И я скоро уеду, совсем уеду... И Андрей тут ни при чем. Он твой друг, хороший человек...

— Что это ты говоришь? Я ничего не понимаю,— с ужасом прошептала Динка.

Леня внимательно посмотрел на нее и жестко сказал:

— В двенадцать лет ты понимала... Но тогда это касалось тебя... Вспомни историю с Зоей. Я никогда не напоминал тебе об этом...

— Историю с Зоей? — морща лоб, прошептала Динка; какое-то давнее неприятное воспоминание смутно всплыло в ее памяти.— История с Зоей...— задумчиво повторила она.

Но Леня махнул рукой.

— Ну бог с ней! Это я зря сказал... Можешь не вспоминать, все равно ничего уже не поправить. Ты даже перестала делиться со мной всеми своими секретами, для этого тебе тоже нужен Андрей, и ты уводишь его подальше, чтоб я не слышал...— с горькой обидой продолжал Леня.

Динка бросилась к нему, зажала ему ладонью рот.

— Перестань, перестань! Это несправедливо! Я все время хочу тебе рассказать, но ты занят то одним, то другим... И мне некому сказать, а у меня тоже спешное дело. А сейчас мы беспокоимся о маме, о папе, и ты снова уезжаешь, не сказав мне ни одного слова, как я должна поступать дальше...— Динка в отчаянии заломила руки.— Я должна решать одна, всегда одна, а потом вы все будете говорить, что я наделала глупостей!..

— Макака! — испуганно сказал Леня.— О чем ты? Мне дорого все, что касается тебя. Почему же ты молчишь? Почему ты скрываешь что-то от меня?

Динка покачала головой.

— Я ничего не скрываю, но я ничего и не говорю, потому что у тебя есть дела важнее моих и получается так, что для меня нет времени...

Леня взял обе ее руки и улыбнулся.

— Ты сама не веришь в то, что говоришь! Ну, давай выкладывай мне все, что у тебя на душе! Ну, прошу тебя, Макака... Сейчас мы одни, нам никто не помешает обсудить все твои дела... Сядем здесь на крылечке.

Динка послушно села на ступеньку. В голосе Лени ей слышалась снисходительность взрослого человека к ребенку, и на сердце было тяжело. Но она заставила себя говорить... о страшной новости, которую она узнала от Дмитро, о поисках Иоськи, о хате Якова, о клятве, данной перед портретом Катри, и о скрипке в лесу... Она говорила тусклым, безразличным голосом, как о чем-то выстраданном и переболевшем. Но по мере того как она говорила, лицо Лени делалось серым и жестким, как камень, а в глазах его появился страх, смертельный страх человека, теряющего самое дорогое, без чего нельзя жить... Динка увидела этот страх, ей мгновенно вспом-

нился Хохолок, и, заканчивая свой рассказ, она сказала, натянуто улыбаясь:

— А на обратном пути я зацепилась за ветку и упала на пенек...

Но слова эти не дошли до Лени. Сжав руками голову, он глухо сказал:

— Макака... пощади меня, маму и Мышку. Ты сама не знаешь, что делаешь. Никто из нас не сможет пережить, если с тобой случится что-нибудь ужасное. Дай мне слово, Макака...

«Я уже дала такое слово»,— хотела сказать Динка, но не сказала, а только кивнула головой.

— Я во всем помогу тебе. Я буду с тобой всегда и везде, только не скрывай от меня ничего. Ничего и никогда. Слышишь, Макака?

Динка снова кивнула головой. На душе у нее вдруг стало хорошо и спокойно. Почему-то вспомнилась Волга, родной утес и крепкая рука Лени.

* * *

Вечером, прочитав телеграмму, Мышка сказала:

— Здесь что-то иносказательное... «Хлопочу больницу». Нет, ехать сейчас нельзя, можно все испортить, тем более что мама сама предупреждает: ждите письма.

О болезни отца Мышка даже не говорила, она не верила в нее, как и все остальные. Решено было ждать письма. Когда усталая от дежурства в госпитале Мышка прилегла отдохнуть, Леня и Динка пошли на луг. Сочная, пестреющая цветами трава доходила до колен; неподалеку свежим холодным ключом бил родник. Между кочками стояла вода, черногусы[1] важно расхаживали по лугу и, запуская в воду свои тонкие клювы, выхватывали лягушек. Динка выбрала посуше кочку и, присев рядом с Леней, продолжила свой рассказ о лесных обитателях хаты Якова, рассказала она и про свою встречу с Жуком на базаре.

---

[1] Черногусы—аисты.

— Он торговал зелеными корзинками, Леня. Может, они не воры? — с надеждой сказала она.

Леня сомнительно покачал головой.

— Скажи мне: если ты видишь, как на человека летит поезд, ты бросишься спасать его? — напряженно морща лоб, спросила Динка.

— Конечно,— перебирая ее тонкие пальцы, улыбнулся Леня.— Разве об этом надо спрашивать?

— Значит, ты спасешь человека. А если ребенок попадет к ворам, то разве это не то же самое, разве не нужно спасать его? — волнуясь, спросила Динка.

— Если не поздно и если удастся оторвать его от этой компании... Но ты же сама сказала, что Иоська не пошел с тобой, что он очень привязан к этому Цыгану. Значит, надо начать с Цыгана...— задумчиво сказал Леня и тут же предложил: — Пойдем к ним вместе!

— Это можно только ночью. Но лучше бы предупредить, а то Жук убьет тебя,— взволновалась Динка.

— Убьет? — с интересом переспросил Леня и засмеялся: — За что же он меня убьет?

— Убьет,— упрямо повторила Динка.— Потому что эта хата — их крепость, единственное убежище, о котором не должны знать люди. По ночам они отпугивают всех скрипкой, а Жук не знает тебя, он не знал и меня...

Динка вдруг замолчала, не смея сказать про свою разбитую голову, но Леня, ничего не подозревая, спокойно улыбался.

— В таком случае надо раньше познакомиться,— сказал он.— Позови этого Жука к нам, если снова встретишь его,— предложил он.

Но Динка озабоченно пожала плечами и понизила голос.

— А если они задумали убить Матюшкиных? — с дрожью сказала она, вспомнив базар.

— Так это надо предупредить во что бы то ни стало! Они же сядут в тюрьму или их растерзают кулаки! — взволновался Леня.— Они глупые мальчишки! Придумали чертовщину какую-то! Легко сказать — убить таких матерых волков! Да разве

так надо бороться с кулачьем? Нет! Сегодня же ночью я пойду к ним, и пойду один! Ничего они мне не сделают! — решительно сказал Леня, но Динка отчаянно замотала головой.

— Нет, сделают, сделают! Мы пойдем вместе!

Но этой ночью Мышка была дома и идти никуда не пришлось. Кроме того, после телеграммы матери в голове, по определению Динки, снова сделалась суматоха, одни события нагромождались на другие и получалась мала куча, из-под которой вдруг выползали незначительные на первый взгляд вещи.

Ложась спать, Мышка по привычке открыла шкатулку, чтобы перечитать последнее письмо Васи.

— Ой, что это? Здесь все перерыто! Динка! Ты ничего не брала у меня?

— Нет,— устало ответила Динка; ей не под силу было глядя на ночь затевать с сестрой какие-то объяснения из-за несчастной бархотки.

— Странно. Неужели это я так все разбросала? — закрывая шкатулку, удивилась Мышка.

Лежа уже в постели, она вдруг вспомнила Почтового Голубя:

— Бедный... Приходил прощаться. Но ты хоть догадалась передать ему от меня привет?

— Догадалась...— хмуро ответила Динка и, вдруг ощутив в себе злобный протест против всего, что заставляет ее изворачиваться и скрывать свои поступки, круто повернулась к сестре.— Я отдала Голубю на память твою бархотку и сказала, что отныне ты будешь его ангелом-хранителем! — твердо и зло бросила она, вызывающе глядя на сестру.

— Я? Ангелом-хранителем? — опешила Мышка.

— Да, ты! Вот именно ты! Ангелом-хранителем с крылышками! — насмешливо подтвердила Динка.

— Послушай... Если для тебя нет ничего святого, так зачем же смеяться над этим мальчиком?...— побледнев от волнения, сказала Мышка и, сев на кровати, потянула к себе шкатулку.— И как же ты смела отдать мою бархотку... Это любимая Васина бархотка,— роясь в шкатулке, взволнованно говорила она.

— Да-да! Любимая Васина тряпочка. Я отдала ее, отдала. И ты можешь с успехом повесить на шею другую тряпку, и Вася тоже полюбит ее. А этот человек едет на смерть, и, может быть, эта детская вера в ангелов и эта несчастная бархотка дадут ему силы,— задыхаясь от душившего ее гнева, заговорила Динка, но голос Лени перебил ее:

— Хватит, хватит! Я все слышал! И ты неправа, Мышка. Ты должна благодарить сестру, что твоим именем она доставила человеку такую радость. Может быть, последнюю в его жизни... Где же твоя доброта, Мышка? Неужели... Вася... и только Вася?..

Леня замолчал, с укором глядя на Мышку. Она тоже молчала. Динка, закинув за голову руки, смотрела в потолок.

— Ну, спите! — сказал Леня и, потушив лампу, вышел в соседнюю комнату.

Через секунду в темноте послышался тихий, нежный голос Мышки:

— А он очень обрадовался, Динка?

И далекий, как утихающее за лесом эхо, протяжный вздох:

— Очень...

Глава 27

ДВА ДРУГА

Динка встала очень рано. Летом она всегда вставала вместе с солнцем и никак не могла понять людей, которые так спокойно могут проспать летнее утро. «Ведь это же самое хорошее время, когда все живое просыпается»,— думала Динка.

Сегодня, вскочив с кровати, она прошла мимо комнаты Лени. В раскрытую дверь было видно закинутую на подушку голову и свесившуюся руку. Динка с нежностью посмотрела на прямые полоски бровей, на закрытые глаза с темными густыми ресницами, на мягкие пепельные волосы, закинутые вверх. Больше всего любила Динка Ленины брови. По этим бровям и по тому, как они поднимались вверх или сдвигались в одну сплошную черту, она с детства научилась угадывать настроение Лени, она никогда не думала, какой он — красивый,

некрасивый или просто симпатичный, но сегодня вдруг заметила, что он очень красивый. Или нет, «красивый» не то слово, он очень хороший. И словно в удивлении, что никогда раньше ей не приходило это в голову, Динка остановилась у двери, пристально вглядываясь в очертание сухих, жестких губ, смуглых щек, высокого лба и бровей.

«Какое хорошее лицо... Оно даже лучше, чем у Мышки, лучше, чем у мамы... Лучше, чем у всех... А я-то, я какая...» Динка нащупала в кармане круглое зеркальце; она всегда брала его с собой утром для того, чтоб, подловив первые солнечные лучи, дразнить зайчиками своих собак,— они очень смешно отмахивались лапами, особенно когда солнечный зайчик прыгал на собачьем носу. Но сегодня Динка поспешно выложила из кармана свое зеркальце — она боялась нечаянно увидеть в нем себя — и, усевшись на крылечке, подумала:

«У меня только одни косы хорошие, потому Леня и любит их». Раньше он всегда сам мыл их и расчесывал, сердясь на Динку, что она не имеет терпения и выдергивает целые пряди. Но один раз мама сказала, что Динка уже большая и должна причесываться сама. И Леня перестал заплетать ей косы. Кроме того, теперь он часто уезжал...

Динка перекинула на грудь обе косы, густые вьющиеся концы их лежали на нижней ступеньке. Леня не позволял подстригать...

«Интересно, до каких пор они могут дорасти?» — смешливо подумала Динка, представив себе, как она идет по улице и ее косы волочатся за ней, как две толстые веревки... Но утро не располагало к смеху, в нем было что-то другое... Какая-то утренняя тишина, изредка нарушаемая криком и писком просыпающихся птиц. Трава еще блестела от капелек росы, и головки цветов низко склоняли свои влажные лепестки... А по дороге уже тянулось стадо; впереди с завязанными рогами, тяжело ступая, шел огромный племенной бык Бугай... Мычали коровы. Щелкал пастушеский кнут. Где-то во дворе Марьяны кричал петух и беспокоились куры. Потом все заполнилось пением и щебетанием птиц. По траве и дорожкам осторожно

прополз первый луч солнца, сначала тоненький, потом шире, шире, и земля ожила. Даже у самой ступеньки на притоптанной дорожке забегали муравьи, козявки, с широкого дуба вдруг с шумом упал жук-рогач и, сердито ворча, пошел войной на Динку. Но она взяла его двумя пальцами за спину и посадила опять на ветку дуба...

От Марьяны, мелькая в траве закрученным, как крендель, хвостом, прибежал Волчок. Белый пушистый Нерон с благородной мордой сенбернара лениво поднял одно ухо. День просыпался, и мысли Динки, погруженные в бездействие этим ранним утром, тоже проснулись. Она вдруг вспомнила вчерашний разговор про Андрея, гнев Лени, его раздраженный голос. Леня не любит Андрея, это теперь ясно. Но за что, за что? Ведь Андрей — это Хохолок, верный друг Динки.

«Вспомни Зою, и ты поймешь...» — сказал Леня. Ну что ж, она помнит Зою, только, может, не очень хорошо, ведь тогда ей было двенадцать лет. Но разве можно сравнивать: Хохолок и Зоя? Что тут понимать?

Динка хмурится и, дернув плечом, встает с крыльца.

«Глупости! И пусть не думает, что я откажусь ездить на велосипеде с Хохолком! И чего он придрался, в самом деле?» Она идет в комнату, уже не глядя в раскрытую дверь Лени, осторожно, чтоб не разбудить Мышку, роется в своих вещах, достает клеенчатую тетрадь. На ней приклеен белый квадратик. На квадратике написано:

«Дневник Дины Арсеньевой».

Тетрадь почти пустая или с очень короткими записями детских лет. О какой-то собаке, за которую она, Динка, отлупила мальчишку; о каких-то салазках, которые она перевернула и за это ей снежком разбили нос... Все ерунда. Чепуховый дневник. И только одна запись, которая называется «Зойка-Дуройка», записана на нескольких страницах размашистым детским почерком.

Динка берет дневник и, удалившись в ореховую аллею, усаживается с ним на влажную траву.

— Ну, чего тут понимать? — сердито бурчит она, раскрывая страницу. На этой странице, кроме заглавной «Зойки-Ду-

ройки», еще и рисунок гладкой головки с двумя круглыми, как пуговицы, глазами и тонкими, как крысиные хвостики, косицами. Это жалкая месть бездарной художницы Динки своей сопернице. Но Динка не смеется, какое-то тяжелое детское переживание связано у нее с этими страницами. Динка слишком хорошо знает, что ребенок может так же страдать, как взрослый, и с глубоким вздохом открывает она первую страницу.

«...Мне 12 лет, и меня бросил любимый человек. Я очень зла и несчастна. Я слышала на базаре, как одна тетенька жаловалась другой, что ее бросил любимый человек, а я смотрела на нее и думала: куда это он ее бросил? Теперь я понимаю, что бросают не куда-нибудь, а просто так... Сама остаешься на месте, а любимый человек как ни в чем не бывало ходит по всем делам с разлучницей. Свою я тоже так называю, но по-настоящему ее зовут Зоя, а студенты и гимназисты, которые ударяют за ней, зовут ее «Зоенька». Подлизываются. Эта Зоя уже кончила гимназию и очень задается. Она приехала из Петрограда и привезла какие-то запрещенные бумаги. Она показала их маме, а потом вдвоем с Леней всю ночь их переписывала. И вообще стала часто к нам ходить и секретничать с мамой и Леней. Как будто она работает для революции, а на самом деле ей нравится Леня. И Лене она, наверно, нравится, потому что он всегда ее провожает. Мама говорит, что Зоя очень красивая, что у ней какие-то особенные глаза с поволокой, и нос особенный, а рот, я и сама вижу, розовый, как у кошки. Она даже облизывается иногда, как кошка.

Один раз Леня сказал Васе: «Каждый понимает красоту по-своему». Я хотела спросить, как он понимает, но при Васе мне нельзя даже пикнуть, потому что он сейчас же кривит губы и смотрит на Леню с таким смехом: вот, мол, любуйся, какая твоя Макака дура! Леня теперь уже редко зовет меня Макакой: дядя Лека сказал, что это нехорошо, потому что я уже большая и надо мной будут смеяться, и он придумал сократить «Макака»

на «Мака». Я заметила, что когда человек делается несчастным, то все над ним издеваются. Дядя Лека тоже делает мне назло, когда приезжает. Раньше он просто называл меня «губошлеп», а теперь когда приезжает, то поет при всех какую-то дурацкую песню. Про какого-то мотылька, который влетел кому-то в рот или в келью... «И, приняв мои губы за алый цветок...» Тут он смотрит на меня и нарочно растягивает слова. Знает, что у меня такая нижняя губа, что ее с другой стороны улицы видно, и все-таки поет... Ох, как бы я хотела назло всем быть красивой! Но я очень некрасивая. Раньше мне было на это наплевать и я даже никогда не смотрела в зеркало, а из-за этой Зойки смотрю и только расстраиваюсь. Один поэт, Надсон, написал про меня стихи. Конечно, может, и не про меня, потому что он давно умер, но про такую же уродку, как я:

Бедный ребенок, она некрасива,
То-то и в школе и дома она
Так не по-детски скучна, молчалива,
Так не по-детски грустна...

Один раз я прочитала эти стихи, и мне сделалось так жаль себя, что захотелось плакать, и весь день я была такой тихонькой, как та бедная девочка, о которой писал Надсон. Мышка очень любит «Стихи о Прекрасной даме» Блока. Она даже кладет под подушку Блока и еще Ахматову. Если б я была такой, как «Незнакомка» Блока! Вот бы я натянула нос этой самой Зойке!

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

Но об этом нечего даже мечтать. Во-первых, если б я даже вздумала нарядиться такой «Незнакомкой», то у нас в доме нет никаких шелков, чтобы схватывать свой девичий стан, и потом, в каком это туманном двигаться окне? Куда это я еще полезу из-за этой Зойки? И у Ахматовой мне тоже ничего подходящего нет.

Вот и думай, как жить. Если б еще я была очень умной! Я заметила, что уродки всегда очень умные. Наверно, этот ум дается вместо красоты. Одно время к маме приходила какая-то курсистка, такая маленькая, вертлявая, как обезьянка, и в черных очках. Под этими очками даже не разберешь, какое у нее лицо, но зато все называли ее очень умной, потому что она могла говорить безостановочно целыми часами, так что даже глаза у мамы постепенно закрывались и мне казалось, что если эта курсистка не перестанет говорить, то мама сейчас вытянется и умрет. Даже такой умный, как Вася, и тот не мог долго выдержать этой курсистки, потому что, когда он ее провожал, она все говорила, говорила, и в коридоре, и на лестнице, и уже около двери... Я всегда высовывала голову в форточку и смотрела ей вслед: мне было интересно, говорит она еще во дворе и на улице или, наконец, замолкает. Вот была бы я такая умная, так заговорила бы насмерть эту Зойку. Но ума у меня мало, мне его самой не хватает, не то что тратить на разговоры для других. Я один раз говорю Хохолку:

— Побей Зойку.

А он испугался.

— У меня рука не поднимется на женщину.

Вот так друг! Когда надо, так у него рука не поднимается! Я ему сказала, чтобы он три дня не приходил и даже во дворе не смотрел на меня. Я все никак не могу придумать, что делать с этой Зойкой? Вчера хотела прихитриться к Васе. Вася читал газету, а я говорю:

— Вася, почему ты не ударяешься за Зоей? Она ведь очень красивая! И Мышка на тебя за это не рассердится, Мышка такая добрая, что она кому хочешь тебя отдаст!

Я с ним говорила очень вежливо, а он вдруг вытаращился на меня да как закричит:

— Это не девчонка, а исчадье ада! Что только в твоей несчастной голове делается?

А что у меня делается? У меня не в голове, а в сердце что-то делается. Но разве ему скажешь? Он бросил даже газету!

А Зойка все ходит и ходит... Один раз она пришла к нам, а Лени не было. Она вынула из муфты какую-то тетрадь и говорит:

— Девочка, передай Лене.

Это она нарочно хочет показать, что я еще маленькая. Но я так боднула головой эту тетрадку, что она даже испугалась. А потом со своей кошачьей улыбкой хотела еще погладить меня по голове и говорит:

— Это же не для меня, а для Лени нужно,— и отдала Мышке.

— Я ее так ненавижу, эту Зойку, что избила бы в пух и прах! Но Алина всегда говорит, что у нас интеллигентная семья и потому мы всегда должны быть на высоте. Ну и пусть сама сидит на этой высоте, а во мне, когда я злая, всякая интеллигентность кончается, и я могу любому человеку так дать, что он не скоро очухается. Но, конечно, бить эту кошку Зою нельзя, ее просто не по чем бить. Живота у нее нет, а лицо очень нежное... И вообще бить человека по лицу нельзя, это уж чересчур оскорбительно; мама говорит, что некоторые люди даже стрелялись из-за пощечины. Конечно, драться я не буду, а просто выгоню эту Зойку, и все! Я Леньку люблю еще с Утеса, и Волгу мы вместе любим, а она нигде не была, а лезет... Мы с Леней раньше часто хохотали, а теперь я всегда дуюсь на него. Нет, я Зойку выгоню! Сначала заведу интеллигентный разговор, а если она русских слов не понимает, то просто выгоню!

* * *

Сегодня Зойка опять пришла. Они долго говорили с Леней, а потом Леня куда-то побежал, а она осталась, села на диван и сложила руки на коленях как миленькая. Тогда я придвинула к дивану кресло, уселась в него, сосчитала себе до трех, а потом сказала:

— Я вас прошу оставить наш дом.

Эти интеллигентные слова я где-то вычитала и приготовила их заранее, я еще много слов приготовила, но все полетело кувырком. Зойка подняла свои брови, как будто удивилась:

— Что это значит?

Тогда я выбежала в переднюю, принесла ей шапку, муфту и шубку.

— Одевайтесь! И чтоб вашего кошачьего духа тут не было! Ленька — мой! Мы с ним еще на Утесе пили чай, а вы пришли и распоряжаетесь!

Я думала, Зойка испугается, а она только шире раскрыла свои глаза с поволокой и сказала:

— Я уже давно вижу, что ты на меня сердишься! Но разве так борются за любовь? Глупая ты девочка, ах какая глупенькая!..

Я сразу затопала ногами.

— Пускай я глупая, но я не позволю вам подлизываться к Леньке! Я его никому не отдам!

Тогда она схватила шубку и попятилась к двери, а я упала на диван и стала громко плакать. А Леня, оказывается, уже пришел и все слышал. Он сразу бросился ко мне:

— Макака! Макака!

А я ничего не могла сказать, потому что от слез и от крика во мне все дрожало. А Зоя стояла на пороге и только повторяла:

— Это черт знает что! Я не приду больше к вам!

А Леня подошел к ней и сказал:

— Это я виноват. Уходите. Я передам все дела Васе,— и открыл дверь.

Зойка ушла, а он дал мне воды, но зубы у меня цокали об стакан, я никак не могла успокоиться и все повторяла:

— Мы были на Утесе... мы там пили чай... и заворачивали бублики для революции...

Тогда Леня сказал:

— Макака... Запомни раз навсегда... Ты дороже мне всех на свете... Мне никто не нужен, кроме тебя...

— А эта... Зойка? — спросила я, но он только махнул рукой.

— Если бы ты сказала мне раньше, ее давно бы не было.

Тогда мне стало жалко его; он был весь белый, только брови черные. Но я все-таки сказала:

— Это все потому, что я уродка, а она красивая.

Тогда Леня засмеялся и сказал:

— Ты всегда будешь красивее всех!

Я сидела с распухшим носом, и губы у меня распухли, но я так обрадовалась, что перестала плакать и только спросила:

— Значит, ты понимаешь такую красоту, как у меня?

— Только такую...— сказал он, и мы от радости засмеялись.

С тех пор Зоя больше не приходила. Но один раз я слышала, как Вася сказал Лене:

— Не доведут тебя до добра эти потачки!

А Леня ответил:

— Дело от этого не пострадало.

Зою я больше не видела, она скоро уехала в Петроград...»

* * *

Динка долго сидит, склонившись над дневником. Ей не смешно и не странно читать эти глупые детские строчки. Она так живо вспомнила свои первые слезы, она боролась тогда за свою любовь всеми доступными ей средствами.

Теперь ей пятнадцать лет, она многое поняла. Вместе с девичеством пришла к ней гордость... Никто больше не увидит ее слез из-за любви, она не допустит эти слезы даже наедине с собой...

Динка вспоминает, как благородно скрыл от всех эту дикую сцену Леня. Он скрыл ее даже от мамы, а Васе сухо сказал:

— Динка не хочет видеть Зою. Прими дела и перенеси свои встречи с ней в другое место. И прошу тебя больше не обсуждать этот случай.

Да, Леня поступил благородно. Но почему сейчас вспомнил он этот случай? Неужели это ревность? Такая же глупая и дикая ревность, какая была у Динки. Но ведь Леня уже почти

взрослый человек. Но, конечно, если ему так больно видеть свою Макаку с другим человеком, то она должна поступить так же, как поступил когда-то он, Леня. Она должна...

Динка крепко зажмуривает веки, и перед глазами ее встает Хохолок.

«Ты хочешь про-гнать ме-ня?» — заикаясь, спрашивает он.

«Нет, нет!» — в ужасе отмахивается от этого Динка. Ей вспоминаются их поездки на велосипеде в лес, в поле... Она сидит боком на раме, и Хохолок, наклонившись к ее уху, рассказывает ей всякие городские новости, иногда говорит о себе, о своем отце. В последний год он очень сдружился со своим отцом.

«С тех пор как я работаю в «Арсенале», мне стал понятен и близок отец. И я увидел, как его уважают рабочие»,— сказал он однажды. И тут же вдруг вспомнил что-то веселое, и оба они чуть не свалились в канаву от хохота. Динка вспомнила еще, что после происшествия на киевских контрактах она никогда не решалась дома плясать тот цыганский танец, которому так страстно хотела научиться. Старый бубен, подаренный ей цыганкой, висел на гвоздике около двери и только в эти прогулки с Хохолком брала она его с собой и, выскочив где-нибудь на полянке, лихо трясла плечами, била в бубен и с гиканьем носилась перед своим единственным зрителем. И бубен, и пляска вызывали у Хохолка мрачные воспоминания, он невольно переносился в цыганский табор, плечи его ежились, бесконечная черная ночь сгущалась над его головой, в сжатом кулаке он снова ощущал холодное железо шкворня.

«Ну смотри же! Ты совсем не смотришь. Хорошо я пляшу?»

«Иногда хорошо, а ино-гда плохо»,— серьезно говорил Хохолок.

Дина опускала бубен, взгляд ее уходил куда-то далеко-далеко. Она мучительно вызывала в своей памяти красивую пляшущую цыганку. Хохолок ждал. Часто ей это не удавалось, тогда, молчаливая и поникшая, она усаживалась рядом с Хохолком и безнадежно говорила:

«Не могу... Не умею...»

Хохолку становилось жаль ее.

«Вот так она делала...» — говорил он, закидывая голову и поводя по воздуху рукой.

«Нет, не так!» Глаза Динки загорались, она вскакивала, хватала бубен, в глазах ее с дразнящей улыбкой вставала красивая, молодая плясунья. Не отпуская ее ни на миг из своей памяти и полузакрыв глаза, улыбаясь не свойственной ей улыбкой, Динка неслась перед ошеломленным Хохолком, замирая на месте, поводила и трясла плечами, откинув голову, выкрикивала какие-то непонятные цыганские слова. Потом вдруг останавливалась с затуманенным взглядом, а Хохолок удивленно смотрел на нее, не веря своим глазам.

«Это была не ты,— говорил он.— А та цыганка...»

Динка смеялась и, возвращаясь с прогулки, бережно вешала на гвоздик свой бубен до следующего раза.

Нет, нет! Как может она отказаться от этих поездок и как примет это сам Хохолок? Леня даже не понимает, чего он от нее требует. Ведь Хохолок — это ее друг, покорный, терпеливый, лучший друг... У нее только два друга: он и Леня. Леня никогда не мешает Хохолку, почему же Лене мешает Хохолок? Зачем он требует от нее такой жертвы? Ничего не может решить Динка. И кажется ей, что стоят на траве большие весы. В одной чашке ее дружба с Леней, долгие годы, прожитые вместе, ласковое имя «Макака», далекий волжский Утес и прямые темные брови над серыми глазами. В другой — черная ночь в цыганском таборе и тоненький, темноглазый мальчик с холодным шкворнем в руке, цветистый фиолетовый луг, смешливые губы, быстрый бег по тропинкам и перелескам, безотчетно смелый, не скрывающий своей любви Хохолок. Не двигаются чашки весов, ни одна не перетягивает другую...

— Два друга у меня... два друга...— горько шепчет Динка, отталкивая от себя всякую мысль о том, что ей придется выбрать между ними одного. Она поняла — так хочет Леня.

Глава 28

НЕЧАЯННАЯ ОБИДА

— Динка! — кричит с террасы Мышка.— Дина! Леня едет на почту!

— Я еду на почту,— говорит, появляясь из кустов, Леня. Он ведет на поводу Приму и, увидев в руках Динки клеенчатую тетрадь, быстро спрашивает: — Ты читала свой дневник?

Динка молча кивает головой. Леня стоит перед ней такой высокий, сильный и красивый. Солнце освещает его пепельные волосы, зелень ореховых кустов отражается в глазах.

— А как бы поступила ты теперь, если бы эта Зоя снова появилась? — спрашивает он, напряженно сдвинув брови и щуря глаза.

Динке делается неудержимо смешно и весело.

— Еще хуже! — хохочет она.— Еще хуже! Я не стала бы терпеть так долго!

Но Лене слышится в ее хохоте насмешка. Он бледнеет.

— Над чем ты смеешься! — гневно кричит он и, шагнув к ней, закрывает ее смеющийся рот неожиданным долгим поцелуем.

Застигнутая врасплох, удивленная и рассерженная, Динка хочет оттолкнуть его, но сердце ее сильно бьется, руки не слушаются, и, очнувшись, словно во сне, она слышит удаляющийся топот Примы.

Не в силах понять, что случилось, Динка прижимает к губам холодную ладонь и долго смотрит на нее. Никогда не целовал ее так Леня... Может быть, он сошел с ума?.. Но почему же она ничего не сказала ему?..

— Что это было? — шепотом спрашивает Динка, оглядывая знакомую аллею.

Но вокруг все по-прежнему зелено и тихо. Все, все: и кусты, и деревья, и голубеющее над головой небо, и даже дремлющие в траве собаки — все осталось как прежде. И только в ней самой так неспокойно сердце. Словно стронутая с места льдинка, оно плывет и кружится между двумя берегами, не зная, к какому из них прибиться. И ему уже не вернуться

назад, потому что то, что было, уже было. И в пятнадцать Динкиных лет это уже не «суматоха», не «чепуха» и не шутка — это маленький блестящий осколок, оторвавшийся от того чуда, которое люди называют любовью. Но Динка не понимает этого, она стоит растерянная, и щеки ее то вспыхивают от стыда и гнева, то бледнеют от глубокой внутренней тревоги, потому что нет у нее, у Динки, оружия против неожиданного, наступающего врага, потому что враг этот — ее собственное сердце... или, может быть, тот дорогой ей человек, которого она сама привела в свой дом. Все равно, в обоих случаях она бессильна...

Динка чувствует себя как полководец, внезапно растерявший всех своих солдат. Она стоит, упершись глазами в землю. Над цветком ромашки надоедно гудит и кружит шмель с желтой бархатной спинкой, Динка отбрасывает его ладонью в траву, ей кажется, что его нудное гудение мешает ей думать. А думать есть о чем. Тщательно, по крупинкам, собирает Динка накопленный опыт жизни, и недаром с самых ранних лет она внушила себе мысль, что только для мертвого человека нет выхода из положения, а для живого он всегда есть.

— Мы еще посмотрим, кто кого...— с угрозой говорит Динка, и в глазах ее рассыпаются злые, колючие иголки.

«Мы еще посмотрим. Может, он начитался дурацких романов и хотел показать мне, какой он взрослый, а я просто не ожидала, ведь это любому человеку зажми вот так рот, всякий растеряется...— с раздражением думает Динка и тут же с грустью отвечает себе: — Нет, Леня не читает романов, ему некогда их читать, просто он подумал, что я смеюсь над ним, и сделал это со зла... Но я тоже сделаю ему назло, завтра же пошлю Хохолку телеграмму: «Емшан, емшан, приезжай с велосипедом». И я уеду с ним на целый день. Я не слезу с этой рамы, пока у меня не начнутся пролежни... И пусть бесится тогда...»

Зла, очень зла, унижена и оскроблена Динка, но сквозь всю эту накипь прорывается вдруг неподдельное чувство к Лене:

«А ведь я могла бы ударить его. Хорошо, что у меня отнялись руки...»

Глава 29

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Не всякому доверяет свои тайны природа. Есть слепые и глухие люди. Много лет подряд приезжают они в лес, дышат его целебным воздухом, пользуются его дарами, рвут лесные цветы, грибы и ягоды, с легкомысленной неблагодарностью разводят в самом сердце его костры, засоряют тенистые уголки отбросами, засаленными бумагами, склянками, бутылками и уезжают, так и не поняв таинственных шорохов листьев, крика птиц и чуть слышного дальнего топота на лесных дорогах и многое другое, чего не слышат глухие, даже не ведая о своей глухоте. Как слепые ходят они по лесу, не замечая богатства красок его, и едва различимые следы на примятой траве, и рассыпанные бисером неприметные цветочки, и багрово-красный закат, обжигающий стволы деревьев... Зато с жадностью бросаются эти люди на грибы, на ягоды, на березовый сок — на все, чем можно поживиться от леса. Много раз видела Динка поломанные кусты малины и ежевики, вырванные с корешками грибы, надрубленные стволы берез, истекающих весной свежим соком, брошенные на дороге цветы. Каждую малость замечала и любила Динка. Выбегая на цветистый луг, она снимала сандалии, чтоб не потоптать цветов и букашек; по-разному пахли для нее цветы и травы, и даже в перешептыванье листьев угадывала она разные голоса, и тревожная перекличка птиц заставляла ее сразу настораживаться, как дикого зверька в чаще.

Так и сейчас, больно переживая свою обиду на Леню, Динка стоит посреди ореховой аллеи и слушает голоса птиц, шорох мягких листьев, каким-то дальним слухом, склонив набок голову, слушает она и дорогу... Она не хочет ждать Леню, но ждет его... Может, потому, что он должен привезти письмо от мамы...

Динка ждет, но дорога молчит. А вот птицы вдруг с шумом вылетают из кустов, и в шепот листьев проникает чуть слышный чужой звук. Динка поднимает голову, настораживается. Вот чуть слышно хрустнула ветка, кто-то осторожно пробирается

сквозь гущу кустов. Один?.. Нет, двое... Чужие... Чужие... Динка не поворачивает головы, но обостренный слух ее ловит тихий шепот:

— Она... Горчица...

— Спугнуть?

— Не надо... Стоит... Думает об чем-то...

Динка быстро поворачивается к кустам. На лице ее блуждает радостная, неуверенная улыбка.

— Жук...— говорит она громким шепотом.— Ухо! Иоська!

— А вот и не угадала! Иоськи с нами нет! — появляясь из кустов, говорит Жук; около его плеча ухмыляется круглая физиономия с зелеными раскосыми глазами.

— Собственной персоной,— смущаясь, говорит Ухо.

И Динка, забыв свои горести, радостно бросается к гостям. Ленивые собаки, подняв головы, вопросительно смотрят на хозяйку.

— Вот это так сторожа! — смеется Жук.— Хоть бы гавкнули!

— А зачем им гавкать на гостей! Собаки хорошо знают, кто друг, а кто враг! — защищает своих телохранителей Динка.— А ты попробуй, замахнись на меня! Ну, замахнись!

— А что будет? Ничего не будет,— смеется Жук и легонько взмахивает веткой.

«Р-р-ры!..— с бешеным лаем срываются с места оба пса.— Р-ры-р-ры!..» — злобно ворчат они, оскалив зубастые пасти.

— Нерон! Волчок! Назад, назад! — испуганно кричит Динка.

Собаки отступают назад, не сводя глаз с Жука.

— Вот это да! Вот это показала! — хохочет Ухо.— Что, Цыган, запугался?

— Пожалуй, и порвут...— усмехается Жук.— А я думал, и правда они у тебя для мебели!

— Ученые,— важно кивает головой Динка и, оглянувшись, спрашивает: — А где же Иоська?

— А где ему быть? Дома он...— покусывая травинку, спокойно отвечает Жук.

— Как — дома? Один? — пугается Динка.

— Зачем один?.. Мы его одного сроду не оставляем.

— Одного нельзя... Он у нас, как буржуй, с нянькой,— весело поясняет Ухо.

— С нянькой? — удивляется Динка.

— Ну, с хлопцем одним... Наш хлопец... Пузырь называется. Бычий Пузырь. Первый силач на всем рынке. Хочь корову, хочь коняку за передние ноги поднимает... Здоровый. Только одноглазый, как твоя Прима. Вышибли ему глаз в драке,— рассказывает Жук.

— Одноглазый? А что ж я не видела его? — вспоминая свой приход в лес, морщит лоб Динка.

Цыган и Ухо смеются.

— А он спал тогда. Он когда спит, так хоть сожги всю хату — не встанет! С ним один способ — кружку воды на морду! Как плеснешь, так он и вскочит!

— Вот так способ! — хохочет развеселившаяся Динка.— Хотела бы я его посмотреть!

— Посмотришь. Вот придешь и посмотришь! — улыбается Жук.

— Я приду с Леней,— неуверенно говорит Динка.

— Это с каким Леней? — грозно спрашивает Жук.— У нас уговор был. А ты что же, продала?..

— Тише, тише,— машет на него рукой Динка.— Леня — это мой брат. Он свой. Понятно? Вы с ним еще лучше, чем со мной, подружитесь! Он ведь был такой же, как вы. Понятно? Сирота был, на улице жил. И хозяин бил его чем попало... А потом мы с ним познакомились, и моя мама взяла его. Понятно? Он уже давно мой брат. Самый лучший человек на свете,— торопясь и волнуясь, рассказывает Динка.

Но Жук недоверчиво смотрит на нее узкими щелочками глаз.

— Ну гляди...— угрожающе цедит он сквозь знакомую Динке хищную усмешку.

— Ну да что ты, Цыган! Не знаешь ее, что ли? — вмешивается обеспокоенный товарищ Жука.— Уж если ей не верить, так кому верить!

— Он верит мне. И брату моему поверит. Вот увидит его и сразу поверит,— ласково говорит Динка и, положив руку на плечо Жука, заглядывает ему в глаза.— Брось все это, ладно? Раз навсегда брось! И не грози мне! Не люблю я этого!

— Мало ли, что не любишь...— ворчит Жук, но в голосе его уже не слышно зла, и губы растягиваются в смущенную улыбку.— Вроде Иоськи она. Подлизывается,— говорит он, подмигивая товарищу.— Тот тоже, как закричишь на него, так сейчас либо руку на плечо кладет, либо за шею обнимает.

— А ты что тогда? — с интересом спрашивает Динка.

— Ну, что я? Плюну да и замолчу. Ясное дело, человек не бревно. Хорошее обхожденье каждый любит,— важно говорит Жук, и Динке делается беспричинно весело.

— Как хорошо, что вы пришли! — радуется она.— Пойдем сейчас к нам! Будем молоко пить! У меня там сестра...— Динка вдруг хватается за живот и начинает неистово хохотать.— Моя... сестра... ангел! — хохоча, еле выговаривает она.

— Гляди-ка...— изумленно раскрывает глаза Жук и вдруг, заразившись Динкиным смехом, валится на траву.— Ой, убила! Еще и сестра у ней... И все... ангелы! А сама... ведьма!..

— Хи-хи-хи! — подпрыгивая и хлопая себя по бокам, заливается Ухо.— Ну и Горчица! Настоящая горчица! Вот это поднесла!..

Но Динка уже не смеется. В нескольких шагах от нее стоит Леня.

— Здравствуйте,— говорит он, подходя и протягивая руку Жуку, потом Уху.

Мальчишки, огорошенные его неожиданным появлением, не спешат.

— Это мои лесные друзья! — быстро говорит Динка.

— Ну если твои — значит, и мои! — весело кивает Леня, пожимая руку Жука.

Ухо вытирает ладонь об штаны и с робостью протягивает ее дощечкой.

— Вот это и есть мой брат,— улыбаясь, говорит Динка, не глядя на Леню.

— Ну, пошли в хату! Пошли, пошли! — обнимая новых знакомых за плечи, торопит Леня и, обернувшись к Динке, добавляет: — Я привез письмо от мамы.

На террасе гостей встречает Мышка. Динка еще издали видит, что глаза сестры обведены красными кружками, и, забыв обо всем, бросается к ней с вопросом:

— Что с папой?

Мышка молча подает ей письмо и удивленно смотрит на незнакомых мальчишек, которых ведет Леня. На обоих чистые рубашки с открытыми отложными воротниками, залоснившиеся от долгой носки и подчищенные брюки, волосы тщательно приглажены.

«Не деревенские и не городские. Откуда Леня взял их?» — удивляется Мышка, глядя на независимую, вихляющуюся походку мальчишек. Особенно ее смущает один из них, с черной, как вороново крыло, головой и с такими же черными, недобрыми глазами. Оливково-смуглые щеки его напоминают Мышке цыган. Товарищ его тоже, по-видимому, не русский: лицо скуластое, глаза зеленые, раскосые, рот большой и легко растягивается в улыбку.

— Вот, знакомься, Мышка! Это наши гости! Ты о них ничего не знаешь, но это неважно! Они нас тоже не знают, но зато хорошо знают Динку!

«Динкины приятели, так я и думала»,— ахает про себя Мышка, но на лице ее ласковая, радушная улыбка.

— Ну и хорошо! — говорит она, хлопоча около стола.— А у нас сегодня пир горой! Залезайте за стол, будем пить чай!

Мальчишки, смущенно отказываясь и подтягивая штаны, залезают за стол.

— Значит, папа все-таки болен. И мама пишет, что его перевели в тюремную больницу...— держа в руке прочитанное письмо, озабоченно говорит Динка и, глядя на всех, спрашивает: — Разве есть в тюрьме больница?

— Есть такая...— глухим баском откликается Жук.— Только там не лечат, а калечат.

— А ваш отец в тюрьме? — быстро спрашивает Ухо и, смутившись, косит глазом на Леню.

Мышка делает досадливое движение бровями. Ни к чему затеяла этот разговор Динка при чужих людях. И вообще, так хотелось поговорить наедине о болезни отца, о матери, которая обещает скоро приехать. Но Мышка не успевает даже опомниться, как Леня вдруг говорит:

— Да, наш отец в тюрьме. Он политический. Вы знаете, что это значит: политический? — спрашивает он притихших мальчишек.

— А чего же нам не знать? — с усмешкой отвечает Цыган.— У нас свой такой был...

— Был да сплыл,— подпирая грязной рукой щеку, добавляет раскосый.— Помер...

— Помер? — невольно включается в разговор Мышка.

Цыган щурит глаза, и недобрые огоньки их проступают еще ярче сквозь сомкнутые черные ресницы.

— Не сам помер, замучили его...— резко говорит он, болтая в стакане ложкой.— Он в «Косом капонире» сидел. Знаете, может, тюрьма такая? Там все больше военные да политические сидят...— словно нехотя говорит Цыган.

— А кто ж он такой? — почти одновременно спрашивают Леня и Мышка.

— Вам-то он кто? — уточняет вопрос сильно заинтересовавшаяся Динка.

— А кто он нам? Не родня, конечно... Человек, и все! — пожимает плечами Цыган.

Ему, видимо, не очень хочется говорить об этом, но более говорливый и живой Ухо сразу пускается в объяснение:

— Хороший человек, стоящий... А вообще он студент. Цыган его для Иоськи нанимал, чтобы, значит, учил он Иоську. Ну, так и познакомились. И теперь у его матери живем. Он помер, а мы живем, вроде за него. Мать-то одна осталась,— вскидывая одной рукой, бойко рассказывает Ухо.

— Ну хватит, разговорился...— останавливает его Цыган.

— Нет, подожди. А как фамилия его? — взволнованно спрашивает Леня.

Мышка вопросительно смотрит на сестру, но Динка недоумевающе пожимает плечами.

«Я ничего не знаю...» — молча отвечает она на вопросительный взгляд Мышки.

— Как его фамилия? — повторяет Леня, глядя на обоих товарищей.

Но Цыган толкает под столом Ухо носком ботинка и хмурится. Раскосые глаза мальчишки шмыгают в сторону, торчащие уши озаряются изнутри розовым светом, и за одним из них ярко выступает багровый рубец.

— Фамилие... я забыл,— смущенно почесывая пальцем короткий веснушчатый нос, говорит Ухо.

Цыган поднимает голову и обводит внимательным взглядом встревоженные лица. Неожиданная, почти ласковая усмешка трогает его губы.

— Фамилия тут ни при чем, а история это длинная... Но когда хочете, мы расскажем.

— Конечно, Жук, расскажи! — просит Динка и вдруг, бросив мельком взгляд на серьезное, сосредоточенное лицо Лени, вспоминает свою обиду.

«Подумаешь, сидит как ни в чем не бывало. А про то забыл...» — с гневом думает она. Но Леня поднимает глаза и встречается с ней взглядом. Интерес к рассказу мальчишек мгновенно сменяется в этом взгляде на какое-то новое для Динки грустное и виноватое выражение. Динка, вспыхнув, отворачивается, сердце ее бьется неровными толчками и в голосе звучат натянутые, фальшивые нотки:

— Ну, что же ты, Жук? Расскажи...

— Да он же рассказывает! Не мешай, Динка! — нетерпеливо останавливает ее Мышка.

— Ну вот, значит, наняли мы того студента, пускай он хоть Конрад будет... А Иоську мы одного никуда не пускали, вот как и сейчас. Ну, значит, стали ходить на уроки все вместе. С этого у нас и дружба пошла...— медленно говорит Цыган.

— Нет, самая дружба с обыска началась,— живо перебивает его Ухо.— Вот как сидим мы один раз за столом, Конрад с Иоськой задачки решает, а нам книжки дал. И вдруг как забегит в комнату бабка Ирина, его мать, значит...

— Да нет... Мы уж раньше, в окно увидели: стоят жандармы с дворником. Конрад сразу стемнел с лица, огляделся вокруг да и хвать из-под кровати чемоданчик. «Хлопцы, говорит, это ко мне с обыском». А тут уж стучат в дверь, и мать его вбегает. «Сыночек, говорит, сыночек...» А он стоит с этим чемоданчиком ни туда ни сюда. Ну, я зыркнул в окно, а они на втором этаже жили. Гляжу, водосточная труба почти что донизу. Я — толк Ухо в бок. А он у нас ловкий, как кошка.

— Я сразу глянул в окно, а Цыган мне глазами: «Лезь, Ухо!» Ну, я поплевал на руки и полез! А потом Цыган мне и чемоданчик бросил. И сам за мной вылез и ну бежать! Ох и бегли мы! А чемодан-то хоть маленький, но тяжелый, с книгами разными. Ну, все ж не споймали нас легавые! — весело посмеиваясь, сказал Ухо.

— А Конрада вашего арестовали все-таки? — спросил Леня.

— Нет... В тот раз не взяли его. Дома был... И чемоданчик свой он у нас оставил. «Пускай, говорит, до времени побудет». Его на заводе арестовали. У него там дружки между рабочими были, ну, они, конечно, все за революцию толковали, а один возьми да выдай...— сказал Ухо.

— Мы его после пришили, шкуру. Ну да что ж, когда поздно уж было,— мрачно добавил Жук.

За столом все замолчали.

— Мы Конраду передачу носили... А раз пришли — всё... Нету его, помер...— тихо сказал Ухо, и его скуластое лицо сморщилось.

— Не помер, а забили...— снова резко уточнил Жук.— Ну, да за нами не пропадет! Посчитаемся...— угрюмо добавил он со своей неприятной, хищной улыбкой.

«Этот посчитается...» — отводя от него глаза, подумала Мышка и, оглядев пустой стол, всплеснула руками.

— Ой, да что же я! Обещала пир горой, а ничего не поставила. Леня! Вот хлеб, порежь скорей!

Она побежала в комнату и вынесла оттуда завернутый в лопух большой кусок сала.

— Вот же сало! Леня привез! Большущий кусок! Ешьте вволю! Берите, мальчики! — весело говорила Мышка, нарезая розовое, просвечивающее насквозь сало аппетитными кусками.— Корочка мягкая-мягкая! Кто хочет с чесноком?

У Динки потекли слюнки, но она тут же одернула себя:

«Не буду есть сало. Он привез, а я не буду. Пусть, знает, что мне теперь ничто не мило...»

Когда все с аппетитом принялись за еду, Мышка удивленно посмотрела на сестру:

— А ты почему не ешь?

— Меня тошнит,— делая брезгливое выражение, сказала Динка.

— Ну вот! Еще бы не тошнило! Хоть бы ты сказал ей, Леня! Ведь она с самого утра отправляется на подножный корм и ест все, что попадется под руку. И щавель, и какую-то кашку, и заячий лук... Ну сколько ты этого луку сегодня съела?

— Ничего я не ела... Я даже забыла, что он существует,— огрызнулась Динка и мысленно обругала сестру: «Дура несчастная. Леня может подумать, что у меня никакого самолюбия нету... и никакой обиды. Пошла, наелась заячьего лука, запила водичкой, и все прекрасно. Но как бы не так...»

Динка бросила мельком взгляд на исчезающие куски сала.

«Съедят, все съедят... Хоть бы припрятать себе кусочек. Я с самого утра ничего не ела, не шутка все-таки... И вообще сало — это жалкая месть... Я лучше что-нибудь другое придумаю...»

Динка небрежным движением и с равнодушным лицом потянула к себе самый большой кусок сала. Но он оказался не до конца отрезанным и за ним потянулся весь кус... Леня поспешно схватил нож и, отрезая Динкин ломтик, взглянул на нее посветлевшими глазами. Сердце у Динки упало,

щеки обдало жаром, как будто к ним поднесли горящие головешки.

«Ну,— подумала Динка, глотая неразжеванное сало без всякого вкуса,— я же тебе отомщу. За все отомщу! Я бы и сейчас могла встать, подойти к перилам и посмотреть на дорогу... А потом вздохнуть и сказать: «Что это как долго не едет Хохолок?» Нет, не буду... Он сразу поймет, что я назло»,— прислушиваясь к разговору за столом, мучительно соображала Динка.

— У каждого человека свое прозвище...— спокойно говорил Жук.— Вон она,— он кивнул на Динку,— Жуком меня зовет... А Ухо зовет ее Горчицей, потому как она ему на базаре предложила один раз: «Пойдем, говорит, я тебе намажу хлеб горчицей...»

— Стой, стой! Я сам расскажу! — хлопая Цыгана по плечу, заторопился вдруг Ухо.— Никто небось с их не знает, с чего это дело пошло...— сияя расплывшимся в улыбке лицом и дергая себя за ухо, за которым белел продолговатый шрам, растроганно сказал он.— Никто не знает.

— Я знаю...— сказал вдруг Леня и посмотрел на Динку.

Но она даже не улыбнулась и только значительно сказала:

— А Жук зовет меня ведьмой...

— Еще бы не ведьма! — расхохотался Жук.— Как она тогда в лесу вызверилась на меня! Чистая ведьма! Несмотря, что кровь у ей текет...

— Кровь? — с ужасом переспросила Мышка.

Брови Лени дрогнули, в глазах мелькнула какая-то догадка.

— Кровь, кровь... Испугались! Ну я же говорила вам, что упала с дерева и разбила голову,— всполошилась Динка.

Жук бросил быстрый взгляд на Ухо.

— И ты еще путешествовала куда-то в лес с разбитой головой? — недоверчиво спросила Мышка.

— Ну, говори...— чуть-чуть поднимаясь, сказал Жук.

Глаза Уха, как затравленные зайцы, метнулись в разные стороны, он вынул изо рта недоеденный хлеб и придвинулся ближе к Цыгану.

— Голова, голова!..— в испуге закричала Динка.— Надоело мне двадцать тысяч раз говорить про одну и ту же голову!

— Ох, не кричи так! Тебя же в экономии Песковского слышно! — прикрывая пальцами уши, засмеялась Мышка.

Грозу пронесло. Но гости уже вспомнили про Иоську и начали прощаться.

— Приходите еще! — ласково приглашала их Мышка.

— Придем как-нибудь... Часто-то нам нельзя. А вот вы приходите! — пригласил Леню и Динку Жук.— Вы не думайте, у нас и квартира есть, и лампу мы зажигаем!

— Да где ж это все? — недоумевала Динка.

— А вот придешь — увидишь. Мы в этот раз не потаимся. От своих таиться нечего! — прощаясь, сказал Жук.

Когда гости ушли, Мышка задумчиво сказала:

— Жалко мальчишек... И плохие они, и хорошие — всё вместе!

— Плохое с них нужно соскребать лопатой, а хорошее само заблестит,— сказал Леня.

— Все равно, какие б они ни были, это родственные мне души,— заявила Динка.

Глава 30

ОРЕХОВАЯ АЛЛЕЯ

Вечером снова перечитали письмо матери. Зная, что письма ее будут проверяться полицией, она писала коротко:

«Папу удалось перевести в тюремную больницу, у него затяжной плеврит. Приеду — расскажу подробнее. Думаю, что через неделю буду дома. Ждите телеграммы».

Говорить было не о чем, надо было ждать подробностей от матери. Все трое сидели в тягостном молчании.

— Чтобы вылечить такую болезнь, нужен хороший уход,— сказала Мышка.

— Я думаю, мама все сделала в этом отношении. В Самаре много старых товарищей,— старался успокоить сестер Леня.

— Конечно. Мама не уедет так...— подтвердила Динка.

Мышка глубоко вздохнула:

— Тюрьма — это тюрьма... Как сказал этот Жук? В тюремной больнице не лечат, а калечат...

Разговор перешел на «гостей из леса», как называл их Леня.

— Да! Я ведь все-таки ничего не знаю, где ты их нашла, Динка? Особенно вот этого черного, с белыми зубами. В его глаза прямо страшно смотреть.

— Да, этому Цыгану в зубы не попадайся... Видно, жизнь у него была не сладкая, вот и ненависть лютая.

— Чепуха,— сказала Динка.— К своим он очень добрый, а врагам так и надо!

— Но кто же они такие все-таки? — спросила опять Мышка.

Динка вкратце повторила всю историю своего знакомства с лесными гостями. Против ожидания Мышка не ужасалась, не ахала, а, наоборот, живо сказала:

— Я бы пошла с тобой вместе! Ты очень смелая Динка, но безрассудная, тебе всегда нужен рядом человек с трезвой головой... Но все-таки, значит, эти мальчишки шляются по базарам, занимаются мелкими кражами и на это живут?

— Нет... Может быть, и нет... Жук продавал корзинки, они сами их плетут. Может, и живут на это? — предположила Динка.

— На это жить нельзя. Их четверо, да еще мать Конрада, того студента. Не стоит закрывать глаза, все-таки они промышляют воровством. Жаль, что не удалось хорошенько расспросить их об этом политическом. Одного имени мало, надо бы знать фамилию и где он работал. Может, кто-нибудь среди рабочих и знал его...

— Конечно. Он, несомненно, был связан с товарищами. Ну, я думаю, они еще появятся,— улыбнулся Леня.

Проводив Мышку на станцию, Леня сразу ушел на огород. Динка тоже избегала его. На душе у нее было смутно и нехорошо. Вчерашнее раздражение и желание отомстить уступило место глубокой грусти. Казалось, что из-за этой размолвки долголетняя детская дружба навсегда порвалась и никакими

силами невозможно теперь вернуть то время, когда они так радостно бросались навстречу друг другу, торопясь поделиться накопившимися новостями.

«Что же это случилось, что же случилось?» — мучительно думала Динка, одиноко сидя на пруду и боясь вернуться домой, чтоб не встретиться лицом к лицу с Леней.

Тоскливое одиночество, невознаградимая потеря и страстное желание понять, что же все-таки произошло, заставляли ее несколько раз в день возвращаться в ореховую аллею на то самое место, где произошла ссора. Там, закрыв глаза и прижав к груди руки, она старалась восстановить в своей памяти все, как было, но память не слушалась ее, а сердце начинало так биться, что Динка бросалась в прохладную траву и с отчаянием думала: «Я сделалась больной... Я совсем больная».

Стараясь не встретиться с Леней, она пробиралась домой и, найдя пузырек с валерьянкой, без счета капала ее в рюмку, морщась и запивая водой.

С трудом заставила она себя сварить зеленые щи и поджарить картошку. Но обедать Леня не стал.

— Я подожду Мышку,— сказал он, отряхивая с себя пыль и не глядя на Динку.— Мне нужно закончить огород. Ешь без меня!

Но Динка тоже не стала есть. Первый раз в жизни ей не захотелось даже есть, и, равнодушно прикрыв полотенцем застывающие на столе кушанья, она снова ушла в ореховую аллею, еще более несчастная, чем была до обеда.

— Теперь я знаю, как умирают от чахотки. Такие же молодые, как я. Мне ведь только пятнадцать с половиной лет.

В аллее пели птицы, жарко светило солнце, по бокам из гущи кустов и трав выглядывали синие колокольчики и крупные белые ромашки с желтыми сердечками; далеко-далеко вдаль убегала тропинка, она вилась через луг, через ручей с переброшенной через него мокрой корягой и, поднявшись по зеленому косогору, пряталась в золотистой ржи.

А Динка уже мысленно писала свое завещание:

«Я хочу лежать в ореховой аллее. И пусть надо мной стоит маленький черный крест, пусть стоит он вечно в память безвременно погибшей молодой жизни... Не плачьте обо мне, я все равно не могу больше жить со своим характером... Отрежьте мои косы и отдайте их на память Лене, только не надевайте мне платка, он мне не идет...»

Динка уже представляла себя в белом платье, неподвижно лежащей посреди ореховой аллеи в свежем сосновом гробу. От знакомого запаха хвойного леса — леса, которого никогда уже не увидит Динка,— стало нестерпимо жалостно... Динка представила убитого горем Леню, плачущих родных и строгое лицо папы...

«Не плачьте,— говорит папа.— Человек, который жил только для себя, не настоящий человек».

Динка медленно растирает на щеках слезы, и видение исчезает из ее глаз.

«Умереть — это легче всего,— думает она,— но с какой это стати мне умирать, я еще ничего не сделала для революции. Да я лучше трижды погибну в бою, да еще прежде целую кучу врагов уложу вокруг себя... Тот, кто не боится смерти, врезается в самую гущу боя, и давай, давай... По головам, по мордам... Главное — быстрота и натиск! Сбил с ног — и дальше!»

Динка забывает о своем горе и, чувствуя небывалый прилив сил, гордо вскинув голову, направляется домой. Не все еще потеряно в жизни!

Около террасы Леня моет под рукомойником голову и руки, переодевает чистую рубашку.

— Время ехать за Мышкой,— говорит он.

Динка молча приводит Приму, кормит ее с ладони кусочком хлеба, потом уходит в комнату пить валерьянку. Обычно, запрягая лошадь в таратайку, Леня весело насвистывает, но сейчас он не свистит, и, глядя в окно, Динка видит его темное от загара лицо, опущенные глаза и светлые волосы...

«Он тоже умрет,— думает Динка.— Мы не можем жить друг без друга».

* * *

— Динка! — кричит из комнаты Мышка.— Кто это выпил всю валерьянку? — Она держит в руке пустой пузырек и смотрит вокруг: не пролился ли он случайно.

— Это я выпила,— говорит Динка.— У меня сильное сердцебиение!

— У тебя? Сердцебиение? — удивляется Мышка.— Ты, наверно, как сумасшедшая гоняешь со своими собаками!

— При чем тут мои собаки? Может же быть у человека больное сердце!

— Но ты никогда не жаловалась. И потом, выхлебать столько валерьянки, да это можно любое сердце загнать! Ты что, с ума сошла? Смотри-ка, Леня,— возмущенно говорит Мышка, обращаясь к вошедшему Лене и показывая ему пустой пузырек,— весь выпила!

— А это не его дело! — хватая у нее из рук пузырек, кричит Динка.— И тебя это тоже не касается! Что вы всегда вмешиваетесь в мои личные дела?

— Какие личные дела? Что это с ней? — глядя вслед выбежавшей Динке, спрашивает Мышка.

Леня молча пожимает плечами и хмурится.

Сумерки уже окутывают сад. Мышка зажигает лампу и, сидя на кровати, штопает свои чулки. Но глаза ее слипаются. Бросив чулок, она сонно раздевается, стелет кровать и через минуту засыпает как убитая. Динка тушит лампу и уходит в свою комнату. На пороге она останавливается. В раскрытую дверь на террасу видно, как, набросив на плечи куртку и спустившись с крыльца, Леня долго медлит, словно не зная, куда идти, потом, свернув на луговую тропинку, идет к роднику... Он идет, не глядя по сторонам и ни о чем не думая. Мир опустел, в нем нет больше Макаки... Так один человек может унести с собой тепло, свет и радость... Динка долго смотрит вслед исчезающему за пригорком Лене. Потом с коротким, прерывистым вздохом она уходит в свою комнату... На небо медленно выползает круглая, улыбающаяся луна. В окно с тихим шорохом просятся ветки Динкиной ровесницы березы, посаженной в первый год приезда на хутор. Динка любит свою березку

и не позволяет обрезать ее ветки. Она осторожно открывает окно, отводя их рукой. Пышные тоненькие ветки доверчиво укладываются на подоконник. Динка зарывается лицом в свежие трепещущие листья, капает на них горькими слезами.

«Плохо мне, плохо мне, березонька, подруженька моя...»

Леня возвращается поздно. Из раскрытого окна Динки доносится до него тихая-тихая грустная песенка. Леня не может разобрать ее, но несколько слов лишают его последней надежды.

Нам с тобой, кудрявым, тонкоствольным,
Ни в любви, ни в жизни не везет...
Любят нас не те, кого мы любим,
И любовь сторонкою идет...—

тихо-тихо поет Динка.

Холодное отчаяние охватывает Леню. Ему все ясно: Макака любит Андрея. Она поет об этом, может быть, сама не понимая. Но он, Леня, не станет у нее на дороге.

Все кончено. Все, все кончено...

Леня останавливается в углу террасы убитый, уничтоженный собственной догадкой. Его тревожит и голос Динки — такой несвойственный ей тихий, грустный голос. На то, что Динка часто сочиняет сама себе какие-то песенки, он смотрит просто как на одну из ее причуд. И обычно это веселые, радостные песенки, бурно выражающие ее восторг. Она примешивает их часто даже к своему рассказу, как будто ей легче выразить что-то в песне. Леня вспоминает, как прошлым летом, пробегав где-то с собаками, она, бурно жестикулируя и смеясь, болтала и пела:

Я бегу, за мной собаки.
К нам навстречу лес бежит,
Вдоль дорожки скачут маки,
И земля, как лист, дрожит..
Не стоит ничто на месте,
Ветер гонит облака,
И несется с нами вместе
За осокою река...

И, хохоча, добавляла:

Я с разбега оступилась,
Сразу все остановилось.
Встало небо надо мной,
Лес качает головой...
Только мой собачий друг
С лаем бегает вокруг...

Леня слушал ее и от души смеялся, а Мышка быстро-быстро записывала... А зачем? Разве можно записать все, что делает и болтает Макака? Но все это было так свойственно ей, так понятно... А сейчас?

Луна останавливается над самым домом, заливает белым светом крыльцо. Динка слышит шаги Лени. Она перестает петь, поспешно стирает следы слез и выходит на террасу. Ей хочется спросить, прямо спросить Леню: совсем ли он разлюбил свою Макаку? Ведь правда всегда лучше неизвестности. Но думать легче, чем сказать... И Динка молчит. Леня решается первый.

— Макака! — взволнованно шепчет он, грея ее холодные руки.— Прости меня, Макака... Я ничего не могу объяснить тебе, прости меня просто так, без объяснений...

— Я не сержусь...— тихо и покорно отвечает Динка.— Но скажи мне только одно... Ты сделал так со зла? — грустно спрашивает она, подняв к нему осунувшееся за день лицо.

— Со зла? — удивленно переспрашивает он и, не сводя с нее светлых глаз, отрицательно качает головой.— Нет, нет... Я не знаю сам... Только не со зла... И это никогда больше не повторится...

— Никогда? — в смятении повторяет Динка.

— Никогда, никогда, Макака... Только люби меня, как прежде... Я не требую от тебя никаких жертв, можешь ничего не говорить Андрею. Все это мальчишество. Ты должна быть свободна... А я уеду... Я уеду, Макака! А сейчас прости меня!

— Я не сержусь...— в отчаянии повторяет Динка, чувствуя, что случилось что-то непоправимое.— Я не сержусь,— повторяет она, робко заглядывая ему в глаза.— Только... возьми меня с собой, Лень! Я не могу жить без тебя.

Глава 31

САМОЕ ЛУЧШЕЕ УТРО В ЖИЗНИ...

Только у самых счастливых людей бывает такое утро, когда человек просыпается с ощущением глубокой необъяснимой радости. Ему кажется, что радость эта, как ночная роса, миллиардами блесток рассыпана на траве, на цветах, на лугу и на всей, на всей земле, где только ступит его нога! Сегодня такое утро наступает для Динки!

Она вскакивает, широко раскрывает дверь и, застегивая на ходу платье, вырывается на волю. А у крыльца ждет ее пробуждения Леня.

Может быть, он вовсе не ложился спать в эту ночь? Динка не задумывается над этим.

— Бежим! Бежим на луг! — говорит она, хватая его за руку и увлекая за собой.

Путаясь в густой траве, запыхавшиеся и счастливые, они мчатся не разбирая тропинок, ветер свистит в их ушах, намокшее от росы платье липнет к коленкам, с шумом вылетают из-под ног вспугнутые птицы.

— Мы сейчас умоемся в роднике! — кричит на бегу Динка.

«Умоемся... Умоемся...» — свистит в ушах ветер. Леня отвечает счастливым смехом. Он готов бежать за своей подружкой на край света! Они бросаются на траву около заросшей цветами кринички. В чистой, светлой воде щека к щеке отражаются их счастливые лица... Бьющий на дне ключ шевелит гладкую поверхность, и тесно прижатые друг к дружке головы смешно вытягиваются, меняют формы... Динка пригоршнями взбивает воду, обдавая себя и своего друга фонтаном брызг. С громким смехом умываются и брызгаются ранние гости на лугу. Студеные капли дрожат на их ресницах, блестят влажные, чисто промытые глаза, жарко разгораются щеки. Пепельные волосы Лени намокли, и Динка вдруг, как во сне, видит в нем того волжского мальчика Леньку, который спасал ее в волнах проплывающего мимо парохода.

— О Лень...— очарованно шепчет Динка.— Ты все тот же... Ты все тот же, каким был на Волге...

— И ты все та же, Макака... У тебя всё такие же синие глаза... В первый раз я увидел их на Утесе...

Они крепко обнимают друг друга.

— Пусть будет все, как было... И все, как есть...— улыбаясь, говорит Динка.

— И все, как будет...— взволнованно добавляет Леня.

— Нам никогда не будет лучше, чем сейчас! — усаживаясь на мокрую кочку, задумчиво говорит Динка.

— А ты забыла, что мы еще будем жить после революции? Мы будем жить, Макака, как боги! — горячо обещает Леня.

— О! — хохочет Динка.— Я не знаю, как живут боги, я не завидую их жизни! Я хочу жить с тобой и со всеми людьми! Я хочу, чтобы все были счастливы!

— Люди будут счастливы,— серьезно подтверждает Леня.— Конечно, не так, как мы с тобой! Я думаю, что так никто еще не был счастлив и никогда не будет!

— Конечно, Лень... Мы будем всегда вместе... Вместе жить и вместе делать что-нибудь хорошее. У нас будет маленький, маленький домик...

Динка мечтательно смотрит на луг, там между зелеными кочками важно расхаживают черногусы; утренний ветерок качает разноцветные головки цветов.

— И у нас будет столько детей, сколько цветов на лугу,— растроганно говорит Динка.

— Сколько цветов на лугу? — улыбаясь, переспрашивает Леня.— Но это слишком много, Макака!

— Нет, это не много, это совсем не много! Ведь это будут не только наши дети, Лень! Это просто всякие дети! И они так перемешаются, что мы даже не отличим, где свои, где чужие. А как им будет хорошо, Лень! Мы отдадим им весь этот луг, и никто не посмеет сказать, что здесь нельзя бегать и топтать траву, никто не будет читать им длинные нотации, потому что с нашими детьми никогда не будет ни одного взрослого.

— Ни одного взрослого? — удивляется Леня.

— Ни одного, ни одного! — решительно заявляет Динка.— Взрослые часто не понимают детей. Нет-нет, я никогда не до-

пущу к ним взрослых людей! Мои дети будут сами устраивать свою жизнь! Они сами будут драться и мириться! Дети скоро забывают обиды, а когда вмешиваются взрослые, то даже случайная драка переходит в большую ссору... Взрослые любят во всем копаться и учат детей злопамятности. Взрослые — это говорильня, а ребенок — человек действия! Он такой родился, таким и должен остаться!..

— Но ведь родители — это те же взрослые...— недоумевает Леня.

— Родители?

Лицо у Динки делается настороженным, черточки бровей взлетают вверх.

Родители... Этот трудный вопрос застает ее врасплох. Родители бывают разные: бывают хорошие, бывают плохие. Что делать с плохими?

— Ну, родители тоже не очень-то разгуляются после революции! — на всякий случай заключает она.

Но на лице ее появляется озабоченное выражение, и Лене хочется вернуть ей радость мечты.

— Ну, с родителями, конечно, разберутся,— успокоительно говорит он.— А вот ты что представь себе! Ведь все дети пойдут учиться...

— Конечно, и взрослые, и дети...— мгновенно оживляется Динка.— И может быть, Лень, в одно какое-то утро мы вдруг увидим, как все дети идут по улице... с книжками! Много, много детей. Это правда или сказка, Лень?

— Это правда, Макака! — подтверждает Леня.

— И в деревне и в городе, Лень? Все дети, во всей нашей стране? — взволнованно допрашивает Динка.

— Все, все дети...— кивает головой Леня.

— И на улицах не будет уже нищих, не будет разных голодных сирот? Это правда, Лень?

— Конечно, правда, Макака. Ведь ради чего же борются люди? Может, не сразу... Но если все будут работать, то откуда возьмутся нищие?

— Я буду работать, Лень, я буду так работать, что с меня пух будет лететь! — клянется Динка.— И драться я тоже буду!

Рядом с тобой буду драться! Ведь за революцию еще надо драться!

— Ну что ж! Будем драться! — задорно говорит Леня, распрямляя плечи.— В городе — с капиталистами, в деревне — с помещиками и всякими Матюшкиными...

— О Лень! Вот когда от Матюшкиных одно мокрое место останется, одни тараканьи усы,— с дрожью в голосе говорит Динка и смеется счастливым, беспричинным смехом от переполняющей ее радости. И Леня тоже смеется...

Но утро, лучшее в жизни утро, уже кончается, и от дома слышится голос Мышки:

— Ау, Лень! Ау, Динка!..

— Пойдем,— говорит Динка и с сожалением оглядывается на луг. Ей кажется, она только что видела в густой траве белые шапочки детей, а сейчас это уже только ромашки...

Глава 32

НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ И ЛЮДИ...

— Ау, Леня! — чуть доносится от террасы слабенький голос Мышки.

— Эгей, гей, Динка! — звонко перебивает его крепкий, задорный голос Федорки.

Белый платочек ныряет в зелени кустов, в густом малиннике, около пруда. То дальше, то ближе слышится голос Федорки в разных уголках хутора, но Леня и Динка не спешат. Они идут, крепко обнявшись и глядя в глаза друг другу... Сегодня вся земля, как прекрасный необитаемый остров, принадлежит только им. На свете нет даже Пятницы, который мог бы неожиданно появиться из кустов, и самые умные слова не стоят тех волшебных слов, которые они говорят друг другу.

— Я люблю тебя...

— И я...

— Ты еще не знаешь, что такое любовь.

— Нет, я знаю... Только скажи мне, как она начинается?

— Я люблю тебя давно. Мне кажется, я родился с этой любовью...

— Как странно. Ведь меня тогда еще не было на свете.

— Все равно я уже любил тебя...

— И я пришла. Ведь это было чудо. А мы могли бы не встретиться.

— Нет-нет! Это не могло быть, я бы все равно нашел тебя!

— Никогда не встретиться... Как страшно! Поцелуй меня скорей. Как тогда...

— А что, если ты рассердишься?

— Я не рассержусь. Только не очень долго, а то у меня разорвется сердце...

Сердце, сердце... Откуда оно взялось, это сердце? Его как будто не было до сих пор, а теперь оно бьется и замирает, как на качелях.

— Эгей! Динка! Динка!..

Нет, они не слышат. В волосах Динки звенят луговые колокольчики, на губах ее чистый, как родниковая вода, сладкий, сладкий поцелуй! Так не целуются дети, потому что они еще не научились; так не целуются взрослые, потому что они давно разучились; так не целуются брат с сестрой, потому что у них не бьется сердце. Так целуются только те, кто впервые открыл чудо любви...

Но жизнь врывается и на необитаемый остров, взмахивая вышитыми рукавами, она выбегает на луговую тропинку.

— О! Дывысь! Я их шукаю, бегаю по всему хутору, а они идуть обнявшись, як жених з невестою!

— Федорка...— удивленно шепчет Динка.

— Федорка! — строго говорит Леня.

— Тая вже давно Федорка! Пошли до дому скорейше! Бо меня Ефим за вами послал! А на терраске одна Мышка. Да еще двое хлопцев. Да таки страшенны обои! — быстро говорит Федорка, фыркая в кончик платка.

— Страшенны? Кто же это? — спрашивает Динка, еще не оправившись от смущения.

— Кто такие? — хмурится Леня, идя сзади подруг.

— А я знаю, с откудова вы их взяли? Один такой чер-

ный-черный, блескучий, як той жук, а другой лобастый да рудый, аж горит! — хохочет Федорка.

— Рудый? — пожимает плечами Динка.

— Ну, рыжий по-вашему! Да не в них дело! Ходим скорей, бо зараз Ефим придет и с ним солдат Ничипор да мой Дмитро! На беседу до вас придут, або вы до их идите! Ефим казал, чтоб ты, Леня, пришел...

— А зачем? Что случилось? — тревожится Леня.

— Да говори же, Федорка. При чем тут хлопцы какие-то? И зачем мы Ефиму? — не понимает Динка.

— Хлопцы тут ни при чем... Тут дело другое... Да нехай Ефим сам расскажет. Только у нас в экономии такой гвалт стоит, что упаси бог! Бабы плачут, мужики с Павлухой ругаются, а Матюшкины, да Нефедовы, да Рудьковы на всех грозятся! Ой, горенько!..— теребя концы платка, рассказывала Федорка.— Одним словом, пошли скорей, там всё узнаете!

Федорка схватила Динку за руку и потащила ее за собой. Все трое вышли на аллею, ведущую к дому.

— Ну, куда идти? — спросил Леня, оглядываясь на белевшую на пригорке хату Ефима.— К Ефиму или домой? Объясни ты толком, Федорка, звал нас Ефим или сам придет?

— А иди да спроси его! — огрызнулась вдруг Федорка.— Сказано, поговорить ему с тобой надо! Иди, иди! А мы тут обождем.

— Зачем? Я тоже пойду! — рванулась было Динка, но Федорка удержала ее за руку и, поведя бровями в сторону Лени, строго сказала:

— Нехай идет! У меня разговор до тебя есть!

— Какой разговор?

— А вот обожди...

Леня ушел. Проводив его глазами, Динка нетерпеливо обернулась к подруге:

— Ну, чего тебе?

Хорошенькое личико Федорки вдруг вытянулось, в глазах появилось горькое выражение укоризны.

— Вот хоть слушай, хоть не слушай, а хочу сказать тебе свое слово,— скорбно начала она.

— Да что такое? Говори сразу! — подступила к ней Динка.

— И скажу... Все скажу, потому как не чужая ты мне людина, а подруга моя... И, кроме хорошего, ничего я от тебя не видела...

Ресницы Федорки заморгали, кончик носа покраснел, зашмыгал. Она ухватила его двумя пальцами и отвернулась.

— Зараз, только нос выколочу...

Динка брезгливо сморщилась.

— Сколько раз я тебе говорила — носи платок! — сердито закричала она.

Федорка крепко высморкалась и вытащила из сборок широкой юбки свернутый вчетверо платок.

— Вот платок! — сказала она.— Только он чистый, и за каждым разом пачкать его нечего! — пряча обратно платок, заявила она и, глядя на Динку широко открытыми строгими глазами, добавила: — Ну, да дело не в платке. А ты вот что мне скажи: брат тебе Леня или не брат?

— Ну, брат...— нехотя ответила Динка, пытаясь догадаться, к чему клонится этот разговор.

— Ну, а если брат,— ехидно сжимая губы, сказала Федорка,— так чего же ты с ним, как с женихом, целуешься?

— С каким еще женихом? У тебя все одно на уме! И во-первых, он мне не родной брат, а приемный! А во-вторых, ничего подобного! — вспыхнув, закричала Динка.

— Очень даже хорошо подобрано! Хиба я не бачила або ослепла? Без отрыву ты с ним целовалась! Я как выскочу на луг, так чуть дуба не дала...

— Федорка! — грозно зашипела Динка, чувствуя, как кровь отлила от сердца и бросилась ей в лицо.— Замолчи сейчас же! Это не твое дело! И если ты не замолчишь, я выгоню тебя!

Из-под опущенных ресниц Федорки медленно поползли слезы.

— Выгонишь? Ну, так тому и быть, только я не смолчу. Мне молчать совесть не велит.

— Да при чем тут совесть? Что ты пристала ко мне? — смягчаясь при виде ее слез, удивленно спросила Динка.

— А то, голубка моя, что хорошая дивчина не дозволит хлопцу целовать себя, аж пока замуж за него не выйдет!

— Тьфу ты! — с досадой стукнула себя по коленке Динка.— Да я об этом и не думаю вовсе! И он не думает! Ты с себя пример берешь! Так вы деревенские, а мы городские!

— А это все одинаково, что в деревне, что в городе! Добрая слава дивчине везде нужна. Добрая слава як белый цвет украшает, а худая как деготь прилипает. А у вас что ж получается! Жениться Леня не думает, а целоваться думает... А ты тоже. Нет, голубка моя, подружка моя кровная, я все скажу, а тогда и гони меня, як неугодна тебе стану...— снова всхлипнула Федорка и, видя нарастающий гнев Динки, заторопилась: — Ведь по всем селам знают тебя люди... Бегали мы с тобой, як малыми были, и на крестины и на свадьбы, гоняли по разным хатам, и гопака ты плясала, и песни пела...

— Ну при чем это? — резко оборвала Динка.— Знают, не знают — наплевать мне!

— Нет, Диночка, не можно плевать на людей. Они тебе злого не хотят, а языка тоже не удержат. Вот и в экономии бабы... Сколько раз бачили тебя с твоим Хохолком. Сидишь ты с ним на лисапеде, а люди и говорят: «Вон наша барышня Динка с женихом ездиет, катается. Хороший женишок, только молоденький, ну и она молоденькая дивчиночка, пошли им боже...» Вон как люди говорят. Да я и сама так думала. А сегодня, бачу, ты с другим хлопцем целуешься. Хоть брат он тебе, хоть сват, только одного выбирать надо, а если двум хлопцам голову морочить, так ни тебе, ни им добра не будет, и сама себя потеряешь.

Динка молча смотрела на Федорку. При первом упоминании о Хохолке гнев ее вдруг остыл и сердце сжалось от беспокойства. Вспоминалась ревность Лени и просьба его не ездить больше на велосипеде с Хохолком.

А Федорка говорила и говорила, утирая слезы и становясь все больше похожей на свою мать Татьяну, на старую, умудренную опытом женщину.

Глядя на нее, Динке хотелось плакать и смеяться, но она молчала и слушала.

— Не можно девичью честь ронять, Диночка. Вот я о себе скажу. Уж на что Дмитро жених мой, при тебе сватался и матерь мою просил. Но нет того промеж нами, чтобы до поцелуев себя допустить. А что ж Дмитро? Не хлопец разве? Попробовал один раз, тай закаялся! А после сам смеялся: «Ты, говорит, мне такую блямбу на щеке присадила, что перед коровами совестно». А что, думаешь, не жалко мне было бить его? Еще как жалко. Ударила, а у самой сердце зашлось.

Федорка так глубоко вздохнула, что даже намисто на ее шее тихонько звякнуло. Динка усмехнулась и ничего не сказала. Перед глазами ее, словно в тумане, проплыл влажный от росы луг, закачались на нем в разные стороны белые, красные и синие головки цветов и вдруг словно под острой косой полегли ровными, мертвыми грядами. У Динки дрогнуло сердце, она провела рукой по лбу и тихо спросила усталым, погасшим голосом:

— А любовь, Федорка, разве не дороже всего любовь?

Глаза Федорки засветились неизъяснимой нежностью.

— А як же, Динка, голубка моя. Любовь дороже отца с матерью. Только себя соблюдать надо. Хлопца нам слухать нечего, хлопец перед нами орлом летае, силу свою показуе, его така стать! А наша стать — девичья честь. А где есть честь, там и любовь есть! — твердо закончила Федорка.

— Ау! Ау! Динка!..— донесся от террасы голос Мышки.

Динка уловила в нем расстроенные нотки и заторопилась.

— Пойдем,— сказала она.— Я забыла, что там пришел кто-то, а Мышке, верно, пора в госпиталь собираться!

— Пойдем, пойдем,— заспешила и Федорка, оглядываясь на хату Ефима.— Вон вся кумпания сюда идет! Ефим, Леня твой да Дмитро. И солдат Ничипор на костыльках шкандыбае...

— Тот солдат? — вспомнив разговор в первый день приезда, машинально спросила Динка.

— Тот, тот. Только я на него не обижаюсь больше, вин меня поважае. А як посадила я своему Дмитро под глазом блямбу, так и зовсим стал Федорой Ивановной звать! — Федорка лукаво блеснула глазами и, прикрыв фартуком лицо, рассыпалась дробным смехом.

— С ума вы все сошли! — засмеялась и Динка.— Да кто ж солдату сказал?

— Не знаю. Это дело коло хаты было, може, сам бачил, а може, Дмитро похвалился...

— Ну и ну...— удивленно протянула Динка.

Девочки подошли к терраске. Мышка, уже одетая в форму сестры милосердия, укладывала в чемоданчик свои медикаменты. В ее взгляде Динка уловила упрек и раздражение.

— Где ты ходишь с самого раннего утра? И Лени нет... Тут гости к тебе пришли. Ефим Леню искал,— сдерживаясь, сказала Мышка.

Но Динка не успела ответить, с перил террасы соскочил Жук.

— Здравствуйте! — Он вежливо подал руку ей и Федорке.

— Здрасте,— развалясь на стуле, процедил другой хлопец, чуть повернув в сторону вошедших круглую, как шар, голову с короткими густыми волосами, словно обшитую огненно-рыжим мехом. На его лобастой физиономии в длинных рыжих ресницах, как в дорогой оправе, блестел голубой глаз, другой глаз был затянут бельмом. Мощные плечи, короткие ноги и вся приземистая фигура развалившегося на стуле хлопца внушали отвращение.

«Квазимодо»,— быстро подумала Динка.

— Бычий Пузырь,— усмехнувшись, представил Жук.

— Здрасте,— склонив набок голову и оглядывая девочек здоровым глазом, повторил хлопец и, не поднимаясь со стула, протянул руку.

Динка сжала за спиной руки и бросила быстрый взгляд на сестру, которая с улыбкой сожаления взирала на эту сцену.

— Встань! — крикнул Жук и с силой толкнул Пузыря ногой, но Федорка опередила его.

Остановившись перед хлопцем и втиснув в бока кулачки, она язвительно сказала:

— А ты что ж развалился, як трухлява колода посреди поля? Може, ты великий пан и не подобае тоби перед девчатами на ножки привстать, а може, ты несчастна калека безногая, дак я тоби помогу. Га?

Пузырь, уставившись на Федорку единственным, сверкающим, как в драгоценной оправе, глазом, не спеша встал.

— Тебе меня не поднять,— лениво сказал он, склонив набок голову.— А вот я тебя одним мизинцем на тот дуб закину!

— Эге! Далэко куцому до зайца! — засмеялась Федорка.

— Далэко? — Пузырь крепко уперся в пол босыми ступнями и засучил рукава.

— Хватит! — подскочил к нему Жук.— Хватит, говорю! Развалился, как свинья. Да еще и фасон жмет! Знал бы, не брал тебя с собой!

— А которая с них Горчица? — вместо ответа спросил Пузырь, переводя взгляд с Федорки на Динку.

— Я Горчица! — отодвинув Федорку, сказала Динка.

— Ты? — обрадовался хлопец и, взяв обеими руками руку Динки, осторожно пожал ее.— Мы тебе ягод насобирали. Все трое собирали: Ухо, Иоська и я... Цыган, дай ей корзинку! Любишь ягоды? — с ребячливой радостью спросил он, беспомощно выгибая шею, чтобы заглянуть Динке в глаза.

— Спасибо,— ласково сказала Динка и улыбнулась поймавшему ее взгляд единственному глазу, стараясь не замечать второго.

Пузырь вдруг загоготал от удовольствия и, топчась, как медведь, на одном месте, обратился к Мышке:

— А ну, хозяйка, дай топор! Я вам все дрова переколю! Некуда мне силу свою девать!

— Ну что ж, переколи! — просто сказала Мышка.— Иди вон к сараю! Там и дрова и топор.

Пузырь пошел. По дороге он подхватил на руки бешено огрызающегося Волчка и, подняв его ухо, что-то пошептал в него, потом поцеловал черный собачий нос и спустил притихшего Волчка на землю.

— Меня ни одна скотина не тронет. Я для нее слово такое знаю,— заявил он, глядя на встревоженных его выходкой хозяев.

Глава 33

СОВЕЩАНИЕ НА ТЕРРАСЕ

— А то что за хлопцы? — спросил Ефим, завидев еще издали на терраске чужих людей.

— Да это Динкины знакомые. Ничего, хорошие мальчишки, босяки из города! — поспешил объяснить Леня.

— Хорошие босяки, значит... Это как же понимать, га? — усмехнулся Ефим, приглаживая курчавую голову.

— Одним словом, не языкатые, зря болтать не будут... Да у нас и секрета особого нет! — засмеялся Леня.

— Секрет обнокновенный: обида бедноте. Ну, пусть послухают, вреда не будет от этого,— согласился Ефим.

Рядом с Ефимом шел солдат Ничипор. Опираясь на костыли и мягко вспрыгивая на ходу, он шел, опустив вниз голову и как бы разглядывая культяпку правой ноги с подвязанной выше колена штаниной. Из-под теплой бараньей шапки на темное, словно продымленное порохом лицо сползали мелкие капли пота. На щеках и около носа чернели крупные, как дробь, ямки. Солдат был уже немолод, но, несмотря на то что он был калекой, во всей его фигуре чувствовалась военная выправка. Сбоку солдата шел Дмитро; в его безусом лице и в круглых карих глазах были важность и достоинство взрослого мужика, не привыкшего тратить свое время на пустую болтовню.

Войдя со всей этой компанией на террасу, Ефим просто сказал:

— Ну, кто не знаком, знакомьтесь, и перейдем к делу!

Солдату придвинули стул, остальные сели кто куда.

— Ну, значит, такое дело у нас вышло,— начал Ефим.— Прибегли ко мне ранком бабы. Голосят, ничего не поймешь.

— Ой, а что в экономии було!.. Собралися бабы около коровника, кричат, плачут, требуют пана. А Павлуха та Матюшкины нияк их до пана не допускают! — быстро-быстро затараторила Федорка, но Дмитро поднял на нее суровый взгляд.

— А ну помолчи, когда старшие говорят!

И Федорка, притиснувшись спиной к перилам, моментально закрыла рот.

— Ну, я это дело давно знал, только не хотел зря народ мутить,— начал опять Ефим.— А дела такие, что задумал наш пан продавать своих коров. Ну, известно людям, что коровы у пана породистые, молока дают много, купить, значит, всем охота. И цену пан положил подходящую, без запроса... А кто купит? У бедноты какие грóши? Ну, значит, собрались кулаки, давай записываться. Кому две коровы, кому три, за наличный расчет. А бедняцкому населению обидно это. Побегли наши бабы до Павлухи. Дай, говорят, на выплат хучь солдаткам, вдовам с сиротами, у них мужья на войне побиты. Мы, говорят, все равно на пана работаем, так ты нам не плати, а засчитай эти гроши за коров. Ну, Павлуха, известно, давай насмешки над ними строить. Кулачье тоже стоит смеется. Вы, говорят, раньше клад выройте, а тогда и приходите! Ну, бабы в слезы — и к пану, а пан и разговаривать не хочет, обеими руками отмахивается. У меня, говорит, по всем хозяйским делам приказчик Павло, идите к нему, а я этим делом сам не займаюсь.

Ну вот значится. Прибегли бабы ко мне. Иди да иди, Ефим, к пану ото всего обчества. А мне как к пану идти? — Ефим развел руками и покачал головой.— Меня пан и на порог не пустит, уж не говоря о Павлухе.

— Почему же? — удивилась Мышка.— Неужели из-за Маринки?

— А как же! — усмехнулся Ефим. Голова его с прилипшими ко лбу завитками тяжело оперлась на руку, голубые глаза из-под кустистых бровей обвели всех грустным взглядом.— Из-за Маринки не пустит. Давнее это дело, а как стал

мне врагом Павло, так и посейчас лютый враг. Ну и пан, конечно, брехуном считает. Ведь когда утопилась Маринка, пошел я к пану и все, как на духу, ему рассказал. Так и так было, пан, сам я слышал, как Павлуха над Маринкой издевался, из дома ее гнал на погибель...— Ефим махнул рукой.— Ну, не поверил мне пан. Павлуха в тот час над гробом поклялся, что ни словечком не винен, а я брехуном остался. Все люди на селе правду знают, а пан ослеп и оглох, у него Павлуха как был прежде, так и сейчас правая рука.

Ефим замолчал. Все тоже молчали. Динка в упор рассматривала солдата. Расстроенная Мышка отозвала ее в комнату.

— Ну что ты уставилась на этого человека? Что у тебя за привычка! Это же, наконец, прямо невежливо. Он крутит головой туда-сюда. Что тебе от него нужно? — напала на сестру Мышка.

— Да ничего не нужно. Просто так, я думала о его жизни и вообще. Я его еще не видела, только Федорка мне рассказывала...— шепотом оправдывалась Динка.

— Смотри, Динка! Это уже не в первый раз, ты все-таки следи за собой. Я просто не знала, как тебя вызвать!

— Ну ладно! Ничего ему не сделалось оттого, что я лишнюю минуту на него смотрела. Пойдем, там дело, а ты с глупостями пристала!

На террасе решался вопрос: кому идти к пану? Кто лучше может уговорить его дать на выплату коров, хотя бы вдовам-солдаткам, у которых много детей.

— Когда б Марина Леонидовна дома была, так она лучше всех поговорила бы... Ну, ее нет. А Леня пана и в глаза не видел. Ни он пана, ни пан его...— задумчиво рассуждал Ефим.

— Нет, почему? И он меня видел, и я его. Так, в лесу... Встречались, конечно, он на линейке, я на бричке. Но познакомиться не пришлось. Да это, я думаю, и неважно. Давайте пойду, если хотите! — сказал Леня.

Солдат, задумавшись, щипал бородку. Жук обводил всех черными горячими глазами. Пузырь, сидя на крыльце, играл

топором, пристраивая на мизинце острое лезвие и балансируя в воздухе. Федорка что-то нашептывала Динке, нетерпеливо дергая ее за рукав. Дмитро неодобрительно оглядывался на свою подругу.

— Пойти все равно кому-то надо. Давайте я пойду,— просто сказала Мышка.

— Э, нет! То дела не будет! — выскочила вдруг Федорка.— Нехай Динка пойдет! Вот чтоб я так жила на свете, как никто лучше Динки не уговорит пана! Хочете верьте, хочете не верьте, а пан как увидит ее, такой веселый делается, и шуткует с ней, и смеется. Нехай Динка идет. Я знаю, что кажу!

— Ну, нет... — запротестовала было Мышка.

— Нам панских шуток не надо! И развлекать его никто не собирается,— резко возразил Леня, обернувшись к Федорке и хмуря брови.

Но Ефим поднял руку.

— А ну стой, стой, Леня. Это все дела не касается, нам дело до панских коров, а не до самого пана, и я так думаю, что Динка настырней Мышки. Ей что пан, что генерал — это для нее без вниманья, она хоть кому всю правду в глаза выложит, а схочет, так и за сердце возьмет,— заулыбался вдруг Ефим и, подмигнув Динке, спросил: — Ну, як, дитына моя, пидэшь чи ни?

— Пойду,— решительно сказала Динка.— Давайте список, сколько коров и кому.

— Ого! Бачылы як? — расхохотался Ефим.

На террасе все зашумели, послышались шутки.

— Вот это по-моему! — сказал вдруг солдат.— Молодец, барышня! Сразу к делу приступила!

— Она такая... Горчица! — усмехнулся Жук.

Пузырь, склонив набок голову, как молодой бычок, уперся ногами в землю и неожиданно предложил:

— А меня с ней пошлите. Я чуть что — весь коровник порушу и с паном вместе! А то кулака какого стукну! Вот, глядите, как я могу!

Пузырь вдруг сграбастал обеими руками стул, на котором

сидел Ефим, и вместе со своей ношей закружился перед крыльцом.

— Стой! Стой! — закричал Ефим.

На террасе все заахали, бросились на помощь.

— Стой, дурак! — грозно прикрикнул Жук, хватая товарища за рыжий чуб.

— Звиняюсь! — как ни в чем не бывало фыркнул Пузырь и, поставив на дорожку стул, наклонился к Ефиму: — Что, дядько, проихалысь на даровщинку?

— Чтоб тебя чертяка взял! Я ж думал, ты мне все кишки вытрясешь,— смеялся Ефим.

— Ой, не могу! — хохоча до слез, кричала Федорка.— Тебя ж за гроши показывать можно!

— Ужас какой! — искренне повторяла Мышка.

Динка, пораженная необычным зрелищем, мгновенно определила про себя будущую роль одноглазого силача в предстоящих боях с кулаками. И тут в первый раз она вдруг совершенно ясно увидела выезжающий из леса отряд, во главе которого были она, Жук, Рваное Ухо, Пузырь. И только не было Лени...

— Лень! Лень! — закричала Динка и, опомнившись, осеклась.

— Что случилось? Что с тобой? — тревожно спрашивал Леня, заглядывая ей в лицо.

— Она испугалась...— предположила Мышка.

Все, не исключая Пузыря, смотрели на Динку вопросительно и тревожно. Но сверкнувшее, как молния, видение боевого отряда уже сделало свое дело: Динка гордо выпрямилась.

— Давайте список! Я иду к пану!

Глава 34

СБОРЫ К ПАНУ

Когда все разошлись, Жук тоже начал прощаться.

— Ну, теперь уж мы не скоро придем. Приходите вы к нам,— сказал он Лене и Динке.— А то и Иоську не застанете.

— Как — не застанем? Почему? — всполошилась Динка.

— Да мы его в город отправим. Раз то, что ему тут гулять плохо, ночью будем тоже на скрипке играть, а днем вот только с Пузырем пускаем. А Пузырь уедет, тогда сиди. Матюшкиных боимся, чтоб не увидали Иоську,— пояснил Жук.

— А почему же Пузырь уедет?

Жук похлопал товарища по широкой спине.

— А он у нас добытчик. На погрузке работает, баржи разгружает, ему долго прохлаждаться нельзя!

— Ну, мы придем, обязательно придем! — заверила Динка.

Пузырь, прощаясь с Динкой, осторожно взял обеими руками ее руку и с чувством сказал:

— Ну, теперь узнала меня, и я тебя узнал. Значит, так и запомни: если кому скулу свернуть на сторону или по шее стукнуть хорошенько, то ты только мигни мне. Поняла?

Единственный глаз Пузыря смотрел на Динку с восхищением и преданной готовностью. Динка заволновалась. Какая-то давняя мечта ее детства носить на руке кольцо с зеленым глазком, волшебное кольцо — поверни глазок на обидчика, и сгинет тот, как не было его на свете,— эта мечта мгновенно пронеслась в памяти Динки, и она растроганно сказала:

— Спасибо, Пузырь. Я всегда об этом мечтала...

Пузырь кивнул головой. Теперь он мог сказать своему другу, Рваному Уху, что Горчица действительно форменная девчонка, лучшей не найдешь. И, уходя вместе с Цыганом, Пузырь до тех пор оборачивал назад свою тугую шею, пока на террасе еще виднелось светлое платье и длинные косы.

На Мышку Пузырь не обратил никакого внимания и самой Мышке внушил суеверный ужас.

— Господи, какое страшило! Вот уж Квазимодо настоящий! Я чуть в обморок не упала, когда он схватил своими ручищами Ефима вместе со стулом!

— А мне солдат не понравился, я от него больше ждала, молчаливый какой-то! — сказала Динка.

— Да, осторожный человек. Он ведь нас не знает, сидит молчит, вглядывается, но, судя по глазам, неглупый человек,— заключил Леня.

Разговор перешел на живую тему дня — поход Динки к пану.

Ефим обещал принести список солдаток, особенно нуждающихся в помощи. Было решено, что Динка пойдет после обеда, а то сейчас уж «пану накричали полную голову» и он зол на всех. «Не стоит появляться сейчас с просьбой»,— сказал Ефим.

— А чего это Дмитро молчал, как воды в рот набрал? — вспомнила Мышка.

— Дмитро степенность на себя нагоняет, как и подобает будущему мужу. Вот и на Федорку цыкнул! — засмеялся Леня.

— Ну да, боится она его! Ничуть! Просто считает в порядке вещей, чтобы будущий муж одергивал! А молчал Дмитро потому, что брал пример с солдата,— расшифровала Динка.

— Вон ты как все понимаешь! Смотри не осрамись завтра перед паном! Не наговори ему дерзостей и не переиграй, когда будешь просить за солдаток, а то я тебя знаю: сначала постараешься разжалобить, а если не даст коров, наговоришь дерзостей!

— Ладно! Не учите меня, я знаю, как себя вести. И с какой это стати я буду просить, унижаться? Перед каким-то паном, еще чего не хватало!

— Конечно, просить не надо, но объяснить ему, в каком положении женщины с детьми, надо. Только боюсь, что ничего из этого не выйдет. Пан есть пан, и я уверен, что они с Павлухой действуют в полном согласии. Иначе, как это понимать: у него под носом крик и слезы, а он делает вид, что ничего не слышит и не видит! — с раздражением сказал Леня.

Динка думала о своем, у нее были свои планы. Первое дело, конечно, получить согласие пана насчет коров. Но было и второе дело, которое Динка держала про себя втайне.

Утром Мышка сама разгладила сестре скромное платьице и повесила его на спинку стула. Уезжая на станцию, она крепко поцеловала Динку и еще раз сказала:

— Ну смотри же, держи себя в руках и не волнуйся. Мама как-то говорила, что пан Песковский очень воспитанный че-

ловек, так что, я думаю, он будет держать себя вполне корректно, лишь бы ты...

— Еще бы! Далеко мне до пана! — насмешливо фыркнула Динка, перебив сестру.

— Дина! Не настраивай себя так дерзко, обещай мне! — беспокоилась Мышка.

— Макака! Может быть, нам пойти вместе? — предложил Леня.

— Нет, я пойду одна! На все самое трудное я всегда иду одна,— сказала Динка.

Когда Леня и Мышка уехали, прибежала Федорка.

— Ну, як ты? Сбираешься до пана? А там уж бабы опять набежали. Прослышали от Ефима, что ты до пана идешь с бумагою, то так волнуются, выглядывают тебя.

Динка стала собираться. Даже не взглянув на платье, которое приготовила ей Мышка, она вынула из комода свой украинский костюм, надела вышитую рубашку, сборчатую юбку, синий герсет...

Федорка одобрительно кивала головой.

— Бери намисто! Ось ленты бери! Пан дуже любыть, кто в украинском ходит! Вот эти бусы возьми, с синими глазками. Да побольше надень, чтоб аж звенели на шее!

Динка послушно надевала все, что ей подавала Федорка.

— Ось еще ленты повяжи! Чтоб аж донизу спускались! — украшая Динку, болтала Федорка.

Видя залог своей удачи в том, чтоб понравиться пану, Динка и сама наряжалась тщательно и деловито, разглядывая себя в зеркало. Как всегда, опасения ее вызывала пылающая нижняя губа.

«Испортит она мне все!» — с раздражением думала Динка, то приближая к себе зеркало, то удаляя его.

— А ну иди, Федорка, и жди меня в экономии. Я приду сама.

Отослав подругу, Динка еще раз оглядела свой костюм, свисающие до полу ленты, тонкую шею, отягощенную бусами... Во всем этом великолепии на полудетском лице ее с оранжевым румянцем на щеках, словно выскочившие из ржи васильки,

дерзко синели глаза. Динка попробовала смягчить их выражение, но главная угроза не понравиться пану таилась не в глазах. Прямо перед Динкой, отражаясь в зеркале как только что расцветший бутон алого мака, дразнил и беспокоил ее набухший, как после дождя, пышный детский рот. Динка с досадой попробовала прикусить нижнюю губу зубами, втянуть ее внутрь. Но, глядя на свое вытянутое при этом лицо, с отчаянием вспомнила, как однажды зимой взволнованная Алина сообщила, что на один из ее «четвергов» придет настоящий поэт и будет читать свои стихи...

— Как бы Динка не осрамила нас, мама! — беспокоилась Алина.

И, назло ей, Динка решила во что бы то ни стало понравиться поэту. Это было время, когда за ее отросшими косами уже бегали гимназисты, громко споря за ее спиной, прицепные они или настоящие. Разрешая их спор, Динка собирала вокруг себя поклонников, беззастенчиво уплетала выигранные пирожные и по воскресеньям под звуки вальса разъезжала на освещенном фонарями катке в кресле на полозьях.

В день посещения поэта она в самый последний момент уселась поближе к столу, свесив на грудь свои косы, и, как только высокий, красивый поэт с пышной шевелюрой показался на пороге, замерла, как на стойке, изо всех сил втянув свою нижнюю губу внутрь и не смея даже пошевелиться, чтоб не выпустить ее из зубов. Собравшаяся молодежь шумно приветствовала поэта. Хохолок, скромно пристроившись у двери, с удивлением поглядывал на притихшую Динку. Поэт начал читать стихи:

Седая лунь седой весны
Мои седины тихо лижет...

Стихи показались Динке мудреными, и на один какой-то момент она раскрыла рот, но, тут же спохватившись, снова прикусила губу... и вдруг увидела отчаянный взгляд Мышки, вызывающий ее за дверь.

Динка всполошилась, пролезла между стульями и вышла. За дверью Мышка схватила ее за руку.

— Что это ты делаешь? — взволнованно зашептала она.— У тебя лошадиное лицо, с Алиной чуть не обморок.

Динка вскипела, обозлилась и, поняв, что все пропало, бурей ворвалась в комнату.

— Эй, ты! — грубо крикнула она Хохолку.— Пойдем отсюда! Нечего нам тут делать!

По счастью, поэта окружала тесная толпа Алининых подруг и выходка Динки осталась незамеченной...

Вспомнив об этом сейчас, Динка глубоко вздохнула и оставила свой рот в покое. «Нет уж, кого бог захочет наказать, то накажет, и никуда от этого не денешься»,— с горечью подумала она и, готовясь к выходу, решила внимательно прочесть список солдаток, нуждающихся в панских коровах. Список был составлен Ефимом старательно и безграмотно. Первой по списку значилась солдатка Прыська Шмелькова, вдова убитого на войне «чоловика». Крупным почерком, наполовину по-украински, наполовину по-русски, против фамилии Прыськи стояли обнаженные в своем глубоком трагическом смысле слова: «Пятеро сирот и стара бабка, земли немае, хозяйства немае, летом Прыська работает у пана, зимой дуже голодуют и сироты с бабкой просят милостыни...»

Дальше следовала еще фамилия: «Агриппина Землянко, вдова-солдатка, покалеченная бугаем, ходила за панскими коровами, зараз сильно хвóрая, четверо детей, скотины немае...»

Динка затаив дыхание медленно прочла весь список. Везде черной строкой проходили одни и те же слова: «Дети... просят милостыню, голодуют...» Динка опустила бумагу.

Медленно сняла с себя и бросила на пол ленты, бусы. На тоненькой шее ее осталась одна низка синих горошинок. Пошарив глазами по комнате, машинально сняла со спинки кровати старый черный платок, покрыла им голову, и, держа в руке список, вышла. Она шла, ничего не замечая и не видя вокруг себя, перед глазами ее стояли черные каракули Ефима:

«Голодуют... просят милостыню... сироты... дети...»

Легкий ветер шевелил длинные кисти незавязанного платка, покрывавшего голову Динки, из-под платка виднелся туго

стянутый синий герсет и строгое лицо с устремленными вперед, ничего не видящими глазами. Динка шла медленно, держа в руке сложенный вдвое лист бумаги. В ушах, то падая, то нарастая и заглушая голоса птиц, почему-то звучала тягучая украинская песня:

Ой, у поли три крыныченьки...

Динка вошла во двор экономии; не глядя на собравшийся народ, она миновала коровник. Расступившиеся бабы робко кланялись:

— Здравствуйте, барышня!

Прижав руку к щеке, со слезами смотрела на свою подругу Федорка и вместе с народом кланялась ей:

— Здравствуйте, барышня!

Динка тоже кланялась в ответ. На фоне темного платка в руке ее белела бумага. И в торжественной тишине людям казалось, что сама заступница их тяжкого сиротства, эта тоненькая девочка в монашеской одежде с застывшим горем на лице, шла хлопотать за них перед жестокосердым паном...

Около самой усадьбы наперерез Динке бросился Павлуха:

— Обождите, барышня!

Но Динка молча отвела его рукой, прошла по усыпанной гравием дорожке и поднялась на ступени террасы. На пороге стоял сам пан.

Глава 35

МАЛА ПЧЕЛА, А ЖАЛИТ КРЕПКО

— Кохам, бога, панночка, что случилось?

Застегнув наспех ворот рубашки, пан Песковский взял Динку за руку и ввел ее на веранду.

— Кто-нибудь заболел? Не волнуйтесь, я сейчас велю заложить экипаж! Это одна секунда.

— Нет-нет! Я пришла к вам...— начала Динка, но голос не повиновался ей, и приготовленные заранее слова, как вспуг-

нутые мышки, мгновенно юркнули в разные стороны, оставив в памяти только серые невразумительные хвостики. Динка молча протянула пану бумагу.

— Прочтите это,— сказала она, страдая от своей растерянности.

Пан Песковский мельком взглянул на бумагу, повернул ее в руках и с любезной улыбкой подвинул Динке стул.

— Садитесь, пожалуйста!

Динка с убитым лицом присела на кончик стула. «Все пропало»,— с отчаянием думала она, потеряв какую-то главную нить разговора, с которой должна была начать. Так бывает, когда человек долго готовится к какому-то визиту и вдруг, войдя в дом «не с той ноги», сразу чувствует, что все потеряно, все идет кувырком, не так, как он хотел и думал...

Положив бумагу на стол и все так же улыбаясь любезной предупредительной улыбкой, пан Песковский придвинул ближе к Динке свой стул и, опершись на колени руками, свежевымытыми душистым розовым мылом, с любопытством разглядывал темную, вдовью фигурку, примостившуюся на краю стула.

— Я слушаю вас, панночка!

— Прочтите бумагу,— беспомощно и упрямо повторила Динка.

— А, бумагу? Сейчас, сейчас прочитаем бумагу! — усмехнулся пан и, полуобернувшись, небрежным движением взял со стола список. Пробежав глазами первые строчки, он недоумевающе поднял брови, заглянул в конец и, пожав плечами, снова усмехнулся.— Кто это дал вам такую белиберду?

— Белиберду? Вы называете это белибердой? — широко раскрывая глаза, спросила Динка.

— Но позвольте, позвольте...— заторопился пан.— Может быть, я не понял, в чем дело? Тут перечислены фамилии вдов и сирот, которые просят милостыню... А что, собственно, я должен делать, абсолютно не указано...

— Ну да... Это я виновата. Мне нужно было сразу сказать. Это солдатки, они просят дать им коров на выплату, они расплатятся с вами работой. У них дети, они голодуют,— залпом выпалила Динка.

— Они «голодуют» и просят дать им коров? Я понял! Я все понял, панночка, но это не ко мне! — свертывая бумагу и протягивая ее Динке, решительно сказал пан.— Все эти хозяйственные дела в ведении моего приказчика Павло.

— Павло? Вашего Павло? — Динка вскочила, платок упал с ее плеч.— Вы отсылаете меня к этому убийце? К этому гнусному негодяю? — задохнувшись от гнева и обиды, закричала она.

Пан, словно защищаясь, поднял руку и встал.

— Успокойтесь, панночка.

Но плотина была уже прорвана, и охваченная гневом Динка неслась вперед без удержу, без препоны.

— Я не успокоюсь, нет! — кричала она.— Это вы успокоились и держите около себя этого убийцу!

— Бог с вами, панночка. Кого вы называете убийцей? Павло — мой молочный брат, сын моей кормилицы, мы росли вместе... Я доверяю ему, как самому себе...— пробовал урезонить ее пан.

Но слова его вдруг наполнили Динку ужасом, она широко раскрыла глаза и невольно попятилась к двери.

— Так значит... это вы... вместе сговорились убить Маринку?..— сраженная неожиданной догадкой, пробормотала она.

Холеное лицо пана побелело, он рванул ворот рубашки, на полу звякнула оторванная пуговица.

— Послушайте... Есть всему предел,— задыхаясь, сказал он.— Я не желаю больше слушать вас. И я удивляюсь, что вы, еще совсем девочка, можете предполагать такую подлость... в человеке, которого вы почти не знаете. Уйдите, прошу вас! — Он сел и, облокотившись на стол, закрыл рукой глаза.

Динка опомнилась, стихла.

— Я не хотела обидеть вас...— робко сказала она.— Я верю, что вы любили Маринку. Но тогда почему же вы не хотите знать правду?

— Какую правду? — не отрывая от лица руки, глухо спросил пан.

— Эту правду знает Ефим, знает все село, знает ее мать...

— Ее мать никого не винила в этой смерти. И вот здесь...— Пан указал на середину комнаты.— Вот здесь... над ее гробом, Павло поклялся мне, что он невиновен...

— Он солгал, клянусь вам! Все село знает, что он солгал! Но люди боятся, он угрожал матери Маринки, что сживет ее со света, если она скажет правду! Он угрожал и Ефиму, но Ефим честный человек, он пришел к вам, но вы не захотели его слушать.

— Вы ребенок. Вам многое не понять. Павло предан мне, как пес. Он бывает крут с людьми, у него много врагов...

— Но мать, родная мать! — снова прервала его Динка.— Она знает всё... Ведь прежде чем утопиться, Маринка прибежала к матери... Спросите ее еще раз, пан, выслушайте Ефима и прогоните от себя этого убийцу!

— Довольно, панночка... Мне больно говорить об этом. Вы разбередили мне сердце. Я часто думал: почему она это сделала? Ведь я собирался увезти ее за границу, учить ее. У нее был чудесный голос. Мы должны были уехать вместе. В тот день я привез билеты, но было уже поздно... Вот тут...— Пан выдвинул ящик стола, и перед Динкой мелькнуло девичье лицо с перекинутой через плечо косой и большими доверчиво-счастливыми глазами. К карточке, словно в оправдание перед мертвой, были приколоты какие-то бумажки.— Вот билеты...— сказал пан. Руки его дрожали. Он задвинул ящик стола.— С тех пор прошло пять лет. Я поверил клятве Павло, но я не упокоился. А сейчас вы опять перевернули мне душу. И все началось сначала.— Пан говорил медленно, глядя куда-то в окно на кусты краснеющей рябины. Потом он обернулся к Динке: — Простите меня, панночка! Но я очень устал. Прощайте! — Он открыл дверь и, склонив голову, ждал.

Но Динка не уходила.

— Я не могу уйти без коров...— тихо сказала она.

— Ах да! Вам нужно выполнить поручение! — Пан бросил на нее быстрый взгляд и заторопился к столу.— Ну что же, это легче всего! — Он взял список и обмакнул в чернила руч-

ку.— Я напишу вот здесь: выдать означенным лицам коров... и чего? — Сморщив лоб, он заглянул в список.— А, бугая — значит, быка...

— Нет! Какого быка? Зачем? — остановила его Динка.

— Как зачем? — Вот здесь написано... для какой-то Прыськи,— разглядывая каракули Ефима, сказал пан.— Ну, неважно! Дадим и быка! — Он размашисто написал: «Выдать», но Динка схватила его за руку.

— Да нет же! Тут просто написано, что ваш бык покалечил Прыську. Ей нужно корову!

— Ну хорошо. Корову так корову! — нетерпеливо сказал пан.

— Но этот Павло может дать им самых плохих! — встревожилась Динка.

— У меня нет плохих. Наконец, пусть выберут сами, наметят или как там хотят! Только передайте им, пожалуйста, чтоб меня совершенно оставили в покое! И прошу вас больше не брать на себя таких поручений.— На лбу пана обозначилась резкая складка, голос звучал раздраженно.

И Динка заторопилась:

— Нет-нет! Никто вас больше не будет трогать. Мы только возьмем коров и сейчас же уйдем!

Она схватила бумагу и бросилась к двери, но пан остановил ее:

— Вы не совсем поняли меня. Коровы пока еще мои, и дарить их я никому не собираюсь. Я могу по вашей просьбе сделать небольшую рассрочку — ну, скажем, до осени... Засчитать работу на моих полях и так далее... Но коров можно брать только выплаченных...

— Как — выплаченных? Ведь это же очень долго... А они сейчас голодуют! У них дети...— взволновалась Динка.

Но пан остановил ее.

— Довольно. Я сделал все, что мог,— холодно сказал он.— И не советую вам больше связываться с этим народом...

Динка вспыхнула, с губ ее готовы были сорваться дерзкие, непоправимые слова. Но глаза пана остановили ее... Это были

холодные, застывшие, как ледяная вода, глаза бездушного человека.

В голове у Динки метнулась испуганная мысль: отнимет бумагу... Она неловко поклонилась и пошла к двери.

— Подождите,— сказал он.— Передайте вашему Ефиму, чтобы он зашел ко мне! Сегодня же! Сейчас!

Долго сдерживаемое раздражение пана вдруг прорвалось, на висках его надулись синие жилы, лицо потемнело.

— И гоните всех, всех со двора! — с бешенством закричал он.— Я никому больше не продам ни одной коровы! Я продам их оптом! Мне надоел этот базар!..

Динка испуганно метнулась к двери.

— Прощайте! — крикнула она на пороге, но пан уже не видел ее.

Задыхаясь от душившего его гнева, он беспомощно рвал ворот рубашки.

Динка захлопнула за собой дверь и выбежала на крыльцо.

Глава 36

НЕ ТАК ПАН, ЯК ЕГО ПИДПАНОК

Во дворе экономии и около калитки, ведущей к панской веранде, толпился народ. Тихо переговариваясь меж собой и цыкая на малых ребят, стояли солдатки. В старых, вылинявших от солнца герсетах, с темными бабьими очипками на волосах, они робко жались друг к другу; их изможденные лица с выплаканными глазами были обращены к веранде, за которой скрылась Динка.

Все, кто стоял в списке Ефима, собрались тут со своими детьми и стариками; только вместо покалеченной Прыськи пришла ее старшая дочка, десятилетняя Ульянка, в длинном, не по росту, безрукавном сарафане, в фартуке, по краю вышитом крестом. Ульянка, сморщив обсыпанный веснушками нос, не спускала глаз с панского крыльца. В этой же кучке солдаток стоял высокий, прямой и строгий Ефим. Скручивая козью ножку из махорки, он тоже нетерпеливо ждал Динку

и, стараясь не показать своего волнения, шутил с пристававшей к нему Федоркой.

— Ой боже мой! Дядечка Ефим, хоть бы вы с Динкой пошли. Чего она так долго у пана?

— А я знаю чего? Може, кофей пьет!

— Э, ни! Не до кофею ей. Просыть вона, наша голубка, пана, а он уперся, да и ни в какую...— покачала головой старуха и, вытерев двумя пальцами рот, обернулась к солдаткам: — Мабуть, понапрасну ждем? Нема счастья солдатской доле!

На руках у солдатки заплакал ребенок.

— Цыц ты! Уймить его, тетю, бо, може, зараз сам пан выйдет и с хуторской панночкой! — испуганно сказала Ульянка.

— Не выйдет он, доню, для пана наши слезы как тот дождь: чим больше нападает, тем больше родит панская земля!

По другой стороне палисадника, около флигеля с высоким крылечком, стояли двое братьев Матюшкиных и юркий, сморщенный старичишка — первый богач на деревне Иван Заходько; рядом с ними, похаживая около крыльца, беседовали мужики победнее, рассчитывая и себе прихватить у пана за наличный расчет породистую корову, а то и две, если дозволят местные богатеи.

Матюшкины и окружавшие их мужики держались с достоинством; добротно одетые, несмотря на жаркий летний полдень, в синие суконные жупаны, в начищенных сапогах и в фуражках на смазанных маслом волосах, они, видимо, ждали Павлуху и о чем-то деловито сговаривались между собой. Но Павлуха, раздраженный неожиданным появлением Динки с прошением к пану, решительно пошагал к коровнику, с силой сдвинул тяжелые створки дверей и, повесив на них большой замок, показал солдаткам толстый кукиш.

— Хочь до ночи стойте, хочь землю грызите, а не видать вам панских коров! Я тут один надо всем распоряжаюсь, я панское добро стерегу, як пес!

— А это нам давно известно, что ты пес! — с усмешкой сказал Ефим, сплевывая изо рта цигарку.— Только ты и пану своему не верный пес!



— А тебе что тут надо? Привел голытьбу, да еще и барышню хуторскую с бумагой послал. Толчешься здесь с самого утра! Так зараз и выйдет до тебя пан, ожидай!

— Коровы симменталки[1] ему снадобились!

— Эй, бабы! Тут вам не церква, милостыню не подают!

— Кажна букашка свое место знае... А вы до пана лезете, всю экономию провоняли! Я б вас всех поганой метлой отсюдова вымел! — сплюнул Федор Матюшкин.

— И чего ты дывышься, Павлуха? Пошла барышня до пана, ну, это ихнее дело! Тут не об коровах речь...— тоненько хихикнул Заходько, прикрывая ладонью беззубый рот.

— А тебе, Иван Заходько, в домовину пора, дак ты уж хоть напоследок не страмись перед людьми! — презрительно сказал Ефим.

— Ох ты проклятая галота! Ну, гляди, Ефим, не заплакать бы тебе колысь!

— Ты б, старый черт, не заплакал, а моих слез тебе не видать!

— Гляди, Ефим... Много ты воли берешь, во все суешься. Гляди, не об слезах речь, кровью б не захлебнулся,— угрожающе бросил Павлуха и, взмахнув кулаком на плачущих солдаток, истошно заорал: — Очищай экономию! Нима чего тут комедию перед паном представлять! Не дам я коров на выплат, и кончено дело! А ну геть отсюда! Геть! Геть!..

— Да что ты, Павло? Есть у тебя совесть? Обожди, хоть барышню дождемся!

— Не гони, Павло! Что мы тебе делаем!..— заплакали солдатки.

— Ось, барышня наша выйшла! — закричала вдруг Ульянка.— Барышня! Барышня!..

С крыльца поспешно сбежала Динка, волоча за собой платок и размахивая над головой бумагой, но лицо у нее было озабоченное. Солдатки двинулись вперед, налегли грудью на палисадник.

— С бумагой вышла!

— Только смутная чего-сь...

---

[1] Симменталка—порода коров.

— Невже услышал господь наши слезы...

Богатеи молча, с нескрываемым ехидством смотрели на Динку.

— Барышня! — кинулась к ней Ульянка.— Чи дал, чи не дал пан?

— Он дал, дал! — запыхавшись и хлопая за собой калиткой, сказала Динка.— Только не так, как надо... Он дал на выплату до осени, и по выбору, но только не сейчас, а когда выплатите...— залпом сообщила она окружившим ее солдаткам.

— Ну, а як же, як же, доню моя! Задаром же коров никто не даст!

— За это и говорить нечего!

— Дай тебе бог, Диночка!

— Постаралась ты за нас, голубка! — радуясь и утирая слезы, благодарили Динку солдатки.

Федорка тоже пробивалась к подружке, но Павлуха, раскидав всех вокруг и нагнув, как бык, голову, очутился вдруг перед Динкой.

— А ну дайте бумагу, барышня! — хрипло крикнул он, протягивая руку, но Динка поспешно спрятала бумагу за спину и почти упала на руки Ефима.

— Не тебе эта бумага, Павло! — хмуро сказал Ефим, пряча бумагу на грудь.— Ходим, Диночка, и вы, бабы, ходим, там почитаем!

— Десять коров дал! Всем по корове, на выбор... Только заплатить надо...— начала опять Динка, но Павло с глухой руганью промчался мимо нее к веранде и, вскочив на крыльцо, скрылся за дверью.

— Пойдем, пойдем...— заторопился Ефим.

— Ох, уговорит он пана! Отнимет пан коров!.. Дядько Ефим, держи бумагу крепче! Ох господи!.. Куда же он побег, проклятый! — с тревогой заголосили солдатки.

Перед Ефимом выросли вдруг братья Матюшкины. Рыжие усы их обвисли, в глазах, как зеленые змейки, свертывалась кольцами ненависть.

— Обожди-ка, Ефим... Не спеши с панской бумагою. Хоть ты по батькови и Бессмертным прозываешься, да на все божья воля...— зашипел Семен Матюшкин, загораживая дорогу.

Рядом с братом, широко расставив ноги, стоял Федор.

— Ой боже, матенько моя...— охнула Федорка, но Динка, возбужденная общим волнением, ощутила вдруг необычайную храбрость. Глаза ее загорелись злобой и жаждой мести.

— Все село закупили вы, братья Матюшкины! И поля ваши, и леса ваши,— сказала она, со злобой отчеканивая каждое слово.— А в лесах по ночам и музыка для вас играет! Так то скрипка мертвеца заливается...

Лица братьев позеленели, в толпе тихо охнули бабы, но в наступившей тишине вдруг со звоном посыпались стекла веранды, и Павло, споткнувшись на ступеньках крыльца, выбежал на дорожку.

— Вон! Вон отсюда! Всех вон!...— гремел за его спиной голос пана.

Ефим поспешно схватил Динку за руку, солдатки, перекрестившись, бросились за ним.

Павло, окруженный со всех сторон встревоженными богатеями, медленно пошел к своему дому. Багрово-красные щеки его тряслись, губы прыгали.

— Ну, Ефим...— прошипел он, злобно сжимая кулаки.— Погоди...

— Сосчитаемся... сосчитаемся...— завертел головой Заходько.

— Обоих треба... Хуторска барышня тоже не об двух головах...— выдавил со злобой Федор Матюшкин.— Стаковались, гады, на хуторе...

— Ефима ко мне! Ефима Бессмертного! — снова появляясь на крыльце, крикнул пан.— Эй, кто там есть? Ефима ко мне послать!

У забора мелькнула стриженая голова младшего подпаска. Он, опасливо оглянувшись, подтянул штаны и бросился вдогонку за Ефимом.

* * *

Но Ефиму было не до пана. Отойдя подальше от экономии и остановившись за хатой Федорки, окруженный взволнован-

ными солдатками, еще не разобравшими хорошенько, что содержит в себе драгоценная бумага с подписью самого пана, Ефим медленно и торжественно, словно разбирая по складам, перечел им же написанные фамилии, с подробным описанием сирот, которые голодуют и просят милостыню, и только уж потом, подняв вверх бумагу перед заплаканными глазами вдовиц, показал пальцем на небрежную подпись пана и особо выделил слова: «Коров дать только по выплате, рассрочку до осени...»

— Но вы раньше возьмете! Мы придумаем как! — волнуясь говорила Динка, обращаясь то к бабам, то к Ефиму.— Может, сначала собрать все гроши, у кого какие есть, и выплатить хоть одну корову, пока не накопятся деньги на вторую. Да еще за работу вам, за жнива засчитается...

— Як-то вона каже, Ефим? — обступили Ефима заинтересованные бабы.

Но он вдруг, весело подмигнув, поднял вверх палец.

— Стойте, бабы! Она дело говорит! Ну, мы там сами порешим. Ходимте в мою хату да побалакаем!

Соседка с детьми и старухи с клюками двинулись за Ефимом. Федорка, прижимаясь к плечу Динки, шла с ней рядом.

— Ну, коровы — то особь статья, за коров мы зараз як-нибудь договоримся. А вот чого Павлуха от пана як пуля вылетел, га?

Солдатки зашумели, засмеялись и, опасливо оглядываясь на экономию, шепотом делились предположениями.

— Такого ще сроду не було, чтоб пан своего Павлуху выгнал!

— Видно, яка-то муха пана укусила!

Ефим внимательно посмотрел на Динку. Взгляд его встретился с ее торжествующим взглядом. Ефим поднял брови, усмехнулся.

— Пан просил тебя прийти к нему,— вспомнила Динка.

Ефим снова усмехнулся.

— Я ходил к нему, когда совесть мне приказала, а теперь уж, видно, пан сам придет ко мне!

— Ты думаешь, он придет? — быстро спросила Динка.

— А это уж как его панская совесть подскажет... Може, теперь и придет, бо соромно ему перед людьми... Я так понимаю, что за Маринку разговор промеж вас был? — тихо спросил Ефим.

Динка молча кивнула головой.

— Ну-ну... Разбередила ты панское сердце... Мала пчела, а жалит крепко!

За экономией взволнованно прохаживался Леня. Увидев шумную процессию женщин с детьми и шедшую впереди рядом с Ефимом Динку, он бросился к ним навстречу.

— Ну как?

Динка посмотрела на Ефима.

— Молодец твоя Динка! Со всех сторон молодец! И коров схлопотала, и за правду постояла! — ответил Лене Ефим.— Теперь уж, мабуть, и Павлухе несдобровать.

— А противный он какой, этот пан! — идя с Леней домой, жаловалась Динка.— Одну минуту он так обозлился, что даже скулы на щеках заходили... и куда весь его панский лоск делся. Ой, Лень... Я еле выдержала... Кажется, если б не коровы, то отвела бы душу... наговорила б ему такого, что он два дня не очухался бы!

— Так я и думал,— хмуро сказал Леня.— Пан есть пан! Все они одним лыком шиты! И дело тут не в злости или доброте, а в этой помещичьей жилке собственничества и равнодушия к людям. И рассрочка эта на какой-нибудь один месяц, только для видимости... Ну сколько коров они выкупят даже всей артелью? Две, от силы три... Ведь солдатки...

И, заметив, что Динка очень огорчилась, Леня ласково улыбнулся:

— Но ты сделала все, что могла. Не мучайся.

— Двести коров у него...— с ненавистью произнесла Динка.

Глава 37

ПРАВДА САМА СЕБЯ ЗАЩИЩАЕТ

Ефим не пошел к пану. Но под вечер, когда приехавшая из города Мышка снова и снова, во всех подробностях, выслушивала взволнованный рассказ Динки о посещении пана, на террасу вбежала заплаканная Марьяна и, заломив руки, сразу заголосила:

— Ой, пропал мой Ефим! Не даст ему теперь жизни Павло!.. Загубят они его вместе с Матюшкиными! Ой, на что ж тебе було трогать тую гадюку, Динка!.. Загубят они и тебя вместе с моим Ефимом!..

— Что случилось? Марьяна, Марьяна! Где Ефим? — испуганно спрашивали ее Леня, Динка и Мышка.

С трудом удалось им добиться от плачущей Марьяны рассказа о том, как сам пан, не дождавшись Ефима, заехал за ним на своей линейке и, посадив его «позади себя», помчался с ним на село, к Маринкиной матери.

— Так и сказал ему пан... «Я, сказал, верю, Ефим, что ты честный человек, но я хочу знать правду. Повтори все, что знаешь, при Маринкиной матери». Ну, и увез с собой моего Ефима. Ой, матынько моя, что ж то будет с нами! Хоть скажет правду Маринкина матка, хоть не скажет, а отомстит Ефиму Павло...— снова запричитала Марьяна.

— Не бойся, Марьяна! Если пан узнает правду, самому Павло не поздоровится! — успокаивал ее Леня.

— Еще как не поздоровится! Может, сам пан пристрелит его как собаку! — кричала Динка.

— Ну, пристрелит не пристрелит, только уж не даст ему воли! Да и Ефим не маленький...— озабоченно говорила Мышка, с тревогой глядя на сестру.

«Ох, Динка, Динка, заварила ты кашу. Хоть бы скорей мама приехала! Нельзя было связываться с этими гадами»,— думала Мышка, невольно припоминая убийство Якова и неизвестного студента, поехавшего на Ирпень искать правды.

— Не бойтесь ничего! Пусть только пан узнает правду! Правда сама себя защищает! — твердо заявила Динка.

Ефим вернулся не скоро. В волнениях, уговорах и слезах Марьяны прошло много времени, долгий летний вечер уже переходил в ночь, когда по дороге промчалась линейка пана и, круто осадив около хутора, высадила Ефима.

— Ой божечка! Идет! Идет мой Ефим!..— бросилась навстречу Марьяна и, повиснув на шее мужа, заголосила.

— Ну, годи, годи! Живой я... От же пугана ворона. Заспокойся, ясочка моя! Ходим до наших, бо маю, что рассказаты.

С крыльца нетерпеливо тянулись к Ефиму Мышка, Леня и Динка.

— А ну ходим у комнаты... Зажигай, Леня, лампу,— важно сказал Ефим, пропуская всех в комнату и прикрывая за собой дверь.

Леня поспешно зажег лампу. Все молча смотрели на Ефима, а он не спеша крутил козью ножку, сыпал на пол махорку, готовя какое-то значительное сообщение. Потом, прикурив от лампы и затянувшись дымком, обвел всех взглядом.

— Пропал теперь Павло! Всю правду, як на духу, сказала Маринкина маты. И як прибигла до нее дочка, як рассказала про Павлуху... И сама про себя стара сказала... «И я, каже, к смерти дитину свою толкнула: неровня, кажу, тоби пан, может, и правда, что он женится...» — не спеша рассказывал Ефим.

— А что пан? Что пан? — трепеща от волнения, спрашивала Динка.

Ефим махнул рукой.

— Ну, пан аж почернел весь. Вышел со мной и молчит, только лошадь гонит, а сам как та грозовая туча... Остановил лошадь, попрощался со мной за руку и... гайда! Дале, до экономии! Пропал Павло; я так себе думаю, что отольются ему Маринкины слезы. Ще й добре отольются! — довольно крякнул Ефим.

— Так ему и надо! Так и надо! — кричала Динка.

— Значит, все правильно...— начал Леня, но Марьяна не дала ему сказать и сердито напала на Ефима:

— А что мне Павло? Нехай его черти в могилу закопают! Нехай хочь повесит его пан! Павло повесят, так его дружки

да сваты Матюшкины останутся! Ты об себе подумай, Ефим! А что мне Павло, на черта он мне сдался?

— А ты не об себе думай, жинка, и не обо мне! — строго сказал Ефим.— Павло всей бедноте враг, лютый враг! На три села волю взял, снищил, обобрал усех батраков, все в его руках было, а теперь кончится его власть!

— Эге! Кончилась! Да пан с ним вовек не расстанется! Пошумит, пошумит, да и обратно. Он приказчик, Павло! А ты кто? Хиба у пана сердце болит за тебя? Кто нас от Павла оборонит да от Матюшкиных? Куды нам податься от них, господи милостивый...— завыла опять Марьяна.

— А ну замолчи! Нема чого раньше время панику напускать! И то еще я тебе скажу, Марьяна, и ты это запомни! Не заяц я, чтоб по кустам хорониться! Вон Динка, што она против мужика? Мала птаха. А растопырит крыльца свои и на самого страшного ворога кидается! Правду защищает!

— Правда сама себя защищает,— тихо и задумчиво повторила Динка.

— Ну, побачим дале, что будет. Ходим до дому, Ефим. Бо я теперь и своей хаты боюсь!

— А як же! Обязательно там хтось тебя поджидае! — пошутил Ефим.

Все засмеялись, но смех был невеселый, и каждый по-своему чувствовал тревогу. Ведь не шутка — растревожить гадючье племя. Расползаются гады в лесу, таятся по глухим оврагам.

И всю ночь беспокойно ворочалась Мышка; снилось ей, что из кустов медленно выдвигается дуло кулацкого ружья на беззащитно идущую по дороге Динку.

Плохо спал и Леня. Ведь его каждый день могли отправить с каким-нибудь поручением.

«Клятву возьму с Макаки, что никуда она без меня не пойдет,— думал он. Но и за хутор, оставленный на Мышку и Динку, беспокоился Леня.— Черт их знает, это кулачье. Бросят камень, напугают. На большее вряд ли осмелятся. Скорей бы в город, что ли... Да вот на днях скосим отаву.

А там уж недолго. Чуть-чуть желтеют листья, давно закраснела рябина...»

Не спалось и Динке.

«Бывает все-таки возмездие на свете,— торжествующе думала она.— И не потому оно бывает, что есть бог, как считают другие люди, а потому, что есть правда...» Только надо кому-то вытащить ее из болота. Не побрезговать лезть за ней на самое дно. Вот тогда она выйдет на свет и сама себя защитит.

Глава 38

ВСЯКИЙ ИУДА НАЙДЕТ СВОЮ ОСИНУ

В это субботнее утро новости сыпались, как орехи из рождественского мешка Деда Мороза. Первой чуть свет прибежала Федорка.

— Вставайте, бо пан Павлуху выгнал! — закричала она, врываясь в комнату Мышки и Динки.

Девочки легли поздно, и Мышка, которая всегда говорила, что «сон дороже всего», и при этом никогда не высыпалась, на крик Федорки сонно приподняла розовые веки и, простонав: «Ах боже мой, Федорка, дай нам поспать!» — спрятала голову под подушку, а из Лениной двери тоже послышался сонный басовитый голос:

— Кого это черти носят с самого утра! Выгнал так выгнал! Катись горохом!

Одна Динка, как встрепанная, села на постели, не открывая глаз и высоко подняв брови.

— Где мое платье, Федорка? — сонно забормотала она, шаря рукой по спинке кровати.

Федорка, зажимая себе рот, так как новости неудержимо тянули ее за язык, подала Динке платье, и, схватившись за руки, подруги выскочили на крыльцо.

— Подожди рассказывать! Я сейчас умоюсь, а то у меня глаза не открываются!

Звякнув кружкой около умывальника и наскоро утершись полотенцем, Динка обернулась к подруге:

— Ну, теперь рассказывай!

Но на крыльцо выскочил Леня и, так же как Динка, окатив лицо холодной водой, еще мокрый и встрепанный от сна, громко чмокнул подругу в свежую, розовую щеку.

— Доброе утро, Макака!

— Доброе утро! — весело откликнулась Динка и, сунув Лене ведро, попросила: — Принеси водички, а то мы всю выхлюпали... Ну, теперь рассказывай! — обернулась она к Федорке.

Но Федорка, как молодой бычок, наклонила голову и, ковыряя босой ногой землю, сердито сказала:

— А чого ж мени рассказувать, як вы тут свою комедию представляете! Я ж тебе тот раз, як ридна мать, упреждала: не дозволяй хлопцу чмокаться... А ты знов?

— Я знов...— весело кивнула головой Динка.

— Да хоть бы я пропадала от любви...— поднимая к небу глаза, зашипела Федорка.

— А я не хочу пропадать! — засмеялась Динка и с лукавым озорством спросила: — А когда же целуются, по-твоему?

— Когда целуются? — Федорка наклонила голову с ровным, как ниточка, пробором и прищурила глаза.— Я тоби зараз скажу! Бо всем есть свой порядок, дивчина... Дак вот когда уже объявятся молодые перед всем народом, что они жених и невеста, да гости або родня крикнут: «Горько!» — вот тогда хлопец уже мае свое право...

— Горько! — крикнул за спиной подруг выскочивший из-за дерева Леня и громко чмокнул Динку.— Горько! — крикнул он еще раз и чмокнул Федорку.

— А что б ты пропал, сатана! — хохоча и вытираясь рукавом, замахнулась на него Федорка.

— Вот тебе и «горько»! — расхохоталась Динка.

— Обои вы малахольные! Не буду я вам ничего рассказывать!

— Нет, рассказывай, рассказывай! — Динка уселась на крыльце и похлопала рукой по ступеньке.— Садись вот тут! Садись, садись!

Но Леня поспешно уселся между подругами.

— О! А ты куда всунулся? А ну, Поцелуйкин, сядай с мого боку! Вылазь, вылазь! — прогоняла Леню Федорка.

— Ну ладно! Обожди, нехай Дмитро придет! Я ему пожалуюсь на тебя,— неохотно пересаживаясь, пообещал Леня и, видя нетерпение обеих подруг, спросил: — Ну, так кто ж кого прогнал: Павлуха пана или пан Павлуху?

Федорка, махнув рукой, сразу затараторила:

— Ой, что только було! Почалось ще з вечера... Мы только посидали вечеряты, як чуем, кричит на кого-то пан. И так страшно кричит, аж чукотит за лесом!

— Тар-ра-ра... Деревья гнулись...— дурашливо запел Леня, но Динка, сильно заинтересованная, закрыла ему рот.

— Не мешай, Лень...

— Ну конешно, побиглы мы с маткой. А тут еще народ выскочил... Бегим, а пан стоит, як той памятник, и Павлуха перед ним аж на коленках ползае... и так слезно просит: «Пане, панчику, мы ж вместе рослы, нас же одна матка своим молоком вскормила...» А пан и слухать не хочет. «Пошел вон! — кричит.— Иуда ты мне! Вон сейчас же! Чтоб сегодня же в экономии ноги твоей не було!» А тут побачил пан, что рабочие сбегались, да до них: «Запрягайте, хлопцы, возы! Да перевозить Павло и с жинкой од мене! Зараз! Зараз!» А тут жинка Павлова выбегла да за пана: «Куды нас, сирот, гонишь? Павло тебе, пан, всю жизнь служил! Каждый твой хозяйский кусочек берег! Как собака был верный! И за Маринку твою пострадал безвинно, потому как твой панский род порушить не хотел! Неровня тебе, пан, холопка твоя!..»

Федорка вытаращила глаза и шлепнула себя по щеке.

— Ой, матынько моя! Что тут сталося! Как услышал пан за Маринку да как закричит опять: «Вон отсюда! Вон!» А у самого аж лицо кровью налилось, як туча и з молнией! Так и гремит, так и гремит!

Ну, тут попугался Павло и давай с жинкой свои шмотки с хаты выкидать, а хлопцы с экономии скоро-скоро запрягли аж дви телеги та давай их грузить! Усю ночь мимо нашей хаты возили вещи, всяку мебель тащили. А тоди мешки с мукой поклали на воз... Одын мешок прорвался да коло нас усю дорогу

як снегом посыпал — мука била-билесенька... Богато ее Павлуха накрал соби...

— А пан что? — живо спросила Динка.

— Ну, пан приказал да и пошел! Только дуже злой. Матка каже, что таким и не бачила его николы.

— А люди что?

— Ну, людей полна экономия набежала. Звестно, радуются люди, что такого змея пан прогнал! Никто того и думать не мог, така у их с Павлом дружба была.

— А куда же поехал этот Павло? — опять спросила Динка.

— Да к свату своему Матюшкину...

— К Матюшкину? Ого! Теперь вместе пакостить будут...— взглянув на Леню, сказала Динка.

— Гадючье племя затаится на время,— задумчиво покусывая травинку, сказал Леня.— Но народу все-таки будет легче без Павлухи.

— А як же! Увесь народ радуется! Ну, я побегу, бо там солдатки одну корову уже берут! Сложили все гроши вместе и выкупили. Только на одну и хватило! Но зато и коровка знатная! Любимкой зовут! Сами маты им порекомендовали. Раз — то, что молока много дает, а два — то, что молоко як сметана... Да там солдатки с радости аж плачут.— Федорка повязала платок и вскочила: — Ну, я побегу! Побачу, как Любимку поведут! А Ефим зараз тоже в экономии, его сам пан вызвал! — убегая, крикнула Федорка.

— Ой как я рада, Лень! Как это приятно хоть что-нибудь сделать для людей! — прижимаясь к Ленину плечу, сказала Динка.

— Я понимаю,— сказал Леня, но брови его сошлись на переносье.— Все это хорошо, только очертел мне этот пан! Не говори ты о нем больше! — раздраженно бросил он, но Динка положила тонкие пальчики на его сросшиеся брови.

— О Лень...— прошептала она.— Я больше всего на свете люблю, когда ты сдвигаешь брови, у меня даже сердце замирает...

— У кого замирает сердце? — послышался сзади сонный голос Мышки.

Застегивая на ходу халатик, в мягких шлепанцах на босу ногу, она стояла на террасе, сонно тараща глаза на блаженное выражение поднятого к Динке Лениного лица и на самою Динку, которая с нежным вниманием, старательно разглаживала сросшиеся брови друга, а он, чтобы продлить это удовольствие, изо всех сил морщил лоб, и оба они, поглощенные этим занятием, были глухи ко всему на свете.

— Что это ты размазываешь у него на лбу, Динка? И почему вы не отвечаете? — подходя ближе, обиженно сказала Мышка.

Леня вскочил и, взъерошив волосы, недоуменно взглянул на Мышку.

— Откуда ты подкралась? — как ни в чем не бывало спросила Динка.

— Ниоткуда я не кралась... Что это еще за глупости! Я просто вышла из комнаты, но вы теперь так заняты собой, что до других людей вам нет никакого дела. И поимей в виду, Динка, что на ваши телячьи нежности иногда просто тошнотно смотреть! — запальчиво сказала Мышка.

— А на тебя... на тебя с Васей не тошнотно смотреть, да? Еще как тошнотно! — вспыхнув, подступила к сестре Динка.

— Так какое же сравнение? Не понимаю,— пожимая плечами, в недоумении сказала Мышка.— Вася — мой жених... и вообще... мы жених с невестой!

— А мы? Мы,— в бешенстве закричала Динка,— мы еще лучше, чем жених с невестой! И не приставай к нам.

— Тише, тише, сестрички! Ну чего вы развоевались? — обхватывая обеих и подталкивая друг к дружке, миролюбиво сказал Леня.— Пусть каждая остается при своем! Ты при Васе, а ты при Лене! И спорить тут нечего! Вспомните, как говорит мама: если спор грозит перейти в ссору, то надо просто сказать: «До свиданья! Всего хорошего! Каждый остается при своем мнении!»

Леня, хохоча, столкнул сестер, неожиданно для себя они чмокнули друг друга и засмеялись.

— А теперь, Мышенька, иди умываться! Макака, налей

старушке холодной водички, чтоб она освежила свои угасшие чувства и не слишком порицала молодежь! — хватая полотенце, дурачился Леня.

Мышка, набрав в рот воды, окатила его широкой струей, Динка подбросила вверх полную кружку, из-под дерева с визгом шарахнулись собаки... Наконец все утихло, и трое людей начали утолять звериный аппетит, запивая молоком редиску, холодную картошку, огурцы и помидоры... Они употребляли в пищу все, что было под рукой, а собаки из брошенных кусков выбирали только хлебные корки и супные кости, разделанные Динкой до того, что от них мало чем можно было поживиться.

После завтрака девочки пошли на огород. Леня колол дрова и чистил песком кастрюли. В субботний день обед варился на два дня и сохранялся в погребе у Ефима. Чаще всего это был холодный зеленый борщ или окрошка с мясом и сметаной. Блюда эти в жаркие дни Динка готовила с особым вдохновением.

Но сейчас внимание ее было отвлечено событиями в экономии пана, и, обрывая с сестрой огурцы, она невольно поднимала голову и прислушивалась.

— Мне бы только знать, что солдатки уже увели корову,— говорила она сестре.

— Так подождем Ефима... Может, попросить Леню пойти к Марьяне? Марьяна, верно, была в экономии,— сказала Мышка.

— Нет-нет! Не надо ничего говорить Лене, он уже не может слышать про этого пана,— испугалась Динка.

— Ну так то про пана...— пожала плечами Мышка.

Время до обеда тянулось медленно, но перед самым обедом пришел Ефим. Сняв с головы шапку, под которой аккуратным кружочком лежали его потные кудри, Ефим оглядел всех усталыми, но веселыми глазами и, кивнув на кастрюлю с окрошкой, протянул Динке миску:

— А ну влей холодненького!

Динка с удовольствием зачерпнула полную разливательную ложку гущи, но Ефим стряхнул гущу обратно.

— Пожиже давай, пить хочу! — Проглотив залпом несколько ложек квасу из запотевшей от холода кастрюли, Ефим крякнул и вытер пятерней рот.— Ну, кланялись тебе, Динка, солдатки! Саму наилучшую корову выбрали.

— Уже и повели? — обрадовалась Динка.

— Уже и повели! Целым кагалом, як попа с певчими! Ну комедия! Ульянка попереду бежит да гопака выплясывает, а за нею еще хлопчики та дивчатки! — посмеиваясь, рассказывал Ефим, приберегая на конец самое интересное сообщение о том, что пан предложил ему быть приказчиком за Павлуху, но он, Ефим, отказался, заверив пана, что повсегда хочет быть с народом, а не против народа.— Да вот... так-то... А еще наехали с села кулаки Матюшкины и Заходько вместе с Павло и давай пана просить, чтобы Павлуху не гнал... А пан и слухать ничего не хочет. Тогда Павло бачит, что пан пошел домой, да як кинется ему в ноги, плачет, кричит: «Дозволь, пан, хоть одну ночь в своей хате заночевать! А не дозволишь — так повешусь в твоем лесу!» Ну, думаю я соби, зараз расчувствуется пан да и простит этого гада. Колы бачу, оттолкнул его пан от себя да каже: «Ну что ж, Павло! Видно, только сейчас проснулась у тебя совесть! А я б на твоем месте давно повесился! Ночевать тебе тут я не дозволю, а лес велик, и всякий иуда найдет свою осину!»

Ефим стукнул ложкой об край стола и обвел всех торжествующим взглядом. Потрясенные его рассказом Мышка и Леня молчали, но Динка не выдержала.

— Повесился он? — живо спросила она.

— Не повесился и не повесится! Черт его не возьмет! — усмехнувшись, сказал Ефим.— Да и чего ему вешаться? Пан дал гроши, землю дал коло Матюшкиных, да и сам Павло накрал у пана немало. Огородит усадьбу, поставит хату да и будет жить, как генерал... Ну, а пан за границу уезжае, останется новый приказчик або управляющий распоряжаться народом... Так что поживем — увидим!

Глава 39

ДРУГ ОБМАНУВШИЙ — ХУЖЕ НЕДРУГА

В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и сразу вспомнила, что сегодня воскресенье, сегодня приедет Хохолок. Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, никогда больше не сядет на раму его велосипеда и никуда не поедет с ним кататься. Ни в лес, ни в поле, ни по узенькой тропке среди моря солнечных колосьев ржи, которые с таким мягким и таинственным шелестом, так весело и щекотно хлещут ее по плечам, по лицу и кончаются вместе с тропинкой, которая вдруг, словно вынырнув на простор полей, круто сворачивает к речке. И ничего, ничего этого больше не будет! Не будет и маленьких и больших тайн, рассказанных наедине верному другу Хохолку.

Тревожно, тревожно на душе у Динки. Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить незаслуженную обиду, как облегчить этот удар такому любящему сердцу? Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобрести этот велосипед и с каким торжеством он примчался на нем из города в первый раз.

«Теперь я буду ка-тать тебя каждое воскресенье!» — заикаясь от радости, сказал он тогда. И с тех пор, уже второе лето, каждое воскресенье он обязательно мчал ее, куда она захочет. Он говорил, что, начиная с понедельника, считает дни и часы, оставшиеся до воскресенья. Одно воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой знакомые темные глаза, устремленные на нее с немым вопросом. Она хорошо знала, что эти умные глаза читают в ее душе лучше, чем она сама... И обманывать их бесполезно. Да и как можно обманывать друга?

Много мелких выкручиваний, обманов и просто детского вранья лежит на совести прежней Динки; никто лучше ее не обводил вокруг пальца своих домашних и даже прозорливую Катю. Но ведь все это было другое. А Динка росла, и многое из ее испытанного оружия становилось уже смешным и ненужным, жизнь ставила перед Динкой задачи всё труднее,

всё серьезнее; эти задачи требовали глубины и смелых решений, но еще ни разу, ни разу они не требовали от Динки такой жертвы.

Динка молча сидела за столом, бегло и рассеянно улыбалась Лене, не чувствуя и не замечая, что он давно следит за ней ревнивым и беспокойным взглядом. А время шло, тревога гнала Динку навстречу приближавшейся развязке. Встав из-за стола, она машинально бродила по дорожкам сада, не сводя глаз с проселочной дороги, на которой обычно появлялся велосипед Хохолка.

«Как я скажу ему? Как скажу?» — мучительно думала Динка, а в глубине террасы стоял Леня, и сердце его сжималось от боли и сомнения.

«Она любит его... Она мучается... и сама не понимает отчего. Она заблудилась между нами двумя... Будь проклят этот день, когда мы уехали с Волги... Я мог бы увезти ее куда-нибудь на плоту, спрятать на Утесе... Нет, все это мальчишество... Макака... любимая моя, как тяжко тебе...»

Леня решительно шагнул с крыльца и, проследив остановившийся взгляд Динки, увидел въезжающий с дороги велосипед.

— Макака! — сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Леня.— Не говори ему ничего. Я пошутил, Макака... Слышишь меня?

— Слышу,— прошептала Динка, и губы ее дрогнули.— Я все понимаю, Леня... И ты не один, нас трое... Нас трое,— повторила она и, подняв три пальца, улыбнулась грустной, щемящей сердце улыбкой.— А должно быть двое! И из нас троих нельзя обмануть никого! — Она вскинула голову и выпрямилась, словно молодое деревце, стряхивающее с себя дождевые капли.

— Чего ты хочешь делать?

— Я люблю тебя,— прошептала Динка.— Из нас троих ты самый счастливый. Но сейчас уйди.— Она оттолкнула его руку и пошла навстречу Андрею.

Она шла улыбаясь, и в улыбке ее была такая боль и такая необычайная нежность, что запыленный, усталый с дороги Хохолок сразу ожил и, забыв, что он выехал из го-

рода, когда дворники еще не тушили ночные огни, что, преодолевая версту за верстой, он мчался ни разу не отдыхая, Хохолок начал быстро и весело рассказывать, как всю неделю готовил ей маленький сюрприз.

— Я давно заметил, что тебе плохо сидеть на раме, но я не знал, как лучше сделать... И знаешь, кто мне помог? Мой батько. Мы вместе прикрепили вот это сиденье и приварили стремена. И знаешь, что он сказал при этом? Он сказал, что не будет стоять у меня на дороге...

Хохолок вертел свой велосипед, показывая приделанное над задним колесом сиденье и стремя для ног. Глаза его сияли от счастья, сделать этот маленький подарок своей любимой подружке, и бьющая через край радость жизни звучала в его голосе. Но, по мере того как он говорил, мужество покидало Динку, и, словно затравленный, несчастный зайчишка, она металась в поисках других путей, нащупывая извилистую тропинку, на которую можно было бы ускользнуть от прямого объяснения.

— Вот садись, я подержу велосипед. Ну, попробуй же, попробуй...— торопился Хохолок.

— Ну нет... Я знаю, что это хорошо. Но этого уже не нужно. Ведь мы теперь не дети. Мы выросли, и нам неприлично кататься вдвоем...

Динка бросала сбивчивые слова, взятые наспех из разговора с Федоркой, из замечания пана, что ей неприлично кататься без седла, и еще что-то добавляла она от себя, а Хохолок смотрел на нее с возрастающим удивлением и, силясь понять ее слова, беспомощно теребил торчащую надо лбом темную прядь волос.

— Я не буду больше кататься с тобой. Я уже не девчонка. И люди могут подумать, что мы жених и невеста,— все больше запутываясь, бормотала Динка.

Но Хохолок понимал ее по-своему, и то, на что он никогда не мог решиться, вдруг вылилось само собой в простых и захватывающих словах:

— Так мы скажем всем, что мы жених и невеста! Мы можем даже жениться хоть сейчас! Хоть сегодня!

— Нет, нет! — с ужасом закричала Динка.— Ты с ума сошел! Ты совсем сошел с ума!

— Я не сошел... Я люблю тебя... я так да-вно люблю тебя...— заикаясь от волнения, повторял Хохолок.— Я буду так счастлив...

— Но это еще хуже... Молчи, молчи... Я не могу выйти замуж... Я ненавижу свадьбы...

Динка вдруг опомнилась и, словно человек, увидевший себя на краю пропасти, медленно попятилась назад.

— Прости меня,— сказала она тихим, упавшим голосом.— Я сказала тебе неправду...

Они молча смотрели в глаза друг другу. Щеки Хохолка побледнели, в темном настороженном взгляде появилось предчувствие беды.

— Прости меня,— повторила Динка.

— Друг обманувший — хуже недруга. Это твои слова... Ты сказала мне их однажды, когда я хотел что-то скрыть от тебя, и с тех пор мы никогда не лгали друг другу,— сказал Хохолок.

— Да, мы не лгали. И я скажу правду. Но я только недавно поняла ее сама...— Динка закрыла глаза и крепко сжала руки.— Я не могу любить тебя, Хохолок, потому что я люблю... Леню... Это не сейчас, это уже давно, только тогда мы были детьми...

— Довольно, я по-нял... Я ни-когда не думал об этом раньше. Но я все понял... И я сей-час уй-ду,— быстро прервал ее Хохолок. Он старался говорить спокойно, но сильно заикался.

— Ты уйдешь насовсем? — испуганно спросила Динка.

— Не знаю. Я уйду. Но если тебе будет что-нибудь нужно, ты пришлешь мне «Емшан»... И где бы я ни был...— Он поднял свой велосипед и не оглядываясь пошел к дороге.

Динка закрыла лицо руками и, бросившись ничком в траву, громко и жалобно заплакала.

Хохолок положил на землю велосипед и вернулся.

— Не плачь,— сказал он, поднимая Динку.— Ты ни в чем не виновата... И он тоже не виноват... Мы не можем любить тебя вдвоем.

— Но ты уйдешь, и я никогда, никогда уже не увижу тебя,— рыдала Динка.

— Не плачь. Ты будешь знать, что я люблю тебя...

— Нет, нет... Ты разлюбишь меня, ты найдешь другую Динку...

— На свете нет второй Динки, и я никогда не полюблю другую... Не плачь, я не могу уйти, когда ты плачешь...— с болью сказал Хохолок.— Отпусти же меня. Я должен скорей уйти...

Динка бросилась к нему на шею.

— Прощай, прощай, Хохолок...— повторяла она, захлебываясь слезами.— Я знаю, ты уходишь надолго, надолго, насовсем...

Когда под колесами велосипеда заклубилась пыль, Динка уже не плакала. Она стояла у дороги и не отрывая глаз смотрела на черную точку, то исчезающую вдали, то снова возникающую на зеленых пригорках. Динка знала — это уходил из ее жизни еще один счастливый кусочек беззаботной ранней юности, это уходил ее друг, ее любимый товарищ, беззаветно преданный ей Хохолок.

* * *

Динка прошла по ореховой аллее, посидела на пруду и вернулась домой. В саду было тихо и пусто, двери на террасу открыты настежь. Ни Мышки, ни Лени не было, не было даже собак, они теперь часто убегали к Марьяне подъедать остатки от вкусного пойла, которым Марьяна откармливала своего кабанчика. Мышка еще утром уехала в госпиталь, предупредив, что будет ночевать в городе, а Леня ушел... Динка не знала, куда ушел Леня, но в эти короткие часы сердце ее повзрослело, она понимала, что у Лени тоже нехорошо на душе, потому что любовь — это не только чудо, которое приносит людям безграничное счастье, любовь бывает жестока. И если даже шалаш ее построен на необитаемом острове, то жизнь врывается и туда, диктуя свои законы, а жизнь — это суровый учитель, она не делает скидки на юность... Сегодня за ее первый урок Динка заплатила дорогой ценой, но как бы могла она поступить

иначе? Не сказать правды Хохолку, по-прежнему радоваться его приездам, обманывать его любовь, его надежды и, как в игре «третий лишний», ставить ему в своей жизни эту унизительную роль?.. За что же? За преданность и верность, за бескорыстную дружбу и любовь... Нет, нет! Друг обманувший — хуже недруга... У любви есть свой неписаный закон, это закон чести и совести. Динка не пошла против него, но сердце ее было истерзано, радость померкла, и даже ее дом казался ей пустым и разоренным. Она стояла на дорожке опустив руки, строгая и печальная. Ждала Леню...

Глава 40

КОШЕЛЕК ПОТЕРЯННЫЙ — ЗАБЫВАЕТСЯ, СИЛЫ ПОТЕРЯННЫЕ — ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ДРУГ ПОТЕРЯННЫЙ — НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...

Лени не было долго, долго... Заслышав плач Динки и не смея вмешиваться в ее объяснение с Андреем, он сбежал на луг, перепрыгнул через бурливый ручей и, шагая вдоль чужого убранного поля, свернул в глухую, заросшую колючим кустарником чащу. Он шел без тропинок, без дорог и всюду слышался ему жалобный, захлебывающийся плач Динки. Этот плач гнал его все дальше и дальше от хутора, но иногда он круто останавливался, в бессильной ярости сжимая кулаки.

— Я вышвырну этого негодяя! Я выгоню его, если это он довел ее до слез! — в бешенстве повторял он, забывая, что Андрей скорее даст себе отрубить голову, чем обидит Динку.

В лесу Леня оглянулся, прислушался. Над головой его спускались черные гроздья черемухи, над ними хлопотливо гудели пчелы.

«Ты самый счастливый из нас троих...» — с горечью вспомнил Леня слова Динки. Да, еще вчера он был счастлив, они были счастливы оба, но вмешался третий человек. И, может быть, сейчас, только сейчас, прощаясь с этим третьим, Макака



вдруг поняла, кто ей дороже... Иначе почему бы она так плакала...

Леня хватался за голову, ревность и злоба возвращали его в те далекие годы, когда он был диким волжским мальчишкой, брошенным сиротой Ленькой. Буря, поднимавшаяся в его душе, начисто сметала все, что с таким трудом было достигнуто в теплой семье Арсеньевых, в семье, которая давно уже считала его сыном и братом. Неблагодарный, он проклинал теперь день и час, когда пришел в этот дом. Ему нужна была одна Макака, он пришел ради нее... Ради нее, ради нее он забивал себе голову учебой, он старался стать человеком, равным ей, чтобы иметь право на ее любовь, и вот теперь, когда все достигнуто, он может потерять ее, и это будет уже навсегда. Ему вспоминался Утес и Волга... Широкая, бескрайняя Волга... Нет, он не должен был соглашаться на эту новую семью, он должен был украсть, увезти свою Макаку... Волга не выдала бы их, они носились бы по ее волнам, счастливые и свободные... А теперь, теперь она сама не пойдет за ним, она любит другого, она плачет, прощаясь с ним, как никогда не плакала раньше...

Леня бросился ничком в траву. Перед глазами его вдруг встало лицо Марины...

— Я говорил тебе, мама, что она уйдет к Хохолку! — в отчаянии крикнул он и словно откуда-то издалека услышал строгий и нежный голос своей названой матери. Голос, которому он привык повиноваться в свои мальчишеские годы...

Мать... Она была ему настоящей матерью, он так любил ее, так верил каждому ее слову... Она была ему другом. И как же посмел он сейчас... Леня закрыл руками лицо и затих. «Во всяком положении человек должен оставаться человеком»,— часто говорила Марина. Что бы она сказала сейчас, если бы прочитала его мысли? Если б видела его здесь, в лесу?

Леня любил Марину крепкой сыновней любовью. Он и пришел в ее дом как старший сын, как первый помощник и советчик во всех ее трудных делах. Он, как мог, заботился о своей названой матери, оберегая ее покой, брал на свои

мальчишеские плечи трудные хлопоты по хозяйству и неустанно внушал сестрам, что мать очень устает, мать нужно беречь... Благодаря Марине Леня никогда не чувствовал себя чужим в этой семье... Но, несмотря ни на что, он очень редко называл Марину мамой. Это дорогое ему слово легко произносилось в разговоре с сестрами: мама сказала, мама хочет... Он свободно называл ее своей матерью в кругу товарищей, но, разговаривая с ней, как-то невольно избегал называть ее как бы то ни было. Марина видела это и грустно думала: «Может быть, ему дорога память о той, умершей матери, которую он смутно помнил в раннем детстве...» Так прошли долгие и трудные годы. Из уличного мальчика вырос светловолосый юноша с темными бровями, тонкой цепочкой стягивающими переносье, с серыми спокойными глазами, глядевшими на приемную мать с гордостью и обожанием.

И однажды настал этот счастливый день, когда неожиданно для себя Леня свободно и радостно назвал ее мамой. Марина навсегда запомнила этот день. Шли выпускные экзамены. Марина сидела на крылечке и с нетерпением ждала сына. Сестры тоже волновались. Динка без толку бегала по хутору, приставала к Мышке.

Леня еще издали увидел мать и, размахивая фуражкой, перепрыгивая через кусты и грядки, напрямки бросился к ней.

Марина поднялась к нему навстречу.

«Мама! — сказал он, задыхаясь.— Это тебе, мама!» И положил на ее ладонь маленькую золотую медаль.

А годы шли и шли, изо дня в день связывая всю семью Арсеньевых в один неразрывный узел, а узел затягивался все туже, дети росли, вместе с юностью к ним приходила первая любовь и первые огорчения. Марина знала большую любовь Лени к его Макаке, она видела, как постепенно перерастает эта детская привязанность в горячую юношескую влюбленность. Она была матерью им обоим и хотела этой любви для Динки и боялась ее для Лени. Она видела, что Вася изо всех сил пытается разрушить эту любовь, не допустить ее, чтобы оградить своего младшего товарища от тех тревог и волнений, которые может внести в его жизнь Динка. Она не обвиняла

в этом Васю, но с тайной материнской тревогой следила за тем, каким тяжелым испытаниям подвергается эта дружба, натыкаясь на непоколебимое, как крепость, чувство Лени. От зоркого взгляда Марины не ускользала и другая, из года в год растущая дружба Динки с Андреем. Этот верный молчаливый рыцарь был всегда рядом, он шел на зов своей подруги, не меряя ни силы, ни времени, ни расстояния; он совершал свои мальчишеские подвиги ради нее молча, не требуя награды. Всего этого не могла не заметить Динка. Марина с тревогой смотрела, как по-девичьи округляются тонкие руки ее дочки, как наливаются вишневым соком губы. Как, выбегая навстречу Андрею, бурно радуется она, как по старой детской привычке треплет темный хохолок товарища и, усевшись на раму велосипеда, весело командует, куда ее везти. Они уезжают в лес, мчатся по тропинке среди высоких трав, купаются в реке, весело перекликаясь за кустами ивы и камыша. Возвращаясь с прогулки, Динка жадно пьет молоко прямо из глиняного кувшина, время от времени передавая этот кувшин своему товарищу... Марина смотрела из окна на младшую дочь, слушала ее голос, смех... и успокаивалась.

Леня вспомнил, как прошлым летом он пришел к матери и в отчаянии сказал:

— Я больше не могу вынести этого, мама.

Она обняла его за плечи, заглянула в глаза.

— Я все вижу, Леня. Но не надо так преувеличивать... Динка — еще совсем ребенок, ей четырнадцать лет... У нее с Хохолком хорошая детская дружба.

— Но дружба может перейти в любовь... Когда он здесь, она забывает обо мне... Я скажу ей все и уеду, мама...

— Не делай глупостей, Леня. Возьми себя в руки...

— Ты запрещаешь мне говорить с ней.

— Я никогда и ничего не запрещаю своим детям, я хочу только, чтобы ты понял, что разговор этот преждевременный...

Леня вспомнил, как долго и терпеливо уговаривала и утешала его в тот раз Марина, до глубокой ночи проговорили они, и он взял себя в руки, успокоился.

«Она сама всегда была стойкой и мужественной»,— думает Леня, припоминая Марину в зале суда. Она сидела рядом с ним такая спокойная и гордая, с высоко поднятой головой. И только он, Леня, знал, с каким мужеством отчаяния она ждала этого суда. Мама, мама... Ее лицо не дрогнуло даже тогда, когда два жандарма с шашками наголо ввели в зал отца... В смятенье Леня крепко сжал ее холодные пальцы, но она смотрела только на того, кому отдала всю свою жизнь, свою молодость и любовь. Тысячи незримых нитей связывали этих двух людей, и когда глаза их встретились, в них засияла неизъяснимая нежность и гордое счастье... Счастье быть любимыми друг другом... до конца...

И даже потом, наедине с Леней, Марина не проронила ни одной слезы. Мужество, мужество... Всю жизнь она учила своим примером детей и его, Леню, своего старшего сына...

Так что же случилось с ним теперь? Неужели напрасно она потратила на него столько сил, заботы и любви?

Леня закрыл руками лицо.

— Нет, мама, нет! Прости меня...

Долго еще сидел в лесу Леня. Но домой он шел спокойный, готовый принять на свои плечи любой удар, лишь бы облегчить его Макаке.

* * *

Динка не выбежала к нему навстречу, но, когда он подошел ближе, она грустно сказала:

— Как долго тебя не было...

Леня сел с ней рядом.

— Прости меня...

— Ты не виноват, все равно это нужно было сделать,— просто сказала Динка.

И тогда, еще не веря своему счастью, он с благодарностью и сочувствием к освободившему ему место сопернику горячо сказал:

— Он самый лучший парень из всех, кого я только знал!

— Самый лучший ты,— тихо и благодарно ответила Динка.— Но он тоже был очень хороший...

— Почему «был», Макака? Он еще вернется! Мы никогда не забудем его!

Динка покачала головой.

— Конечно, такой друг не забывается, но это уже потерянный друг...— Губы ее дрогнули, но глаза смотрели спокойно и ясно.— Потерянные друзья не возвращаются...— тихо добавила она как что-то глубоко продуманное в эти горькие часы одиночества.

Глава 41

ПАМЯТНЫЙ ВАЛЬС

Весь день Динка была молчаливой, часто задумывалась, и Леня не знал, чем отвлечь ее от грустных мыслей. Вечером ему пришла в голову счастливая мысль.

— А знаешь, что я придумал, Макака? Пойдем-ка мы в лес к нашим индейцам?

— Куда? — оживилась Динка.

— Ну, к этим... Рваное Ухо, Меткий Глаз и как их еще там зовут? — засмеялся Леня.

— Пойдем! Пойдем! — обрадовалась Динка.— Я тоже давно мучаюсь, что не иду к Иоське!

— Ну вот и хорошо. Только ведь туда далеко. Может, возьмем Приму?

— Нет, лучше пешком... Я не устану. Я никогда не устаю, если иду по делу. А ведь нам нужно все разузнать: куда Жук отвезет Иоську и вообще все!

— Надо с этими мальчишками разобраться,— задумчиво сказал Леня.— Познакомиться поближе...

Динка ожила, заторопилась, завязала в платочек хлеб и вареную картошку, сбегала к Марьяне за молоком, налила в бутылку. Вышли на закате. Шли босиком, держа в руках сандалии. С дороги был виден лес; стволы деревьев, освещенные заходящим солнцем, стояли как на пожарище. По обеим

сторонам дороги простирались поля пана Песковского. На них уже не шумели налитые солнцем колосья, хлеб был убран, и только еще кое-где на этих скучных стриженых полях кончали уборку. Издалека долетала песня:

Ой, летилы гу-си-си
С далэкого-окого кра-аю...
Гай замутили во-оо-ду
В ти-хому Дунаю...

Стоя на дороге, Леня и Динка заслушались, но сзади затарахтела телега.

— Рви васильки, Лень, будто мы просто гуляем. Нельзя, чтоб они догадались, куда мы идем! — Она бросилась рвать вдоль дороги васильки.

Но Леня, морщась, сказал:

— Нехорошо это... Люди едут с работы, пыльные, усталые, а мы гуляем, рвем цветы. Некрасиво как-то получается.

— Ну да, конечно, нехорошо,— согласилась Динка, пряча в траву свой букетик.— Но мы ведь тоже идем по делу, Лень?

На телеге густо сидели девчата и бабы; правил хлопчик в грязной вышитой рубашке.

— Добрый вечер! — приветливо поздоровались они.

— Добрый вечер! Добрый вечер! — весело откликнулись Леня и Динка.

Девчата, подталкивая друг дружку и перешептываясь, лукаво поглядывали на Леню. В близких селах хорошо знали Динку и желали ей счастья, а после хождения к пану с просьбой о коровах — особенно.

— Да пошлет вам господь! — с чувством сказала пожилая женщина, с улыбкой глядя на Динку.

— Спасибо, спасибо! — закивала головой Динка.

Лошадь пошла шагом.

— А что, хороши хлеба нынче? — степенно спросил Леня, идя рядом с телегой.

— Добрые хлеба,— ответила женщина, но девчата зашумели, зареготали.

— Пану хватит! — выкрикнула одна, выглядывая из-за спины подруг.

— Ще й останется! — бойко поддержала другая.

— Пан своего хлеба жалеет, он по заграницам чужой ест! — съязвила третья.

— А Павлуха этот год голодный будет,— фыркнул кто-то из девчат, и все закатились дробным смехом.

— За Павлуху не бойтесь, он панских хлебов на три года себе запас! — подмигнул Лене хлопчик.

— А что, Павлуха не повесился еще? — весело осведомилась Динка.— Мы слышали, пан велел ему повеситься?

Бабы и девчата расхохотались, посыпались бойкие словечки по адресу бывшего приказчика:

— Нема для него осины подходящей!

— Долго выбирать надо!

— А правду сказаты, с чого Павлухе вешаться? — утирая пыльное лицо платком, сказала молчавшая до сих пор баба.— У его губа не дура. Вчера, люди говорят, уже коло Матюшкиных усадьбу огородил, хорошу дачу себе ставит. Мужиков целу артель нагнал, гроши есть, чем ему плохо?

— Эге! Уже и столбы ставили! Люди бачили, в кажну ямку сам Павлуха с жинкой золотые бросали! Такой гад и в огне не сгорит, и в воде не потонет!

— А дерьмо, извиняйте, всегда поверху плавает!

— Куда там! С Матюшкиными они сваты, а Матюшкины, уж известно, гады!

— Всем гадам гады! — убежденно заявила Динка.

— Эге! Эге! — согласно и одобрительно закивали бабы.— Они, чуешь, барышня Динка, вчора на закладинах так-то вашего Ефима кляли! Не дай боже, как кляли! — озабоченно наклонившись к идущей рядом Динке, сказала пожилая женщина.— Сама слышала...

— Ничего. Придет такое время, что они еще Ефиму будут в ножки кланяться! — сердито сказал Леня.

На телеге притихли. Девчата с живым интересом смотрели на Леню.

— Придет, придет время! Отольются кошке мышкины слезки! Надоест народу терпеть их издевательства! — повторил Леня.

— Вот-вот... Так и солдат говорит. Значит, его правда. Только и солдата упредить надо, дуже богатеи на него злобятся...— понизив голос, доверительно сообщила пожилая женщина и, взяв у хлопчика вожжи, крикнула: — А ну погоняй! Бо вже не рано! Бувайте здоровеньки, барышня! До побаченья!

Лошадь рванулась вперед, телега, подпрыгивая на неровных колеях, подняла клубы пыли. Когда она исчезла под горой, Леня сказал:

— Опять про солдата слышу. И Ефим мне о нем говорил... Видно, смелый человек.

К лесу подошли, когда уже стемнело. Оглянулись по сторонам — никого...

Посидели еще на опушке, потом один за другим юркнули в кустарники и, прячась за деревьями, выбежали на дорогу.

— Ну, сюда уже никто не заглянет,— с облегчением сказала Динка.

Обнявшись, молча шли по дороге. С темного неба между верхушками деревьев выглянул тоненький серп молодого месяца.

— Смотри, какая у него смешная рожица! — указывая на него Лене, прошептала Динка.

— Любопытничает,— засмеялся Леня.— Интересно ему, как люди дружат!

Дорога была длинной, но Динка не думала об этом. Босые ноги ступали по заросшим колеям легко и мягко, знакомый смешанный запах хвои, лесных трав, грибов и остывающей от дневного зноя коры деревьев вливал в нее свежие силы, сердце, пережившее недавнюю разлуку с Хохолком, еще тихонько ныло, но рядом шел Леня, его теплая, сильная рука крепко сжимала ее руку, и от этого все вокруг казалось таким уютным и домашним.

— Как хорошо,— говорила Динка, подняв лицо к осве-

щенным месяцем кружевным верхушкам деревьев.— Я так рада, что мой лес видит нас вместе...

— Он всю жизнь будет видеть нас вместе. Мы будем часто приходить сюда, Макака,— растроганно отвечал Леня.

Они шли и тихонько разговаривали; потом останавливались, и Динка, приложив палец ко рту, слушала ночных птиц.

— Это филин,— говорила она.— А это просто какая-то птичка проснулась на ветке. А это — слышишь? — белочка завозилась в дупле. А это шумят листья; все листья шумят по-разному, я это хорошо знаю...

Легкий влажный ветерок доносил сырой запах болота. Динка тянула носом и тихо уточняла дорогу:

— Близко овраг... Он сначала мелкий, а потом все глубже делается. Там много ежевики и малины...

Незаметно наступила ночь. На небе высыпали большие и маленькие звезды. Прямые желтые сосны уходили ввысь, переплетаясь с верхушками векового дуба. Лес, освещенный сверху, внизу казался черным и таинственным, пугливо и неожиданно выступали из темноты белые стволы берез. Динка вспомнила, что именно здесь, в этом лесу, крались убийцы Якова.

— Как страшно...— прошептала она, прижимаясь к Лене.

— Не бойся ничего. Никогда не бойся со мной...— уверенно сказал Леня.

— Скоро развилка. Почему не играет скрипка? — снова зашептала Динка.

— Иоська спит...— улыбаясь ей в темноте, успокоил ее Леня.— Смотри на звезды, Макака. Выбирай себе любую звездочку.

— А ты? — спросила Динка, закидывая вверх голову.

— А мне нужны только две звездочки, только две на всю жизнь! — целуя ее в глаза, прошептал Леня.

— На всю жизнь,— торжественно повторила Динка, и вдруг, словно подтверждая ее слова, по лесу пронесся тихий, тоскующий звук скрипки; он словно поднимался откуда-то из темных глубин земли и, постепенно разрастаясь, заполнял

собой лес, тонкий и нежный напев его вылился в знакомую мелодию вальса.

Леня, вздрогнув от неожиданности, крепко сжал руку Динки.

— Это вальс... тот самый вальс... Он благословляет нас...— горячо зашептала Динка.

Но пораженный Леня только крепче сжимал ее руку, и лицо его белело в темноте, как освещенный месяцем белый ствол березы.

— На жизнь и на смерть...— вдруг тихо и внятно сказал он и неожиданно горько улыбнулся.— Я почему-то испугался, Макака. Мне показалось, что-то разлучит нас...

— Нет, нет! Наоборот, это наш вальс. Яков подарил его нам. И где бы ни услышал ты, Лень, эту скрипку, знай — я рядом, я близко...

Они стояли на дороге и жадно слушали, пытаясь понять, что сулит им этот вальс.

— Он благословляет нас,— шептала Динка.

Леня молчал.

Глава 42

НОЧНЫЕ ГОСТИ

— Ку-ку! Ку-ку!..— приглушенно раздается в лесу.

Продираясь сквозь колючий кустарник и обжигая ноги крапивой, Динка и Леня спускаются в овраг; слева над ними возвышается серая, облупленная стена хаты. Боясь, чтобы кто-нибудь не увидел их с дороги, Динка и Леня бредут по самому дну оврага вдоль узкого ручья.

— Ку-ку! Ку-ку!..— прикрыв ладонью рот, тихонько выкликает Динка.— Здесь где-то старый колодец...— шепчет она, осторожно подвигаясь вперед и ощупывая ногами землю.

Месяц, прячась за деревьями, скупо освещает густо заросший дикой малиной и ежевикой сырой овраг.

— Ку-ку! Ку-ку!..— все настойчивее зовет Динка и, дер-

жась за руку Лени, в испуге замирает. Ей чудится шорох раздвигаемых кустов и чье-то напряженное дыхание.

— Ку-ку! Ку-ку!..— ответно доносится из глубины оврага.

— Я Горчица... Я Горчица...— громким шепотом заявляет Динка, и словно в ответ на ее слова перед ней и Леней вырастает черная тень.

— С кем ты? — глухо спрашивает Жук, вглядываясь в Динкиного спутника.

— Это Леня, не бойся...— торопливо шепчет Динка, узнавая блестящие в темноте глаза и белые зубы Жука.

— Ладно, идите за мной,— командует Жук и, раздвинув кусты, вдруг словно проваливается сквозь землю.— Сюда, сюда... ставь ногу... здесь скобы... Осторожно!

Динка ощупывает руками скользкие трухлявые доски старого колодца, Леня молча отодвигает ее и, нащупав ногой первую железную скобу, спускается вслед за Жуком, потом ставит на скобу Динкину ногу.

Держась за выступающие сбоку старые доски, они осторожно следуют за Жуком и через минуту достигают утоптанной земляной площадки. Освещенная светом месяца, в глубине колодца поблескивает темная вода, оттуда тянет сырым затхлым воздухом.

«Куда он ведет нас?» — с жгучим любопытством и страхом думает Динка, но крепкая Ленина рука успокаивает ее.

— Стойте здесь,— командует Жук, осторожно раздвигая в стене доски и предупреждая товарищей коротким свистом.

Перед глазами Динки и Лени вдруг открывается небольшой проход с плотными, крепко утрамбованными земляными стенками и невысоким сводом, в глубине его бесшумно отодвигается железная штора, и в ней появляется Пузырь с зажженной лампой.

— Идите,— пропуская вперед Леню и Динку, говорит Жук, плотно задвигая за собой в стене колодца старые доски.

Леня, нагнув голову, идет первый, Динка — за ним.

— Пришла, Горчица? — радостно встречает ее Пузырь и, оглянувшись, коротко бросает стоящим за его спиной товарищам: — Я говорил — она! Горчица! Собственной особой!

Перед глазами изумленной Динки возникает длинный, освещенный висячей лампой подвал, посредине его стоит стол, около стены две кровати, застеленные серыми одеялами. Вокруг стола табуреты, в углу железная печка.

— Ой, Лень! — в восторге шепчет Динка, оглядываясь по сторонам и прижимая к груди руки.— Да ведь это сказка!

— Да. Ловко сделано, черт возьми! — не менее озадаченный, говорит Леня.

Жук крепко задвигает за собой железную дверь, набрасывает тяжелый крюк и, обернувшись к своим гостям, смотрит на них с торжествующей улыбкой:

— Что? Не ожидали?

Рваное Ухо, Иоська и Пузырь с радостными и смущенными лицами стоят около стола и выжидающе смотрят на Динку.

— Здравствуйте! — говорит она взволнованно.— Вот вы где живете! А я боялась, думала в колодце.

— В колодце? Ха-ха! А где ж там жить?

Но Динка не отвечает, она смотрит на Иоську. В первый раз она видит его так ясно при свете лампы и, пораженная сходством мальчика с портретом матери, вспоминает свою клятву. Да, это те же большие синие тревожные глаза... тонкие и нежные черты лица, темные брови и длинные ресницы. Иоська весь в мать, только смущенная, словно извиняющаяся улыбка — отцовская. Вспомнились слова Якова: «Иоська — наш принец...»

Прямая, статная фигурка девятилетнего ребенка, отросшие за лето светлые кудри и прямо надо лбом бритый кусочек.

— Что это? — говорит Динка.— Кто это выстриг ему такую дорожку.

Динка несмело подходит к Иоське. Ей так хочется обнять его, сказать ему ласковые слова, которые неудержимо рвутся из ее сердца, но она видит устремленные на нее со всех сторон мальчишеские выжидающие глаза, она знает — здесь не привыкли к нежности, ее могут осмеять, особенно Жук...

И, пользуясь выстриженной дорожкой над Иоськиным лбом, она гладит и перебирает его кудри, повторяя:

— Кто это так выстриг? Зачем это?

— Выстригли, и все! Ишь испугалась, чуть не плачет! — насмешливо бросает Жук, и все смеются.

Иоська прикрывает ладонью свою лысинку и оглядывается на старших товарищей.

— А это машинкой! Оброс он весь. Ну и решили мы остричь, а машинка-то щиплется, вот Иоська и не схотел! Ну, не схотел, ходи так, в городе к парикмахтеру сведем! — весело пояснил Ухо.

— Я не схотел,— смущенно повторяет за ним Иоська.

— Еще бы! Его против шерстки не погладишь! Одно слово, барчук! Такое и прозвище у него: Барчук либо Шмендрик! — добродушно усмехается Жук.

— На особом положении находится! — лукаво поблескивая глазами, говорит Ухо.

— Ну что ж, он здесь самый младший среди вас! — кивает головой Леня, тоже любуясь мальчиком.

— Он как тот комар,— вмешивается Пузырь.— И сила в нем комариная. Чуть что — устал; значит, бери на плечи и неси! Ну, да мне его тяжесть как спичек коробок! Как пойдем гулять, так обратно несу! — с удовольствием рассказывает он, и Динка вдруг замечает прозрачную бледность Иоськи, синие круги под глазами.

— Ему тут плохо,— говорит она, с беспокойством оглядывая подвал.— Здесь, верно, мало воздуха...

— Дрынки все это! — сердито сплюнул Жук, употребив неизвестное Динке слово.— Полон лес воздуха! Тут и сосна, и ель, и цветы разные... Какой еще воздух ему нужен? Дыши, пожалуйста, полным носом!

— Так это в лесу, а тут...— начала Динка, но Жук перебил ее:

— А тут вон целые веники из мяты вешаем да фортку на всю ночь открываем! Потушим свет и открываем! Как раз над Иоськиной кроватью. Только он, дурень, всякой лягушки боится!



Жук подошел к стене, заинтересованный Леня встал рядом с ним.

— А ну, Ухо, задуй лампу! — сказал Жук.

Ухо прикрутил фитиль и дунул в стекло. Лампа потухла, и в то же время небольшой железный квадрат над Иоськиной кроватью бесшумно съехал в сторону. Свет месяца упал на кусты с цветными сережками, и в открытую форточку потянуло свежим запахом леса.

— Она открывается? Как дверь, да? — с жадным интересом начала Динка, но Жук блеснул в темноте глазами.

— Тсс... Молчи!

И все мальчишки, стоявшие за Динкиной спиной, зашипели:

— Тсс...

А Иоська неожиданно пригнул к своему лицу Динкину голову и тихо зашептал ей в самое ухо:

— Когда открываем, то молчим: в овраге могут быть люди...

Когда форточку закрыли и снова зажгли лампу, Динка прыснула со смеха.

— Ой чудаки! — хохотала она.— Да ведь вас тут четверо, вы небось ночью такого храпака задаете, что весь овраг дрожит!

— Бывает! — зараженный смехом Динки прыснул Пузырь.

Жук грозно нахмурился, он не любил «зряшного» смеха.

— Что «бывает»? Что ты брешешь, собака? Когда это бывало? Погавкай мне еще тут! — Он с силой дернул за плечо Пузыря, хищно скаля зубы.

Динка со страхом ожидала драки, но Пузырь только стряхнул со своего плеча руку Цыгана и, притихнув, отошел в сторону; мальчишки тоже стояли молча.

— У нас дежурный на это есть,— успокоившись, пояснил Жук.— Он и следит за тишиной, пока фортка открыта. А заснет на посту, так я ему скулу разобью. И это каждый с них знает! — строго закончил Жук.

— Ну ладно, ладно...— махнула на него рукой Динка, досадливо морщась.— Хватит тебе про скулу какую-то, нечего пугать народ! Давай лучше показывай, что еще тут есть интересного!.. У тебя дверь тоже боком едет? — живо спросила она, подбегая к закрытой двери.

Мальчишки снова фыркнули.

— Боком едет... Вот дура ты! — засмеялся и Жук.

Но Леня строго сказал:

— Кончай, Жук! Дураков тут нет, а уж если вашу Горчицу назвать дурой, так надо самому дураком быть! И больше чтоб этого не было, держи крепче свой язык. Понял?

— Ладно,— вдруг усмехнулся Жук,— я не со зла, привычка такая!

Леня подошел к двери, потрогал железный засов. Дверь тоже была из толстого железа, но узкая и вровень с его ростом.

— Она что же, на роликах двигается? — деловито спросил он, присаживаясь на корточки.

Жук присел рядом с ним и стал объяснять:

— Какие тут ролики! Просто внизу рельса, и смазка действует; мы смазываем, да она и разработалась теперь. А первый раз как приехали, так она проржавела за зиму, никак было не открыть, пока Иоська не нашел чайник с маслом: теперь он завсегда снаружи стоит. Вот как уедем на зиму, в потайное место спрячем, а чужому нипочем не открыть! — с удовольствием рассказывал Жук.

— Здорово сделано! Кто же это так ловко сработал? Ты, что ли? — с удивлением спросил Леня.

— Это так было,— живо сказал Иоська.— Еще раньше моего деда... А главная дверь не тут, только Цыган завалил ее кирпичами.

— Ну да! Его отец, может, и не знал об этой двери, она тут вроде запасной. А я по засову догадался. А вот это, верно, была дверь, тоже железная и пошире. Тут ведь корчму один хозяин держал, так, видно, бочки сюда вкатывали.

Рассказывая, Жук подводил к стене, выходящей в овраг, показывал какие-то железные крюки и, видя захвачен-

ные любопытством лица Динки и Лени, довольно усмехался.

— Тут ни один дьявол не найдет, а найдет, так не войдет! Старый Михайло, Иоськин дед, все секреты знал. Он и спал тут, свое добро сторожил! — неожиданно проговорился он и, заметив встревоженные лица мальчишек, усмехнулся: — Я знаю, кому говорю! Не бойтесь, они нас не продадут!

— Это ясно,— спокойно сказал Леня.— Динку вы уже знаете, а за меня она ручается. Ты ручаешься за меня? — с улыбкой обернулся он к Динке.

Но она в смятенье стояла посреди комнаты, сжимая на груди руки.

— Почему же, почему же Яков не убежал, не спрятался здесь? — с волнением повторяла она, глядя на потолок.

— А оттуда нет хода,— ответил ей Жук.

— И папа не знал, что его будут убивать. Он думал, что все люди очень хорошие,— сбивчиво объяснил Иоська.— И потом, он не любил ходить сюда. Мы только один раз были с ним тут. Была большая гроза, я боялся, и папа принес меня сюда. И мы спали на дедушкиной кровати... А потом, когда папу уже убили, но он был еще живой, так он мне сказал, что здесь...— Иоська встретил угрожающий взгляд Жука и, потупившись, замолчал.

Жук потрепал его по голове.

— Эх ты, Барчук! Не знал я его отца, но только верно говорят, что яблоко от яблони недалеко падает! Вы не смотрите, что он маленький, у него свой прынцып! Он на нем и держится, как на якоре! Что, не верно я говорю? — спросил Жук, поднимая Иоську за подбородок и заглядывая ему в глаза.

Иоська упрямо мотнул головой, но улыбнулся. Ухо и Пузырь, подмигивая друг другу, засмеялись.

— Ты не смотри, Горчица, что он маленький, он со своим карахтером! — весело подтвердил Ухо.

— Вот дело какое у нас с ним вышло,— с удовольствием и даже с гордостью сказал Жук, машинально поглаживая Иоськины кудри.— Принес я ему одного раза паровоз. Ну,

игрушку! Короче говоря, скрал на базаре. А игрушек мы ему не покупаем, этого у нас в заводе нет. Какие тут игрушки! Не тая жизня! А тут, думаю, порадую Шмендрика, и принес! Он туда-сюда с энтим паровозом, и так его, и сяк, гудел, гудел, а тогда и спрашивает: «А где ты, Цыган, купил его?» А у самого морда аж блестит от радости! Ну, а где мне купить? Я и говорю: так и так, я его на базаре скрал! Мать родная! Что тут получилось! — Жук хлопнул себя по щеке и расхохотался.

Пузырь и Ухо, жадно слушавшие его рассказ, глядели на Иоську жалостливо и весело.

— Тут он и показал нам свой прынцып! Ой, что делал!.. Схватил той паровоз и к Цыгану: «Отнеси, отнеси! Не хочу чужого! Не хочу краденого!» А сам весь белый и ревет как белуга,— подхватывая его рассказ, оживился Ухо.

— Ну, ясно, озлился я, схватил ремень...— хмурясь, сказал Жук.

— А я отнял... За что бить, если ему отец так велел? — жалобно сказал Пузырь, бросив на Жука укоризненный взгляд.

— Мне отец так велел,— твердо повторил за ним Иоська.

Динка бросилась к нему, обняла острые, худенькие плечи.

— Твой отец был замечательный человек, слушайся его всегда, Иоська!

— Ну, размякла...— презрительно сказал Жук и, усевшись на кровать, засунул руки в карманы и, вытянув длинные ноги в рваных парусиновых туфлях, толкнул носком табуретку.— Садись, гость! Я еще кое-что расскажу! Хоть плачьте, хоть смейтесь, а скрывать я от вас ничего не буду! Доверье у меня к вам есть. Ошибусь — ну, тогда уж не жалуйтесь! Садись, что ли, Горчица, хватит мазать любимчика, он и так балованный, не гляди, что сирота. Ну как, дружки, говорить, что ли, все начистоту? — обратился он к Пузырю и Уху.

— Говори, чего уж тут. Они, вишь, не побоялись до нас идти — значит, и нам их бояться нечего! — сказал Пузырь.

— А я за Горчицу головой отвечаю! Она меня еще вон когда спасла... Ото всех людей защищала. Она...— захлебываясь, начал Ухо, но Жук сердито прикрикнул:

— Ну хватит! Опять про сало вспоминать будешь? Наслушались мы уже за это сало сто раз! Дай и другому свое слово сказать!

Глава 43

СТРАШНАЯ ЖИЗНЬ

Все замолчали. Динка и Леня приготовились слушать, мальчишки присели около Цыгана на корточки, Иоська, склонив на руку голову и улыбаясь мягкой отцовской улыбкой, тоже приготовился слушать. По взглядам, которые бросали на него старшие и даже Цыган, Иоська понял, что рассказ будет касаться его; он и смущался и гордился этим перед Динкой, которую помнил еще при жизни отца и по-детски благодарно любил за клятву, данную его матери. Леню Иоська считал чужим и не обращал на него никакого внимания.

Когда все уселись, Жук обвел взглядом внимательные лица и засмеялся.

— Не привык я митинговать перед людьми, ну уж раз обещал, так расскажу все, как есть! Вот, к примеру, лежит на столе сахар и хлеб, вот и колбасы кусок. Барчук не доел. А на что это куплено? Думаете, мы воры... Нет, все это куплено на честные деньги!

— А кто же из вас работает? — прямо и смело спросил Леня.

Жук спокойно выдержал его открытый взгляд.

— Вопрос правильный. Не крадем,— значит, зарабатываем. Но и зарабатываем мы мало, а живем все равно честно. Работник у нас один — Пузырь. Он грузит баржи, возит барынькам с Подола дрова на гору, на вокзалах таскает пассажирам чемоданы, надрывает кишки, можно сказать, и всякую копейку отдает на товарищеский харч. А теперь и Пузырь не работает, потому как Иоське не с кем гулять, а од-

ного мы не пускаем: Матюшкиных боимся. Ну, значит, сколько Пузырь привез денег, то все мы проели. Ну, да это дело неважнецкое, потому как мы скоро Иоську в город отправим, похудел он тут. А в городе мать Конрада, хорошая старуха, она Иоську любит, она и покормит и приглядит за ним, а Пузырь снова пойдет спину ломать. На зиму и мы с Ухом куда-нибудь пристроимся на работу, а пока грибы, ягоды продаем, корзинки плетем. Мы бы и сейчас с Пузырем да с Иоськой поехали, да у нас еще тут одно дельце есть. Ну, да не об этом речь. Я хочу рассказать, как мы честными стали, по какому такому случаю и по какому прынцыпу...

Жук бросил взгляд на вспыхнувшего Иоську и улыбнулся.

— Вон скраснел, чувствует, что про него будет речь. Да... Было это дело прошлой зимой. Подобрал я этого Шмендрика на базаре. Раньше там бабка его торговала; товар у ней был мелкий, ничтожный, весь на одном мешке помещался. Так, всякая дрянь: гвозди, нитки, подсвечники старые... Бывало, торгует, и Иоська тут же сидит; посинеет весь, пальцы во рту греет. Видел я его не раз. Ну вот, после рождества померла эта бабка. Вышел Иоська с ее товаром один. Ну, а ребята, известно как, растащили у него все. Бегал он, бегал по базару, замерз как цуцик, дрожит, плачет. Ну, взял я его. Думаю, пусть отогреется, у нас тоже к таким жалость бывает...

Жук вытащил мятую папироску, прикурил от лампы, жадно затянулся и, потушив ее об свою подошву, продолжал:

— Ну, взял, привел к одному старику старьевщику. Старик этот знакомый нам был, и квартировал он в подвале; так, комнатенка немудрящая, склизлые ступеньки вниз... Привел я к нему Иоську, дал денег: подержи, мол, пока. А на другой день захожу — разболелся мой пацан, весь от жара полыхает, кричит, отца зовет. Ну, известно, старьевщик сам, как собака в конуре живет, а тут я еще ему мальчонку подкинул. То да се, начинает он ворчать. Ну, уговорил я его, собрал у ребят кой-какие деньги, а сам в воровство ударился. Один раз мы с Пузырем да с Ухом удачно поработали, все больше по карманам, конечно. Дал я опять старику денег, купил Иоське молока, стал его поить, а он и узнал меня, уцепился мне

за шею: «Не бросай меня, Цыган, не бросай...» — а голос тонкий, вроде как у котенка, и все косточки насквозь светятся. А старик свое ворчит: «Занеси его куда-нибудь, не нужен он мне тут. Помрет, куда я с мертвым телом денусь?» Ну что ты будешь делать? И сам я голодный хожу. Позвал я тут вот их. Пузыря да Ухо. Отобрал из колоды две карты — одну червонную, одну пиковую — и говорю:

«Кому, говорю, карта пик попадет, тому и нести пацана на улицу да положить его коло больницы — может, подберут». Вижу, отвернулись мои дружки. «Неси, говорят, его сам... Ты взял, ты и неси».

«Нет, говорю, я не понесу: мне спасать, а потом бросать не приходится...»

«Ну и мне не приходится,— говорит Ухо.— Я сам был такой, а чужая девчонка и та себя не пожалела, прикрыла меня от моих мучителей, а я теперь пацана своими руками на мороз вытащу?! Ни в жизнь я этого не сделаю!»

«Ну, говорю, неси ты, Пузырь!» — «Нет,— говорит Пузырь.— Повели ты мне с голыми руками противу ста человек пойти, и я пойду, а против совести своей я не пойду, хоть и маленькая она у меня, воровская...»

Ну, замолчал я... А тут Иоська с постели голос подал, попить просит. Три дня ничего в рот не брал, а тут просит... А старик наш только что взошел: промерз, видно, и жратвы у него тоже нет. Налил он себе в жестяную кружку кипятку, вынул кусочек сахару, сидит, руки греет об кружку, чай пьет...

Подошел я к нему, взял у него эту кружку и кусок сахару, отнес Иоське... Ничего не сказал старик, только заплакал. Сидит плачет, сгорбился весь. Известно, какие у него добытки! Лазит, лазит целый день по помойкам, кости да тряпки собирает — что за это дают? А тут раздобыл где-то кусок сахару и тот отняли...

Старик плачет, а Иоська смотрит на нас и одно просит: «Не бросайте меня, не бросайте...» А назавтра как раз воскресенье было, большой базар. Ухо и говорит: «Давайте, братцы, пощупаем мужичков взавтра. Может, повезет нам, добудем что по карманам или на возах, тогда еще подержим мальца.

А потом и его красть обучим или же около церкви заставим милостыню просить: он нежненький из себя, как ангелочек, ему всякая барынька подаст...» Ну, так и порешили... Успокоили старика, пообещали, что завтра мы ему за все его доброе заплатим. Переночевали все вместе, а наутро встали и пошли...

— Эх, знали б мы, на что шли...— с протяжным вздохом сказал Пузырь.

Жук поглядел на товарищей с грустной усмешкой.

— Что ж, знали не знали, а все равно пошли бы, потому иного выхода нам не было. Видно, такая нам была судьба,— серьезно заметил Ухо.

Динка, сложив под подбородком руки, не мигая смотрела на всех троих, за спиной ее прерывисто дышал Иоська, Леня сидел не шевелясь, и только сдвинутые брови и крепко сжатые губы выдавали его волнение.

Жук снова затянулся папироской и, погасив ее, облизал запекшиеся губы.

— Ну, вот пошли мы... Мужиков на базар съехалось много. Ходили мы, ходили между возами, приглядывались. А мороз до костей пробирает, и на всех нас одна рвань, из башмаков пальцы вылезают. Вижу я, мерзнем без толку. Ну, разделились по одному. И только я наметил себе старого дурня на возу, как слышу крик. Повскакали тут все, гонятся за кем-то всем скопом. Ну, понял я: либо Ухо попался, либо Пузырь... Бросился на выручку, замешался в толпу, а тут и за меня мужики ухватились: «Бей их! — кричат.— Бей!..»

Жук замолчал, товарищи его тоже молчали, переживая страшные и горькие воспоминания.

— Я не виноват! Я не знал! — вдруг крикнул Иоська и, бросившись к Цыгану, крепко сжал его шею.— Я ничего не знал! Я был больной!..

Леня посмотрел на Динку: она не плакала, но лицо ее словно окаменело и в глазах застыло выражение глубокой безысходной скорби. Леня взял ее руку, но она даже не почувствовала его пожатия и не отвела взгляда от Жука.

— Ну, что долго рассказывать... Били нас все и чем попало. И только благодаря Пузырю вырвались мы. Бежали проходными дворами, падали и кровищу свою снегом заметали, чтоб, значит, следов не оставлять.

В одном месте упал я, ну, Пузырь да Ухо поволокли меня. А перед самым подвалом старьевщика и Пузырь упал без памяти. Одним словом, увидел нас старик, и даже у него сердце екнуло. Поставил чайник на печурку, давай нас обмывать...

Жук остановился, прижал к себе всхлипывающего Иоську:

— Ну ладно, не реви, не реви! Ведь теперь это дело уже прошлое. Ну, слышь, Шмендрик, кому говорю? Хватит хлюпать носом. Гляди, сейчас я до конца доведу, и мой рассказ веселей пойдет.

— Да теперь-то что уж плакать. А и тогда мы не плакали...— покачал головой Пузырь и, указывая глазами на Иоську, тихо шепнул: — Мы при ем никогда не вспоминаем, при ем нельзя, он сейчас в слезы ударяется.

— Любит Цыгана...— кивнув головой, сказал Рваное Ухо, и раскосые глаза его засветились, как зеленые светлячки.

— Он и нас любит, жалеет. А Цыган помирал тогда... Хуже всех ему досталось,— сказал Пузырь.

— Ну, там не разобрать, кому хуже... Всем хорошо попало,— усмехнулся Цыган.— Только у нас, босяков, есть свой закон. Это уж как железо: не продавать и выручать. Так что наутро уж вся наша босячня собрала денег, кто сколько мог, притащили к нам костоправа, одного тут пьяницу. Ну, он нам кому руку, кому ногу вправил, кому голову перевязал, велел какую-то траву к болячкам прикладывать, а старику пригрозил, чтобы дворнику не донес. Ну конечно, кормить нас не надо, мы лежим вповалку. А Иоська в ту пору уж вставать начал, только слабый еще был, как цыпленок.— Жук вдруг засмеялся.

Пузырь и Ухо, словно вспомнив что-то очень смешное, весело расхохотались.

— Страх один! Как сейчас вижу, бегает наш Иоська от одного к другому, как тая сестра милосердия. Одному попить, другому еще чего, а у самого ножки тоненькие, бежит-бежит да и упадет, встанет на карачки и опять к нам,— захлебываясь от смеха, сказал Пузырь.

— Ну, это ладно! Слушайте, что дальше-то было...— сказал Жук, и лицо его разгладилось, в глазах появились лукавые огоньки.— Слушай, Иоська... Сейчас самое антересное пойдет. Ну, помирал я, помирал, однако не помер, а затребовал однажды хлеба. Ну, хлеба-то кто ж нам наготовил... заварил старик мучную кашицу, сел я хлебать, а Иоська тогда на андела был похож. Вот как рисуют в церкви херувима бесплотного, так и он... Волосы его отросли хуже, чем сейчас, болтаются по плечам, сам весь как стекло светится. И присел он около меня и на ухо мне: вели, мол, Цыган, старику выйти, я тебе одну тайну скажу. Ну, махнул я рукой: какие, говорю, у тебя тайны, коли жрать нам нечего. Надо вставать да опять идти по карманам шарить... Как сказал я это, он затрясся весь, побелел. «Нет, нет, говорит, не пойдете вы больше, только вели старику выйти». Ну, а как я велю старику выйти? Когда б деньги были, послал бы хоть за хлебом, а денег нет ни гроша. «Валяй, говорю, при нем, все равно твоя тайна и гроша ломаного не стоит». А он нет, головой мотает. «Не велел мне, говорит, отец никому говорить, я только тебе скажу». Ну, отогнал я его, лег спать, а утром, только старик за дверь, Иоська опять ко мне. «Поедем, говорит, в мою хату, там есть мука и сало, там и деньги лежат дедовы, он мне на ученье оставил, чтобы я ученый был...» Какой дед, какой отец? Потрогал я ему голову, ну, думаю, опять у него собачий бред. «Да твоего ж, говорю, отца бандиты убили. Значит, и деньги у него взяли. Что ты, больной на голову, что ли?» А он опять: «Есть, есть деньги, поедем со мной, Цыган, я найду, я знаю, где искать». И плачет, божится. Ну, подозвал я Ухо и Пузыря. «Вот, говорю, либо я сумасшедший, либо Иоська. Послушайте-ка вы, что он бормочет». Ну, день слушали, два слушали, а там уж стала нас заедать Иоськина тайна. Ну, думаем, что коль правда, деньги у него есть? Да, может, говорим, их давно люди взяли, ведь хата твоя в лесу стоит

брошенная. А он свое: «Не найдет никто этих денег, они крепко спрятаны». Ну что ты будешь делать! Уж мы ему и грозили, и добром его уговаривали — нет, не помогает. И ехать тоже сил у нас нет, синие ходим, избитые, и босячня наша уж ослабла нас поддерживать, сами-то по краю каждый день ходят...

— Ах, Леня, Леня! — вырвалось вдруг у Динки.— Если б сказал ты мне тогда правду, что убили Якова, я бы их всех нашла!

— Да откуда же я знал...— начал было оправдываться Леня, но Жук перебил его:

— Стойте, слушайте дальше, что было. Вот не утерпели мы все-таки, выбрались все, рано-рано поехали, с первым поездом. Матюшкиным боялись след указать и всё Иоську от глаз прятали. А сами слабые, Пузырь еще одним глазом глядеть не приспособился...

— Как? Это тогда ему выбили глаз? — с ужасом спросила Динка.

— Тогда и выбили,— ответил Жук.— Ну, да дело не в этом: когда б ни выбили, а непривычно ему с одним глазом. А у Уха обе руки были сломаны, только-только приживать стали. А у меня ребро и голова... Идем лесом, еле тащимся. Пузырь Иоську на плечах несет. А весна кругом! Почти что снег сошел, цветочки из-под снега синенькие торчат. Шли, шли... Ну, остановимся и опять к Иоське приступаем: ты скажи, если соврал, мы бить не будем, сами битые, но мы хоть зря дорогу эту ломить не будем. А он опять свое: «Идем, идем, уже скоро!»

— Сам-то на плечах у меня сидит, так ему и скоро! — захохотал Пузырь.

— Ну, дотащились мы до развилки. Увидел Иоська свою хату, да портрет матери, да еще то место, где отца убили, и зашелся. Кричал, кричал... Мы и так и сяк, а он: «Папа! Папа!..» Ну, что делать? Сели мы тут на крыльце посреди битого кирпича — хоть плачь, хоть падай. И мальца жалко, и себя жалко. Вот, думаю, зачем он нас сюда привел, отца с матерью помянуть хотел. Но и ребята так поняли. Бери, говорят, его

Цыган, и пойдем назад, а то, как стемнеет, и дороги не найдем. Взял я Иоську за руку. «Пойдем, говорю, на поезд... Попрощался с отцом, матерью, и пойдем! Мы тебя бить не будем, мы не звери, только кончай свою музыку, и пойдем!» А он глянул на меня да и спрашивает: «А деньги как же? Пойдем, говорит, я покажу где...» Ну, переглянулись мы — и за ним. Снесли его на плечах в овраг, а в овраге еще снегу по пояс. Глядим, ведет он нас к этой стене, а дверь-то известкой замазана, не отличишь ее от стены, но, глядим, он вытащил из-под стрехи здоровый ключ, тяжелый такой, как гиря. Ну, обнадежились мы, давай шарить по стене, куда этот ключ сунуть. Глядим — сбоку замок. Вставили ключ, а замок-то заржавел, и сил у нас нет повернуть его. Ну, опять же сбегал Пузырь с Иоськой наверх, нашли где-то старый чайник с маслом, влили это масло в замок и опять давай ворочать. До самого вечера крутились мы с ним, когда вдруг щелкнул он, а дверь-то не открывается. Ну, Иоська вроде вот Динки: «Она, говорит, боком едет, тащите ее боком. И маслом полить надо, отец маслом поливал». А куда маслом, уж мы и руки отморозили — снег отгребали,— но все-таки удалось нам сдвинуть эту дверь с места: не всю, а так, чтобы пролезть хоть можно. Зашли в этот самый подвал, а Иоська дрожит весь. Темно как в могиле. Зажег я спичку. Гляжу, стол и лампа на столе с керосином. Зажгли мы лампу, задвинули дверь, заложили засовом и огляделись. А Иоська на печку показывает: коло печки дрова, а топить ее нельзя, потому как труба на полу валяется. Но тут рядом керосинка стоит и бутыль с керосином в углу. Одним словом, вот, как видите, так все и было,— сказал Жук, обводя рукой подвал.— Только еще в углу вот этот куль с мукой стоял да гречка и сало в макитре...

— Это моему отцу за сапоги дали... Он на всю деревню сапоги шил,— с гордостью сказал Иоська.

Глава 44

ТАЙНА СТАРОЙ КОРЧМЫ

Динка только сейчас заметила в углу шкафчик, икону с лампадкой и под самым потолком длинные полки с книгами.

— Ну, дальше, значит. Нашли мы в шкафчике сахар и чай в банке, свечи и гречневую крупу тоже в банке вроде из-под леденцов, нашли соль... И про деньги забыли. Давай кашу варить! Снова полезли в дверь — теперь она уже легче пошла от масла,— набрали снегу в ведро и давай куховарить, потому как голодному еда дороже всего. А керосинка горит исправно, не дымит, не коптит. Сидим на кровати, греемся. И одеяла тут, и подушки, только отсырело все за зиму, видно.

Ну попили мы чаю, съели кашу недоваренную, с салом, а Пузырь и говорит: «Давайте, братцы, тут жить! Поставим куда-нибудь трубу, будем печку топить — чем не жизнь?»

«А куда, говорю, ты трубу вставишь? Тут никакого отверстия нет!»

А Иоська и говорит: «Отец топил один раз, я помню, и дым вот здесь, сбоку, в овраг шел».

Давай опять искать. Шарили, шарили по стене, а фортка-то, она в двери оказалась. Набрел я пальцами на засов, опять посветил лампой. Ну, вовсе мы повеселели. А на дворе уж ночь, и в подвале сыро, холодно. Сложили мы трубу в трубу, повернули колено в фортку, и пошла музыка! Дрова сухие, а печка железная, раскалилась докрасна, аж жарко стало! Развесили мы одеяла, давай сушить. И сами разулись, постелили на пол рядно. Чего лучше?

Про деньги уж не спрашиваем. Не верим мы этому и мальцу поминать не хотим: наплакался он и так вдоволь, хватит, думаем, с него. А он нет, поел маленько, сидит за столом, глаза трет, а сам все на стенки смотрит да и говорит:

«Цыган! Папа сказал, в стене есть шкафик и там деньги, только он под иконой, в углу...»

Ну, взяли мы лампу, стащили икону. Глядим — верно...

Жук вдруг вскочил, взял со стола лампу. Все двинулись за ним.

— А ну, Пузырь, сымай икону,— торжественно скомандовал Жук.

Пузырь снял икону. Под ней оказалась чуть приметная дверца с задвижкой.

Жук отодвинул задвижку, открыл дверцу и осветил внутренность потайного шкафчика. Там лежал старый, затертый кошель. Жук открыл его и с брезгливой усмешкой высыпал на стол кучку медных и серебряных денег.

— Вот,— сказал он,— звенят, как плачут...

— Отец брезговал этими деньгами... Он говорил, что дед Михайла у мужиков их отнимал... Поймает в лесу мужика с хворостом, пригрозит ему тюрьмой, мужик и отдает последние копейки...— морщась, пояснил Иоська.— Не клади их на стол, Цыган!

Цыган усмехнулся, сгреб всю кучу, бросил ее в кошель и запер в шкафчик.

— Нам и самим они не по душе... Конечно, поначалу обрадовались: взяли на еду, на одежду, обувку покупили да еще кое-что. А вообще не трогаем. Это деньги на Иоськино ученье, для этого дед и копил, так и отцу завещал. Так что на них не разживешься, и красть нам Иоська больше не велел,— улыбнулся Жук.

— Я им не велел. Я так и сказал: берите хоть все деньги, а красть нельзя,— с наивной важностью заявил Иоська.

Все засмеялись, а Динка провела рукой по лбу и, хлопая ресницами, сказала:

— Я как во сне, Леня. Что это такое?

— Это тайны старой корчмы! — засмеялся Леня.— Действительно, похоже на клад!

— Вот интересно, правда? — подхватил Жук.— И монеты ведь не старинные. Верно, дед Михайло всю жизнь их собирал!

— Он был лесник. Нехороший был дед. Отец говорил, что он с мужиков шкуру драл, вот и скопил с этого! — снова повторил Иоська.

— Кто знает, как тут было. Может, и лес крал да продавал. Тут деньги всякие собраны. Был даже один золотой, это не наживешь честным трудом,— согласился Жук.— Но как бы там ни было, а мы теперь живем честно, и такой у нас прынцып, чтоб больше не красть!

— Принцип...— тихо поправила его Динка.

— Ну «пры» или «при», а слово такое мы дали. И знаете кому? Иоське!

— Они дали мне слово,— подтвердил Иоська, глядя на всех сияющими глазами.

— А насчет работы как? Не давали слова? — полушутя, полусерьезно спросил Леня.

— Ну, это и без слова ясно. Иоську будем учить, а сами работать. Так и студент нам советовал, вот тот, что умер в тюрьме. Мы ведь с ним месяца полтора вместе жили, а с матерью его и сейчас как родные. Бывало, он нам читает что-нибудь или рассказывает. Хороший человек! До сих пор вон у нас его книжки да брошюрки. Как унес тогда Ухо чемоданчик, так он нам и остался. Стоящие книжки! Есть одна про пауков и мух, так там все про жизнь описано! — с гордостью сказал Жук, подходя к полке, где аккуратно были сложены книги.

Леня и Динка тоже подошли к полке и недоумевающе переглянулись.

— «Пауки и мухи»...— взволнованно прошептал Леня, перелистывая страницы затрепанной книжки.

— Тут много чего есть... Тут и листовки были, только нам Конрад велел сжечь их,— сказал Жук.

— А расскажи, как мы совсем было на войну собрались! — засмеялся вдруг Ухо.

Жук почесал затылок.

— Собрались-то собрались, думали Иоську у Конрада оставить, все равно мы там все жили последнее время. Ну, конечно, давай потихоньку оружие всякое покупать.

— Оружие? А где ж вы его покупали? — заинтересовалась Динка.

Жук слегка присвистнул.

— Мы знаем где! На базаре только батьку с маткой не купишь, а так что твоей душе угодно. Скрытно, конечно, не на виду. У нас все есть: и винтовки и револьверы,— все, что надо! Только на войну мы уже не пойдем, изругал нас Конрад: вы, говорит, самые что ни на есть пролетарии, дети трудового народа, вам надо за свои народные права бороться, а не за панов воевать — куда это вас понесет на войну? Ну, мы решили до времени обождать, а оружие все же в порядке держим!

— Да где оно у вас! — спросил пораженный Леня.

— Оружие-то? Вон под кроватью лежит, в одеяло завернуто. Четыре винтовки да охотничье ружье! А под другой кроватью два револьвера и пули к ним, а порох вон к потолку подвешен, чтоб не отсырел.

— Черт те что...— оглядываясь, бормотал Леня.— Ну и ловкачи же вы! Да тут на целый отряд хватит.— Говоря, он морщил лоб, что-то усиленно соображая про себя.

— Не хватит — мы еще найдем. Только кого стрелять? Акромя Матюшкиных, вроде бы и некого! — засмеялся Жук.

Леня нахмурился.

— Ну, с Матюшкиными вы поосторожнее, это все не так просто. А губить свои жизни из-за двух негодяев не стоит!

— Ну, это наше дело! — сразу насторожился Жук и переменил разговор.

На керосинке забулькал чайник. Мальчишки засуетились, вытащили три чашки с отбитыми ручками, нарезали сало, хлеб. Динка с удовольствием уселась за стол. Лене было не до еды. С мальчишеским блеском в глазах он бережно разбирал винтовки, щелкал затворами, протирал тряпкой дула и, взвесив на руке старинный револьвер, усмехнулся:

— Этот еще от царя Гороха остался. Теперь таких не делают. А кто же из вас стрелять умеет?

— Да все помаленьку...— сказал Жук, присаживаясь рядом с Леней на корточки.— Только тут стрелять нельзя, мы с Ухом в ирпенский лес ходили. А Пузырь и учить-

ся не схотел: у меня, говорит, в случае чего свое оружие есть!

— Мое самое верное...— вылезая из-за стола, сказал Пузырь и вытащил из угла короткую толстую дубинку с ременной петлей и железным наконечником.— На-ко, Лень, подыми! — усмехнулся он, надев на руку петлю и покрутив дубинкой над головой.

— А ну давай! — с задором вскочил Леня, но, взяв в правую руку дубинку, чуть не выронил ее на глиняный пол.— Ого! Да тут одного железа пуда на полтора! — смутившись, сказал он.

Все засмеялись. Динка тоже попробовала оружие Пузыря, но еле подняла его обеими руками.

— Здорово! — сказал Леня.— Но учиться стрелять все-таки нужно. Мало ли когда может пригодиться. Только ты вот что, Жук,— аккуратно завертывая винтовки в одеяло, серьезно сказал Леня.— В город оружие не тащи, здесь оно вернее спрятано. Только надо смазать, чтоб не проржавело, ну и порох, конечно, чтоб не отсырел! Порох всегда надо держать сухим, да! — обтирая руки тряпкой, с видом знатока сказал Леня.

Сквозь деревья уже пробивались первые лучи солнца, когда, простившись с гостеприимными хозяевами, Леня и Динка двинулись в обратный путь.

Провожая их, Жук сказал:

— Теперь вы знаете нашу тайну, так что если что надо спрятать или передать кому, так мы всегда можем, а насчет оружия ты, Леня, помолчи пока.

В лесу уже совсем рассвело, на листьях блестели крупные капли росы, в кустах суматошились птицы.

— Слушай, Лень... Что ты думаешь обо всем этом? — взволнованно спросила Динка.

— Надо поговорить с мамой,— вместо ответа сказал Леня и задумчиво добавил: — Стоящие ребята, а, гляди, прошли огонь и воду!

— А как они с Иоськой... И как их... били. А старик... плакал...— Динка закрыла лицо руками, плечи ее задрожали.

— Ну, ну, Макака! Там выдержала, а тут плачешь,— успокаивая ее, улыбнулся Леня и, чтобы переменить разговор, напомнил: — А дедовский кошель? Я сроду не видал ничего отвратнее!

— Нечистые это деньги, сам Иоська сказал... Недаром Яков даже не дотрагивался до них, шил да шил сапоги... Мечтал учить Иоську. И сам погиб из-за этих проклятых денег. Вот уж верно, Лень, что «через золото слезы льются».

— У кого льются, а у кого и не льются... Да еще неизвестно, чей это кошель, может, прежнего хозяина... В общем, тайны старой корчмы! — засмеялся Леня.

Глава 45

ПОДАРОК ПАНА И ГОЛУБИНОЕ ПИСЬМО

Подходя ближе к дому, Динка услышала звон косы.

— Ефим косу точит! — крикнула она и, бросив Леню, помчалась вперед.

На чудесном заливном лугу, который так любила Динка, уже густыми рядами лежала скошенная трава. Потачивая косу и поплевывая на точило, Ефим с мокрым, вспотевшим лбом и прилипшими к нему завитками, с расстегнутым воротом рубашки стоял и сердито смотрел на подбегавшую Динку.

— Ефим, что ты делаешь? Ты же последние-распоследние цветы косишь! Неужели нельзя подождать хотя бы до приезда мамы! — кричала Динка.

— «Обождать, обождать»!.. Люди уже скоро по второму разу будут косить, а мы все обжидаем! — заворчал Ефим и, бросив в траву брусок, которым точил косу, сердито огрызнулся: — Не морочь ты мне голову с твоими цветами! Скажи яка барыня нашлась, цветочки ей треба нюхать! Нема чего сказать — разумна хозяйка! А того не думаешь, чем зимой корову и конячку будем кормить? Что есть будем? Вон и сейчас на базаре ни к чему не доступишься. Не коси да не коси! А трава передерживается. Какое с нее сено будет? Да нема

тут о чем балакаты... Ты вот скажи мне лучше, где всю ночь прошлендрала?

— Как это «прошлендрала»? Выбирай, пожалуйста, выражения! — обиделась Динка.

— Чего выбирать? — подняв кустистые брови, хмуро спросил Ефим.

— Выражения, вот чего. Я не одна была, а с Леней ходила!

— А какая тебе Леня защита, что он может без ружья? Вот кинет кто хорошую каменюгу из кущей и раздробит голову. Уж один раз было такое дело.

— Фью! — свистнула Динка.— Запугался! Уж не Матюшкины ли?

— А что ж Матюшкин? Первейший гад! Это тебе все труля-ля, а он и доси забыть не может, как ты его скрипкой да мертвяком поддразнила! Вчера как узнал, что пан уехал, так напились с Павлухой горилки и давай грозиться.

— А пан уехал? Совсем? — живо спросила Динка.

— Совсем не совсем, а до весны. Подарок тебе передал! — смягчился вдруг Ефим.

— Какой еще подарок? — вспыхнула Динка.— Не нужны мне панские подарки!

— Ну не подарок, а так, приклад к лошади. Я, говорит, вместе с Примой должен был им отдать, да забыл тогда.

— Да что это такое? При чем тут Прима?

— А при том, что это седло.— Лицо Ефима смягчилось, глаза сузились.— Ох и красиво! С уздечкою да с плеткою! Казацкое седло, черненым серебром все выложено, аж блещить!

— Да на черта оно мне! — сердито топнула Динка.— Я ведь ему сказала, что не желаю ездить боком!

— Боком, боком, ненароком!.. Я ж тебе говорю, что седло казацкое, а какой казак ездить боком? Так и пан сказал: твоя панночка, Ефим, отказалась от дамского седла, так пусть ездит на мужском!

— Не буду я ни на каком! Зачем ты взял, Ефим? Что это за дружба такая завелась?

— Ниякой дружбы, а просто ехал пан на вокзал, остановился около моей хаты, попрощался со мной за руку и внес седло. Передай, каже, твоей панночке! С тем и уехал! Что я ему мог сказать! Вот приедет весной со своей заграницы, тогда и скажешь сама!

— Втащил все-таки! Тьфу, нахальство какое!

— А никакого особого нахальства тут нет. Пан как пан, еще и лучше многих.— Голубые щелочки глаз Ефима вдруг весело подмигнули.— Коров не велел больше продавать! А ни одному человеку! Остались теперь наши богатеи с носом, и Павлуха тоже! Ну, они дуже не пострадают, бо у них и свои коровы хорошие, а вот только что от зависти аж почернели! Злобятся очень! Вот потому я и говорю тебе: не шлендрай зря где ни попало! Убить они не убьют, а суродуют из-за угла!

— Ладно, слышала я уж это! — махнула рукой Динка.— А Мышка дома? — спросила она.

— Конечно, дома. Уже десятый час! Пешком пришла, потому как некому было ехать за ней. Я сегодня должен весь этот луг скосить, потому как завтра мы с Дмитрием для солдаток косим.

— На панском лугу? Отаву?

— Хоть и отаву, а там возов десять будет. Решили всем обчеством помочь солдаткам, некому у них косить!

— Ладно, убирать сено я тоже приду, тогда скажи! — крикнула Динка и побежала домой.

На террасе Леня, сильно жестикулируя, рассказывал Мышке про ночной поход к «братьям-индейцам», все время повторяя: «Ты представляешь себе, как мы были поражены!»

Динка тоже вступила в разговор, наскоро поцеловав сестру.

— Но вы сумасшедшие, просто сумасшедшие! Я не знала, что и думать! Приезжаю — дверь заперта, и Ефим говорит, что не ночевали! Но то, что ты, Леня, рассказываешь, просто изумительно!

Динка начала в подробностях передавать сестре все, что они слышали и видели в корчме, потом серьезно сказала:

— Только об оружии и о деньгах никому нельзя говорить, кроме мамы...

— Еще бы! Они нам так доверились, ни о чем говорить не надо, даже Ефиму, хотя жаль, что Ефим верит в скрипку мертвеца. Сам, говорит, слышал...

— Ну, о скрипке-то мы когда-нибудь скажем ему, может зимой. А пока пусть все так будет!..— согласилась Динка и живо спросила: — Ну, а где это седло, что прислал пан?

— Ах да! Чудесное седло, только, верно, очень дорогое, ну, весной расплатимся!

Мышка сбежала с крыльца. Под дубом, накрытые ковриком, лежали почти новое мужское седло, отделанная черненым серебром уздечка и легкая плетка с тонкой ручкой.

— Ох ты! Дорогой подарок! Раскутился пан! А где он сейчас? Может, еще в городе, так я бы ему свез это седло туда! К черту! — разозлился вдруг Леня.

Динка присела, перебирая кольца на уздечке.

— Придется мне научиться ездить в седле. Уж очень оно красивое,— вместо ответа сказала она.

За чаем Мышка вдруг вскочила:

— Да, я была на городской квартире, и там оказалось письмо от Почтового Голубя. Очень тяжелое письмо... сейчас я принесу!

Она сбегала в комнату за сумочкой и, порывшись в ней, достала серый солдатский треугольник.

— И главное, без адреса... даже ответить некуда. Вот, почитайте!

«Здравствуйте, Анжелика Александровна и Дина Александровна! Шлю я вам свой низкий поклон с обагренных кровью полей! Завтра мой первый бой! Я не боюсь смерти — жизнь моя никогда не была счастливой,— я боюсь убивать сам... Я уже видел много раненых, умирающих, с перебитыми руками и

ногами, изуродованных людей. Муки их описать невозможно. Так неужели и моя пуля или штык будут вонзаться в живое человеческое тело и дробить ему кости? Может быть, такому же солдату, как я, без вины виноватому в этой кровавой каше. Сегодня нас собрали и говорили нам, что мы должны биться до последнего дыхания за царя и отечество, завтра батюшка благословит нас святой иконой на тяжкий грех — убийство людей. Простите, что я все это пишу вам, Анжелика Александровна, но не с кем больше мне поделиться. Домой я писать не буду, пусть для них я без вести пропавший солдат. Но вы мой ангел-хранитель, спасибо вам за бархотку, я ношу ее около сердца и молюсь, чтоб она дала мне силы все это выдержать. До свиданья, а может быть, прощайте. Я хотел бы иметь хоть несколько слов, написанных вашей рукой, но просить об этом не смею.

Низкий поклон вашей сестре и брату.

Ваш Жиронкин».

Динка опустила письмо и взволнованно сказала:

— Обязательно напиши ему сегодня же.

— Да, надо написать,— серьезно подтвердил Леня.

Мышка всплеснула руками.

— Господи! Я сама хотела, но тут нет адреса, он забыл написать адрес! — огорченно сказала она.

— Как нет адреса?

Леня и Динка подробно осмотрели письмо, конверт, снова перечитали строчки; в конце письма было нарисовано пронзенное стрелой сердце.

— Действительно, нет адреса! Ну что за чудак! — развел руками Леня.— Сердце какое-то намалевал, а адрес забыл!

Динка опустила на колени серый треугольник.

— Настоящее голубиное письмо...— с грустью сказала она.— Придется подождать второго... если оно когда-нибудь придет.

Глава 46

ДОРОГАЯ ВСТРЕЧА

Леня засел за учебники.

— Завтра съезжу в город, узнаю: если нет никаких поручений, то забегу в институт и засяду заниматься, а то после каникул съедутся мои ученики и опять на занятия не будет оставаться времени. А лучше бы всего бросить уроки и поступить куда-нибудь на постоянную службу. Ну, да посоветуюсь с мамой!

Леня очень беспокоился, что в доме нет денег, что поддерживает их скромное хозяйство только Мышкино жалованье да Марьянина корова. Но поступить на постоянную работу — это значило быть привязанным к месту, а Леня очень дорожил доверием старших партийных товарищей, которые часто давали ему ответственные поручения, связанные с поездками. «Надо посоветоваться с мамой!» — каждый раз думал Леня, не чувствуя себя вправе решать такие вопросы самостоятельно.

Леня сидел перед раскрытым окном. Занятия не шли на ум. Издали было слышно, как Динка прилаживает Приме новое седло и показывает ей красивую уздечку.

— Ведь это же твое? Твое! Ты на скачках была под этим седлом и с этой уздечкой! Что, вспомнила?

Динка чему-то смеется, смеется и Леня, сидя над учебниками, начинает вспоминать их ночной поход в лес, мальчишек...

И подумать только, что они хотели ехать на войну, уже и оружие достали. Чушь собачья! Покалечили бы их там, ни за грош пропали бы... Хорошо, что попался им этот Конрад, отговорил. И вообще повернул их головы на правильный путь, а то на войну — подумаешь! Конечно, был бы он, Леня, таким беспризорным мальчишкой, тоже убежал бы, наверно. А что это за война? Позор! Интересно, что у этого Николая Второго в голове делается? Ведь надо быть полным ничтожеством, чтобы довести страну до такого разорения. Оружия мало, солдат гонят и гонят, а немцы прут напролом, грабят города и села. Народ уже ничему не верит, царских генералов обвиняет в изме-

не... И ни на кого уже не действуют извещения на страницах черносотенных газет, что ее величество Александра Федоровна с августейшими дочерьми дежурит у постели раненых воинов, не действуют и умилительные картинки сбора пожертвований августейшей семьей с наследником цесаревичем, который собственноручно прикалывает прохожему белую ромашку...

«Самодержавие, как сказал в «Арсенале» один рабочий, само себя жрет с головы и с хвоста, прогнило насквозь, а война дала в наши руки оружие...»

Леня нетерпеливо встает, потягивается.

Эх, скорей бы уже что-нибудь определенное...

Леня не может представить себе, как это будет, но что революция уже надвигается, это чувствуется во всем, особенно среди рабочих, хотя между ними еще много есть не понимающих, куда надо идти, за кем, что делать. Все дошло уже до последнего предела: в очередях, где женщины и дети часами стоят за хлебом, слышатся проклятья дороговизне; война калечит отцов, выбрасывает на улицы сирот; все ближе подступает голод, рабочий не может прокормить семью; на заводах и фабриках вспыхивают забастовки, вот и сейчас готовится большая забастовка. Везде, везде нужны верные люди, настоящие большевики, партийные товарищи. Леня вспоминает свои поездки в Гомель, Шепетовку, к харьковчанам. Везде, где он был, есть крепкие партийные товарищи, которые ведут за собой народ, но есть и другие, сбитые с толку, не понимающие, за кем надо идти. Споры с ними бывали порой острые, шумные. Леня молодой, ему трудно выступать на таких собраниях, но он не может выдержать, а потом мучается, что не так сказал, не убедил... В последний раз в Шепетовке он очень хорошо поговорил с рабочими, народ оказался сознательный, видна дисциплина, да и муж Лины, Иван Иванович,— крепкий человек, пользуется любовью и доверием рабочих, выпускает свой железнодорожный листок. Леня сказал, что арсенальцам нужен шрифт. Иван Иванович обещал прислать с одним партийным товарищем, так и сказал: привезет на хутор железнодорожник в темных очках, ждите. Но железнодорожник почему-то не приехал.

Может, что-нибудь случилось? Надо завтра же съездить, спросить, посоветоваться.

У крыльца вдруг слышен радостный крик:

— Мама!

Леня в два прыжка выскакивает на террасу:

— Мама! Мама!

Динка, раскинув руки, мчится по аллее.

— Леня, мама, мама приехала! — кричит Мышка, бросаясь вслед за сестрой.

В конце аллеи мелькает светлое платье и соломенная шляпка с неизменным пучком незабудок. Длинные ноги Лени обгоняют обеих сестер.

— Мама!

Марину окружают сразу все трое. Леня берет у нее из рук зонтик и чемодан, сестры жмутся с обеих сторон, по старой детской привычке отталкивая друг друга.

— Сумасшедшие! — хохочет Марина.— Дайте мне хоть умыться с дороги! Я вся пыльная!

Ефим, подняв на плечо косу, стоит на скошенном лугу, и на непокрытой голове его ветер шевелит остриженные «под горшок» кудри.

— Эге! Сама хозяйка приехала! Доброго здоровьичка! — весело окликает он.

— Здравствуйте, Ефим! — кричит Марина и машет рукой в коротких белых митенках; голос у нее молодой, звучный.

— Здравствуйте!

Динка и Мышка подхватывают мать под руки с обеих сторон, Леня торжественно идет сзади с чемоданом. Под рукой у него торчит зонтик. Ефим выходит навстречу.

— Ведем! Ведем! — кричит ему Леня.

— Да я бачу, что ведете! Дорогой гость всегда ко времени! — шутит Ефим, здороваясь с Мариной за руку.— Ну зáраз пришлю с Марьяной свеженького молочка або сметанки, что там у ней есть! Зáраз! Зáраз! — торопится он.

— Приходите, Ефим! — кричит ему, оборачиваясь, Марина.

Но Ефим человек с понятием, он знает, когда идти, а когда и обождать. Оставя на лугу косу, он торопится к своей хате.

— А ну, Марьяна, живо собирай, что там у тебя найкращого — молочка, сметанки,— да неси на хутор, бо сама Арсенчиха приехала!

— Да ну! — всплескивает руками Марьяна.— То-то, я чую, Динка кричит: «Мама! Мама!»

— Ну вот она самая. Бежи, Марьяна, только не задержись там, бо у них свои разговоры. Нехай наговорятся, а под вечер и мы с тобой подойдем!

— А як же! За свого батька, верно, будут балакать, я ж понимаю! — суетясь по хате, отвечает Марьяна.

Глава 47

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

— Сядем, сядем, как прежде, на крылечке! — просит Динка.

Много уже сказано, пересказано, но все главное еще впереди: и большой душевный разговор о папе и об Алине... Динка сидит рядом с матерью и, прижавшись к ее плечу, любовно разглядывает каждую новую морщинку, каждый новый седой волосок на ее висках. Этих седых волос теперь уже так много, что даже бесполезно их выдергивать, как они делали раньше с Мышкой. И морщинки разбегаются около глаз. Но все равно лицо матери кажется Динке всегда молодым и прекрасным. И как это странно бывает: вот бегала, бегала Динка, больше месяца жила она без мамы, и смеялась, и скакала по лесам на своей Приме, полный короб у нее неотложных дел,— кажется, за целый день и не вспомнит о матери. Так и Мышка думала о сестре: вот ведь уехала мама, а Динке и горя мало, даже не вспоминает. Ох, неправда, неправда! Многого не знают взрослые люди. Не знают, как пусто в доме, в саду и во всем мире, когда нет мамы... Можно и прыгать, и смеяться, а все равно чего-то не хватает... Пусть даже самый любимый-разлюбимый человек рядом, а если нет мамы — нет

и уюта, нет настоящего тепла. А сейчас Динка приютилась около мамы и чувствует себя, как цыпленок, обогревшийся в теплых ладонях: спокойно и хорошо!

Но разве может быть человеку совсем хорошо? Для этого надо забыть о многом, а есть такое горе, что даже на одну минуту от него никуда не денешься...

— Что же с папой, мамочка? Чем он болен?

— Папу арестовали в Нерчинске...— тихо рассказывает Марина.— Это было осенью. Вели по этапу вместе с уголовниками. В одной из пересыльных тюрем к ним примкнула партия политических, папа встретился со многими самарцами, питерцами. Почти в каждой пересыльной тюрьме папа встречал товарищей. Дальше вели их по этапу вместе. Идти было очень тяжело: резкие ветры, дожди, на дорогах жидкая грязь. Папа был в летнем пальто, ботинки у него разлезлись. Да и все его товарищи шли в рваных ботинках, в галошах, только некоторые были взяты зимой и потому одеты теплее. Папе дали чью-то рваную фуфайку. Он шел и все время думал о Косте...

Марина замолчала. Всем вспомнился заброшенный в сибирской глуши, умирающий от чахотки Костя.

— Всего не расскажешь. Там был один каторжник, пожилой уже. Вели его в кандалах. Ну, представляете себе? На дороге жидкая грязь, моросит дождь, ветер сбивает с ног... Ну, конечно, тащился, тащился этот старик и упал. Ведь еще и кормят арестантов впроголодь.— Марина провела рукой по лбу.— Страшно все это...

— А старик как же? — тихо спросила Динка.

Но Марина уже вспомнила что-то другое, лицо ее посветлело, складка у губ разгладилась.

— Старика посадили потом на телегу. Уголовники подняли крик, вмешались политические. Ну, кандалов со старика не сняли, конечно, но пришлось конвойным слезть с телеги и положить больных. Телега считается для арестантов, а едут в ней конвойные.

— Вот сволочи! — резко бросила Динка и покосилась на мать.

В семье Арсеньевых никто не произносил грубых, ругательных слов, и Динке строго-настрого было запрещено «тащить их в дом». Марина была уверена, что ругаются только «пьяные извозчики», но когда такая ругань срывается из уст девочки, то это невозможно слышать.

«Да и к чему такие слова? Русский язык настолько богат, что можно любые чувства выразить иначе и гораздо сильнее»,— говорила обычно Марина, но Динка никогда не была согласна с ней.

«Сволочь есть сволочь, и нечего придумывать для нее других, нежных слов»,— упрямо повторяла она.

Но сегодня Марина не сделала замечания дочери: она была слишком поглощена своим рассказом и торопилась передать детям все, что было самым главным в воспоминаниях отца о тяжелом этапном пути.

А самое главное были люди.

— Везде, везде есть хорошие люди. Папа говорил, что когда их колонна входила в село, изо всех дворов выбегали ребятишки, стучали в окна:

«Колодников ведут! Несчастненьких ведут!»

И сразу, накинув на головы платки и полушубки, торопились на улицу женщины, старухи. И каждая старалась сунуть арестантам хлеб, лепешки, мороженую рыбу. Одна даже с кувшином горячего молока бежала за колонной. Папа считает, что и его просто спасли сибиряки.

— Папу? — с тревогой спросила Динка.

Марина кивнула головой и потянулась за кувшином с водой, быстрыми мелкими глотками выпила воду и поставила кувшин на ступеньку.

— Не убирай, мне все время пить хочется,— сказала она Лене и, вздохнув, снова начала свой рассказ.— Папа ведь шел в летнем пальтишке, а тут как раз поднялась метель. Ну, жандармские офицеры, видно, сами подмерзли; остановили колонну в одном селе, завели арестованных в постоялую избу, а там теснота, давка, гремят кандалы. Посредине пылает русская печь. И все лезут к огню. Папа рассказывал мне так: «Я сижу, дышать нечем, от мокрой одежды поднимается пар,

махра душит... и в глазах сизый туман. Товарищи намочили какую-то тряпку, а голова горит. В дверь набились крестьяне, ругаются с конвойными... И в это время подъехал в своем возке какой-то старожил этих мест, крестьяне встретили его очень почтительно и называли «дохтур»... Явился этот «дохтур» весь в снегу — метель разыгралась такая, что в двух шагах ничего не видно». Все это папе потом рассказали, он говорит, что тогда видел все как во сне. Этот самый «дохтур» показался ему какой-то снежной лавиной, которая с паром и грохотом ввалилась в дверь. Ну, товарищи, видно, сказали ему, а может, он сам увидел весь этот кошмар, только папа слышал, как этот самый «дохтур» кричал на конвойных:

«Мерзавцы! Куда же вы тащите больного человека! Как вы смеете в такую погоду людей, как скотину, гнать! Прогонные денежки в карман кладете! Я буду губернатору жаловаться! Я вам покажу, как позорить Россию! Снять со всех кандалы немедленно!»

Одним словом, дальнейший путь папа ехал уже в санях и в чьем-то тулупе. Товарищи говорили, что этот самый «дохтур» достал у кого-то из крестьян тулуп, валенки, шапку и велел жандармам сдать папу в тюремную больницу. Вот так в первый раз заболел папа и провалялся в тюремной больнице целый месяц. А мы об этом ничего не знали...— тихо закончила Марина.

— Бедный папа... Он такой терпеливый, никогда ни на что не жаловался,— вздохнула Мышка.

— Он и теперь не жаловался, хотя здоровье его очень подорвано. Сейчас мне удалось устроить его при самарской тюрьме в больницу. А там свои люди, товарищи носят обед, часто навещают рабочие. Он как-то окреп, немножко поправился. Не знаю, сколько удастся держать его в этой больнице, но будут держать как можно дольше. Папа просил всех вас крепко поцеловать. Я ему рассказывала про Леню, что он уже совсем взрослый и пользуется доверием партийных товарищей...— Марина с улыбкой посмотрела на сияющего от удовольствия Леню и неожиданно сказала: — Леня! Папа на-

столько сроднился с мыслью, что ты его сын, что просит тебя узаконить, он так и сказал — узаконить, и носить его фамилию: Леонид Арсеньев!

— Леонид Арсеньев! Леонид Арсеньев! Как красиво, правда, мама? — захлопала в ладоши Динка.

— А главное, у нас будет одинаковая фамилия! — с гордостью сказала Мышка.

Но Леня, бледный и растерянный, стоял молча. И все с удивлением смотрели на него.

— Ты знаешь, что это невозможно, мама! — наконец сказал он.

Марина, словно вспомнив о чем-то, улыбнулась.

— Мы не требуем от тебе ответа сейчас,— мягко сказала она.

— Как? — обиженно протянула Мышка.— Разве об этом еще надо думать?

Динка, морща лоб, напряженно вглядывалась в лица матери и Лени.

— Я могу ответить сейчас, мама! И тебе, и папе, и Мышке! — Леня поймал руку Динки.— Встань, Макака! Я могу говорить об этом только стоя!

Динка поняла и, вспыхнув, встала с ним рядом.

— Мама! Мы любим друг друга! — торжественно сказал Леня. Серые глаза его на бледном, но счастливом лице выражали такую радость, как будто сообщение, которое он только что сделал, являлось величайшим открытием для него самого.

— Господи ты боже мой...— сказала Марина.— Мне кажется, я это давно знаю...

— Конечно. Это ни для кого не тайна,— подтвердила озадаченная Мышка.

— Нет, тайна! Тайна! — неожиданно рассердилась Динка.— И мы вам первым об этом сказали! А больше никто не знает!

Мышка вдруг залилась своим серебристым смехом.

— Ой, не могу! — стонала она.— Да нет ни одной собаки и ни одного человека, который бы не знал!

— Собаки, может, и знают...— пожала плечами Динка, но Леня перебил ее.

— Так вот, мама! — весело сказал он.— Пусть знают все собаки и все люди, что отныне мы жених и невеста, а так как Арсеньев не может жениться на Арсеньевой, то я вынужден отказаться от большой чести для меня носить папину фамилию. Думаю, что он поймет и простит своего сына за этот отказ! Я сам напишу ему!

— Ну, Леня, тут уж я ничего не могу сказать,— улыбнулась Марина.— Может, это немножко и рано, особенно для Динки, но ничего лучшего для вас обоих я не желаю!

— Конечно, это самое лучшее, но все-таки какая Динка невеста! Надеюсь, вы не завтра побежите венчаться? — улыбнулась и Мышка.

— Нам все равно,— беспечно сказала Динка.— Но мне не нравится, что все вышло так обыкновенно. Лень! Становись перед мамой на колени! И я тоже! Вот так! Господи! Хоть бы какая-нибудь завалящая иконочка! Ничего в этом доме нет!

Динка бухнулась на колени рядом с Леней и, взяв его за руку, нараспев сказала:

— Поблагословить нас, мамо, на счастливую жизню до самой смерти и далее того!

Марина, смеясь, обняла обоих, она была очень растрогана.

— Благословляю вас за себя и за папу!

— А за себя я сама благословлю! — расшалилась вдруг Мышка и, схватив одной рукой Леню за прядь волос, а другой Динку за косу, грозно закричала: — Вы чего меня обманывали, а? Почему молчали?

Поднялся такой визг и хохот, что Марина сказала:

— Настоящая Динкина свадьба! Но хватит, хватит, а то из экономии прибегут! — Она шутливо поклонилась: — Благодарим вас за честь и доверие, мы, конечно, будем иметь в виду, что вы жених и невеста, но пока до главного события еще далеко...

— Почему далеко? — закричала Динка.— Мы можем когда угодно!

— Ну, ну! Раньше нужно кончить гимназию! — уже строго сказала Марина.

— Фью! — свистнула Динка.— Для свадьбы и семь классов довольно!

— Я больше не спрошу! — закричал развеселившийся Леня.

Но Марина вдруг внимательно посмотрела на Динку и, подозвав ее к себе, тихо спросила:

— А как же... Хохолок?

Лицо Динки мгновенно вытянулось.

— Потом, мамочка. Я все расскажу тебе потом,— тихо шепнула она.

— Подождите,— озабоченно сказала Мышка.— Ведь мы еще ни о чем не поговорили. Мамочка, Алина не писала тебе?

— От Алины было два письма... Жизнь ее налаживается, она ушла от мужа,— с удовлетворением кивнула головой Марина.

Дети удивленно и вопросительно смотрели на мать.

Леня пробормотал:

— Вот так налаживается...

— Как ты сказала, мама? — боясь ошибиться, быстро спросила Динка.

Марина улыбнулась.

— Я повторяю: жизнь Алины налаживается, она ушла от недостойного человека. Она работает, и я думаю, что мы с папой не ошиблись в ней!

— Но как же так...— начала Мышка.

Но Динка в бурной радости обхватила за шею своего Нерона и покатилась с ним на траву.

— Господи! Спасибо тебе за моих собак и за всю мою семью!

— Дина, не дурачься! Это была очень тяжелая ошибка в жизни твоей сестры, ей дорого стоил разрыв с мужем,— строго и печально сказала Марина.

— Она еще любила его? — тихо спросила Мышка.

— Она не уважала его, значит, и не любила. Но Алина

ведь очень серьезный человек, ей надо было убедиться самой...

— Убедиться! — с горечью воскликнула Динка.— Да ведь его же сразу было видно!

— Это нам было видно, и то не совсем,— задумчиво сказала Марина.— Есть люди, которые умеют как-то незаметно уклоняться от серьезного разговора и в то же время держаться товарищества... Одним словом, Алина случайно узнала, что младший брат ее мужа — политический — вернулся из ссылки, а Виктор не захотел принять его... И Алина ушла.

Марина посмотрела на притихших сестер.

— Брат ее мужа оказался очень хорошим человеком, он устроил Алину в знакомую семью, нашел ей работу. Сейчас они оба ведут очень ответственную подпольную работу. Алина пишет, что наконец она нашла то, что ей было нужно...

Марина вытащила из сумочки мятый конвертик.

— Вот как заканчивает она свое письмо: «Мамочка, скажи папе и сестрам, что я снова Арсеньева...»

Долго, долго сидит на крылечке мать со своими детьми.

Уже все новости и лесные тайны доложены Марине: и о панских коровах, и о злобных кулаках Матюшкиных... И все еще не рассказано самое главное — то, о чем узнала и услышала Марина от своих товарищей-самарцев, от приезжих из Питера рабочих Путиловского завода.

— Приезжал Иван. Помните Васиного друга? Он и сейчас работает на Путиловском вместе со старшим братом. Питерские рабочие уверены, что революция начнется именно в этом городе. Иван говорил, что там все время проходят забастовки, народ не может забыть Кровавого воскресенья... Рабочие держат непрерывную связь с харьковскими рабочими и с другими... В общем, Иван много интересного рассказал... Ну, на фронте вы знаете, как дела идут. Говорят, что среди солдат часто вспыхивают возмущения... Во дворце вообще потеряли голову. Царица во все вмешивается, сама назначает министров из числа своих приближенных, царь, по слухам, находится в полной растерянности, а тут еще в Питере начался настоящий голод... Одним словом, под троном дрожит земля,— торже-

ственно закончила Марина и тут же озабоченно спросила Леню: — А что у нас? Мне передавали, что к нам на хутор должен приехать железнодорожник и привезти шрифт, необходимо возможно скорее наладить выпуск рабочего листка. Ты не узнавал, почему этого железнодорожника до сих пор нет?

— Я узнавал, но из Шепетовки никого не было. Надо было б связаться с Гафуровым,— смущенно ответил Леня, почувствовав строгие нотки в голосе матери.

— С Гафуровым? — сморщила лоб Марина.— Это же фамилия нашего Малайкина...

— Ой, мама! Ты же не знаешь, что они нашлись! Нашлись, нашлись Лина и Малайка! — громко зашептала Динка.— Ты понимаешь, он теперь такой важный, наш Малайка... Вот пусть Леня расскажет!..

И снова начались бесконечные рассказы, надежды и предположения. Прервала этот разговор Марьяна: она принесла горячий борщ, гречневые лепешки, молоко... Выкладывая все это на стол и целуя Марину, Марьяна сообщила, что Ефим, мабуть, не придет, бо его вызвал Дмитро, там чего-то случилось на селе с солдатом.

— Не знаю уж, чего там, только без моего Ефима нигде не обходится, зараз люди бегут к нему,— с гордостью добавила Марьяна и, собрав пустые горшки, ушла.

Обед показался Динке особенно вкусным. За столом все время чувствовалось присутствие матери. Никто не ломал хлеб, не вырезал себе румяную корочку, тарелки не летели из конца в конец, было уютно, чисто и тихо. От усталости и множества впечатлений у Марины слипались глаза.

— Маме нужно отдохнуть с дороги,— сказала Мышка.

— Сейчас все приляжем и отдохнем,— согласилась Марина.

После обеда Динка забралась к маме на кровать.

— Ну, так что же с Хохолком? — тихо спросила Марина.— Сказала ты ему вашу новость? Может быть, напрасно?

— Нет, мама, если бы я не сказала, он бы еще больше страдал. Я не хотела унижать его страданием.

— Разве страдание унижает? Конечно, ему нелегко лишиться своей подружки, но он еще мальчик. А вообще мне кажется, ты слишком поторопилась, Диночка.

— Так было надо, мама... Когда человек страдает, все его жалеют, а жалость унижает, она всегда унижает. Я не хотела этого, мама. Пусть лучше он уйдет. Когда у человека большое горе, он должен быть один...

— Не знаю, мне кажется, что в горе необходимы друзья,— сказала Марина.

— Нет-нет... Жалость унижает... Хохолок один, но он знает, что я с ним. Он знает, что каждую минуту я думаю о нем... Не будем больше говорить об этом, мама.

Марина крепко обняла дочку. Она не могла еще решить, правильно или неправильно поступила Динка.

«Не всякий может так рубить с плеча...» — подумала она, закрывая глаза.

Глава 48

КУЛАКИ ЗЛОБСТВУЮТ

Ефим пришел только поздно вечером.

— Где это вы пропадаете, Ефим? — спросила, поздоровавшись, Марина.

— Да пришлось на село сходить. Просят люди, ничего не поделаешь,— скручивая цигарку, сказал Ефим.

— А что же там такое? — заинтересовалась Марина.

Ефим помял в пальцах тугую цигарку.

— Да злобятся кулаки, нет от них спокоя. И всё из-за этих панских коров. Вчера забежал ко мне Дмитро. «Идите, дядько Ефим, солдата выручать». А тут у них такое дело получилось. Выгнала Ульянка корову пастись за околицу. Ну, пасет вдоль дороги, а Матюшкин Федор послал батрака Прошку. «Займи, говорит, Ульянкину корову, она в мой огород лазила». Ну, Прошка за корову, а Ульянка подняла крик. Сбежались бабы. И солдат тут, Ничипор Иванович, как раз у Горпины дижку чинил. Схватил он свои костыли и пошкандыбал на этот крик.

А Матюшкин уже ворота открыл, чтоб Ульянкину корову, значит, в свой двор завести. Ну, Прошка ведет, а бабы отымают. Вмешался тут и солдат, отогнал Прошку костылем. Бабы за корову да бежать, а Матюшкин — на солдата. Ну конечно, человек безногий, а тут на помощь Федору и брат Семен прибежал. Втащили они этого солдата к себе во двор и давай его костить: ты, говорит, такой-сякой, дезертир, у нас, говорят, свидетели есть, как ты новобранцев против войны подучал, ты, говорят, против царя и отечества агитацию ведешь, мы на тебя в полицию донесем... Ну и пошло слово за слово. Солдат, конечно, не сробел да на них: «Ваше, говорит, поганое племя напрочь истреблять нужно!» Да батрака Прошку начал стыдить. Ну, заперли они его в сарай, а бабы — ко мне. И Дмитро прибежал. Ничипор-то у Дмитра в хате живет, и дружатся они очень. Ну, пришлось собрать кой-кого из мужиков; бабы тоже набегли. А Матюшкины заперли ворота, и конец! «Мы, говорят, вашего солдата зараз в полицию предоставим». А Семен уже и лошадь запряг. Ну ладно. Отошли мы с мужиками и бабам велели разойтись. А как только посадили они солдата на бричку да открыли ворота, мы — во двор. Обкружили тую бричку, отбили солдата. А Матюшкины мимо нас да в полицию! Вот и думай, куда теперь солдата девать. К Дмитро нельзя, потому Матюшкины знают, где солдат квартирует. В селе тоже оставить нельзя. Ну, взял я его пока в свою хату, но у меня тоже небезопасно. И так бросить нельзя... Ведь полиция заберет, Матюшкины сунут кому надо гроши, вот и пропал солдат, загонят в тюрьму, да еще изобьют калеку...

Ефим глубоко затянулся и покачал головой.

— У меня Марьяна голосит: ты, говорит, из-за чужих людей и сам пропадешь. А мне совесть не дозволяет бросить человека в беде. Вот и думай, как быть...

— Думать-то нечего,— сказала Марина.— Давайте его к нам, а потом сообразим что-нибудь. Ведите сейчас, Ефим, вечером никто не увидит. Мы его накормим — и на чердак спать. К нам полиция не придет!

— Конечно, Ефим, пусть он перебудет у нас! — сказал

и Леня.— На чердаке сено, мы ему туда отнесем одеяло и подушку, только чтоб курил осторожно.

— Ну, это он знает! Это, конечно, хорошо бы, а то у меня небезопасно,— заторопился Ефим.

— Ведите, ведите! — еще раз повторила Марина.

Ефим ушел.

— Завтра мы с Леней уедем в город, а этот солдат пусть сидит на чердаке, чтоб его никто не видел. Там светло, дверь открыта. Динка отнесет ему утром еду,— озабоченно сказала Марина.

— Ох, мама! Скоро уже осень, мы все уедем, а как Ефим останется? Его Павлуха так ненавидит, Марьяна не зря беспокоится,— сказала Мышка.

— У Ефима ружье есть, и потом пан пригрозил Павлухе...— начала Динка.

— Ну, пан пригрозил да уехал! — отозвался Леня.

— Я думаю, нам тоже перед отъездом придется принять какие-то меры. А что, Дмитро не может поселиться у Ефима хотя бы на зиму? — спросила Марина.

— Нет, мама! Дмитро ведь осенью будет свадьбу справлять: они с Федоркой друг на друге женятся! — сообщила Динка.

— Друг на друге! — засмеялась Марина.— Ну ладно! Вон Ефим ведет уже этого солдата. Как его зовут?

— Ничипор Иванович,— шепотом подсказал Леня.

— Ну вот, веду гостя до вас,— сказал Ефим, пропуская вперед солдата.— Знакомься, Ничипор Иванович!

Солдат подал всем руку и сел. Огня на террасе не зажигали.

— Наделал я вам хлопот,— стесняясь, сказал солдат.

— Ну, какие хлопоты! Живите, не беспокойтесь, а там мы что-нибудь придумаем,— сказала Марина.

— Ничего, земля велика, я, может, уеду куда. А этим гадам, извиняйте за выражение, недолго нам холку тереть. Вот придут с войны хлопцы, тогда другое будет...

Солдат неожиданно разговорился.

— В деревнях народ темный, но и тот свое право понимает. Вот тут отправляли из села новобранцев, и я был. На проводах,

значит. Хлопцы все молодые, солдатских щей не хлебали. Вот я им говорю: чью землю от врага защищать будете? Панскую? Ну ладно! Был и я такой же, как вы. Шел, сражался, голодный, разутый. А за что сражался? Пришел назад калекой, без ноги! Ну пойду я сейчас к пану, скажу: я, пане, вашу землю защищал, за ваши богатства да за именья дрался, а кто ж теперь меня, калеку, на работу возьмет? Ну? Что мне пан на это скажет? У меня, скажет, батраков с руками, с ногами хватает, а ты отвоевался, солдат, иди проси милостыню. Вот, говорю, хлопцы, надо вам тоже мозгами пораскинуть да умных людей послушать...— Солдат говорил спокойно, светлые глаза его из-под бровей смотрели на всех внимательно и серьезно.— Многому научит война да еще госпиталь, кто туда попадет. Везде есть умные, понимающие люди...

Разговор с солдатом затянулся допоздна.

Потом Леня отнес на чердак кошму и подушку, помог солдату подняться по ступенькам лестницы.

Утром Марина с Леней уехали, Мышка поехала с ними, чтобы до госпиталя заглянуть на городскую квартиру.

— Я постепенно там все приберу, мама, все равно скоро переезжать, да и надоело мне здесь жить. Этим летом только и слышишь то про Павлуху, то про кулачье — нет, уж это не житье! — жаловалась она матери, подъезжая к городу.

— Рано еще переезжать. Ну что делать в такую духоту и жару на городской квартире? Динка будет бегать к Днепру, начнется новое беспокойство. Нет уж, посидим еще на хуторе. Здесь воздух один чего стоит,— ответила Марина.

Глава 49

ОТЪЕЗД ЛЕНИ

На другой день Леня собирался уезжать: его снова посылали с поручением к железнодорожникам. В городе Марина узнала, что о том товарище, который должен был привести шрифт, ничего не известно, поэтому решили срочно послать Леню.

— Ну вот, не успели мы полюбить друг друга, как ты опять уезжаешь,— ныла Динка.

— Так я же не сам еду, меня посылают,— складывая свой чемоданчик, говорил Леня.— Я же по делу. И только на два-три дня. Ты даже не успеешь соскучиться, как я вернусь назад,— успокаивал подругу Леня и, вспомнив, как утешал он ее в детстве, вытащил из кошелька серебряные монетки.— Вот, держи! Поедешь на станцию — съешь мороженого! Сколько хочешь съешь, только не объешься!

— Нет-нет! Я не объемся, душа меру знает! — обрадовалась Динка и, держа на ладони серебряные монетки, быстро подсчитала: два шарика шоколадных, два сливочных! — А это возьми, тебе же на дорогу дали!

— А что мне надо! Билет в кармане, доеду! Бери, бери... Купи шоколадку. Сегодня жарко, выпьешь ситро...

Но Динка решительно сунула ему лишние монетки в карман.

— Тебе тоже жарко. Сам выпьешь ситро.— Прощаясь, она крепко обняла Леню.

— Дина, не висни у него на шее! — недовольно сказала Марина.

— Почему это «не висни»? Раньше висла, так никто не замечал, а теперь, когда у меня есть причина...

— Какая причина? — не поняла мать.

— А вот такая, что я невеста! — заявила Динка.

— Тьфу ты господи! Так невеста все-таки стесняться должна.

— Подумаешь, стану я притворяться! Ведь он сейчас уезжает! Пожалуй, простесняешься, так и не простишься!

— Ну что это — взрослый человек? — развела руками Марина.— Глупышка, и все!

— «Глупышка, глупышка»... Сами вы хорошие! Другие рады спихнуть со своей шеи, расхваливают свою невесту, а вы меня только дурочкой делаете в глазах Лени и всякие палки в колеса ставите! — обозлилась Динка.

Леня расхохотался. Мышка от смеха поперхнулась молоком. Марина покачала головой и с огорчением посмотрела на Леню:

— Ну что ты хочешь? Ведь ей уже не семь лет, чтобы болтать такие глупости!

— Ничего, мама, ничего! Я ее за это и люблю! — все еще смеясь, сказал Леня.

— Ну, если именно за это...— язвительно улыбнулась Марина и, взглянув на часы, заторопилась: — Собирайся, собирайся, а то еще опоздаешь! А ты, Дина, пожалуйста, не ходи провожать! Нечего там на дороге устраивать свои сцены! Невеста! — уже строго прикрикнула Марина, и все замолчали.

Когда Леня ушел, Динка побродила по саду, побренчала в кармане монетками и, вспомнив про мороженое, облизнулась.

«Сейчас поеду, наемся с горя. Ой сколько еще у меня недостатков,— подумала она.— Ни один взрослый человек не будет с горя есть мороженое. Но я все-таки поем, потому что сегодня очень жаркий день!» Динка представила себе шоколадные и сливочные шарики на запотевшем стеклянном блюдце и побежала за Примой.

— Куда это? — недовольно спросила Марина, когда Динка подвела лошадь к крыльцу.

— Так... развеюсь немножко...— со вздохом сказала Динка, принимая на себя печальный образ невесты, которая только что рассталась с любимым человеком.

Обманутая Марина посмотрела ей вслед.

— Похоже, что Динка действительно очень переживает Лёнин отъезд! — сказала она подошедшей Мышке.

— Да что ты, мама! Вот увидишь, вернется как ни в чем не бывало! Просто она любит из всего создавать трагедии!

— Никогда я не могу понять, как это в ней уживается: какая-то большая душевная глубина с полным легкомыслием, ум с глупостью,— медленно сказала Марина.— На свете не найдется двух людей, которые были бы о ней одинакового мнения. Один обязательно будет считать ее очень глупой, другой — очень умной. Во всяком случае, в пятнадцать лет можно быть уже серьезной!

— Мы сами поощряем ее, мама. Вася всегда говорил...— начала Мышка.

— Анжеленок! — мягко прервала ее мать; в минуты огорчения она называла Мышку этим ласкательным уменьшенным именем.— Я не воспитывала Васю. И не хочу, чтобы ты думала и говорила его словами. Старайся всегда оставаться самой собой. Для Васи Динка закрытая книга. Может быть, он видит только одну страничку, и ему кажется, что этого вполне достаточно. Вася смешивает Динку со всеми детьми вообще, а в Динке много есть такого, что не всегда свойственно детям. Но, конечно, она легкомысленна. Я в пятнадцать лет была уже серьезной девушкой! — неожиданно закончила Марина.

Глава 50

ПРИЕЗЖИЙ

С тех пор как Динка получила седло, красивую уздечку и тоненький хлыстик с ремешком, надевавшийся на руку, поездки ее верхом приобрели особый смысл. Динке нравилось воображать себя лихим наездником, приподниматься на стременах и, пригнувшись к гриве лошади, зорко глядеть вдаль. Перед каждым выездом она тщательно чистила Приму, расчесывала ей гриву и любовалась поблескивающими на ее лбу бляшками из черненого серебра.

— Ах, Прима, какая ты красавица! — в восторге говорила Динка.

Вспомнив, что когда-то Прима участвовала в скачках с препятствиями, Динка часто заставляла ее теперь брать мелкие барьеры, перескакивать через рвы.

— Не бойся, Прима, не бойся, голубонька,— ласково шептала она, наклоняясь к уху лошади и чувствуя, как у ней самой замирает от страха сердце.

Прима не боялась. Настоящее седло, туго укрепленное на ее спине, стремена, упирающиеся в ее гладкие бока, напомнили Приме чудесное время ее молодости, и как бы вернули ей до-

стоинства скакового коня, бравшего призы на скачках. Она выступала теперь так важно, грациозно поднимая тонкие ноги с начищенной до блеска шерстью, так красиво сгибала свою крутую лебединую шею, что каждый встречный невольно останавливался и глядел ей вслед.

А Динка, переходя с рыси на галоп, бешено мчалась по лесной дороге. Иногда в сумерках леса причудливые тени от деревьев казались ей длинными крючковатыми руками, преграждающими путь в лесное царство, тенистые уголки под разлапистыми елями — глубокими норами неведомых зверей, молодые осины и белые березы, выступающие из темноты, наполняли ее сердце таинственной жутью и дерзкой отвагой...

— Бурный поток, чаща лесов, голые скалы — вот мой приют... Вперед, Прима! — кричала она в такт галопа, прижимаясь разгоряченным лицом к шее лошади.

Послушная Прима, словно чувствуя, как бьется сердце ее седока, вихрем пролетела через лес и, завидев впереди тусклые огоньки станции, переходила на плавную рысь.

Единственное упрямство, которое проявляла эта умная лошадь, заключалось в том, что когда Динка, накатавшись вволю, поворачивала назад, Прима шла уже только домой, и заставить ее свернуть с знакомой дороги было почти невозможно.

* * *

На этот раз Динка выехала рано. Красное зарево заходящего солнца низко стелилось за деревьями. День был очень жаркий, в душном стоячем воздухе не шевелился ни один лист, отяжелевшие от зноя ветки клонились к земле.

Динка ехала ленивым шагом, не зная еще, куда ей направиться. Сразу ли ехать на станцию и полакомиться там в буфете мороженым или раньше промчаться через общественный парк и поразить гуляющих лихой скачкой. А может, наоборот, опустив поводья, проехаться мимо них с надменным выражением лица, как вождь краснокожих, но для этого надо

было воткнуть в свои волосы хотя бы птичьи перья, а у Динки были косы и малоподходящий костюм — синяя юбка и белая матроска.

Домой Динка не торопилась, Лени там не было, а слоняться без дела и скучать без него ей было тяжко. Кроме того, Динка сердилась на мать за ее несерьезное отношение к «жениховству» Лени и к ней самой.

«Подумаешь! У всех свадьбы как свадьбы, а я в кои-то веки сделалась невестой, и никто даже не ахнул!» — обидчиво думала она.

Лес кончался. Дорога шла мимо железнодорожной насыпи, по другой стороне тянулись затейливые ограды, за ними богатые дачи.

По дорожкам гуляли дачники. Их спокойные, довольные лица, чинная походка и выступающие впереди благовоспитанные дети вызывали у Динки неудержимое желание взбудоражить, переполошить всю эту праздногуляющую публику... Что, если вдруг, пустив во весь опор лошадь и перегнувшись на всем скаку в их сторону, дико закричать:

«Пожар! Горим!..»

Или еще лучше:

«Спасайтесь! Быки! Племенные быки!!»

Но Динка подавила в себе это желание и, вспомнив про мороженое, крупной рысью проехала мимо. Впереди уже виднелась станция и рядом с ней заколоченная досками сторожевая будка. Выбрав за будкой тенистое местечко, Динка соскочила с лошади и, замотав вокруг пня поводья, поднялась по тропинке на перрон.

К дачному вокзалу только что подошел поезд, Динка любила смотреть, как, встречаясь, люди радуются друг другу, как, торопясь и волнуясь, они что-то рассказывают, прерывая себя шумными восклицаниями.

Перрон заполнили дачники... Среди них Динка вдруг увидела тяжелую, словно выдолбленную из дерева, фигуру местного блюстителя порядка — полицейского. Она часто видела его раньше, когда встречала маму. Низко кланяясь

известным дачевладельцам и собственноручно усаживая их в экипажи, он нередко пинком ноги выбрасывал с вокзала нищего и грубо орал на деревенских баб: «Куда лезешь, немытая рожа?»

Фамилия его была Петров.

Сейчас, стоя в отдалении и внимательно оглядывая каждого своими заплывшими от жира глазками, он как будто выискивал кого-то в толпе приезжих.

«Вот-вот набросится на какого-нибудь нищего»,— с беспокойством подумала Динка, но Петров вдруг выразил на своем одутловатом лице легкую улыбку и чуть приметно кивнул какому-то господину в чесучовом костюме с переброшенным через плечо клетчатым пледом. С виду это был просто дачник. Подойдя ближе к Петрову, он шепнул ему несколько слов, после которых Петров с особым усердием уставился глазами на один из передних вагонов. Проследив его взгляд, Динка чуть не вскрикнула от неожиданности и удивления... С площадки вагона не спеша сходил пожилой человек в темных очках и железнодорожной форме, в руках он держал туго набитую кожаную сумку, из которой выглядывал ломоть хлеба... Динка сразу вспомнила, как однажды Леня сказал:

«Если этот человек приедет без меня, ты его сразу узнаешь, он будет в темных очках и железнодорожной форме».

Динка невольно подалась вперед: сомнения быть не могло, это был именно тот приезжий, о котором говорил Леня...

Глаза Динки быстро определили положение. Конечно, это за ним, за приезжим железнодорожником, охотится сейчас Петров. А кто такой этот подозрительный дачник? Почему он перемигнулся с Петровым? Не шпик ли это? Что делать?..

В голове заметались самые чудовищные планы: броситься на Петрова, сбить с ног «дачника», загородить собой приезжего, дать ему уйти... И вдруг она вспомнила: Прима! Только бы успеть... Улыбаясь дрожащими губами и помахав рукой отошедшему поезду, Динка нырнула в кучку приезжих и, потянув за рукав железнодорожника, быстро прошептала:

— За вами следят... Идите к будке, там моя лошадь... она знает дорогу... Скачите налево...— И, видя, что темные очки с сомнением меряют ее тонкую фигурку, она тихо добавила: — Я Арсеньева...— и, отвернувшись, еще раз весело помахала исчезающим вдали последним вагонам.

Когда она оглянулась, железнодорожника уже не было на перроне: скрываясь за приезжими, он быстро шел к будке.

«Скорей... Скорей...» — мысленно подгоняла его Динка. Но сердце ее вдруг екнуло и упало... В нескольких шагах от железнодорожника, небрежно помахивая пледом, шел тот самый «дачник». Сзади мягкой, кошачьей походкой, придерживая рукой большую, бьющую его по ногам шашку, следовал Петров.

Динка бросилась вперед...

— Дядечка! — отчаянно и весело вскрикнула она, обхватывая обеими руками чесучовый костюм «дачника».— Здравствуйте, дядечка!

«Дачник» испуганно подпрыгнул и оглянулся.

— В чем дело? — растерянно пробормотал он, силясь оторвать от себя девочку.

Но она смотрела на него сияющими глазами и, крепко вцепившись в полы чесучового сюртука, весело повторяла:

— Вы не узнали меня, дядя Мотя? А я вас узнала! Я сразу узнала! А вон моя мама! — Она со смехом тащила его назад и, путаясь в словах, радостно восклицала: — Здравствуйте, здравствуйте, тетя Мотя! Пойдемте к моей маме!..

Удивленная публика, обходя их стороной, добродушно посмеивалась.

— Тетя Мотя! Дядя Мотя! — путаясь, выкрикивала Динка, не давая «дачнику» оглянуться и бросая быстрые взгляды на будку, за которой исчезла фигура железнодорожника.

— Тетя Мотя! Дядечка!..

— Петров! — отчаянно заорал шпик, сжимая, как клещами, тонкие руки девочки.— Уберите от меня эту сумасшедшую!

— Позвольте, позвольте, барышня...— затоптался возле них подбежавший Петров.

Но до слуха Динки уже донесся знакомый ритм галопа.

— Я обозналась...— жалобно сказала она, освобождая свои онемевшие руки и поднося их ко рту. На распухших запястьях в глубоко вдавленных ямках темнели синяки.— Я обозналась...

Но ее никто не слушал.

Сбежав вниз по тропинке, Петров и шпик уже стояли на проезжей дороге, беспокойно рыская глазами по сторонам.

Динка подула на руки и, сморгнув выступившие на глаза слезы, не торопясь пошла к буфету, но Петров, запыхавшись, догнал ее.

— Одну минуточку, барышня... Получилось маленькое недоразуменье-с...— вкрадчиво сказал он.— Вот вы сейчас около поезда беседовали с одним человеком... Приезжим, так сказать...

— Я ни с кем не беседовала,— прервала его Динка.

Шпик, поднимаясь по тропинке, подозрительно прислушивался к ее словам, видимо не решаясь подойти ближе.

— Беседовали-с... вот здесь, около поезда,— настойчиво повторил Петров.— Может, конечно, это был ваш знакомый или родственник, а иначе неудобно такой приличной барышне беседовать с посторонними людьми...

Он склонил голову набок и выжидающе смотрел на девочку.

Динка наморщила лоб.

— Какой-то человек спрашивал, где Рубижовка... Ну, я и сказала ему...— припомнила она.

— Вот-вот... Значит, Рубижовка...— оглядываясь на своего партнера, заторопился Петров.— А что он еще спрашивал?

— Больше ничего.

Динка решительно направилась к буфету.

— Петров! Не теряйте времени! Бричку! — раздраженно крикнул шпик.

— Сию секунду.

Оба побежали к выходу.

* * *

Через минуту бричка, громыхая колесами, отъезжала от станции. Подпрыгивая на ухабах, она мчалась в противоположную сторону от хутора...

Когда спины седоков исчезли за поворотом, Динка пошла домой. Она шла не спеша и часто оглядываясь по сторонам. Над дачным поселком уже сгущались сумерки. Где-то далеко, словно на самом краю неба, прокатился рокочущий гром. В душном воздухе стояла гнетущая тишина. Дачники торопливо закрывали окна. Внезапно наступила полная тьма... Динка сняла сандалии и, ощупывая босыми ногами проезжие колеи, осторожно вошла в лес... Гроза застала ее на полдороге. Яркая, колючая молния прорезала верхушки деревьев, налетевший порыв ветра с воем пронесся по кустам, близкий удар грома с силой расколол землю. За первыми каплями дождя хлынул освежающий ливень. Динка заткнула за пояс мокрые косы и, шлепая по лужам, побежала...

Лес рушился, все вокруг трещало и падало, молния колючей проволокой заплетала небо. Белая матроска девочки то исчезала в густой темноте, то светлым пятнышком мелькала между деревьями, бесшумно двигаясь к теплому огоньку хутора.

На аллее стояла встревоженная Мышка.

Динка схватила ее за руку.

— Где он?

— Здесь, здесь... И Прима... Бежим скорей!

Сестры бросились в дом.

Глава 51

ГЛАЗ ДРУГА ЗОРОК, УХО ЧУТКО...

Может быть, все это случилось бы иначе, если бы Динка видела, что из толпы людей, стоящих у перрона, за ней внимательно и тревожно наблюдают четыре глаза.

— Гляди, гляди... Это она... Горчица...

— Встречает когой-то,— шептал Ухо, дергая за полу товарища.— Вишь, трется около железнодорожника. Знакомый, что ли, какой?

— Не... Тут что-то другое. Вон отошла, а тот побёг... Быстро пошел. А Петров за ним...— шныряя в толпе черными, как угольки, глазами, быстро определил положение Цыган.

— Ага! За дичью кинулись. А это кто, с одеялкой через руку? Гляди, перемигнулся с Петровым. Ишь, гад, легавый! — топчась рядом, волновался Ухо.— Эй, слышь! Тут что-то неспроста! Гляди на Горчицу, гляди! Куда это она полетела? Летит, как птица, и руки растопырила!

Мальчики осторожно продвинулись ближе. Со сходней до их слуха донесся веселый крик Динки: «Дядечка! Дядечка!..»

Черные глаза Цыгана сузились.

— Эй, стой! Какой же он ей дядечка! Послушаем, что дальше будет! Ишь ты! Тетя, дядя! Да она им дорогу загораживает! Ишь вцепилась в шпика!

— Стой, Цыган! Ведь они ее толкают, сволочи! Пошли, Цыган, пошли на выручку, что ли! — чуть не плача, тащил товарища Ухо.

— А я говорю, стой! Она знает, что делает! Она того железнодорожника спасает — понятно тебе? Мы ей все дело спортить можем.

— Вон отцепилась, руку трет. Да я этой сволочи всю морду разобью! Пошли, Цыган!

Цыган сверкнул на товарища глазами и больно сжал его локоть.

— А я говорю, ни с места! Вишь, потеряли они след, Петров за ней бежит, спрашивает чего-то! Вон она рукой на Рубижовку машет! Понятно тебе? У ней, брат, смекалка что хошь сработает! Ну куда бы мы тут вдрапались? Может, догнать ее, спросить иль не надо?

Советуясь меж собой, мальчики потеряли в толпе Динку, они видели только, как Петров и шпик «с одеялкой» сели в бричку и что есть силы погнали направо, к деревне Рубижовке.

— А того она влево, на хутор послала, понял теперь? Видать, секретный человек...— объяснял товарищу Жук.

Сильный порыв ветра и гром загнали их под крышу станции.

— Ну, теперь где же она? Ведь гроза, молния... Неужели через лес побежала? — жалобным голосом спрашивал Ухо.

— Чего побежала? Она верхом ездит, на лошади быстро...— обходя вместе с товарищами помещение вокзала и заглядывая во все уголки, говорил Жук.

Гроза разбушевалась вовсю. Перрон опустел, на станции тоже было пустынно.

— Переждем дождь да и пойдем домой,— сказал Цыган.

— А она как? — спросил опять Ухо.

— Да что она! Сделала свое представление да и домой! Ишь ты! Придумала ведь! «Дядечка, тетечка»! Мотя, что ли? Как она его окрестила? — расхохотался Жук.

Ухо, бледно-зеленый от пережитого волнения, вяло улыбнулся.

— Думаешь, легко ей было? Небось все поджилки дрожали. Девчонка все же...

Цыган вдруг посмотрел в окно и дернул товарища. Сквозь стекло, между сбегающими ручьями воды, мелькнули две бегущие через пути фигуры. В одной, накрытой с головой мокрым пледом, мальчики узнали шпика; в другой, со звякающей шашкой на боку,— Петрова.

— Сюда бегут. А ну, Ухо, приткнись к уголку, послушай, об чем они будут говорить, а я приметный, я сокроюсь,— быстро сказал Цыган.

Ухо мгновенно уселся в угол скамьи, опустил на руку голову и, выпятив нижнюю губу, притворился крепко спящим.

Шпик, чертыхаясь, встряхивал мокрый плед, не обращая внимания на спящего мальчишку.

— Черт знает что! Да если б не эта девчонка, то мы уже сейчас держали бы в руках драгоценный материал. Слушай, Петров! Видно, эта гроза на всю ночь. Сейчас уже двенадцатый час... Чтобы завтра чуть свет ты был у меня с бричкой! Дорогу на хутор знаешь?

— Не бывал, ваше благородие! Ну, найдем, это за паном Песковским. Так, незначительный хуторишко, почти что в лесу. Найдем, не извольте беспокоиться! Там, ваше благородие, у них сосед есть, у господ Арсеньевых, значит. Так сегодня у меня был Матюшкин, подал жалобу, что этот сосед, Ефим Бессмертный, скрывает у себя солдата, а тот солдат на селе народ против войны подучал. Так что, может, и солдата там прихватим! — вкрадчиво говорил Петров.— Матюшкин, он, ваше благородие, отблагодарит...

— Ну-ну! Там посмотрим! Во всяком случае, этому субъекту некуда было деться, кроме хутора. И вообще, по моим сведениям, госпожа Арсеньева только что приехала из Самары, где ее муж отбывает наказание в крепости. Обыск может дать блестящие результаты. Только смотри, Петров, чтобы чуть свет бричка была готова!

Сыщик надел на голову свой плед. Петров, угодливо подправляя бахрому пледа, уступил ему дорогу.

Когда они оба вышли, Ухо протер глаза и кинулся искать Цыгана.

Выслушав его сбивчивый рассказ, Цыган разулся, взял в руки ботинки и, поглядев на темное небо с разрезающей его надвое молнией, просто сказал:

— Ну, я на хутор, а ты домой. Если что, будьте наготове с Пузырем. Погоди! — Он огляделся вокруг, расстегнул куртку и потрогал оттопыривающийся карман.

— Не промокнет? — озабоченно спросил Ухо.

— Нет, он в кобуре,— ответил Цыган.

— Ты думаешь, пригодится? — испуганным шепотом спросил Ухо. До сих пор он знал, что Цыган носит револьвер для форса, но сейчас дело предстояло необычное, в него была замешана Горчица, а ради этой девчонки Цыган на многое пойдет.— Как думаешь? — снова тревожно зашептал Ухо.— Пригодится?

— Кто знает...— важно ответил Цыган.

— Цыган, слышь? Бери меня с собой, ведь вдвоем все сподручнее. Может, обождать их в лесу да и цокнуть обоих, а?

— Да следовало б гадов...— задумчиво сказал Цыган, но тут же строго добавил: — Ну, это не нам решать, кого куда... Иди домой, Ухо, а я побегу!

Дождь хлестал по голове и по плечам. Огни в поселке были погашены, по колеям дороги мчались глубокие, бурные ручьи, наверху гудели и путались провода, из леса доносился гул и треск, как будто там ломали деревья. Мальчики бросились в разные стороны: Ухо напрямик через поле, Цыган в лес.

На хуторе никто не спал. Двери в доме были плотно закрыты, окна завешены. На столе горела лампа, а вокруг стола сидели взрослые с озабоченными, серьезными лицами. Выслушав рассказ Динки, вдоволь посмеялись, и, похвалив ее за находчивость, Марина вдруг сказала:

— А все-таки, Ефим, надо подкормить Приму овсом и на всякий случай запрячь ее в бричку. Я, конечно, не думаю, что Петров и этот шпик решатся прийти сюда, но безопаснее для нашего приезжего сегодня же уехать в город.

Ефим, который сидел одетый в плащ из брезента, так как только что собирался бежать на розыски Динки, покачал головой.

— А я так думаю, что лучше ему переждать, потому как Петрова я знаю: уж он, мабуть, по всем станциям дал знать...

Железнодорожник, повесив на спинку стула куртку, с удовольствием пил чай, прикусывая маленькими кусочками сахар. Очков на нем уже не было, и светло-голубые глаза его с удивлением и благодарностью разглядывали Динку.

— Да... Вот так и скажу вашей Лине: хорошая дочка у вас, товарищ Лина, просто, можно сказать, головокружительная девица,— повторял он, время от времени прихлебывая чай. На общую тревогу он реагировал спокойными словами: — Вы тут своих фараонов лучше знаете, так что решайте сами. А я как рекрут: куда надо, туда и поеду!

Солдат, спустившийся с чердака по случаю грозы, смотрел на дело серьезно.

— Собрались мы все тут, и неприятность хозяйке может быть из-за нас большая. Я нашего пристава знаю, он пройдоха большой руки, а за последнее время появился еще и шпик тут. Это, прямо сказать, недаром. Так что мое мнение, что надо ехать. Вот рассветет, и давай, Ефим, отвези товарища на Пущу-Водицу и меня заодно, освободим нашу хозяюшку...

— Дело не во мне, конечно; до сих пор на хуторе было спокойно,— говорила Марина,— но у нас полный чемодан запрещенных брошюр. А теперь еще шрифт, который привез товарищ.

Динка, уже переодетая в сухое платье, сонно моргала ресницами, но, желая слышать окончательное решение взрослых, не уходила спать.

— Да,— протянул Ефим, вставая,— пойду запрягу Приму на всякий случай...

Глава 52

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Но Ефим не успел еще выйти, как Нерон грозно заворчал и вылез из-под стола. Все насторожились. Марина молча подала приезжему куртку и указала на окно.

— В случае чего... там лошадь, уезжайте,— быстрым шепотом сказала она и, поглядев на солдата, гордо выпрямилась.— Ну, а вас, Ничипор Иванович, мы и тут спрячем!

Нерон еще раз заворчал и, подняв уши, вильнул хвостом. На террасе послышалось шлепанье босых ног, и кто-то быстро застучал в дверь.

— Откройте! Это я, Цыган!

Динка сорвалась со стула и, опередив Ефима, широко распахнула дверь.

— Жук! — ахнула она, втягивая в комнату запыхавшегося от быстрого бега, мокрого до нитки товарища.

— Обыск у вас... чуть свет... Собирайте что надо, я от-

везу к нам в лес... И людей давайте. Лучшего места нет. Запрягай Приму, дядя Ефим,— выговорив все это залпом, Жук отозвал в сторону Динку.— Ручаешься за этих людей? — на всякий случай спросил он.— Наше место тайное, разглашать его нельзя, сама знаешь...

— Успокойся, Жук, и расскажи, в чем дело,— попросила Марина.— Мышка, налей ему горячего чаю!

— Какой тут чай! — с укором сказал Жук и быстро-быстро, волнуясь и жестикулируя, рассказал все, что слышал от Уха.— Вот я и предлагаю: собирайте все и давайте людей. Пусть дядько Ефим поедет с нами. Он с Примой назад вернется, а люди ваши пока у нас перебудут, а там будет видно! — закончил он.

— Мама! Скорей! Это самое лучшее, я же тебе рассказывала! Мышка! Собирай всё! Ефим, запрягай Приму!

— Да, если так, то это лучший выход. Мышка! Помоги мне! — решилась Марина, поспешно выдвигая ящики и складывая в чемодан книги, брошюры Ленина, привезенные из Самары, газеты и новые листовки.

— А куда же ехать-то? — спросил Ефим и, не дождавшись ответа, вышел запрягать Приму.

Через полчаса все было готово. Запряженная Прима лениво жевала овес. Дождь перестал, буря начинала утихать, но на небе еще блистали зигзаги молнии. Солдат с чувством пожал руку Марины.

— Не забуду я вашей доброй души,— сказал он, залезая с помощью Цыгана в бричку; рядом сел железнодорожник, поставив в ногах Маринин чемодан, Цыган примостился спереди, Ефим, недоуменно покачивая головой, влез на облучок.

— Куда хоть ехать-то? — спросил Ефим, собирая вожжи.

— Ехать к хате Якова, в лес, понимаешь? Ну, туда, где скрипка играет! — быстро пояснила ему Динка.

Ефим остолбенело уставился на нее и уронил вожжи.

— Ты что, шутки шутишь? Куда это к мертвяку ехать? Ну? — зашипел он на Динку.

— Живо, живо! Светает! — торопил Жук.

— Мама! Скажи сама Ефиму! Он ничего не понимает! — взмолилась Динка.

Марина подошла к бричке:

— Ефим! Эти ребята живут в хате Якова, музыканта, и на скрипке играет его сын Иоська! Поезжайте спокойно.

Ефим покрутил головой и тронул лошадь.

— Если встретим легавых, я соскочу и буду стрелять, а вы мчитесь без останову! В лесу около хаты прокукуйте три раза, там мои хлопцы! — объяснил Цыган сидящим в бричке. И чтобы увериться, что его поняли, Цыган быстро спросил: — Понятно, что я сказал?

Солдат кивнул головой.

— Понятно-то понятно, только это не в наших правилах — одного на дороге бросать, а другим тикать!

Железнодорожник усмехнулся.

— Ты бы сам так сделал? — спросил он.

Цыган молчал.

— Ну вот, то-то и оно,— просто закончил железнодорожник.

Бурная ночь кончилась. На дороге блестели лужи. Прима шла с трудом: тяжелая бричка глубоко погружалась в размытые колеи и со скрипом вытаскивала колеса. Прима напрягала все силы. Ефим слез и, проваливаясь в ямы, шел рядом с бричкой. Цыган с тревогой смотрел вперед. Когда свернули в знакомый лес, Цыган вдруг засмеялся коротким счастливым смехом, и черные, как черешни, глаза его в утреннем свете глядели на сидящих перед ним взрослых людей с неподдельной детской радостью.

— Тут нас уже не догнать! Сюда дороги никому нет! — Он тронул за плечо Ефима: — Ты, дядя Ефим, плохого не думай! Убили Якова и убили! Это особь статья! А на скрипке наш Иоська играл! Он и тебе сыграет, если хочешь!

Ефим покрутил головой.

— Со скрипкой — это ладно. Кто играл, тот пусть и играет, это дело не мое, а вот куда я людей везу, если там вся хата как решето? Ну?

Цыган снова засмеялся.

— А вот я вам и покажу чудеса в решете! — сказал он.

Дорога в лесу, поросшая травой, была легче, и Прима пошла рысью. Ехали долго. Ефим молча встряхивал вожжами и с опаской поглядывал по сторонам.

«Вот так и с Марьяной мы тогда ехали, и сам я, своими ушами, скрипку слышал,— мрачно думал Ефим. Теперь уж он не доверял и Цыгану.— Чистый черт, только рогов не хватает. И крученый такой же. И откуда его Динка знает? Сама-то девка шальная, она и с самим чертом подружится. А Марина тоже доверилась ей... Ну куда я людей везу?»

Когда меж деревьями забелела хата Якова, Ефим потихоньку перекрестился.

На перекрестке Цыган остановил лошадь и, спрыгнув с брички, легонько свистнул. На свист из оврага выглянула мальчишеская голова, и, хватаясь за кустарник, вылез Пузырь. Склонив набок голову и оглядев одним глазом приезжих, он широко улыбнулся и, одернув курточку, вежливо сказал:

— Здрасте вам!

Появление Пузыря ободрило Ефима.

— И ты здесь, силач? — спросил он, слезая с брички.

— Мы все здесь! — ответил Пузырь и вопросительно посмотрел на Цыгана.

— Веди! — коротко ответил Цыган и, указав на солдата, который с помощью Ефима выбрался из брички, добавил: — Снеси вот солдата. Только аккуратно, не поскользнись!

Пузырь сгреб солдата в мокрой шинели и потащил его в овраг.

Ефим, оглянувшись на лошадь, пошел за солдатом. Цыган помог железнодорожнику. В овраге Ефим вдруг заупрямился.

— Это куда же вы нас тащите? — строго спросил он.— Тут, окромя старого колодца, никакого жилья нет!

— Да ты что, дядько Ефим, мужик или баба? Сказано — иди за мной, ну и иди! — дерзко ответил ему Цыган, спускаясь в колодец.

— Позвольте-ка, я первый,— сказал железнодорожник, но Ефим не дозволил и, чертыхаясь, полез за Цыганом.

— Эй, Пузырь! Солдата вдвоем спустим! Поставь его пока! — крикнул из глубины колодца Цыган.

В глаза неожиданно ударил яркий свет. Дверь была раскрыта, на пороге, с любопытством оглядывая приезжих, стоял Иоська.

Ради гостей Ухо успел принарядить своего любимца в новый матросский костюмчик, и Иоська, со своими мягкими, расчесанными кудрями, такой ласковый и домашний, произвел на Ефима большее впечатление, чем внезапно открывшееся перед ним просторное и теплое жилье.

— Иоська! Сыночек! — охнул Ефим и, подхватив мальчика, сел на табурет.— Марьяна б моя тебя видела! Ведь она дура баба... Ох и дура баба! — гладя дрожащей рукой кудри мальчика и заглядывая ему в глаза, растерянно повторял Ефим.

Иоська, прижавшись к его коленям, доверчиво смотрел ласковыми синими глазами.

Тем временем Пузырь вместе с Цыганом осторожно спустили солдата.

— Здрасте! Здрасте! — вежливо и радостно здоровались с гостями ребята.

— А ну, стелите на стол скатерку! Варево есть? Давай, Ухо, тарелки! Располагайтесь, гости, кто как хочет! Сымайте мокрую одежу, вон на кровати целая гора сухого. Подай, Ухо! А вот умывальник, кто хочет руки обмыть! — весело командовал Жук.

Чувствовалось, что он гордится приехавшими к нему людьми и хочет показать им все в лучшем виде. Мальчишки засуетились, забегали.

Иоська вытащил новое полотенце и, стоя около умывальника, держал его наготове.

Железнодорожник снял мокрую куртку, спокойно выбрал из кучи одежи теплую рубаху и, присев на кровать, развел руками.

— Экая благодать! Надо бы лучше, да нельзя! Ну и мо-

лодцы ребята! Много я на свете видел, а такого не видал!

Солдат огляделся, снял шинель, вымыл руки и, присев к столу, вытащил расческу.

— Ну, Ефим,— сказал он,— вот это житье! А как и что тут, пожалуй, сразу не разберешься!

— Что и говорить! — крякнул Ефим.— У меня зараз в голове як в той пивной бочке!.. Однако хорошо тут сидеть, только я пойду! Надо до дому добираться, там одни женщины остались, не было б беды какой!

— Поезжайте, дядя Ефим! Там уж, верно, эти гады наехали! — забеспокоился и Цыган.— Эй, Ухо! Дай-ка мешок с мукой, что мы вчера купили! Снеси на бричку! А вы, дядько Ефим, если спросят, где были, так скажите: по муку ездил! Понятно?

— Все понятно. Только что же вы муку свою отдадите, голова ты садовая! — с улыбкой сказал Ефим, идя к двери.

— Ничего, у нас еще есть! Мы с голоду не пропадем!

— Ну, прощевайте, коли так! — пожимая всем руки, сказал Ефим и, остановившись на пороге, добавил: — А там, как Марина Леонидовна решит насчет вас, так и сделаем!

— Ничего! Передайте, Ефим, спасибо ей! Да поезжайте скорей. Может, правда, там что неладно! — забеспокоился железнодорожник, поглядывая на внесенный в комнату чемодан Марины.

Солдат привстал:

— Низкий поклон от солдата передай, Ефим.

Цыган вышел, уложил в бричку мешок. Ефим взял вожжи и подмигнул на хату Якова.

— Ну, верно ты сказал, хлопец! Чудеса в решете, да и только! — Он похлопал Цыгана по плечу.— А как звать-то тебя добрым людям? То ты Цыган, то Жук! А?

— Я — Жук! — сказал вдруг мальчуган и засмеялся: — Я был Цыган, а теперь Жук! Так и зови меня!

— Чудеса! — повторил Ефим и, тряхнув вожжами, ле-

гонько свистнул.— А ну, Прима, вперед! Вперед, как твоя хозяйка тебе велит!..

Цыган, стоя на дороге, глядел вслед умчавшейся бричке и думал о Динке. Кто знает, как она там? Уж он, Жук, не дал бы ее в обиду, но ему поручены люди, их тоже не оставишь сейчас...

Глава 53

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Как только бричка выехала со двора, Динка накинула платок и, шлепая босиком по лужам, выбежала на пригорок. Буря утихла, на небе расползались синие тучи, изредка их прорезала косая молния и слышался отдаленный гром. Падали крупные капли дождя, а когда порыв ветра шевелил ветки деревьев, Динку обдавало с головы до ног брызгающим фонтаном воды. Она стояла у изгороди и затаив дыхание следила за серой тенью медленно ползущей по дороге брички, слушала жалобный скрип колес, проваливающихся в глубокие колеи, и с тревогой оглядывалась на широкий выезд из экономии.

«Скорей бы, скорей... Только бы проехать экономию. Там с горки. Бедная Прима... Везде глина и песок...»

Динка видела, как от брички отделилась высокая тень: это Ефим шел рядом, держа в руках вожжи.

«Скорей... скорей... Прима, голубушка, крепись! Только бы не встретились около экономии...» — мысленно подгоняла Динка. Минуты тянулись томительно медленно. Вот еще скрип, скрип... Еще несколько поворотов колес. Динке кажется, что она видит на губах Примы белую пену и горячий пар, поднимающийся от ее спины.

Наконец, проваливаясь то в одну сторону, то в другую, бричка вылезла на гору, экономия осталась в стороне. Ефим сел на облучок. Колеса заскользили, скрип стал чаще и легче. Динка побежала домой. На террасе ее встретила взволнованная Мышка.

— Мама не отдала шрифт,— шепнула она, хватая сестру за руку.

— Как? — ахнула Динка.— Это же самое главное...

Она влетела в комнату:

— Мама! Что ты сделала? Ты не отдала шрифт! А они уже уехали!..

— Мама, дай шрифт! Может быть, Динка еще догонит! — умоляюще сказала Мышка.

Марина, разыскивая что-то в шкафу, быстро обернулась.

— Да вы что, с ума сошли обе, что ли? Вы ведете себя так, как будто у нас в первый раз в жизни обыск! Надо хоть немного владеть собой. Когда вы были маленькие, так достаточно сказать «обыск», как сразу садились на кроватках и никаких хлопот. А что это вы подняли сейчас? — обвязывая веревочкой длинную жестяную коробку из-под леденцов, сердито напала на дочерей Марина.

— Но шрифт... Дай шрифт, мама... Они же сейчас приедут! — простонала Мышка.

— Я знаю, что я делаю. Этот шрифт я никому не доверю. Потому что если сейчас их встретят на дороге, то пострадаю только я из-за своего чемодана, а если у них найдут шрифт, то пострадает приезжий, начнется расследование. Понятно вам это или нет? — Марина сдвинула на край стола коробку, туго обвязанную веревкой, и кивнула Динке: — Вот, неси! Зарой под картошкой. Осторожно, коробка очень тяжелая! Иди по лужам, чтоб не было следов, и посчитай ряды. А ты, Мышка, следи за дорогой.

Динка, согнувшись и обхватив обеими руками свою тяжелую ношу, пошла на огород. Мышка побежала к дороге.

Вернувшись, они увидели, что в комнате уже полный порядок и мать, сидя на корточках, затирает мокрые следы.

— Шестой ряд от края,— шепнула ей Динка.— Там лужа, не беспокойся.

— Разденься и ложись в кровать. Мокрое платье повесь на веревку около террасы. Проверьте еще хорошенько в комнате

Лени! Дина, ты посмотри у себя под матрацем, ты часто берешь что-нибудь у Лени и кладешь под матрац! — озабоченно сказала Марина, оглядывая комнату.— Хорошенько затрите мокрые следы. И ложитесь спать. Приготовьте каждая платье.

Мышка и Динка, подчиняясь ее спокойным распоряжениям, еще раз проверили каждый угол и, раздевшись, юркнули в сухие постели. Мокрые косы Динка туго завязала платком, как будто мыла вечером голову. Марина надела утренний халатик и тоже легла. Через минуту Динка тронула ее за руку и зашептала:

— Мама! Марьяна ничего не знает. Что, если она проснется и прибежит? Она спросит, где Ефим.

— Ефим поехал на станцию встречать моего брата... ну, и заедет на базар. Ничего. Марьяна сметливая. Ложись,— сказала Марина и посмотрела на часы.— Светает... Сейчас Марьяна встанет доить коров и, увидев, что нет Ефима, прибежит сюда. Хорошо, если б она успела раньше обыска,— прошептала Марина.

Динка снова вскочила:

— Мамочка! Я пробегу, скажу ей, я осторожно, на дороге уже все видно.

Марина дала ей платок.

— Ну, беги. Только скорей назад! Надо, чтобы нас застали спящими.

Динка сбросила все сухое, сняла с веревки промокшую насквозь синюю юбку и, пригнувшись, побежала в хату Ефима. Марьяну она встретила на полдороге. Объяснив ей наскоро, как она должна себя вести и где Ефим, Динка побежала обратно.

— Все хорошо, мамочка! — сказала она, укладываясь в постель.— Марьяна не придет и охать не будет.

Все затихло. Марина утомленно закрыла глаза. Мышка после резкого замечания матери взяла себя в руки, но глаза ее все еще беспокойно перебегали с предмета на предмет. Она знала, что малейшая неосторожность грозит матери арестом, тем более что она только что приехала от папы... Динка, освободив одно ухо, чутко прислушивалась ко всякому звуку,

доносившемуся сквозь шум веток и дождя. Светало. Сквозь занавеску в комнату просачивался мутный свет и падал на просохший крашеный пол, на опустевшую этажерку, где между учебниками стоял старенький глобус.

Внезапно Динка подняла голову.

— Едут...— тихо шепнула она.

— Может, это Ефим возвратился? — предположила шепотом Мышка.

— Нет... Чужой скрип колес... Две лошади...— быстро определила Динка.

— Спите,— повелительно шепнула Марина.

Глава 54

ОПОГАНЕННОЕ ГНЕЗДО

Нерон закричал и с неистовым лаем бросился к двери.

— Дина, убери собаку!

К крыльцу подъехал крытый возок, запряженный парой рослых лошадей. Из него, кряхтя и придерживая шашку, выбрался Петров, за ним высокий сутулый человек с клеенчатой папкой и клетчатым пледом на плечах. На пороге появилась Марина, поправляя пышные волосы и с удивлением глядя на ранних гостей.

— В чем дело? — холодно спросила она.

— Госпожа Арсеньева? — вежливо осведомился сыщик и, сделав короткий поклон, пояснил: — Я имею предписание произвести у вас обыск и задержать приезжего железнодорожника. Петров! Осмотрите надворные постройки, чтоб ни один человек отсюда не вышел!

— Есть, ваше благородие! — угодливо козырнул Петров и, придерживая шашку, убежал с крыльца.

— Прошу, госпожа Арсеньева! — открывая дверь и пропуская вперед Марину, поклонился сыщик.— Это ваша столовая?

— Да. Но я не совсем понимаю, что вам нужно в моем доме? — сухо спросила Марина.

— Это вы сейчас поймете! Прошу всех проживающих и прибывших в ваш дом вызвать сюда! — бросая на стол папку и оглядывая комнату, заявил сыщик.

— В данный момент здесь только две мои дочери и я. Дочери мои спят. Вы позволили себе явиться чуть свет, собственной персоной и без понятых. Я буду жаловаться! — возмутилась Марина.

— Это ваше право. Я имею экстренное задание. Мне известно, что у вас скрывается прибывший вчера железнодорожник, имеющий при себе секретные материалы!

— Повторяю: здесь только две мои дочери. Я не знаю, какие вы имеете сведения о прибывшем железнодорожнике, мне, по крайней мере, ничего об этом не известно!

— Хорошо. Мы сейчас это выясним. Попросите...

— Что случилось, мама? — выходя из своей комнаты, спросила Мышка.

Из двери Динки вдруг с грозным рычанием выскочил Нерон.

— Уберите собаку! Сейчас же уберите собаку! — загораживаясь стулом, закричал сыщик.

— Нерон! На место! — крикнула, появляясь на пороге, Динка.— На место, живо!

— Выгоните его во двор! — завизжал сыщик.

— Но, господин жандарм, он сожрет там пристава! — невозмутимо ответила Динка, держа собаку за ошейник.

— Ну так привяжите его! — все еще размахивая перед собой стулом, кричал перепуганный сыщик.— Ни шагу дальше террасы! — заорал он, видя, что Динка собирается выйти.

— Прошу вас вести себя прилично. Вы, кажется, полагаете, что моя младшая дочь и есть тот переодетый железнодорожник, которого вы собираетесь задержать в моем доме! — язвительно сказала Марина.

— Я не обязан высказывать вам свои предположения, госпожа Арсеньева! Но ваша младшая дочь сейчас пояснит вам... Пожалуйте сюда, барышня! Будьте любезны сказать мне, о чем вы беседовали на перроне с приезжим железнодорожником?

— Ты беседовала с железнодорожником? — удивленно спросила Марина, обращаясь к дочери.

Динка пожала плечами.

— Я даже не заметила, железнодорожник он или нет... Просто какой-то человек спросил у меня, где Рубижовка.

— Так, так... А что вы делали потом? Что вы делали, когда мы с Петровым направились по следу этого железнодорожника? Отвечайте, барышня! — постукивая пальцами по столу и пытливо глядя на Динку, строго допрашивал сыщик.

— Что я делала потом? — Динка посмотрела на него широко раскрытыми глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, весело расхохоталась: — Да я же с вами была! Ну конечно, с вами! Неужели вы не помните? Я еще приняла вас за своего дядю!

— Позвольте, позвольте, барышня! Не считайте нас дурачками! Вы действительно кричали: «Дядечка! Здравствуйте, дядечка!» Но с какой целью это было сделано?

— Но я же вам сказала, что я обозналась... Потому что мы ждем в гости дядю.

— Мы действительно ждем моего брата,— вмешалась Марина.— Но я не понимаю, Дина, как могла ты так ошибиться? Что же общего у этого господина с твоим дядей? — раздраженно сказала она, обращаясь к дочери.— Твой дядя никогда не служил в полиции...

— Но, мамочка, ты говорила, что дядя всегда носит с собой плед, а этот господин жандарм так замаскировался под нашего дядю, что тоже нес плед...— оправдываясь, сказала Динка.

— Ну, если вы были с пледом, тогда понятно, что моя дочь могла ошибиться,— спокойно заметила Марина.— Да еще в толпе, возможно... Но к чему весь этот допрос? Если вы предполагаете, что этот приезжий прячется в моем доме, то ищите и увольте нас от лишних разговоров,— выпрямившись и глядя на сыщика сверху вниз, величественно бросила Марина.

На террасе снова залаял Нерон, и в дверь боком протиснулся Петров.



— Очень злая собачка у вас, очень вредная собачка, я извиняюсь,— залепетал он, заискивающе глядя на Марину и кладя на кончик стола перед сыщиком окурок козьей ножки, скрученной из газетной бумаги.

— Все осмотрено, ваше благородие. В сарае нет лошадки и нет брички. Я ихний выезд и ихнюю лошадку хорошо знаю, так вот, извольте видеть, на месте их не оказалось. А на чердаке обнаружен сей окурок, именуемый козьей ножкой,— подобострастно пояснил он, касаясь плеча сыщика своей толстой, лоснящейся физиономией.— Я так думаю, ваше благородие, что в семействе госпожи Арсеньевой козьи ножки, тем более с махоркой, курить некому.— Он наклонился еще ниже и, многозначительно подняв бровь, добавил: — Так что, может быть, солдат...

— А! Солдат! — вдруг закричала Динка.— Наконец-то вы надумались искать его! Ты же ничего не знаешь, мамочка, а здесь просто исчезают люди, а потом их находят убитыми! Сначала Якова-музыканта, потом студента в ирпенском лесу, а теперь пропал солдат! А полиция даже не почешется, бегает за каким-то железнодорожником и ничего не видит перед своим носом!

— Дина, Дина! Веди себя прилично! Какое нам дело до этого солдата? — резко прикрикнула на дочь Марина.

Петров с раскрытым ртом уставился на обеих. Сыщик хлопнул ладонью по раскрытой папке.

— Вы мне мешаете, барышня! Петров, займитесь обыском! Обойти все комнаты и осмотреть все самым тщательным образом! Разрешите продолжать допрос.

Сыщик обернулся к безмолвной, словно застывшей в брезгливом созерцании Мышке:

— Ваше имя-отчество, барышня?

— Анжелика Александровна Арсеньева,— спокойно, безжизненным голосом ответила Мышка, глядя куда-то мимо головы сыщика. Ей было противно все: и шмыгающая по комнатам фигура Петрова, и рассевшийся на стуле сыщик. Тошнотная муть подступала к горлу, но лицо Мышки выражало только глубокое равнодушие и брезгливость.

— Что вы скажете относительно прибывшего к вам вчера железнодорожника? — спросил сыщик.

— Я его не видела,— сказала Мышка.

— Вы были дома и не видели?

— Да, я была дома и не видела!

— Так, так... А что вы скажете насчет родственника, которого вы ждали?

— Ничего. Мы ждали и ждем,— безразлично ответила Мышка.

— Очень хорошо. Тут ваша сестрица говорила, так сказать, о пропаже солдата? Вы что-нибудь слышали об этом?

— Нет. Я работаю в госпитале и отдаю все свое внимание раненым солдатам, так что мне некогда интересоваться историей с пропавшим солдатом. Это дело полиции,— так же безразлично ответила Мышка.

— Похвально, похвально. А скажите, пожалуйста, что, Ефим Бессмертный, ваш сосед, часто возит вас на станцию?

— Почти всегда. Отвозит и встречает,— кратко ответила Мышка.

— Очень хорошо. Но сегодня вы дома. Так скажите, пожалуйста, кого же повез сегодня Ефим? Прибавим к этому: так рано и в такую погоду.

— Здравствуйте! — насмешливо сказала Динка.— Вы застали нас еще спящими, а теперь спрашиваете, кого повез Ефим? Ну кого он повез, если мы все дома!

— Я думаю, что мама послала Ефима встречать первый утренний поезд! — сказала Мышка.— А может, что-нибудь купить...

— Госпожа Арсеньева! Я прошу вас совершенно определенно ответить на мой вопрос: куда и зачем вы послали Ефима Бессмертного на вашей бричке, учитывая ранний час и погоду?

Чуткое ухо Динки уже давно уловило знакомый скрип колес, но она выжидала момент, когда бричка приблизилась к крыльцу, и с криком: «Да вот он сам!» — мгновенно выскочила на террасу.

— Ефим! Вы встречали утренний поезд?

Петров схватил ее под локоть и втащил в комнату. Сыщик стукнул кулаком по столу.

— Я просил никого не выходить из помещения! — заорал он.— Я в последний раз предупреждаю вас, госпожа Арсеньева, что ваша младшая дочь ведет себя непозволительно и дерзко! Примите меры!

— А я попрошу вас сократить ваши вопросы, они лишены всякого смысла. И если вы пришли делать обыск, то делайте ваше дело и оставьте нас в покое! — решительно сказала Марина.

Ефим, стуча сапогами и отряхиваясь, на глазах Петрова вытащил из брички мешок с мукой и понес его в комнату.

— Здрасте,— сказал он, снимая шапку и сбрасывая мешок у двери.— Вот только муки достал. И коло поезда был... Марина быстро обернулась к нему, но сыщик резко предупредил:

— Никаких вопросов. Вопросы буду задавать я!

— А мени все единственно,— сказал Ефим, останавливаясь у двери и скручивая козью ножку.

— Вы Ефим Бессмертный? — спросил сыщик.

— Он самый. Дозвольте закурить? — спросил Ефим, зажигая спичку.

Сыщик кивнул головой.

— Скажите, пожалуйста, Ефим, куда вас посылали в такую погоду?

— Да вот же по ихнего дядю...— припоминая слова выскочившей навстречу Динки, сказал Ефим.— Но погода действительно скаженна... Я ж казав: кто там поиде в таку грозу? Ни, поезжай да поезжай по нашего дядю.

— Послушайте! — подскочил сыщик.— Оставьте в покое этого «дядю»! Я спрашиваю: куда вы ездили?

— Это наконец возмутительно! — вмешалась Марина.— Он же совершенно точно сказал вам, что он ездил к поезду встречать моего брата, да еще я просила его что-нибудь купить! Так чего же вы хотите от человека?

Ефим развел руками.

— А что я зараз куплю? На базаре одна баба и та в город с мукой тащилась, так я только муки и купил! И вот сдача с ваших денег, пожалуйста! — как ни в чем не бывало пояснил Ефим, вытаскивая из кармана пригоршню монет и выкладывая их на стол.

Сыщик, теряя терпенье, захлопнул папку.

— Мы еще поговорим с вами, Бессмертный, без свидетелей! — пригрозил он.

— Это можно,— затягиваясь дымом, согласился Ефим.

На террасе прошлепали босые ноги, и Марьяна в подоткнутой юбке с кринкой молока в руках остановилась на пороге.

— Здравствуйте,— смущенно поздоровалась она, ставя на стол кринку с молоком.— А я бачу, гость приехал, ну, думаю, треба гостям молочка тепленького отнести!..

— Кто такая? — отрывисто спросил сыщик.— Откуда молоко? Где живешь?

— Да не лякайтесь вы, то моя жинка, зовут Марьяной, а хвамилия у нас с нею, известно, одинаковая! — усмехнулся Ефим.

— Ну что ж! Это очень хорошо. А скажи-ка, Марьяна, давно в твоей хате проживает солдат Ничипор? — прищурившись, спросил сыщик.

— Как это проживает? — поднял брови Ефим.

— Я спрашиваю не вас, а вашу жинку. Отвечайте, Марьяна! — прикрикнул сыщик.

Марьяна в замешательстве глядела на мужа.

— Это за якого ж солдата речь, Ефим? — нерешительно спросила она.

— А вот за того, что пропал. Ну конечно, они как полиция разыскивают человека, ну, значит, и спрашивают, не бачил ли его кто.

— Я спрашиваю: сколько времени этот солдат жил в вашей хате и где он сейчас?

Марьяна махнула рукой.

— Я за это дело ничего не знаю. В нашей хате он не был, и зараз его немае!

— Петров! — крикнул сыщик.— Останьтесь здесь! А ну-ка, Ефим, пройдем в вашу хату! Нет-нет, Марьяна нам не нужна, пусть посидит здесь!

— Ну, а я ж не хозяйка, может, вы захочете того солдата в курятнике искать, потому как там гнезда, где куры несутся, и опять же квочки с цыплятами. Нет уж, нехай и жинка идет! Вона сама свое хозяйство знает!

— Ну хорошо, хорошо! Пусть идет! Может, вдвоем вы будете сговорчивей!

— А конечно, что сговорчивей! Ведь так и в евангелии говорится, что муж и жена — одна сатана! — бубнил Ефим.

— В евангелии этого нет. И вы будьте поосторожней, Ефим Бессмертный: за решетку попасть мужику легко, а выбраться оттуда трудно,— запугивал сыщик, идя по аллее рядом с Ефимом и Марьяной.

Обыск продолжался часа три. Сыщик и Петров перерыли на хуторе все вещи, перелистали все книги. Сыщик придрался к старенькому глобусу, на котором всю обширную площадь, занимаемую Россией, Динка обвела красным карандашом.

— Зачем вы это сделали? — спросил сыщик.

— Из патриотических чувств,— ответила Динка.

Пришлось уехать ни с чем.

Проводив неожиданных «гостей», Арсеньевы молча сидели за столом в разгромленной комнате, среди сваленных на пол вещей и книг. Оживленная тем, что все кончилось благополучно, Марьяна, разливая по чашкам молоко, без умолку рассказывала, как сыщик лазил в ее скрыню и на сеновал искать солдата.

— А Ефим ще подначивал его: ищите, каже, ищите, бо пропал человек, як сгинул! Ой, смех!..

Но смеха не было, Арсеньевы сидели перед налитыми доверху чашками, не прикасаясь к еде. Ефим понимал их тяжелое состояние.

— А ну приберись маленько, Марьяна,— шепнул он жене и начал рассказывать, как боялся везти в лес солдата и при-

езжего железнодорожника и какие чудеса увидел он в старой корчме. Рассказывая, он то и дело повторял: — Достойные хлопцы, нема чего сказать! А этот черный — так что-то особенное! Я спрашиваю: «Как же зовут тебя, хлопче? То ты прозываешься Цыган, то Жук, га?» А он так усмехнулся, да и каже: «Я — Жук, я теперь Жук!»

На этих словах Динка подняла голову и улыбнулась, а Марина недовольно сказала:

— Надо узнать его настоящее имя, зачем давать человеку какие-то клички!

Мышка молчала. Худенькое личико ее заострилось, с губ не сходило брезгливое выражение. Неожиданно во время рассказа Ефима она уронила голову на стол и разрыдалась.

— Я не могу тут жить, мама! Они опоганили наш хутор! Все, все здесь опоганили! Уедем в город, мама! — по-детски всхлипывая, повторяла она.

— Хорошо, Мышка! Мы уедем, уедем, успокойся! Надо только подумать, как переправить в город приезжего товарища и солдата,— утешала ее мать.

— А чего там думать! У них место хорошее, пускай день-два посидят, а там я их через Пущу-Водицу отвезу в город! Вот и все дела! А плакать, Анджилка, из-за кажного поганого человека тоже нельзя, голубка моя! Мало ли их на свете? А ты так понимай: поганых двое, а хороших втрое! Вот тебе и вся арифметика! — уговаривал Ефим, как всегда путая имя Мышки и называя ее то Анджилкой, то Анжелинкой.

Прощаясь, он строго посмотрел на свою Марьяну и поднял вверх корявый палец:

— А ты, жинка моя Марьяна, помни: где что увидела, услышала у нас в доме або я говорил — молчи! Завсегда и везде молчи, як в рот воды набрала! И что я про корчму рассказывал, и какой красавчик Иоська, и кто в лесу на скрипке играет — молчи!

— Та чи я сумасшедшая? — всплеснула руками Марьяна.— Або я лютый ворог самой себе?

— Ну вот и молчи. Пойдем, надо людям отдых дать.

Когда они ушли, Марина открыла все окна. Освеженная дождем зелень грелась на ярком утреннем солнце, издавая свежий запах влажной травы и листьев. Земля отдыхала, жадно впитывая обильно пролившиеся капли дождя.

— Динка! — сказала Марина, глубоко вдыхая душистый воздух.— Сбегай за коробкой! А ты, Мышка, надень галоши и нарви в ореховой аллее каких-нибудь цветов!

Отослав девочек, Марина принялась за уборку.

Брезгливо вытирая стул, на котором сидел сыщик, она думала о том, что с этого дня неприкосновенность хутора нарушена, и как только приедет Леня, надо немедленно переезжать в город...

Когда девочки вернулись, в комнатах уже было чисто и ничто не напоминало о посещении полиции.

— Ах, какие свежие цветы! Смотрите, в чашечках еще дрожат капли! — сказала Марина, принимая от Мышки букет желтых болотных ирисов и по-осеннему блеклых васильков.

Глава 55

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА...

Через два дня Ефим отвез в город приезжего железнодорожника и солдата.

Перед их отъездом Марина долго думала, где устроить Ничипора Ивановича. Везти его на свою городскую квартиру было опасно, и она решила временно устроить его на явочной квартире вместе с железнодорожником, но Жук решительно запротестовал:

— Солдат теперь наш, он будет жить с нами. Кое в чем поможет нашей старухе, будет шить сапоги, хозяйство у нас общее, прокормимся!

Солдат ничего не имел против этого решения, и Ефиму пришлось отвозить его на квартиру Жука.

— Там у них все так прилично, куда там! — рассказывал дома Ефим.— Две комнатки с кухонькой, живут без квартирантов, чисто живут. Старуха ихняя, мать Конрада, видно, соскучилась за лето по своим хлопцам, все об Иоське спрашивала, чего долго не привозят. Ну и меня, конечным делом, накормила, напоила, Ничипору тоже обрадовалась. «Живите, говорит, живите! Мне сынок плохого человека не пришлет». Это она Жука, значит, сынком называет, а Иоську внучком. Да, сдружились наши хлопцы с солдатом. Иоська так от него ни на шаг не отходит, а как узнал, что солдат может сапожничать, таки совсем прилип. «Я, говорит, дядя Ничипор, помогать тебе буду, я папе помогал». Ну и, конечно, вцепился, чтобы столик отцовский взяли. Низенький такой столик, негодящий, весь ножом изрезанный.— Ефим развел руками и мягко улыбнулся: — Ничего не сделаешь, отцовская память. Перевез я и этот столик...

— А портрет Катри? — быстро спросила Динка.

— Ну, это в первую очередь. Сам Жук в бричку принес. И на городской квартире повесили, над этим сапожным столиком. Солдат хлопотал. Он, бедняга, видно, тоже семью почувствовал... И вот, скажем, железнодорожник. Образованный человек, прямо можно определить, не чета Ничипору Ивановичу, и уважали его ребята, и со всеми он за руку попрощался, а вот поди ж ты, к солдату больше привыкли...

— Ну что ж! Ничипор многое может им дать, он человек понимающий. Значит, все устроилось к лучшему? — сказала Марина.

Мышка подняла на нее умоляющие глаза.

— Значит, теперь мы можем уехать отсюда, мама? — нетерпеливо спросила она.

— Да, я думаю, тоже надо переезжать! — согласилась Марина.

Но Динка вдруг запротестовала:

— Нет, нет! Я никуда не поеду, мама! Я останусь здесь до приезда Лени! Вы уезжайте, а я останусь!

Сестры поссорились.

— Ты прекрасно знаешь, что одну тебя никто не оставит! Ты просто делаешь мне назло! Видишь, что я ни на что не могу смотреть без отвращения, и упрямишься! — со слезами говорила Мышка.

— Подумаешь, два каких-то сморчка полицейских! Да чтобы из-за них возненавидеть весь наш хутор, сад! Ты просто нервная барышня! — кричала Динка.

— Оставь ее,— тихо сказала Мышке Марина.— Скоро приедет Леня, при нем она не будет упрямиться. Оставь сейчас!

Мышка затосковала. Приезжая из госпиталя, она отказывалась даже рвать цветы для комнаты Алины.

— Я чувствую себя оплеванной, мама! Это такое унижение, когда чужие люди роются в твоих любимых вещах, в твоей постели... Я здесь перестала чувствовать себя человеком!

— Ну оставайся ночевать на городской квартире,— предлагала ей мать.

— Нет, я не брошу тебя и Динку. Об этом не может быть и речи! Уедем вместе!

После госпиталя Мышка забегала на городскую квартиру. От Васи давно не было писем. Однажды пришли сразу два письма от Почтового Голубя. Он описывал страшные картины боя, разрушения и смерти...

«Я не боюсь умереть, я солдат и должен быть готов ко всему, но если бы моя воля, я никогда не родился бы, я не убийца, но руки мои в крови...» Каждое письмо кончалось горячей мольбой прислать ему одно слово, хоть одно слово, с которым ему будет легче жить и умирать. Адреса в обоих письмах снова не было. Вместо адреса, как прежде, было нарисовано сердце, пронзенное стрелой и истекающее кровью.

— Ну что с ним делать, мама? Куда я напишу? Господи! Вот еще мученье! Ведь убьют его, а я буду мучиться всю жизнь!

— Несчастный Голубь! — бушевала Динка.— Ну что он за дурачок? Я просто делаюсь больной от его писем!

Она хватала листок и, надписав на конверте крупными буквами: «ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, МИШЕ ЖИРОНКИНУ», опускала письмо в ящик. Письма Почтового Голубя расстраивали всех. Марина, держа их в руках, рассматривала с лупой штемпель.

— Попробуй писать по всем направлениям, где сейчас особенно упорные бои,— безнадежно говорила она Динке.

Каждому хотелось хоть что-то сделать для несчастного Голубя, умоляющего о последнем слове, о последнем прощании.

Марина заезжала даже к матери Миши Жиронкина, но, узнав, что та ни разу не получала от сына ни одного письма, не стала ей ничего рассказывать, тем более что мать холодно сказала:

— Не пишет он нам! Что поделаешь, неблагодарный сын! Уж кажется, ни в чем ему отчим не отказывал, и такую мать, как я, поискать надо!..

— Да, надо поискать...— согласилась Марина.

* * *

На другой день, после отъезда солдата и железнодорожника, на хутор пришел Жук. Марина разговаривала с ним, как со взрослым, она серьезно и тепло благодарила его, и Жук, потеряв весь свой форс беспризорного мальчишки, держался со скромным достоинством и во всяком деле предлагал свои услуги. Уходя, он вызвал Динку в ореховую аллею. Они говорили шепотом, долго и горячо.

— Этого нельзя делать, ты подведешь Ефима! Они отомстят Ефиму,— убеждала товарища Динка.

— А чего же мы сидели здесь все лето? — гневно щуря глаза, твердил Жук и бил себя кулаком в грудь.— У меня душа горит! Понимаешь ты это?

— Я понимаю, у меня она тоже горит! Но только не это, мы уже не дети, Жук!

— Все равно, я должен отомстить и отомщу! — грозился Жук.

— Хорошо. Но знай, это против моей воли! Я не разрешаю тебе этого, и ты знаешь почему,— изо всех сил возражала Динка.

— Боишься? За Ефима боишься? А Иоськиного отца забыла? А студента, зарубленного в лесу?

— Я ничего не забыла и не забуду, Жук! — Динка положила руку на плечо товарища и, наклонившись, тихо прошептала: — Сделаем другое...

Жук оживился, два раза даже тихонько фыркнул в кулак и, слушая Динку, согласно кивал головой. Разговор их шел отрывистым шепотом, недоговоренными фразами.

— Иоську беречь как зеницу ока... Пузырь пусть не отходит от него... Револьверы возьми, проверь, не заржавели ли... Приму привяжу у околицы...

— Револьверы в порядке... Солдат нам все оружие перечистил...— Жук приблизил к Динке свое лицо с жарко горевшими глазами.— Когда?..

— Завтра... в полночь,— чуть слышно ответила Динка, и они расстались.

Глава 56

РОВНО В ПОЛНОЧЬ

В ночном небе, как ветки гигантского дерева, шевелятся разорванные тучи, меж ними падающими искрами вспыхивают редкие звезды. Земля затихла, спит натруженное за день село.

В вишневых поредевших садах притаились белые хаты, за хатами желтеет коротко остриженное, убранное поле, за полем черной громадой встает лес. На просохшей за день проселочной дороге неровные, крепко выбитые колеи кружат по селу мимо покосившихся перелазов, мимо покрытых почерневшей соломой бедняцких хат, мимо тесовых ворот с железными засовами и высоких крылечек богатеев. У самой околицы на краю хозяйского поля с убранной пшеницей высится железная крыша над крепко сбитой семистенной хатой братьев Матюш-

киных. Обнесенная крашеным зеленым забором с острыми кольями, она словно напоказ выставила на улицу три окна, задернутые белыми занавесками. В просторном дворе засыпанные зерном амбары, доверху забитые свежим сеном сараи и конюшни. Богатое хозяйство у Матюшкиных; в коровнике сонно жуют коровы. Заперев на засов широкие ворота, сами хозяева, Семен и Федор, каждый вечер обходят свой двор; сторожит его батрак Прошка, укладываясь на рваном армяке в хозяйском коровнике. По другой стороне улицы, напротив Матюшкиных, растет дом нового богатея — прежнего приказчика пана Павлухи. Сквозь черноту ночи, словно девушка, в первый раз вышедшая на свидание, стыдливо выглядывает луна и, прячась за тучами, снова погружает во мрак спящее село...

Прошумит ночной ветерок, гавкнет спросонья привязанная собака, и снова тихо. В окнах хаты Матюшкиных, сквозь тканые занавески, колеблется тонкий огонек зажженой в углу лампадки. Из старинной серебряной иконы, обложенной голубыми и белыми камушками, выглядывает строгий лик святителя. Желтый огонек, плавающий в масле, бросает отсвет на крашеные лавки, покрытый домашней скатертью стол, развешенные по бокам иконы, вышитые рушники с кружевами на концах. На хозяйской постели, под шелковым лоскутным одеялом, выставив рыжую бороду и открыв рот, сладко храпит Семен Матюшкин. Рядом в каморе, опасаясь мух, так же смачно всхрапывает во сне его брат Федор. На полу в коридоре, подостлав рядно и уткнувшись лицом в подушку, спит взятая из милости сирота, шестнадцатилетняя батрачка Матюшкиных, красавица Лушка. Съежившись на своей подстилке и тоненько всхлипывая, в который раз видит она во сне схороненную на деревенском погосте свою мамоньку. А в соседнем покое, не чета ей, нежится на перинах взятая с богатым приданым жена Федора Марья; много добра отвалил за нее Матюшкиным бывший приказчик пана. А на чьих слезах нажито ее приданое, об этом Марья и не думает; спокойно дышит она, примешивая свой тонкий присвист к могучему храпу братьев...

В тишине покоя мирно отстукивают ночные часы-ходики.

Бьет полночь... Замерло село... Только где-то на дороге, как неотвратимая беда, медленно движутся к околице, то прижимаясь к земле, то пропадая за кустами, черные тени... Из-под низко опущенных капюшонов не видно человеческих лиц; неслышно ступая и распыляясь в темноте, словно плывут по воздуху пять черных призраков... Около дома Матюшкиных они на одно мгновенье сбиваются в кучу и, пригнувшись к земле, разбегаются в разные стороны...

Луна прячется за тучи. Но что это? В черноте ночи под окном Федора Матюшкина неслышно вырастает белый саван покойника, тонкий костлявый палец стучит по стеклу... Три стука... еще... Сонно поднимается с постели хозяин и, отодвинув занавеску, приникает к окну... Белое известковое лицо, провалившиеся, обведенные черным глазницы глядят на него из савана покойника. Страшный глухой голос вещает из мрака могилы:

— Убийца... Убийца... Пробил твой час!

Скалится голый череп на оцепеневшего от ужаса Федора, и тихий, жалобный стон скрипки доносится до его ушей... Вот он растет, он душит и настигает нечистую совесть. Истошный вопль вырывается из груди Федора... И в тот же миг все смолкает... Всполошенные воплем, вскакивают домочадцы.

— Там... Яшка... Яшка...— разрывая на груди рубаху и падая на колени, вопит Федор.

С ужасом приникают к окошку его жена и брат Семен.

По дороге медленно удаляется и словно проваливается во тьме белый саван, жалобно стонет и обрывается под смычком знакомый напев. И только черные тени, словно выпущенные на волю дикие зверьки, бешено мчатся напрямки через поле...

Впереди их, раздувая ноздри, стелется галопом разгоряченный скакун... Пригнувшись к его гриве, седок крепко держит маленькую, согнувшуюся фигурку с прижатой к груди скрипкой...

Все глуше доносятся из села истошные вопли. Словно

спохватившись, вслед беглецам гремят запоздалые выстрелы... В окнах всполошенного села зажигаются огоньки. Мертвенно-бледная луна освещает пустую глинистую дорогу...

На опушке леса седок останавливает лошадь, бережно передает подоспевшим беглецам своего спутника и скачет дальше... Около хутора тоненькая, быстрая фигурка прыгает на землю и скрывается в саду... Долго плещется она около родника, стирая с лица расплывающиеся краски. Потом осторожно влезает в окно и бросается на узкую, девичью кровать. Тихо-тихо в доме, но неспокойное сердце бешено колотится... К рассвету на небе редеют тучи, освобожденная луна тускло освещает рассыпавшиеся на подушке косы...

Глава 57

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО!

Динка просыпается поздно. В саду слышится голос Марины, она о чем-то разговаривает с Мышкой. Динка бросает на кровать первую попавшуюся раскрытую книгу и, схватив полотенце, мчится к пруду... Там она долго трет мылом лицо, смотрится в круглое зеркальце и, ежась от холодной воды, возвращается с веткой калины.

— Ты вчера долго читала, Дина? — спрашивает ее Марина.

— Да, мамочка,— потягиваясь, говорит Динка; щеки ее лоснятся, точно смазанные маслом, глаза блестят. Она жадно пьет молоко, посыпает сахаром хлеб. Но сердце ее неспокойно.

Они пройдут прямо через лес на Пущу-Водицу... В лесу их никто не мог догнать... В Пуще-Водице наймут лошадь, так было договорено... Но что, если они не успели уйти и остались ночевать в корчме? И что, если, придя в себя, Матюшкины соберут людей и бросятся к хате Якова... Но хаты ведь уже нет. Жук говорил, что они завалили крышу; так посоветовал солдат, чтоб никто не поселился в хате. Мало ли бродит теперь на дорогах бездомных людей...

Солдат велел подпилить столбы и обрушить крышу. Он сказал, что потолок над подвалом железный и что сверху он утрамбован землей...

Но что-то делается сейчас в селе? И что, если Жук не увел ребят...

Динка осторожно выбирается из-за стола, тихим свистом подзывает Приму.

— Я немножко покатаюсь, мамочка! — говорит она, не глядя на Мышку.

Мышка тоже не смотрит на сестру, она удивляется ее легкомыслию и равнодушию.

«Неужели, зная, как мне тяжело здесь, Динка может спокойно кататься?» — горько думает Мышка.

Но Динка не катается. Она стрелой несется в лес, туда, к хате Якова... Тревога ее растет. Воображение рисует страшную картину окруженной в лесу хаты, разъяренных Матюшкиных с топорами, вилами...

Спешившись на опушке, Динка тщательно осматривает дорогу, ищет следы помятой травы; чуткое ухо ее ловит каждый звук... Но нельзя тратить время... Может быть, Матюшкины ехали на лошадях? Но дорога поросла травой, и трава не примята...

— Вперед, Прима, вперед!..

Лесная тишь успокаивает, но тревога не унимается, хотя уже ясно, что здесь не было людей... Но они могут еще прийти... Ушел или не ушел Жук? Ах, если б они были уже в городе или хотя бы на Пуще-Водице... Если ушли, то, конечно, уже в городе...

— Вперед, Прима, вперед!..

Вот наконец и развилка. Здесь особенно видна наступающая осень: на деревьях пожелтели листья, покраснели ягоды рябины.

Но где же хата Якова? Словно большой бурый гриб, прикрыла ее ржавая крыша; здесь уже не видно ни крылечка, ни выбитых стекол окон, только кое-где валяются сломанные рамы... Нет хаты...

Динка медленно спускается в овраг. Здесь где-то должна



быть дверь, но ее тоже придавили дырявые листы железа. На дне оврага журчит ручей, в нем кружатся опавшие листья.

— Ку-ку! Ку-ку! — кричит Динка и, склонив набок голову, прислушивается.

Но лес молчит. И никто не откликается на ее голос.

«Ушли...» — думает Динка, но на сердце у нее делается одиноко и пусто. Она подходит к срубу старого колодца. На стенках его плотно сдвинуты доски, внизу блестит темная вода.

Чуткий слух Динки улавливает за срубом какое-то движение. Она раздвигает ветки и видит большого ежа. Пофыркивая, он ест из жестяной тарелки прокисшее молоко. Еж поворачивает свой черный нос, подбеленный молоком, и доверчиво смотрит на Динку черными бусинками глаз.

«Это еж. Может быть, Иоська кормил его...» — думает Динка, и сердце ее растапливается от нежности.

— Ку-ку! Ку-ку! — тихо зовет она в последний раз и, держа за повод Приму, выходит на дорогу.

«Теперь можно ехать в город! Здесь уже никого нет».

* * *

— Мы едем! Едем! — кричит она матери, подъезжая к крыльцу.

Но ни Марина, ни Мышка не откликаются на ее слова, они слушают Марьяну.

— Ой, матынько моя! Чего только творится на билом свите! Га? Люды кажут, Матюшкины як с ума сошли! — всплескивая руками, взволнованно рассказывает Марьяна. Она только что вернулась с рынка, на ней праздничный герсет и новая хустка.— Зараз треба бигты на село! Там весь народ. Матюшкины заказалы крестный ход, и с батюшкой. Будут свою хату святить. Жинка их звала баб лапшу готовить, будут нищих кормить,

а бабы не идут, боятся. Кажут, упокойник Яшка под самые окна подходил. Ще як крикнет: «Убийца! Убийца!» — так Хведор и упал посередь хаты... А тут Яков як застогне, да як заграе на скрипке...

— Черт знает что! — пожала плечами Марина.— Кто это тебе наговорил такую чепуху, Марьяна?

Динка спрыгнула с лошади и, пряча пылающее лицо в ее гриве, весело откликнулась:

— Конечно, чепуха! — Потом, овладев собой и бросив уздечку, живо сказала: — А может, у этого Матюшкина заговорила совесть и ему привиделся Яков?

— Да боже сохрани! Яка у него совесть? Воны с братом живыми людей в землю закопают! А сегодня весь базар об них балакает! И батюшку они заказали, с иконами, с хоругвями! Тож не малые гроши стоит! — опять оживилась Марьяна.

Мышка, бледная, зажимая обеими руками уши, подошла к Динке:

— Я не могу больше слышать все эти гадости! Мы сегодня же уедем в город!

Динка порывисто обняла сестру:

— Да-да, Мышенька! Сегодня, сейчас же! Не сердись на меня!..

* * *

Динка побежала прощаться к Федорке. Подруги долго стояли обнявшись. Федорка плакала.

— Мало и виделись мы этим летом. Может, приедешь ко мне хоть на свадьбу, только не знаю, когда она будет. Хата у Дмитро плохая, совсем в землю осела, а идти к моему батько в примаки он не хочет. А теперь вот еще за солдатом скучает, хоть Ефим и говорил, что солдат в городе,— оглянувшись, понизила голос Федорка и вдруг, лукаво блеснув глазами, крепко сжала Динкину руку.— Ой, а ты ничего не чула, что у Матюшкиных стряслось? Ни? Так слухай. Утром ихний батрак Прошка до моего Дмитро забегал. Его на станцию за попом

спосылали. Каже, Яков-упокойник до Матюшкиных приходил этой ночью...

— Яков? А Прошка сам видел? — живо спросила Динка.

— Да нет, он спал. Только слышит, вдруг кричит его хозяин дурным голосом. Он вскакнул, а тут вроде застонал кто-то, да так тоненько, жалостно, и сразу задрожала земля, не иначе кони Ильи-пророка подхватились на небо. И сразу хозяйва забегали, закричали, он тоже побег в хату, а Федор сидит на полу, волосы на нем колом стоят, рубаха порвана, и Семен, босой, стоит рядом, трясется, как Иуда. «Яшка, каже, Яшка под окно подходил. Убийцы вы, говорит... Смерть наша, братушка, пробила...» А Марья, женка его, побелела вся да и говорит: «Беги, Прошка, за попом...» А сама схватила под образом сулею со святой водой и давай обоих братьев поливать. Ой, смех! А собака ихняя на огороде была привязана — боялся Федор, как бы люди у него картошку не покрали,— дак она как почала выть... Воет и воет... Все село на ноги поднялось! Невже ты ничего не чула? — удивилась Федорка.

— Да говорила что-то Марьяна...— пожав плечами, ответила Динка.

Смутное чувство своей вины перед разбуженным селом охватило ее. Что она сделала? Люди и так суеверны... Не дай бог, об этом когда-нибудь узнает мама...

— А что говорят на селе? — быстро спросила она.

Федорка сделала презрительную гримаску.

— А что им говорить? Никто того Яшку не бачил, а так думают, что померещился он Матюшкиным, потому как ночь была темная, а в темную ночь завсегда совесть ворочается, або страх, як той зверь гложет, хотя бы даже у самого что ни на есть убийцы,— убежденно сказала Федорка.

Простившись с подругой, Динка обежала свой сад, бросила в пруд засохший и забытый на скамейке венок. Постояла в ореховой аллее, долго гладила своего Нерона и шептала ему на ухо ласковые слова, целовала умную морду Примы и,

вытерев ее мягкой гривой набежавшие слезы, пошла собираться.

К вечеру Арсеньевы уехали.

До станции они шли пешком. Лес был окутан сиреневой дымкой. Нехотя отрываясь от веток, кружились желтые и красные листья.

Марина шла быстрым, легким шагом; она думала о предстоящих ей в городе делах, о кружковых занятиях с рабочими и о заработке, о котором надо было срочно хлопотать.

Мышка, подняв вверх порозовевшее лицо, смотрела на сплетающиеся над дорогой ветки и глубоко вдыхала свежий лесной воздух.

— Здесь очищается душа,— тихо сказала она, встретившись со взглядом сестры.

Динка, все еще переживая разлуку с Примой и Нероном, молчала. «Знают ли собаки и лошади, что люди тоже страдают, расставаясь с ними? — горько думала она.— Чувствуют ли они, как мне больно оставлять их на долгую зиму?»

Потом Динка снова вспомнила ночное спящее село и вопли Матюшкина. Но ей было уже не смешно и не весело. С опаской поглядывая на мать, она думала: «Что, если б мама знала... Но пусть это будет последнее-распоследнее озорство в моей жизни... Ведь я уже не девчонка. На будущий год я приеду сюда уже совсем взрослым, серьезным человеком... Я стану такой скучной, что мне даже не придут в голову всякие глупости».

Динка глубоко вздохнула и с сожалением оглянулась назад... Ей показалось, что между красными, желтыми кустами, в рыжем сосняке и между зелеными елками мелькает ее выгоревшая матроска... Прощай, прощай, детство!

В поезде мысли Динки полетели вперед, на городскую квартиру, в их двор, где можно нечаянно встретить своего друга — Хохолка... «Нечаянно... Теперь уже только нечаянно»,— думала она, нетерпеливо считая пролетавшие мимо дачные станции.

* * *

Утром Ефим вынес на телегу вещи, запер двери и окна. Марьяна позвала Нерона:

— Ходим, Нерончик, ходим! Нема уже кого сторожить тут! Теперь твоя хозяйка не скоро приедет. Будем вместе зиму страдать!

Нерон, опустив голову и часто оглядываясь, нехотя пошел за Марьяной. Хутор опустел.

КОММЕНТАРИИ

ДИНКА. *Повесть.* **ЧАСТЬ** III.

Восьмилетняя озорница и фантазерка Динка неожиданно встречает в поезде революционера-отца. «Папа, я не успела исправиться!» — только и успевает произнести она. На что отец ей отвечает: «...Скоро наступит такая жизнь... такая...— Он посмотрел на младшую дочку и, подхватив ее на руки, весело добавил: — Что даже моя Динка исправится!»

Так заканчивалась написанная в 1959 году повесть В. А. Осеевой «Динка». И состояла она тогда из двух частей. Но читательский интерес к произведению был столь велик, что В. А. Осеева решает писать продолжение. Так, в 1965 году к повести «Динка» прибавляется третья часть, где читатели узнают о жизни Марины Леонидовны Арсеньевой, ее дочерей и усыновленного ею Леньки в Киеве.

Появляются в этой семье и новые друзья — репетитор Лени студент Вася и сосед по двору Андрей, прозванный Динкой Хохолком.

Сцена второй встречи с отцом, объявившимся летом на хуторке, где обитала семья Арсеньевых, в обличье «ничейного» деда, заключает ныне повесть.

Третья часть повести органически слилась с написанными ранее частями и завершила повествование о раннем детстве девочки. Оно вобрало в себя и неимоверное богатство впечатлений, встреч, знакомств, глубоких сердечных привязанностей, и... приключений.

Эти приключения не создаются писательницей искусственно, они продиктованы неугомонным, вулканическим темпераментом и воображением талантливой девочки.

«Сегодня я снова какой уже раз прочитала прекрасную повесть В. А. Осеевой «Динка»,— обращается в Дом детской книги четырнадцатилетняя Наташа Ч. из г. Саратова.— Прошло уже немало лет с тех пор, когда я впервые взяла в библиотеке книгу с нарисованной на обложке девочкой, бегущей по берегу.

Сейчас мне 14 лет... Я знаю эту книгу почти наизусть. Каждый момент жизни, каждый жест Динки или членов ее семьи я могу вспомнить и повторить».

В очерке, опубликованном в сборнике «Детская литература. 1969», критик Н. Кремянская сказала справедливые слова: «В. А. Осеева написала увлекательную книгу. В чем же сила ее притягательности? В сюжетности, фабульности? Пожалуй... Но более всего — в самой Динке. В ее светлом пытливом взгляде, в мечте о человеческом счастье, а главное — в ее чутком, отзывчивом сердце...»

ДИНКА ПРОЩАЕТСЯ С ДЕТСТВОМ. *Повесть.*

Впервые вышла в издательстве «Детская литература» в 1969 году отдельной книгой.

В этом произведении героиня предстает перед читателями пятнадцатилетней гимназисткой, поселившейся после окончания учебного года на любимом хуторке.

Повзрослели и возмужали сестры и названый брат Леня. А старшая сестра Алина даже успела выйти замуж.

Но не изменилась Динкина натура. Динка не только по-прежнему непоседлива, но и куда более обостренно чувствует неравенство, несправедливость, царящие в расположенной рядом с хуторком панской усадьбе.

А тут еще зловещее убийство скрипача Якова Ильича и загадочное исчезновение его сына Иоськи. Разве может остаться ко всему этому равнодушной Динка?!

Мама говорит, что Динка создает свои дела сама. «Гм... конечно, сама! Кто же мне создаст мои дела? — размышляет героиня.— А вот как делать, чтоб их не было? Ну, предположим, я не пошла бы в хату Якова, и не увидела Катрю, и не давала бы обещания найти Иоську. Что от этого изменилось бы? Ничего, потому что я и без этого обещания поехала б его искать. Значит, чего же я «создаю»? Ничего не создаю, дела вокруг человека создаются сами. Какой человек, такие у него и дела. А у свиньи вообще никаких дел нет, валяйся хоть целый день на брюхе да наращивай сало...»

Со свойственной ей страстностью Динка бросается на помощь притесняемым и обиженным.

«Не знаю, что побудило меня написать,— обращается в Дом детской книги четырнадцатилетняя Анна И. из Волгоградской области.— Пишу Вам после того, как прочитала в больнице повесть В. Осеевой «Динка прощается с детством». Эту книгу я читала вслух всей палате.

Невозможно написать о всех впечатлениях.

Помню, в третьем классе читала книгу «Динка» В. Осеевой. Она осталась любимой до сих пор наряду с Шиллером, Купером, Гончаровым...»

Искренность, душевность героев произведений В. А. Осеевой, высокие человечные идеалы революции, которым они служат, наверняка будут волновать сердца и занимать умы еще многих и многих девочек и мальчиков сегодня и в будущем.

Хорошо сказала шестнадцатилетняя Лена Ф. из Челябинской области: «Недавно я прочитала две повести В. А. Осеевой «Динка» и «Динка прощается с детством» — не в первый, а уже в шестой раз (первый раз я читала эти книги, когда училась в 4 классе).

Каждый раз переживаешь снова и снова, радуешься вместе с героями, хотя уже знаешь, что произойдет дальше.

Мне кажется, что, когда я перечитываю эти повести, я люблю их все больше и больше. Каждый раз я открываю в них что-то новое, чего не замечала раньше.

Творчество В. А. Осеевой знакомо мне уже давно. Учась в первом классе, я читала ее маленькие рассказы, позже

я прочла трилогию «Васек Трубачев и его товарищи». Но особенно мне понравились и запали в душу повести о Динке. Когда мне бывает грустно, я вспоминаю Динку — веселую, добрую, отзывчивую, жизнерадостную девчонку — и сразу на сердце становится веселее, и грусть куда-то уходит.

И хоть мне уже 16 лет, я знаю, что еще не раз прочту эти книги».

А вместе с другой читательницей — двенадцатилетней Леной Б. из города Майкопа — хочется повторить: «Нет, Валентина Александровна Осеева жива, она будет жить, пока живут ее прекрасные книги».

З. Короза

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Валентина Александровна Осеева

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ IV

Ответственный редактор
Р. Н. Ефремова
Художественный редактор
М. Д Суховцева
Технический редактор
И. С. Широкова
Корректоры
Т. В. Беспалая, Е. И. Щербакова

ИБ № 8228

Сдано в набор 25.10.85.
Подписано к печати 11.05 86.
Формат 60Х90[1]/16. Бум. тип. № 1.
Шрифт литературный.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,0. Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч -изд. л. 25,72. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 2126 Цена 1 р. 30 к.

Орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов
издательство «Детская литература»
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
103720, Москва, Центр,
М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1
Росглавполиграфпрома
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Осеева В. А.

О-72 Собрание сочинений в 4-х томах/Коммент. З. Короза.— М.: Дет. лит., 1986.—т. IV. Динка. Повесть. Часть третья; Динка прощается с детством. Повесть.—1986. 494 с., ил.

В пер.: 1 р. 30 к.

В четвертый том Собрания сочинений В. Осеевой входят третья часть повести «Динка» и повесть «Динка прощается с детством».

О $\frac{4803010102-363}{М101(03)86}$ Подп. изд. **Р2**

